Макс Фрай

А-К
энциклопедия мифов

Амфора

Макс Фрай

Энциклопедия мифов. Подлинная история Макса Фрая, автора и персонажа. Том 1. А-К

А

1. Аарон

…призвав косноязычного Моисея к пророческому служению, Яхве велит ему взять Аарона своим толмачом. В предании роль Аарона вторична: его призвание опосредствовано участием в миссии Моисея.

Странная участь Аарона отразилась в моей судьбе, как в тусклом квадрате зеркала, пригодного разве что для поспешного бритья поутру. Подобно моему предшественнику, я не страдаю косноязычием; как и у него, у меня отродясь не было собственной «великой миссии». Нерадивый, непутевый, но истово преданный своему господину толмач, вот уже несколько лет, прикусив от усердия кончик языка, я перевожу на язык слов экстатическое бормотание невидимого «косноязычного Моисея», ошивающегося где-то поблизости чуть ли не со дня моего рождения. Смысл его почти нечленораздельного лепета порой темен и невнятен даже для меня самого. Старомодный поэт назвал бы моего Моисея «музой», но какая, к черту, муза из этого неистового старца с тяжелым характером?!

Как и всякий человек, посвятивший себя созданию текстов, сам по себе я ничего не значу, и мой посох не превратится в змею на глазах изумленного фараона, если я дерзну совершить сей подвиг самовольно. Но пусть только последует приказ моего неукротимого Моисея – и не десять, а сто казней египетских нашлю я на первого, кто под руку подвернется, не потрудившись пролить

слезу сочувствия над затрепанным «личным делом» своей жертвы. Я ненавижу принуждение и прихожу в ярость от любой, даже дружественной попытки вмешаться в мою жизнь, но когда поблизости появляется мой Моисей, я становлюсь ретивым служакой. Я готов покрасить траву у забора и рассчитаться на «первый-второй», если только он пожелает. Я могу не часами – столетиями! – поддерживать воздетые руки моего босса, господина и повелителя: пусть он молится своему загадочному суровому богу, если уж мне не дано. Его косноязычное бормотание достигает не слишком чутких ушей той силы, по воле которой делает свои вдохи и выдохи Вселенная, а моя гладкая речь – только для человеческого слуха, так уж все устроено.

А порой, когда зимняя ночь оказывается слишком уж долгой и я всем телом ощущаю тяжесть зыбучих песков утопившего меня времени, я – могущественный раб, по прихоти своего господина смиренно превративший в змей не одну тысячу посохов! – прошу судьбу об одном: лишь бы не выяснилось в самом конце пути, что никакого Моисея никогда не было…

2. Абдалы

…существует суфийский миф об абдалах – скрытых святых, управляющих миром…

– Я отношусь к предсказателям настороженно…

– Угу, они все врут.

– Ну, некоторые врут, конечно, но не о них речь. Я говорю о настоящих.

– А есть настоящие?

– Почему нет? Если есть подделки, где-то должен быть оригинал.

– Странный подход.

– Подход как подход.

– Но ты же сам говоришь, что относишься к ним настороженно?

– Ну… Скорее с опаской. У меня есть теория…

– Теория? Тиорéя, диарея…

– Цыть! Внимай и трепещи. Я думаю, что судьба человека вполне пластична и подлежит переделке. Но только до тех пор, пока она не сформулирована. Пресловутая свобода выбора имеет место лишь на диких пустошах судьбы, пролегающих между возделанными, описанными и напророченными участками… Конечно, не обязательно быть великим пророком, чтобы прибить чужую жизнь гвоздями к очередному событийному забору…

Я стараюсь не для Мика, коего давно причислил к разряду наиболее бессмысленных собеседников, и не для Наташки, которая, кажется, спит. Просто меня несет (*несет меня лиса сквозь дикие леса*, ага). Чуден Макс при тихой погоде, и редкая птица долетит до середины моего монолога.

– Вот смотри, – продолжаю, не обращая внимания на младенческую муть в глазах заскучавшей жертвы. – Предположим, ты проснулся утром, грохнул чайник на плиту, пошел умываться. Ты сонный, ничего еще не соображаешь. В этот момент предстоящие тебе события и вещи, которые никогда с тобой не случатся,

тождественны, они смешаны в одну большую кучу под условным названием «возможное». И тут на кухню выходит твоя маман и начинает нудить: опять проспал, троллейбусы ходят плохо, опоздаешь в институт, у тебя первая пара – сопромат, а Алексей Никитич давно на тебя сердит, ой, смотри, допрыгаешься; а когда тебя домой ждать, небось опять ночью заявишься от своего Макса, будешь винищем вонять на весь подъезд… Ну и так далее, по полной программе – что, ты свою матушку не знаешь?

– Спасибо, поднял ты мне настроение!

– Сам дурак, пожилой мужик уже, двадцать лет на свете прожил, а от мамки с папкой на край света съехать ума не хватает. Ладно, твое дело… Так вот. В тот момент, когда твоя маман нудит поутру на кухне, она наивно полагает, будто ее речь окажет на тебя целительное воспитательное воздействие, ты уразумеешь, наконец, что такое хорошо и что такое плохо, покаянно упадешь на ее грудную клетку, после чего немедленно исправишься. А на самом деле она просто формирует программу твоего дня. Ты уже *знаешь*, что будешь двадцать минут ждать этот паршивый троллейбус, опоздаешь в свой сраный институт, поругаешься там со старым мудаком Аникой, а вечером зайдешь ко мне с бутылкой вина, потому что все погано и надоело, а Макс – трепло, но умеет поднимать настроение… И ведь умею же. Всем, кроме себя. Глаза б мои меня не видели!

– Ты чего вдруг?

– А ничего. Грустить изволю.

– Ты сначала объясни, что хотел сказать, а потом грусти.

– А я и так уже все объяснил. Твоя матушка – не бог весть какая Кассандра. Но есть такая разновидность черной магии, которой каждый человек владеет от рождения: предсказывать судьбу своим ближним. Вернее, не предсказывать, а навязывать свою версию. Она тебя поймала тепленьким, сонным, не соображающим ничего. В общем, в тот момент, когда ты слабее ее. Оформила в слова свое незамысловатое представление о твоем ближайшем будущем, и все, ты попал. Она уже запрограммировала твой день – не со зла, конечно, а по недомыслию, – а ты и сопротивляться не стал. А уж когда какой-нибудь авторитетный «пророк» сформулирует вслух свою версию, тут вообще пушной зверь песец с потомством на дорогу выходит… Ясно тебе?

– Ну да. Но теория так себе. Ну, сказали. Ну, вслух. И что? Слишком уж большое значение ты придаешь словам.

– Да, большое, пожалуй. Но не только я. Это свойственно всей человеческой культуре, а мы с тобой в этом котле, как ни крути, варимся. Уже, считай, сварились.

– Когда я слышу слово «культура»…

– Что, рука, небось, тянется к парабеллуму?

– Да нет, к бутылке.

– Ну, далеко тянуться тебе не придется.

– Угу… А вот и Наталья при слове «бутылка» проснулась.

Ташка, к слову сказать, проснулась несколько раньше. Боковым зрением я заметил, что она смотрит на меня из-под опущенных ресниц так, словно впервые

увидела. А видела она меня в те дни, мягко говоря, регулярно. Чуть ли не ежедневно. Ужас ли, прелесть ли провинциальной жизни состоит в том, что все видят всех ежедневно. Это называется «свой круг». Для того чтобы стать центром этого круга, не так уж много требуется. Всего лишь собственная жилплощадь – пусть даже двенадцатиметровая комнатка в гулкой коммуналке – плюс неумение регулярно вышвыривать со своей территории воинствующих завоевателей и лукавых послов, официальных дружественных визитеров, верных вассалов, бывших и будущих наложниц, вражеских шпионов, агентов влияния и прочих захребетников. Захватчики искренне полагают, что твоя жизнь принадлежит им; и все бы ничего, но доводы их убедительны, объятия цепки, а дружеская тирания – желанна.

Я был центром такого круга, я знаю, о чем говорю. Утром одиннадцатого мая тысяча девятьсот девяносто второго года я (в который раз уже) установил, что меня тошнит от сомнительной привилегии быть содержателем маленького запасного рая для полутора человек и нескольких дюжин человекообразных. К ночи настроение мое так и не переменилось. «Мне бы чего попроще, – думал я, – мне бы на остров какой необитаемый, мне бы в мамоновский „лифт на небо" зайти по рассеянности, мне бы в ночные портье податься или просто уехать туда, где меня никто не знает, где я и сам себя знать перестану, мне бы, мне бы… Ах, мне бы!»

Ну, положим, я всегда был мечтателем, зато мечты у меня высочайшего качества; я уже давно обнаружил, что все они сбываются: рано или поздно, так или иначе, причудливым каким-нибудь образом, через пень-колоду,

а то и вовсе через задницу, но сбываются. Непременно. Неотвратимо. Блин.

– Ма-а-акс, – сонно, нараспев позвала меня Наташка, когда ее приятель отправился в очередное «путешествие на запад» (переехав в эту коммунальную квартиру, я обнаружил, что завершающийся уборной коридор обращен строго на запад и с удовольствием сию тему эксплуатировал).

Я возрадовался, ибо сегодня моя старинная подружка была как-то подозрительно молчалива. «Ночь не спала» – скверная отговорка: кто ж по ночам спит-то? То-то и оно…

– Так ты Оллу знаешь, получается?

– Не знаю. Слышал, кажется, что-то, но… Она гороскопами торгует? Или я путаю?

– Скорее всего, не путаешь. Но Олла ничем не торгует. Гороскопы она, конечно, умеет составлять. И по руке гадает, и на картах. На обычных, и на картах Таро, и еще на каких-то странных картах, я таких нигде больше не видела, и И-цзин знает, и руны, и воск расплавленный в воду льет, а может просто книжку наугад открыть, и окажется, что там все про тебя написано… Ох, Макс, как только она не гадает! А еще говорят, она может внезапно уколоть человека булавкой и по его крику определить, какой смертью он умрет.

Я зябко поежился.

– Не могу сказать, что жду не дождусь такого пророчества…

– Некоторым нравится. К ней один бандит приходил, Олла сказала, что он от цирроза печени умрет. Так тот

ушел счастливым: главное, дескать, что не от пули и не от ножа… Денег ей дал кучу! – Наташка развела руки в стороны, наглядно демонстрируя объемы денежной массы, поступившей в распоряжение гадалки. По всему выходило, что легендарная Олла теперь обеспечена всеми материальными благами цивилизации на несколько перерождений вперед – если только облагодетельствованный бандит не расплачивался медяками.

– М-да… – завистливо промычал я, не в силах устоять перед гипнотическим обаянием вышеописанной кучи. – Но почему, кстати, ты решила, что мы знакомы?

– Да вот, когда я упрашивала ее мне погадать, Олла сказала мне ровно то же самое, что ты сейчас Мику тер. Дескать, смотри, дорогая, пока у тебя есть много разных дорожек, и ты можешь пойти по любой, а если я выполню твою просьбу, останется только одна дорожка: та, о которой я тебе расскажу. И нет якобы никаких гарантий, что это будет самая лучшая «дорожка». Но я тогда выпила, храбрая была, сказала: знать ничего не хочу, гадай, и все тут!

– Ну и?

– А нельзя рассказывать, Макс. Но… Все, кажется, правда. И меня это не очень радует… Но это ерунда: радует, не радует. Ведь ерунда?

– Тебе виднее.

– Надо вас познакомить, – Наташка уже отвлеклась от горестных размышлений о предсказанной ей судьбе, вошла в свой любимый образ светской львицы, которая знает всех-всех-всех на свете и очень любит этих самых

«всех» сводить зачем-то. Тоже ничего себе вклад в великое дело всеобщей энтропии.

– Ну, познакомь, если надо, – равнодушно согласился я. Такое уж у меня было в тот вечер меланхоличное настроение, что Ташкино предложение не вызвало у меня ни энтузиазма, ни, напротив, опасений. Ни единого хиленького предчувствия не родилось в сонном моем сердце; так могла бы реагировать засушенная бабочка на обещание владельца коллекции показать ее радужный трупик очередному энтомологу-любителю. Дескать, раньше надо было спрашивать: хочу ли я заплатить жизнью за право украшать твою коллекцию, а теперь что ж, теперь все можно, поскольку мне уже давным-давно пофигу…

– А чего ты, кстати, его прикормил?

Я даже не понял поначалу, о ком речь. Устремил на нее вопрошающий взор: уж не чеширский ли кот бродячий примерещился в подоконном сумраке? Потому что мне иногда чудится этот кот: знаю ведь, что нет его, но безглазая тень улыбчивой усатой морды, не то дух-хранитель комнаты, не то просто зооморфное фамильное привидение, чуть не ежедневно пугает меня очевидностью своего потаенного присутствия в доме.

– Я Мика имею в виду. По-моему, он скучный. Обычный студент Политеха, таких в кофейне под моим домом табуны, вечно очередь из-за них…

Вот те раз! Сама же привадила его ко мне, а теперь – «зачем прикормил»?!

– Вообще-то я думал, он за тобой ходит.

– «Ходит»? Какой ты, однако, тактичный… Ну, будем считать, что именно «ходит». Но его «походка» мне

осто… как там дальше? Это ж твой неологизм был… а, вот …пиздебенила. Остопиздебенила, ага. В тебе умер великий лингвист, Макс. Временами он попахивает, но это не беда: в каждом кто-нибудь да умер, все мы – ходячие саркофаги… И вообще ты лучше всех, правда-правда. А Мик зануда. Если он будет сюда к тебе каждый вечер шляться, через месяц ты от тоски повесишься на кухне, над плитой Ковальчуков, вот увидишь!

Перспектива безрадостная, что да, то да! Поверхность соседской плиты никогда не казалась мне ландшафтом, достойным взора умирающего героя. Был бы обрусевшим немцем, непременно сказал бы «пфуй!» – но поскольку немец я лишь на четверть, по обрусевшему задолго до моего рождения деду, оный фонетический шедевр остался лежать под завалами прочего невысказанного словесного мусора.

– То есть я теперь должен помочь тебе избавиться от этого несчастного юноши?

– Ну… как бы да. Он никчемность и позорит своих великих предшественников. – Ташка улыбается лукаво, одним уголком рта, прикусив слегка пухлую нижнюю губку – эту улыбку я хорошо помню с тех доисторических времен, когда был еще не старым другом, а новым знакомым, и перед нами обоими маячили ошеломительные эротические перспективы.

Убедившись, что сердце мое начало понемногу подтаивать, как извлеченный из морозилки пакет с субпродуктами, она деловито продолжает:

– Невозможно отделаться от человека, который все время сидит у тебя в гостях. Я-то ведь тоже тут сижу. И он думает, будто мы сидим у тебя вместе. Это ужасно.

– Паучиха, – ласково говорю я. – Маленькая, прожорливая паучиха. Будь по-твоему. Отлучим его от церкви, уговорила.

Главный герой предстоящей нам бытовой драмы тем временем вернулся из уборной. Смотрит на нас подозрительно – тоже мне, ревнивец! Мы все же не пара разнополых павианов, которых на пять минут без присмотра оставить нельзя. Да и что можно успеть за пять-то минут? Разве только вычеркнуть его из дальнейшего повествования, это да, дурное дело нехитрое…

3. Аватара

(Др. – инд. avatara, «снисхождение»), в индуистской мифологии нисхождение божества на землю, его воплощение в смертное существо…

– Что это за привидение? Как такое может быть?

Я опешил. Растерянно смотрел на женщину, которую мне представили всего несколько секунд назад. Тревожная, почти мучительная для моего зрения оправа красных одежд, затейливые спирали веснушек на сливочной коже, маленький бледный рот, глаза темные – недобрые, к слову сказать, глаза, – но трогательные ямочки на щеках и почти младенческие золотые кудряшки. Странный набор примет, привлекательный и вряд ли фотогеничный (примечание моего «внутреннего фотографа», которого, в отличие от сумки с аппаратурой,

непросто оставить дома). Оля, Ольга – вот как ее звали. Или Олла: с ударением на последний слог – для друзей, а на первый – для городских сплетников. Хельга – для клиентов: варяжский орнамент в южном городе особенно привлекателен, ибо сулит прикосновение к акварельной северной прохладе, а потому, вероятно, приравнивается к кондиционеру (пусть даже неисправному).

– Не человек – выдумка какая-то! Не знаю только, чья…

Мое изумление достигло крайних пределов, я в неловкой позе навис над диваном, на краешек которого всего четверть секунды назад намеревался скромно, но с достоинством опуститься. Стоп-кадр. Статуя скульптора Пеония из Менде «Купидон, замерший над ночною вазою», – вот как это, вероятно, выглядело.

Из-за моей спины раздавались звучные хлопки, производимые длинными ресницами Ташки. В течение двух долгих, жарких, ароматных майских недель она сулила мне встречу с таинственной Оллой-Хельгой, величайшей гадалкой причерноморских степей, пиковой дамой кофейных подворотен, владычицей тайной службы астрологической помощи, генеральшей приворотно-отворотных войск и прочая и прочая. Ей, Ольге, моя подружка, скорее всего, тоже обещала нечто невероятное в моем лице, интриговала, привирала, кружила голову. Наташка – замечательная, маленькая светская лгунья; слушая ее восхищенные отчеты о друзьях-приятелях, можно заключить, что рассказчица снимает дачу в какой-нибудь стране фей. Она сама, впрочем, в этом и не сомневается.

И вот сценарий моего визита к гадалке Оле (Олле? Хельге?), порожденный добрым сердечком

мечтательницы Таши, летел в тартарары. Главные герои не выучили текст; они даже не потрудились его прочитать, а потому вели себя совершенно неадекватно. Ольга озадачивала нас бессмысленными вопросами, вела диалог в агрессивной манере, словно мы с нею – не хозяйка и гости, а боксеры-легковесы, впервые выпущенные на ринг; я же, вместо того, чтобы отрабатывать сомнительную славу главного городского болтуна, молча пялился на хозяйку, неловко оттопырив зад в направлении кожаного дивана афроамериканских ста́тей.

– Ну и что вы оба так на меня уставились? – невозмутимо спросила Ольга. – Мне положено вести себя эксцентрично, это мой хлеб. Или вы предпочитаете крылья летучих мышей под потолком, скелет в шкафу и чучело совы на столе?

– Пожалуй, нет, – дар речи постепенно ко мне возвращался, – это будет слишком похоже на кабинет биологии в средней школе.

– Вот и я так думаю, – неожиданно легко согласилась наша хозяйка. – Знаешь, тебе не следует садиться на диван. Он слишком мягкий, ты там раскиснешь. Лучше на стул… да не на этот, на другой. Спиной к окну, вот так. А на диван мы усадим Наталью.

– Я тоже раскисну, у меня похмелье, – гордо сообщила Ташка, обрушивая в темную нежность дивана все свои сокрушительные сорок семь килограммов.

– Тебе можно киснуть, тебе у меня даже спать можно, тебе вообще все везде можно… пока можно. Пока.

– Почему «пока»?

Ольга не отвечает, она садится напротив меня и глядит мрачно, исподлобья. Тон у нее, тем не менее, дружеский, доверительный – если только слушать голос, а в глаза не заглядывать.

– Этой маленькой женщине, нашей с тобой подружке, можно все, представляешь? Не только здесь, у меня дома, а вообще все. И эта лафа будет продолжаться, пока она не выйдет замуж. Тогда – финиш. Ничего от ее удачи не останется.

– Ну не выйду я замуж, не выйду, – досадливо бурчит Ташка. Она явно слышит это пророчество не впервые. Возможно, когда-то обещание несчастливого замужества произвело на нее глубокое впечатление, но не сейчас. Сейчас ей наплевать.

– Есть у тебя такой шанс, – соглашается гадалка. – Но очень-очень маленький, – резко оборачивается ко мне: – Эй, Макс, или как тебя там на самом деле зовут…

– Именно так и зовут.

Но Ольга меня словно бы не слышит.

– …присматривай за этой девочкой, забивай ей голову всякими лживыми глупостями, обещай золотые горы или отправь в ашрам какой от греха подальше – лишь бы не вздумала замуж выскакивать. Ей нельзя.

– Никому нельзя, по-моему, – ее страстный монолог о Ташкиной судьбе понемногу начинает меня забавлять. – Я вообще противник института брака…

– Это как раз полная ерунда – все, что ты говоришь, – вдруг рассердилась Ольга. – Проще простого быть противником какого-то там «института»; куда труднее заботиться об одном-единственном живом

человечке – вот хотя бы об этой женщине, которой ни в коем случае нельзя выходить замуж… Впрочем, зря я прошу тебя о ней позаботиться. У тебя не получится, не твое это дело. Ну и не надо!

Куда-то не туда нас занесло – так мне, во всяком случае, показалось. В таких ситуациях проще пожимать плечами, чем отвечать. Этим полезным физическим упражнением я и занялся. Оно укрепляет мышцы плечевого пояса, предотвращает сколиоз и, возможно, даже продлевает жизнь, как всякий мудрый поступок. Ольга (ни «Олла», ни «Хельга» в моем сознании пока не укоренялись, для меня она была Оля, Оленька, а то и вовсе Олька), как ни в чем не бывало, принялась хлопотать по хозяйству. Нам был явлен пузатый чайник с алыми маками на фаянсовом брюхе; шоколадная тьма буфета породила разнокалиберные чашки. Мед в деревянной миске изрядно подсох, зато холщовый мешочек для чая дразнил воображение тонкими травяными ароматами. Ташка косилась на меня смущенно и испытующе, словно бы пробовала на вкус мое настроение, обнаруживала там некую подозрительную горчинку и была заранее готова взять на себя ответственность за ее появление. Зря, кстати: я был скорее заинтригован, чем разочарован. И вообще – не волоком же она меня через весь город сюда тащила! Сам притопал, как миленький: кошачья погибель – любопытство – и крупного примата до цугундера доведет.

– Это чай, его надо пить, – сурово сообщила хозяйка дома, наделяя меня лазурной чашкой, предназначенной, вероятно, для повседневных нужд титанов и прочих мифологических громил. Ароматная жидкость, однако, золотилась на донышке. Аккуратная девичья порция в

нечеловеческих размеров сосуде. Нелепо, негармонично, но впечатляюще, как и весь первый раунд нашего знакомства.

– Гадать на картах я тебе не стану и по руке не стану, даже видеть твои руки не хочу, – внезапно заявила Ольга, усаживаясь напротив. Колени потянула к подбородку; длинная красная юбка, впрочем, не оставляла мне шансов получить хотя бы смутное представление о форме ее ног. Взяла свою чашку, по запястьям, дребезжа, заскользили тонкие металлические браслеты, трогательные бисерные ниточки и пластмассовая цветная дребедень.

– Жалко. Мне еще никогда толком не гадали. Сколько раз брались, и всегда что-нибудь случалось в последний момент, – я демонстративно отставил в сторону чашку, дескать, и чаю мне твоего не надо, раз такой облом.

– Правильно. И всегда так будет, – безмятежно пообещала Ольга. – Ты на картах и сам гадать можешь распрекрасно. Только не вздумай по книжкам учиться. Сам нарисуй себе свою колоду и гадай всем желающим. И не спрашивай меня, как. Стоит один раз попробовать, и вопросов у тебя не останется.

Таша виновато ерзала на диване. Она-то сулила мне феерический гадательный сеанс с разоблачением всех кармических нелепостей моей непростой биографии. Странное дело: с тех пор, как мы переступили порог этого эзотерического притона, я не сказал ей ни слова. Ольга каким-то образом умудрилась заслонить от меня весь мир, хоть и была не слишком приветлива. Вообще-то я люблю, когда окружающие ведут себя так, словно они меня обожают. Искренности я не требую;

ритуального танца вполне достаточно. Но он совершенно необходим.

– Так что, кина не будет? – уточнил я, с тоской поглядывая на отставленную чашку: сей протестующий жест теперь казался мне преждевременным: пить-то хотелось, и еще как.

– Ну почему же. Будет тебе кино. Просто немножко другое кино. «Кино не для всех», – так это, кажется, называется?

– Ага, что-то в таком роде, – мне вдруг стало смешно. Веская причина принять ее угощение, и я залпом выпил остывший уже чай. Каждый глоток отличался от предыдущего: первый походил на обычную кипяченую воду, второй – на слабый травяной отвар, слегка подслащенный; интенсивность вкусовых ощущений нарастала с каждым глотком, последний был и горек и сладок одновременно – почти невыносимое, но будоражащее сочетание. Потом-то, задним числом, я понял, что в метаморфозах Ольгиного угощения не было ничего необъяснимого: просто на дне чашки покоился мед, темный и вязкий, как речной ил, а я не потрудился размешать напиток. Блаженны рассеянные: мы живем как во сне, со всеми вытекающими последствиями.

Гадалка вдруг приложила палец к губам, кивком указала мне на Ташку. Я глазам своим не поверил: моя подружка, кажется, задремала, забившись в угол дивана. Так быстро засыпают (и так блаженно сопят) только очень маленькие дети – если их хорошенько выгулять на свежем воздухе, а потом от души накормить. У двадцатипятилетних женщин, страдающих, к тому же, непреходящим легким похмельем, это происходит

несколько иначе – так мне, во всяком случае, до сих пор казалось.

– Она маленькая и очень хорошая, – почти интимным шепотом поведала мне Ольга. – Это редкость: такие маленькие женщины обычно – грандиозные стервы, у них особый талант. А она – хорошая.

– Хорошая, – подтвердил я, невольно улыбаясь. – Но без царя в голове.

– Это да, это правда, – меланхолично согласилась моя собеседница, – это правда, без царя… С другой стороны, абсолютная монархия в голове никому не идет на пользу…

– Абсолютная и не требуется. Я предпочитаю, чтобы в голове была конституционная монархия.

– Это как? С парламентом, что ли? С верхней и нижней палатами? С правительством и премьер-министром?

– Что-то в таком роде. Все лучше, чем демократия или диктатура… в отдельно взятой голове. Ужас, да?

– Да, пожалуй. Если только это не диктатура духа.

– В голове?!

– И в голове, и в заднице. И в прочем ливере, если тебя интересуют подробности.

Я посмотрел на гадалку с нескрываемым интересом. Дескать, «вот вы какие, северные олени»! Признаться, я ожидал встретить куда более экзотическое и гораздо менее вменяемое существо. Впрочем, что касается вменяемости, у меня с самого начала имелась пара-тройка «і» с нерасставленными точками.

– А что за странные вещи ты говорила, когда я пришел? Почему «привидение», почему «выдумка»? Это прозвучало… ну, как бы несколько дико.

– Что я говорила тебе на пороге? А, ну да, сейчас мне и самой странно… Но над этим предстоит ломать голову не мне, а тебе.

– Ну ни фига себе, – разочарованно промычал я.

Противно, когда тебе безответственно морочат голову всяческие астрологи-хироманты и прочие официальные представители чудесного. Они словно бы вынуждают нас становиться скептиками – просто для того, чтобы не чувствовать себя одураченными. Инстинкт сохранения чувства умственного превосходства порой даже сильнее инстинкта самосохранения, и это, в сущности, странно и нелепо.

– Знаешь, иногда бывает так, что я вижу человека впервые в жизни – не всякого, конечно, – и в течение нескольких секунд все о нем знаю. А потом опять не знаю ничего. А потом погадаю ему – и, глядишь, снова знаю… но уже не все, а лишь кое-что. Не всегда самое интересное, что да, то да…

– Выходит, ты уже сама не помнишь, почему так сказала? – Я заинтригован, разочарован… и оттого заинтригован еще больше.

– Почти не по… Хотя…

Нахмурилась, потерла лоб. Я заметил, что ногти у Оллы (кажется, я уже был готов признать за ней право на это имя) коротко острижены, но, несмотря на это, пальцы удивительно хороши. Ровные, довольно широкие у основания, с заостренными кончиками – эффект, которого прочие барышни добиваются при помощи

устрашающего (моя спина, исстрадавшаяся в свое время от царапин, требует использовать именно этот эпитет) маникюра.

– Я словно бы увидела, что в мой дом вошло несколько почти одинаковых мужчин. Вошел ты один, конечно, и я это прекрасно понимала. Но видела – понимаешь, ви-де-ла! – нескольких. И не совсем одинаковых, а почти. Один выглядел мертвым, другой производил впечатление обреченного, зато прочие были в полном порядке, не пугайся. Будь я буддисткой, я сказала бы, что видела несколько твоих аватар, но… знаешь, это выглядело как-то иначе. Словно бы кто-то в небесной канцелярии решил, что ты должен прожить несколько разных жизней не последовательно, а за один прием, но не позаботился наделить всех жизненной силой. Поэтому вместо одного настоящего живого человека получилась ватага привидений… И погоди-ка, было еще что-то… нет, не могу… не понимаю, не помню – что именно. Сейчас разберемся. Лови!

4. Агасфер

…на возникновение легенды оказали влияние религиозно-мифологические представления о том, что некоторые люди являют собой исключение из общего закона человеческой смертности и дожидаются эсхатологической развязки…

Оглушенный последним выпуском новостей из зазеркалья, я не успел сообразить, что от меня требуется, но поймать летящий в меня предмет все же как-то ухитрился. Это был клубок ниток – такие обычно дают котятам для игры: слишком маленький, чтобы из

него можно было связать нечто полезное; нитка толстая, ярко-вишневая.

– А реакция у тебя хорошая. Близнецы, небось, вторая декада? Мог бы в боксеры пойти.

– А вот и нет. Рыба я, рыба, мокрая и холодная, – ее ошибка меня окончательно разочаровала: гадалка не должна бы ошибаться. А теперь – что ж, не вызовут ее прорицания у меня священного трепета, хоть голову о карму расшиби. Но Олла отмахнулась от досадной своей ошибки, как от невидимой мошки.

– Это ты положение солнца в момент рождения имеешь в виду. А зачали тебя, когда солнце находилось именно в знаке Близнецов, причем где-то во второй декаде, гарантирую. Можешь допросить своих родителей, если сомневаешься… Дата зачатия, прими к сведению, гораздо важнее.

– Вот как? – вежливо удивился я. – Впервые слышу такую теорию…

– Все, что ты здесь слышишь, ты слышишь впервые, – отрезала она. – А теперь давай-ка, запутай этот клубок.

– Как я должен его запутать?

– Да как хочешь, так и запутывай. Можешь постараться, чтобы я распутать не смогла, а можешь не стараться. Можешь всю нитку размотать и узлами завязать, а можешь только кончик. Как тебе больше нравится.

– Это такой способ гадать? – изумился я.

– Это такой способ познакомиться. Гадать я тебе не стану, сказала ведь уже. Не предскажу я тебе ни

казенного дома, ни даму мечей на сердце, ни бубнового интереса на северо-западном склоне горы Фудзи. Давай, давай, запутывай. Хулы не будет, – и она вдруг заговорщически подмигнула мне и звонко рассмеялась.

Я растаял. Кажется, меня записали в «свои»; сочли достойным собеседником, в обществе которого можно пыль в глаза не пускать и даже над «делом жизни» посмеяться снисходительно: дескать, мы-то с тобой понимаем, что все фигня, кроме пчел, да и пчелы – тоже фигня, но мы никому об этом не скажем, потому что люди делятся на тех, кто ничего не понимает и тех, кто не понимает ни-че-го! И еще есть мы с тобой, единственные исключения из этого скорбного правила – примерно так как-то.

В ту пору я как раз стремился если не стать, то хотя бы прослыть исключением из всех мыслимых правил и потому весьма высоко ценил любой намек на приглашение выступить в этой роли. Следовательно, купить меня с потрохами можно было недорого. Ольге и стараться-то особо не пришлось: достаточно было одной заговорщической ужимки, остальное я дофантазировал самостоятельно.

5. Адити

(От др. – инд. a-diti – «несвязанность», «безграничность»), в древнеиндийской мифологии женское божество, мать богов…

Нитку я послушно запутал. Надо, значит надо.

Поначалу чего я только с нею не творил. Но занятие это быстро мне наскучило; врожденное упрямство,

однако, требовало, чтобы я не бросал дело на середине. Я и не бросил, но действовать решил не по вдохновению, а с максимальной эффективностью. Распустил остаток клубка, поспешно завязал с десяток узлов по всей длине нитки, собирая ее таким образом, что каждый узел становился основанием для нескольких петель разной длины: я быстро сообразил, что этот способ помогает мне всякий раз сокращать длину нитки на несколько метров, завязывая всего один узелок. Работа спорилась, через пару минут все было готово. Самый заковыристый узел я приберег напоследок. Затянул его потуже, а кончик нитки старательно растрепал на отдельные волоконца и распушил. Симпатичная такая кисточка получилась, ею бы в носу прикорнувшего после очередной битвы с портвейном ближнего пощекотать – самое милое дело!

– Ой, как все непросто! – ухмыльнулась гадалка. И добавила неожиданно драматическим тоном: – Вот сейчас я вижу тебя как на ладони. Большинство человеческих судеб похоже на партию в шахматы… Но ты ведь не играешь в шахматы? Не должен бы.

– Не играю. Несколько раз пробовал научиться, но то ли с учителями не везло, то ли сам дурак…

– Одно другому не мешает. Ты не способен к этой игре уже потому, что твоя судьба на нее совсем не похожа. Невозможно рассчитывать на несколько ходов вперед, нельзя заблаговременно принять меры и насладиться заслуженным успехом, зато и за ошибки платить не придется… по крайней мере, не всегда. Причинно-следственные связи в твоей судьбе – не то вовсе не существуют, не то возникают лишь для того, чтобы сразу же оборваться. Да, странно… А знаешь,

какая игра – твоя? Нарды.[1] Причем ты любишь «длинные нарды» и терпеть не можешь Backgammon…

---

[1] Нарды – игра для двоих игроков на специальной доске с использованием шашек и игральных костей.

Правила игры в Backgammon («Короткие нарды») гласят, что у каждого игрока имеется по 15 шашек.

Задача белых – провести свои шашки в дом белых.

Задача черных – провести свои шашки в дом черных.

Начинают белые, бросая две кости. Количество выпавших очков показывает, на сколько вперед надо продвинуть шашки. Например, на кубиках 3, 4 – можно продвинуть две шашки (одну на 3, другую на 4) или одну (на 7).

Если на обоих кубиках выпадет одинаковое число очков, то показания удваиваются (например, выпало 4, 4 – игрок может распоряжаться любым сочетанием 4, 4, 4, 4).

В процессе игры на одном поле можно держать сколько угодно своих шашек. Поле, где содержится две и более шашек противника – заперто, на такие поля вход чужим шашкам запрещен.

На поле, занятое одной шашкой противника, входить можно, причем шашка противника считается битой и убирается с доски за борт.

Битая шашка должна начать путь сначала. Игрок, имеющий за бортом шашки, не может сделать никакого другого хода, пока не выставит их на доску.

Шашки с борта ставятся согласно показанию костей. Бить при этом шашку противника можно, но не обязательно. На поле, занятое двумя и более шашками противника, битые шашки не ставятся, а ход пропускается – цугцванг.

Как только игроку удается привести шашки в свой дом, он начинает ставить их за борт («на двор») – снимать с доски, кидая кости. В процессе выставления шашек «на двор» игрок может использовать показания кубиков – одну шашку выставить за борт, а другой просто ходить. Каждый бросок выполняется полностью (например, если выпало 5, нельзя ходить на 4). Если игрок не может выполнить ход, то он либо пропускает ход, либо выполняет ход по одному кубику.

Игрок, первым выставивший шашки за борт, получает одно очко. Если к этому времени соперник не выставил «на двор» ни одной шашки, победитель получает 2 очка; если в доме победителя остались шашки противника – 3 очка; если же у соперника все еще есть шашки за бортом – 4 очка.

А игроки в длинные нарды в начале игры выстраивают свои шашки на одном поле; бить шашки противника в этой игре нельзя, на поле, занятое одной чужой шашкой, попросту не вступают. В остальном все так же: цель – вернуться домой раньше, чем это сделает ваш оппонент.

хотя судьба нередко принуждает тебя именно к этой игре. В таких случаях ты злишься и нервничаешь: вышибать шашки противника – это не для тебя. Ты не хочешь ни убивать, ни быть убитым; потому ты отдыхаешь душой, играя в «длинные нарды» – а ведь на прочих эта игра навевает скуку! Ты же блаженствуешь: инстинкт велит тебе просто идти домой, хотя вряд ли ты представляешь себе, что это за место такое – твой «дом». И не представишь, пока не придешь… Но вот еще что важно: прежде чем сделать очередной шаг, ты медлишь, отводишь глаза от собственных отражений, нетерпеливо мнущихся по ту сторону зеркал, и кидаешь кубики – испытываешь удачу. А обнаружив, что не так уж она велика, поднимаешь глаза к небу и просишь… впрочем, нет, не просишь, требуешь помощи. К слову сказать, не так уж ты корыстен, просто помощь свыше для тебя – единственный шанс уверовать, что там, «наверху», происходит нечто более любопытное, чем движение атмосферных потоков. Ведь так?

Олла говорила правду. Я действительно был заядлым игроком в нарды, не только страстным, но и весьма умелым; да и описанный ею способ бытия подходил мне более прочих. Она меня раскусила. Это доставило мне удовольствие особого рода: наверное, так наслаждается книга, попавшая в руки внимательного читателя. Оказывается, приятно, когда тебя читают; не знаю уж, почему, но это так. Однако вместо того, чтобы растаять, распахнуть сердце и смиренно внимать откровениям мудрой пророчицы, я по привычке тут же отыскал подходящее возражение.

– Значит, я просто «иду домой»? Странное дело, до сих пор я только тем и занимался, что уходил из всяческих домов. Сначала от родителей, потом… – на

этом месте я осекся, поскольку понял, что отчет о прочих домах, из которых я уходил после того, как окончательно закрыл за собой дверь родительского дома и аккуратно сжег немногочисленные мосты, будет здесь не слишком уместен. И поспешно скомкал автобиографический монолог: – В общем, откуда я только не уходил! Колобок какой-то просто…

– Ну уж нет, куда тебе до Колобка! Уходил он, видите ли… Твоя жизнь, можно сказать, и не началась еще: ничего-то ты о себе не знаешь пока. Крутишься, как грызун в пустом барабане, такой же жизнерадостный и бессмысленный… Мог бы до седых волос крутиться. Но ты, кажется, действительно везучий. Вот как выглядела твоя жизнь до сегодняшнего дня, смотри, – она сунула мне под нос нитку, которую я так старательно запутывал поначалу. – В твоих узлах нет никакой логики, никакой системы, но и силы в них нет, туго ты их не затягивал. Развязать легче легкого, ногти не сломаешь, но кто станет распутывать этот кошмар? Правильно, никто. Проще отрезать, – в руках гадалки появился короткий, серпом изогнутый нож из тех, что охотники используют для свежевания добычи. *Коллекционная вещь*.

Я уж хотел было отшутиться, отмахнуться от ее внезапной серьезности. Поднял глаза и осекся. Что-то в облике Оллы вынудило меня промолчать. Грозный вид имела сейчас эта рыженькая барышня, хоть алтарь ей сооружай прямо на столе, среди чайных чашек, дабы умилостивить поскорее невесть откуда взявшееся хтоническое божество, до сих пор мирно дремавшее в мягкой шкатулке женского тела, а теперь беспокойно заворочавшееся – того гляди, проснется!

Гадалка тем временем перерезала нитку и сунула ее мне.

– Когда вернешься домой и останешься один, распутай непременно. Это очень важно. Ритуал. Символическое приведение в порядок собственного прошлого. Изменить прошлое нельзя, а привести в порядок, знаешь ли, можно. Хорошая новость, не так ли?

6. Аедие

…он поселился в большом доме на самом высоком ярусе небес.

– Новость как новость, – растерянно возразил я, пряча нитку в нагрудный карман куртки.

Как только всученный обрывок скрылся в джинсовых складках моей поверхности, ветер переменился. Мне вдруг стало скучно, в потаенных болотных глубинах моего существа накопились усталость и раздражение; даже давление, кажется, начало скакать, подражая молодому кенгуру: по крайней мере, в ушах звенело, лоб словно бы перетянули тугим шнурком, виски налились свинцом.

Я не знал, как следует себя вести. Хозяйка дома бесстыдно вешала мне на уши какую-то эзотерическую лапшу слабого посола; затащившая меня сюда Наташка дрыхла и, кажется, ее Ка не намеревалось прерывать круиз по тихому океану сновидений; встать и уйти – невежливо, да и любопытство не велит, но и принимать активное участие в одурачивании себя любимого мне не хотелось. Неловкая ситуация!

Мое новое настроение гадалке не понравилось. Нахмурилась, встала, подошла к окну, поманила меня пальцем:

– Посмотри-ка вниз.

Я послушно выглянул наружу и обмер: тротуар был так далеко, словно мы созерцали его из окна какого-нибудь небоскреба – не банальной девятиэтажки, порожденной скудным воображением дипломированного провинциального архитектора, не столичной сталинской высотки даже, а именно небоскреба, каковых в нашем городе, ясен пень, не водилось и не заведется, пожалуй, в ближайшее столетие.

– Ты ведь живешь на четвертом этаже, – говорю почти умоляюще, словно бы можно еще прийти к соглашению и отменить несуразное это чудо. – Мы поднимались, я помню… я еще ступеньки считал.

– Очень мило с твоей стороны. И сколько же их было?

– Шестьдесят шесть. Шесть ступенек внизу и потом три пролета…

– Смотри в окно, Макс. Внимательно смотри. Как по-твоему, достаточно ли будет шестидесяти шести ступенек, чтобы спуститься отсюда на землю?

– И шестисот не хватит, – промямлил я.

Меня почему-то тошнило, да и голова позорно кружилась; я ухватился за батарею центрального отопления, с пыльной твердью ее поверхности я бы не расстался сейчас ни за какие сокровища Али-Бабы: все же настоящая, надежная вещь, не фата-моргана.

– Это что, гипноз какой-нибудь? – знакомое с детства слово «гипноз» оказывало на меня столь же успокаивающее воздействие, как холодный металл радиатора.

– Хреноз какой-нибудь! – сердито передразнила меня Олла. – И откуда ты только взялся на мою голову? За тобой чудеса волокутся, как хвост за собакой, а метешь ты при этом пакость премерзкую, как колхозница на приеме у экстрасенса. «Гипноз»! Тьфу, гадость какая!.. Ладно, посиди на стуле, отдышись. Ты зеленый, как лягух.

Нелепое детское словечко «лягух» почему-то сразу привело меня в чувство, я даже усмехнулся – нервно, но вполне искренне.

– Мама, фто это было? – гнусавлю, цитируя общеизвестный анекдот про малолетнего идиота. – Ты на каком этаже все-таки живешь?

– На четвертом, – холодно ответствовала моя хозяйка. – Ты же сам ступеньки считал.

– Но… у тебя из окна… всегда такой вид?

– Да нет, не всегда. Второй раз в жизни это со мною случилось, откровенно говоря. Потому и позвала тебя полюбоваться. Чтобы ты перестал зевать и коситься на дверь, а ловил каждое мое слово. Другого такого дня не будет.

Некоторое время мы молчали. Не знаю, о чем размышляла Олла, а у меня в голове царил абсолютный вакуум, хоть ученым ее сдавай в аренду для проведения лабораторных исследований. Противоестественный гул в ушах – так должны бы гудеть неисправные электроприборы, а не башка человечья – служил

приятным музыкальным фоном для вдохов и выдохов, каковые я производил без особого энтузиазма, скорее просто из чувства долга перед собственным телом.

– А с клубком моим ты знатно обошелся, – гадалка наконец нарушила молчание. – Нитку, что я отрезала, переложи-ка из нагрудного кармана в задний, от греха подальше. Задница все стерпит. Останешься один, распутай ее, потом сожги. Обязательно. Если решишь, что это глупости, вспомни ступеньки, которые считал, и вид из моего окна вспомни. Ясно?

Я смущенно кивнул. Возражать не хотелось; возиться с дурацкой ниткой, впрочем, тоже не хотелось. Вид из окна Оллы – это, конечно, было чудо, что и говорить… Но я не знал тогда, что присутствие чудесного в жизни человека накладывает на него определенные обязательства. В ту пору я полагал, что чудеса происходят со мною просто так, на халяву – потому, что я «лучше всех»…

7. Аждарха

В мифах татар-мишарей Аждарха <…> пробирается в дом к вдове в образе ее умершего мужа и сожительствует с ней. В результате женщина заболевает и умирает.

– Как ты думаешь, почему так много легенд о том, что мертвецы возвращаются к живым и мучают их? – настойчиво теребила меня гадалка.

Я пожал плечами. Заводить культурологическую дискуссию не хотелось. В тот момент я все еще слова не мог выцедить, честно говоря. Хвала Аллаху, от меня и не

требовался ответ, Олла сама прекрасно справлялась со своим монологом.

– На самом деле мертвецы – вполне миролюбивый народ. Им не до нас, мягко говоря. А оживший мертвец из мифа – это просто персонификация прошлого. Когда оно оживает и вторгается в настоящее, время портится. Оно становится ядовитым и сокращает жизнь. Ожившее прошлое может оказаться смертельно опасным… Ты хоть понимаешь меня?

В другое время я бы энергично закивал: не в моих правилах признаваться, что я не слишком понятлив. Но сейчас у меня не было сил даже на такую маленькую ложь, поэтому я печально помотал головой.

– Вижу, что не понимаешь. Хорошо хоть не врешь…

А глаза у нее вовсе не темные, оказывается. Зеленоватые, крапчатые, как прозрачные лужицы с усеянным мелкой галькой дном. Олла смотрит на меня с сочувствием, и я понимаю, что она играет сейчас на моей стороне. Она – друг, как ни странно. Она – «своя». Наконец-то до меня дошло.

– Я хочу еще чаю, – объявляю, откидываясь на спинку стула. Вытягиваю ноги (до сих пор они были скручены жгутом, моя любимая поза: не просто закинуть одну конечность на другую, но еще и ступней обвить икру). Кисти рук извлекаю из-под мышек и кладу на стол. Все это тождественно вывешиванию белого флага: я больше не намерен оборонять никому не нужную крепость, и Олла это понимает. И принимает как должное. Дескать, иначе и быть не могло.

– Если не сожжешь эту нитку, однажды она снова окажется в твоем нагрудном кармане, – говорит Олла,

манипулируя чайной утварью, так что слова ее сопровождаются шелестом браслетов и звоном дымящихся струй. – Такая тяжесть не для твоего сердца, того гляди, рехнешься от тоски, а то и в окно сиганешь спьяну, у тебя ведь в роду были самоубийцы. Ты о них, возможно, не знаешь, но тело такие вещи не забывает… А если сожжешь ее, не распутав, прошлое твое умрет, но, как говорится, без покаяния. Будет щелкать зубами под твоими окнами, а то и в постель заберется – ищи потом осиновый кол, чтобы его успокоить!

Лазурная чашка снова перекочевала в мое распоряжение, как бы в награду за благие намерения: я как раз дал себе слово, что распутаю и сожгу эту чертову нитку, пусть хоть все городское население будет потом насмешничать по кофейням над простодушным Максом, которому вконец заморочила голову бойкая шарлатанка. Впрочем, я уже не думаю, будто меня просто разыгрывают: все-таки вид из окна оказался веским аргументом. Настолько веским, что думать о нем не хочется. К черту. Забыть на фиг. Лучше уж распутывать красную нитку, запершись в убогих своих чертогах от посторонней помощи, а потом развести маленький костерок в пепельнице. Макс – хороший мальчик, делает все, что ему велят, а чего не велят – не делает, и за это… за это его, пожалуй, оставят в живых. Может. Быть.

– Не грусти, – улыбается Олла. – У тебя впереди такая интересная жизнь, ты еще сам себе позавидуешь.

Я адресую ей – не то чтобы недоверчивый, но вопрошающий взгляд. Откуда бы, дескать, столь заманчивому прогнозу взяться?

– Я же сказала, когда ты вошел: «Выдумка, не человек». Нет, не сказала. У меня вырвалось. Само

сказалось. Значит – правда. Ты и есть выдумка. А выдумывают, как правило, развлечения ради, разве нет?

– Иногда выдумывают ради пользы полезной…

– Бывает. Но только не людей. Какая польза может быть от человека?

Мне, кажется, нечем крыть.

– Ты ведь закурить уже полчаса как хочешь, – вздыхает Олла. – Не стесняйся. Это мне даже на руку: дым ничем не хуже кофейной гущи… Вонь, конечно, от сигарет страшная, ну да окно ведь открыто.

При слове «окно» я непроизвольно втягиваю голову в плечи (я бы ее и в песок спрятал, да нет тут никакого песка). И поспешно лезу в карман за сигаретами, удивляясь, что забыл о такой замечательной возможности привести себя в порядок. Табачный дым впитает мое смятение, свежий майский ветер рассеет дым, а я останусь сидеть на этом стуле, и силуэт мой не истает на ветру, хоть и называет меня «выдумкой» рыжая пророчица Ольга-Хельга. У меня оставалась смутная надежда, что это – просто метафора.

8. Азазель

В апокрифической «Книге Еноха» Азазель выступает как падший ангел, совратитель человечества, своего рода негативный культурный герой, научивший мужчин войне и ремеслу оружейника, а женщин – блудным искусствам раскрашивания лица и вытравления плода.

– Гадать я тебе, как и говорила, не буду, – флегматично сообщает Олла, наблюдая, как дым моей

сигареты смешивается с сизым чайным паром, рождая туманные вихри, причудливые, но недолговечные. – А вот правила игры подскажу.

– Правила… *игры*?

– Конечно. Не забывай: твоя жизнь похожа на игру в нарды. Но поскольку обращаться с мясистыми фигурками из человечины обычно немного сложнее, чем распоряжаться лакированными шашечками, правила игры оказываются запутанными… и они почти никогда не известны самим игрокам. Тот, кому доподлинно известно хотя бы одно правило его игры – счастливчик. Но обычно все устраивается таким образом, что люди знают лишь правила чужих игр, отчего случается множество нелепых недоразумений.

Я понимающе улыбаюсь. Олла очень хорошо формулирует. Лучше даже, чем я сам в наисветлейшие свои минуты. Не могу устоять перед искушением сказать это вслух.

– Не отвлекайся, – хмурится она. – Просто я с каждым говорю его языком. Послушал бы ты меня, когда мальчики с вещевого рынка заходят узнать, сколько еще лет их туши сохранят чудесную способность жрать, срать и крыть баб… Так уж получается: пока я вижу человека, я говорю на его языке, а когда остаюсь одна, молчу: своего языка у меня нет вовсе. Я – зеркало. Просто зеркало, так бывает. Больше не перебивай меня, хорошо?

Киваю смущенно.

– Ты собралась подсказать мне *правила игры*.

– Совершенно верно.

Снова пауза. Разбавляем беседу молчанием, как кофе молоком, чтобы не горчила. Ташка свернулась калачиком на диване, рот приоткрыт, ладошка под щекой. Дрыхнет. Я начинаю думать, что природа ее сна не менее загадочна, чем давешний вид из окна. Она спит не потому, что устала, а отправлена в сон за ненадобностью, дабы не мешать происходящему. Будить Наташку мне совсем не хочется: действительно не до ее щебета сейчас. Но все равно жутковато. Я отворачиваюсь: пусть взгляд скользит по столешнице, по потолку, по Оллиным браслетам; будем считать, что я еще не готов созерцать спящих красавиц. Дух мой не столь тверд и невозмутим, как у сказочных принцев. По крайней мере, пока.

– Большинство мужчин созданы для войны; большинство женщин – для любви.

Скажите пожалуйста, какая неожиданность! Олла решилась наконец прервать молчание – и ради чего, спрашивается? Чтобы обрушить на меня приторную банальность?!

– В обыденной жизни это обычно сводится к тому, что первые явно или тайно соревнуются с каждым встречным, а вторые погрязают в скучном семейном блядстве, – холодно заключает она. – Одно из *твоих* правил гласит: не имей дела ни с теми, ни с другими. По крайней мере, не играй с ними в их игры. Не соперничай с мужчинами, рожденными для войны; не связывайся с женщинами, созданными для любви. Не принимай их всерьез; не давай им принимать всерьез тебя. Лукавь, ускользай, выкручивайся, ты это умеешь. Можешь ездить вместе с ними в городском транспорте, но этим, пожалуйста, и ограничься.

9. Аид

Гомер называет Аида «щедрым» и «гостеприимным», т. к. смертная участь не минует ни одного человека.

– Они… опасны? – спрашиваю я, почему-то свистящим шепотом.

– Вот именно. Смертельно опасны. Они могут сбить тебя с толку. Твоя игровая доска пока похожа на болото. Ты можешь передвигаться только по кочкам: и островки безопасности, и указатели направления. Шаг в сторону – заплутаешь, утонешь. Не давай сбить себя с толку.

Я вопросительно поднимаю брови. Да что брови, я весь – вопрос, даже позвоночник мой изогнулся вопросительным знаком, и кончик носа зудит от напряжения. Я силюсь понять.

– Обычная, нормальная жизнь для тебя погибель, – устало поясняет Олла. – Это не метафора. Ты не сможешь играть по общепринятым правилам и сдохнешь под забором, дурное дело нехитрое. А если произойдет чудо, и ты научишься быть обычным человеком, сдохнешь по другой причине, без всяких там заборов. За ненадобностью. Хочешь выжить – юродствуй, у тебя это славно получится. Будь поэтом или знахарем, забавным городским чудаком или маньяком-убийцей, или монахом, или странствующим Казановой; предложи свои услуги спецслужбам, или запишись в революционеры; на худой конец, можешь стать сутенером или уличным музыкантом…

– Это как раз невозможно. У меня нет слуха.

– Ну, значит, уличного музыканта из списка приемлемых для тебя судеб придется вычеркнуть. Впрочем, мы с тобой говорим не о подобающем тебе занятии, а о способе бытия. Тебе нельзя отвлекаться на попытки зажить нормальной жизнью по общепринятым правилам, только и всего. Работать при этом можно хоть участковым милиционером – если, конечно, у тебя хватит пороху разыгрывать такой спектакль.

10. Айы

Они почитались как покровители, могущие послать счастливую, благополучную жизнь.

– А можно я не буду участковым милиционером? – вежливо спросил я.

– Можно, – великодушно разрешила гадалка.

– А что мне еще можно? Что нельзя жить нормальной жизнью и иметь дело с нормальными людьми, это я уже понял. А с кем мне, в таком случае, можно иметь дело?

– Со всеми остальными. С мужчинами, которые не стремятся к первенству, с женщинами, которые не озабочены поисками любви. С ангелами и с чудовищами, с монстрами и святыми – хотя, на первый взгляд, они, возможно, ничем не отличаются от прочих… Околачивайся поближе к людям, которым чуждо хоть что-нибудь человеческое. К тем, кто действительно *имеет значение*, и к тем, кто не имеет значения вовсе. Научись узнавать их в толпе, наловчись подбирать к ним ключи, поищи в своем сердце сокровища, которыми их можно соблазнить. Это непросто, но дело того стоит.

Именно они бросают кости в твоей игре – даже в тех случаях, когда ты уверен, что событиями движет твоя собственная рука…

– Ты меня напугала, – честно признался я. – Грустно это все. Мне бы хотелось думать, что ты просто морочишь мне голову, но… я откуда-то знаю, что не морочишь. И от этого жутко делается.

– Ну, может быть, жутко, – ее руки взлетели к вискам, пальцы погрузились в лисий шелк шевелюры, губы дрогнули в мечтательной улыбке. – Но на самом-то деле я говорю тебе прекрасные вещи. Я тебе даже завидую, откровенно говоря. Я бы с радостью поменялась с тобой судьбами; я бы украла твою жизнь, не раздумывая, но я не умею. Древнее это искусство, кажется, утрачено безвозвратно… Очень может быть, что тебе предстоит несколько нелегких дней или даже лет, это правда. Ты не захочешь, да и не сможешь принять свою судьбу, и будешь бегать: от нее, от себя, от моих предсказаний и от собственных предчувствий. Но даже эта дурацкая беготня – чудесное занятие, и мне искренне жаль, что я не смогу к тебе присоединиться.

– А почему? – печально спросил я, и сам оторопел от собственного вопроса, а еще больше – от невесть откуда взявшейся печали. В этот момент не было на земле существа, более близкого мне, чем эта странная рыжая женщина с непростым характером и нелепой профессией. Впрочем, сейчас, кроме нас двоих, вообще никого на земле не было, в этом, наверное, все дело.

– Ну… так уж сложилось, – неопределенно объяснила Олла. – Я пока не могу покинуть этот город, а ты не сможешь тут оставаться… Впрочем, сам увидишь,

как все сложится. Тебе скорее понравится, чем нет, я так думаю.

– Не расскажешь подробнее?

– Не расскажу. Зато открою тебе еще одно *правило твоей игры*. Скоро, совсем скоро ты сам сможешь ответить на все вопросы: свои, чужие, чьи угодно. Если захочешь, ты станешь прекрасным оракулом, только не вздумай следовать традиционным ритуалам: они для тебя губительны. Будь внимателен, и весь мир станет твоей гадальной колодой. Трещины на асфальте и ветви деревьев будут принимать форму рун – ты только научись их читать. Книга, открытая наугад, будет содержать ответ на любой твой вопрос; птицы всегда укажут тебе верное направление, а из номеров проезжающих мимо тебя автомобилей сложатся формулы, расшифровав которые, ты не только свинец, но и кошачий помет превратишь в золото. Если захочешь заниматься такой ерундой, конечно.

– Даже так? – лепечу, едва разлепив пересохшие вдруг губы. Я сбит с толку, выбит из колеи, сижу дурак дураком. У меня была такая хорошая «своя тарелка», а меня оттуда насильственно извлекли. Олла наматывает меня на вилку, как некую причудливую макаронину. Есть, правда, вроде бы не собирается – и на том спасибо.

За окном пронзительно каркнула ворона, словно бы подавая сигнал затаившемуся в ожидании подходящего момента невидимому оркестру урбанистической культуры. Где-то рядом, возможно, в соседней квартире, звонко залаяла собака, откуда-то издалека тут же откликнулась ее басовитая товарка. Взвыл автобус, ударилось об асфальт стекло, вместилище живительной влаги (предсмертный звон бьющейся бутылки ни с чем не

спутаешь), печально, с бессильной старческой хрипотцой заматерилась жертва прискорбных обстоятельств. Взвыла сирена скорой помощи, заржали подростки; визгливое сопрано зазывало домой какого-то Шуру – не то конопатого дошкольника, не то сорокалетнего алкаша, сразу ведь не разберешь. Инструменты оркестра звучали слаженно, городская симфония еще никогда не представлялась мне столь продуманным, гармоничным и завершенным произведением. Но насладиться ею в полном объеме мне не довелось.

– Все, твое время вышло, – объявила Олла. – Тебе пора домой. Наталью не буди, пусть еще у меня погостит. В любом случае, вам не по дороге.

– Да нет, по дороге, если ехать на сто сорок третьем автобусе, просто ей выходить на пять остановок раньше… впрочем, мы все равно кофе пить собирались в центре.

– Мало ли что вы собирались… И при чем тут какой-то автобус? «Не по пути» – это значит, что не тебе ее будить. Не твоего это ума дело, Макс. Тебе сейчас нужно не в кофейню, а домой. Запереться там от всех друзей-приятелей, распутать нитку и сжечь ее. А потом – прожить ночь, которая наступит. Все, что случится с тобой между моим подъездом и завтрашним рассветом, – очень важно. Это – карта. Это твое главное дело сейчас.

– Ничего не понимаю. Какая карта? Это метафора? – я жаждал развернутых пояснений, но она подняла меня со стула и чуть не насильно подталкивала к выходу.

– Метафора, не метафора… Тут и понимать-то нечего. Просто распутай нитку, сожги ее и доживи до рассвета. Проживи эту ночь с широко открытыми глазами. Действуй по обстоятельствам, смотри по

сторонам, запоминай, мотай на ус. Больше ничего от тебя не требуется.

– А я могу еще раз зайти к тебе? Завтра, или в четверг, или когда скажешь…

– Может быть, и можешь. Но вряд ли захочешь. Не до меня тебе будет в ближайшее время.

– Все так ужасно?

– Наоборот. Изумительно. У тебя все будет в порядке, – шепнула Олла, открывая мне дверь. – Лучше, чем ты сам себе мог бы пожелать. Много лучше. Это тоже *правило твоей игры*. Последнее на сегодня.

11. Акахада-но усаги

Старшие братья дают ему коварный совет омыться морской водой и лечь на гребне горы, продуваемой ветром. Акахада-но усаги следует совету, и страдания его усиливаются.

Шестьдесят шесть ступенек вниз – я считал их, словно бы творил некое спасительное заклинание. Распахнув дверь подъезда, вознес безмолвную, но прочувствованную молитву неведомым милосердным богам: городской пейзаж был скуден, скучен и неизменен; асфальт под ногами – щербат, но упоительно тверд; небо над головой – легкомысленная сатиновая синь, этакие необъятные «семейные» трусы божества, как и положено нормальному майскому небу. Мир уцелел. Я, кажется, тоже.

Ехать домой не хотелось. То есть ехать хотелось, но не домой, а просто ОТСЮДА, из этого стремного места,

где хрущевские пятиэтажки имеют обыкновение становиться призраками небоскребов, а изящные рыженькие женщины обладают скверными манерами и тяжелым характером древних пророков. Мне требовалось немедленно оказаться где-нибудь в центре города, где шумно, людно, суетно; где на любом углу на одну чужую рожу приходится полтора десятка смутно знакомых рыл. Пусть берут меня под руки, ведут куда-нибудь и врачуют своими милыми повседневными глупостями, потому что…

Я и себе-то не мог толком объяснить, что именно со мной не в порядке. Просто во всем происходящем мне теперь чудилась некая недостоверность. Небо было расположено то ли слишком близко к земле, то ли чересчур высоко; автомобили и автобусы ехали по шоссе то ли необычайно быстро, то ли, напротив, непривычно медленно; прохладный морской ветер проникал не только под одежду, но, кажется, под самую кожу, отчего мышечная мякоть зябко содрогалась, а кончики пальцев твердели и теряли чувствительность – это на весеннем-то солнце! Прохожие… С прохожими была какая-то отдельная беда: они словно бы не видели меня, а если подходили слишком близко – поспешно отводили глаза и огибали мою замершую на перекрестке тушку по какой-то слишком уж крутой дуге. Возможно, впрочем, мне это только мерещилось, но впечатление складывалось тягостное. Я и прежде не раз охотно именовал себя «ссыльным инопланетянином», но это была всего лишь поза, умозрительная картинка, нарисованная для ублажения собственного честолюбия («я не такой, как все» – о-о-о-о-о, круто, круто!). А вот сейчас я впервые почувствовал себя чужеродным предметом в мире людей, причудливой унылой кляксой на жизнерадостном предвечернем фоне южного города.

И ощущение это оказалось скорее малоприятным телесным переживанием, чем сладостным плодом умственного усилия. Я испытывал легкую, но изматывающую дурноту. Нет, меня не тошнило от окружающего мира, но я явственно чувствовал, что мир тошнит от меня. Я был куском непереваренной органики – только-то. И библейско-достоевская цитата: *изблюю тебя из уст моих*, – казалась удивительно актуальной.

От этого морока, как я тогда полагал, существовал лишь один рецепт: быстренько добраться до центра, отыскать там теплую компанию друзей-приятелей, как следует выпить (хоть и не люблю я напиваться, но сегодня – сегодня сам бог велел!). Подвернется коробок травы – еще лучше. Но никаких галлюциногенов: их мой организм, кажется, начал вырабатывать самостоятельно… Оглушить себя, довести до ручки, притупить ощущения, усыпить разум; хорошо бы еще привести домой женщину, все равно кого, лишь бы без особых проблем. Чтобы осталась до утра, потому что сегодня я буду бояться темноты…

У меня была слабая надежда, что после столь интенсивного терапевтического курса я проснусь как новенький. С квадратной головой, конечно, не без того, но морок уйдет. И это главное.

Я так стремился к исцелению, что решил взять такси. Это, конечно, была чистой воды дурь: деньги у меня в последнее время появлялись редко, помалу и без гарантии новых поступлений. Одна поездка в такси – это два дня умеренно сытой жизни. Или один день, но суперсытой. Или три похода в кофейню. Или полкутежа. Или много хорошей пленки для фотоаппарата, или треть платы за электричество, каковое мне уже не раз

грозились отключить за долги, или… В общем, я не мог позволить себе тратить деньги на такси. Но сейчас это не имело значения. Поездка на такси займет десять минут, а на автобусе, огородами, да со всеми остановками – сорок, не меньше. И ждать его еще придется – хорошо если полчаса, а то ведь и до ночи, если не до следующей реинкарнации.

Синяя «копейка» затормозила сразу же, стоило руку поднять. Я возликовал и вежливо осведомился у пожилого усатого мужика, подвезет ли он меня к театру на улице Леннона (центральную улицу города, названную в честь первой русской мумии, пока не спешили переименовывать, и черт с нею: еще два поколения назад городская молодежь наловчилась должным образом комкать ульяновское погонялово; традицию постепенно усвоили даже те горожане, чьи музыкальные пристрастия ограничивались Пугачевой да Джо Дассеном). Дядечка флегматично кивнул, не стал даже цену поездки назначать заранее, оставляя сей животрепещущий вопрос на мое усмотрение. Словно догадывался, что в таких случаях я плачу чуть больше, чем положено.

Курить в машине мне великодушно разрешили; самое же удивительное, что в салоне имелся кассетный магнитофон – не встроенная магнитола, конечно, тогда такая роскошь была редкостью – просто лежала на заднем сидении маленькая переносная «сонька» и сипло насвистывала некий приятственный джазец. Я расслабился. Курил, слушал музыку, гадал, кто из приятелей встретится мне сейчас первым и хватит ли заначенной в нагрудном кармане пятерки для овеществления запланированного загула; на все формы размышлений о давешнем визите к гадалке был наложен

строжайший запрет. Я умею держать себя в узде, если очень припрет.

Релаксация моя достигла неописуемых высот, когда водитель остановил машину. Я полез в карман за деньгами. К моему изумлению, он буркнул: «Не надо, мне по дороге было», – неслыханное событие для новой, только-только наступившей, эпохи всеобщей экономической неприкаянности. Я так растерялся, что, кажется, даже поблагодарить забыл усатого своего благодетеля. Вылез из машины чуть не в полуобморочном состоянии: скорее, скорее, пока ангелы-хранители мои не опомнились и не вразумили этого блаженного.

Когда я понял, что меня высадили вовсе не напротив театра драмы на Ленина-Леннона, а на углу улицы Шевченко и проспекта Мира, точнехонько у моего подъезда, синей «копейки» и след простыл.

– Ну, дела… – жалобно сказал я сам себе. – Я же его просил… Адрес-то мой как он угадал, а?

Ответа, разумеется, не последовало. Небеса не разверзлись, дабы отправить мне огненный факс с пояснениями, да и лукавый Мефистофель не тявкнул из-за угла черным пуделем. Напрасно, кстати: я бы сейчас охотно уступил ему свои Ка, Ба, Ах и прочие метафизические кишки, если бы в пакет дьявольских предложений входил полный набор четких и ясных ответов на все мои вопросы. Однако Фауста из меня не получилось.

По всему выходило, что мне следует идти домой и выполнять нехитрую инструкцию суровой Оллы-Хельги. Знак судьбы и все такое… Ага, как же!

Когда я понимаю, что меня к чему-то принуждают, я теряю разум. В таких случаях я упрям как осел и не способен трезво оценить ситуацию. Я буду стоять насмерть за право поступить по-своему, даже если в глубине души знаю, что затеял глупость. Я и летать-то, вероятно, до сих пор не научился потому лишь, что никто никогда не запрещал мне летать. Попробовали бы!

Поэтому я пожал плечами, сунул руки в карманы и зашагал прочь. От моего дома до пресловутой улицы имени мумии и музыканта всего-то минут пятнадцать пешком. А если быстро идти, то и вовсе десять. А если очень быстро…

Галопом я все же не понесся, но к тому шло.

Торопливость моя оказалась излишней. Улица была на месте, театр – тоже, сквер возле театра никуда не делся. Да и любимая моя безымянная кофейня (когда-то она называлась, конечно же, «Театральное кафе», но вывеску еще года полтора назад похитили мои друзья художники для каких-то своих загадочных артистических нужд, а тратиться на новую дирекция не пожелала) не только не исчезла, но и выпустила на тротуар разноцветные щупальца пластиковых столиков. Чего в этом идиллическом пейзаже не хватало, так это знакомых рыл. Это в южном-то городе, в самом начале душистых майских сумерек. Невозможно.

– Не-воз-мож-но! – сказал я вслух, по слогам. Две девушки в одинаковых джинсовых платьях взглянули на меня испуганно и чуть презрительно, как обычно смотрят на городских психов, и торопливо зацокали каблучками от греха подальше. Одна из них была совершенно в моем вкусе, вторая принадлежала к разновидности женщин, которых я видеть не могу. Почему-то они очень часто

ходят парами, эти два типа, и чудовища заботливо оберегают красавиц от моих посягательств. Эх!..

Я зашел в кафе, с неудовольствием отметил, что кассирша там сегодня новая, и за стойкой суетилась какая-то инородная пигалица с искусственными ресницами, – а ведь я не только всех местных теток, я, кажется, даже бесчисленных членов их семей в лицо знал! Взял чашку кофе, пятьдесят граммов коньяку, вышел на воздух, уселся на темно-зеленый пластмассовый стул, взгромоздил посуду и локти на красную клеенку. Закурил, огляделся. Народу – тьма, знакомых лиц – ни одного. Впору с ума сойти.

Минут сорок я нес вахту за столиком. Потом нервы мои не выдержали, и я покинул пост. Часа полтора блуждал по городу. Обошел все мало-мальски обжитые места; в финале заглянул даже на книжную толкучку в надежде встретить там знакомых спекулянтов. Шансы были велики: одному я задолжал семь рублей за тонкий коричневый ломтик сочинений Борхеса; другому заказал дорогущую двухтомную энциклопедию «Мифы и легенды», за которую пока не мог расплатиться; третьему проиграл в клабор дореволюционное издание «Графини де Монсоро» (отдавать-то книжку не жалко, а вот лезть за нею на антресоли я ленился уже второй месяц кряду). Согласно закону подлости, ребята были просто обязаны вынырнуть из толпы прямо перед моим носом и сурово потребовать расплаты. Ан нет, не вынырнули, хотя время сейчас у них самое горячее: после обеда люди почему-то расстаются с деньгами куда охотнее, чем поутру, не знаю уж почему…

Отсутствие знакомых лиц там, где им было положено находиться, постепенно сводило меня с ума, я

терял чувство реальности и едва ориентировался в знакомых переулках – а ведь в этом лабиринте невозможно отыскать булыжник, который хоть раз да не попирался бы моей стопой.

Ветер, настигший меня возле дома гадалки, следовал за мной по пятам, я уже пропитался им насквозь, как пропитывается влагой одежда в туманный день. Засунув меня в соковыжималку, можно было бы получить несколько порций великолепного свежего ветра. Какая-никакая, а все же хозяйственная польза!

Я все еще помнил, кто я такой; помнил даже, какого рода нужда заставила меня описывать бесконечные круги по центральной части города… но уже начинал всерьез подумывать о том, чтобы записать эту бесценную информацию на бумажке: «Я – Макс, ищу знакомые лица, в случае полной утраты памяти прошу доставить меня по адресу: улица Шевченко, дом четыре дробь десять, квартира тридцать шесть. Есть надежда, что именно там я и живу». Бумажку следовало предусмотрительно приколоть к груди: авось, встретится на моем пути к безумию некий милосердный самаритянин, способный выполнить инструкцию.

В какой-то момент я, наконец, сообразил, что можно просто обзвонить всех знакомых, чьи номера я помню. Если уж их нет ни на улицах, ни в кафе, хоть кто-то должен оказаться дома. Еще одну вечность я угробил на поиски телефонов-автоматов. Разумеется, не нашел ни одного исправного – кто бы сомневался!

Надо было возвращаться домой. По крайней мере, там обретался телефонный аппарат идиотически жизнерадостного оранжевого цвета. Разум уже давно подводил меня к этому разумному решению, однако ноги

уносили в противоположном направлении. Мне бы свернуть на Спартаковскую, откуда до моего телефонизированного жилища рукой подать, а я зачем-то свернул на улицу Маяковского, и вот тут-то…

12. Али

Однажды Аллах вернул на небо солнце, чтобы Али мог совершить предзакатную молитву.

К улице Маяковского у меня всегда было особое отношение. Я очень любил ее – узкую, короткую, тенистую, засаженную липами и почти не порченную выхлопными газами, хотя дорожные знаки проезду автомобилей отнюдь не препятствовали. Одна сторона улицы Маяковского всегда была людной и оживленной, небо над нею пестрело лоскутами парусиновых тентов, прохожие локтями прокладывали себе дорогу между столиками летних кафе и табуретами окрестных жителей, опрокидывали казенную посуду с остатками кофе, чертыхались, хохотали, приветствовали друзей-приятелей, прилюдно устраивали семейные сцены, обменивались любовными признаниями, сплетнями и кулинарными рецептами. Задворки городского сада жасминовыми облаками наползали на тротуар; голуби, воробьи и вороны то и дело вспархивали из-под ног пешеходов, но не желали воспарять, ибо помыслами местных пернатых управляли бойкие старушки с мешками тыквенных и подсолнечных семечек: их деревянные скамеечки были расставлены строго на расстоянии пяти метров друг от друга, не больше и не меньше. Здесь же бегали дети и собаки, жались к горсадовскому забору робкие филателисты, а

пролетарии всех стран (в частности, отечные музыканты из похоронного бюро и чернокожие студенты из близлежащего общежития Института связи) с энтузиазмом воссоединялись на перекрестке, где с раннего утра дежурила бочка с квасом.

Противоположная же сторона улицы Маяковского всегда была пустынна; редкие одинокие прохожие вызывали настороженное недоумение местных обитателей: экий топографический нигилизм! Даже птицы там не селились, зато и не гадили; так что асфальт казался стерильным, по крайней мере, не пестрел белесыми кляксами помета. Здесь стояли двухэтажные жилые дома из серого ракушечника, выходящие на улицу окна предусмотрительно скрывались за одинаковыми решетками: убогая четвертушка круга в углу, от нее, подобно солнечным лучам, разбегаются толстые железные прутья. За высокой оградой между домами скрывался миниатюрный костел – возможно, самый маленький в мире храм этой конфессии; на углу высилась угрюмая, облицованная изжелта-сизым кафелем, пятиэтажка, построенная сравнительно недавно, в начале семидесятых годов; из-за железных ворот, ведущих во двор, веяло холодом даже в июле. Одна из подворотен по «необитаемой» стороне улицы Маяковского была знакома любому совершеннолетнему горожанину: там проживала знаменитая Валька-Мадонна, торговавшая спиртным в ночное время. Я сам не раз навещал эту плодово-ягодную фею и могу свидетельствовать: мне всякий раз требовалось сделать над собой некоторое усилие, чтобы перейти на ту сторону улицы. С моими приятелями творилось то же самое, хотя никаких рациональных объяснений этого феномена у нас, разумеется, не находилось.

Теперь же с улицей Маяковского творилось что-то вовсе неладное: она была абсолютно пустынна. Вся, полностью. Куда-то пропали случайные прохожие и местные обыватели, досужие завсегдатаи кофеен и вездесущие старушки с семечками. Даже детей и птиц не было. Исчезла бочка с квасом; разноцветные тенты и шаткие столики из белой пластмассы тоже накрылись некой гибельной вагиной. Я поначалу даже решил было, что сдуру куда-то не туда свернул. Однако таблички с названием улицы, липы, жасмин, костел и солярные оконные решетки были на месте.

Я замедлил шаг, некоторое время бродил по тротуару, во все глаза пялясь по сторонам. Наконец остановился, окончательно оглушенный. Желудок заныл от страха – совершенно иррационального и потому непреодолимого.

– Успокойся, – сказал я себе вслух. – Мало ли… Ну, закрыли кафешки, бывает. Санэпидемстанция наехала, или бандиты, или еще какая дрянь приключилась.

Звук собственного голоса обычно оказывает на меня целительное действие. На сей раз, однако, проверенный метод не сработал. Я почему-то испугался еще больше.

А потом я как-то внезапно понял, что уже стемнело. Кажется, только что начали сгущаться сумерки – и не синие ночные, а дымчатые, предзакатные, ласковые, лживые, сулящие волшебный вечер даже самому разнесчастному бедолаге, бредущему в ближайший гастроном на предмет закупки недельных запасов кефира. Выходило, что я как-то проворонил, бездарно растранжирил на беготню самое сладкое время суток, границу между вечером и ночью… Но этого быть не могло. Потому что еще и пяти минут не прошло с тех пор,

как я свернул на улицу Маяковского, а когда я сворачивал, день не собирался уступать вечеру, птичий щебет не умолкал, окна не озарялись желтым леденцовым сиянием и свет фонарей не растекался бледными лиловыми кляксами по синеющему асфальту, даже речи об этом не шло.

Фонари, впрочем, и сейчас не горели, да и окна домов оставались темными. Ночь, однако, наступила – по крайней мере, на одной, отдельно взятой городской улице. Нервы мои не выдержали, я развернулся на сто восемьдесят градусов и побежал.

Дальнейшие события выходят за рамки моих тогдашних представлений о возможном, поэтому изложить их более-менее внятно я не способен. Могу сказать только, что никуда я не прибежал, как ни старался: то ли топтался на месте, то ли проклятая улица вдруг стала бесконечной, как прямая линия из школьного курса ужасающей науки геометрии. В какой-то момент я сдался, сел на тротуар, обхватил колени руками, спрятал лицо – страус, да и только. Я бы закричал, пожалуй, да сил на это уже не было. Меня охватило оцепенение, почти спасительное: все же никаких монстров, желающих заполучить меня на ужин, поблизости не обнаруживалось, а будь у меня чуть больше энергии – кто знает, какие глупости я бы мог совершить? Стал бы, например, стучаться в окна, ломиться в подворотни, или на дерево полез бы – а я совершенно уверен, что ничего в таком роде мне тогда делать не следовало. Сидеть на асфальте, скукожившись, – еще куда ни шло.

Не знаю, сколько я так просидел. Думаю, не слишком долго: будь у меня больше времени, я бы наверняка собрался с мыслями и попробовал бы найти

выход из этой нелепой, но кошмарной ситуации. К чему привели бы мои поиски – иной вопрос; ответ на него не льстит моему самолюбию… ну и ладно.

Но мне так и не довелось приступить к решению этой непосильной головоломки. Откуда-то издалека донесся слабый шум. Звук этот оказал на меня весьма благотворное воздействие: он был знакомым, обычным, из ряда вон ни в коем случае не выходящим. Один из повседневных городских звуков; другое дело, что я не сразу его опознал. Ничего удивительного: все привычные уху горожанина шумы звучат, как правило, не отдельно друг от друга, а образуют сложные, многоголосые композиции.

Впрочем, через несколько секунд я все же понял, что звук этот свидетельствует о приближении некоего транспортного средства. Что-то ехало по улице Маяковского, но вот что? Не легковой автомобиль, не автобус, и уж тем более не грузовик. И, конечно, не трамвай: трамвайный лязг не спутаешь ни с чем.

Я, наконец, решился поднять голову и уставился на проезжую часть. Ко мне приближался троллейбус, добродушное ручное рогатое создание. Салон был ярко освещен, красные сигнальные огоньки придавали транспортному средству сходство со скудно убранной новогодней елкой. Двузначный номер не поддавался идентификации – обычное дело для нашего городского транспорта – но номер сейчас не интересовал меня совершенно. У меня была одна цель: убраться подальше от улицы Маяковского и никогда – НИ-КО-ГДА! – сюда не возвращаться. Это все.

Троллейбус остановился рядом со мной, дребезжа, открылась задняя дверь. Я метнулся в салон, дверь мягко

закрылась (впрочем, неплотно: оставалась здоровенная щель, сквозь которую в салон тут же пробрался мой сегодняшний спутник, холодный морской ветер). Троллейбус поехал. Я тихонько рассмеялся от облегчения. А потом вспомнил, что по улице Маяковского не ходят троллейбусы, здесь и проводов-то отродясь не было.

До сих пор не знаю, почему я тогда не закричал, не запаниковал, не стал протискиваться в щель между створками разболтанной двери, не рванул к кабине водителя, дабы безотлагательно убедиться в его антропоморфности. Во мне словно бы перегорел некий неведомый предохранитель. Поскольку мой организм, вероятно, не был рассчитан на страх такой мощности, я внезапно успокоился. Вернее, обмяк. Откинулся на спинку сидения, меланхолично погладил ладонями прохладную дерматиновую поверхность.

«Все в порядке, – вяло думал я. – Все хорошо. Можно выйти на следующей остановке. Конечно же, можно. Ну вот, и выйду».

Я не сразу заметил, что за окном снова стало светло. Ну, почти светло: сумерки все же мало-помалу отвоевывали город у армии солнечных бликов. Троллейбус вырулил на Спартаковскую площадь, оттуда свернул на проспект Мира. Теперь он ехал по хорошо знакомому мне одиннадцатому маршруту и уверенно приближался к моему дому. На остановках, впрочем, даже не притормаживал. Я не удивился, когда троллейбус остановился напротив моего подъезда. Задняя дверь неспешно, словно бы ленясь, открылась. Я выскочил на улицу и только теперь решился украдкой покоситься на кабину водителя. Невнятное усатое лицо

вполне могло принадлежать моему давешнему благодетелю, водителю синей «копейки». Впрочем, оно с тем же успехом могло принадлежать кому угодно: таких усатых мужиков средних лет в клетчатых рубашках пруд пруди в любом городе, имя им легион.

Троллейбус скрылся за углом, а я вошел в свой подъезд и, перепрыгивая через ступеньки, понесся наверх. План дальнейшего существования был ясен и прост: запираю дверь, включаю все осветительные приборы, выпиваю рюмку чего-нибудь заначенного (или даже две, но небольше, потому что расслабляться пока рано)… выкуриваю полпачки сигарет, с горем пополам успокаиваюсь и распутываю Оллину нитку. А потом – в огонь ее, в огонь! От греха подальше. Я решил, что экспериментов на сегодня достаточно. Буду выполнять инструкцию, а там поглядим.

13. Аматэрасу

…боги решают хитростью выманить Аматэрасу, чтобы вновь вернуть миру свет и порядок. Для этого… на ветви священного дерева вешается магическое ожерелье из резных яшм… приносят «долгопоющих птиц» – петухов, чей крик возвещает наступление утра, и в довершение всего богиня Амэ-но удзумэ пляшет на перевернутом чане, распустив завязки своей одежды, чем вызывает громовой хохот богов. Удивленная таким весельем Аматэрасу выглядывает из грота…

Пока я дрожащими руками шерудил ключом в замке, за дверью вопил телефон. Я успел-таки вскрыть свое жилище, снять трубку и услышать сакраментальное: «Куда ты подевался?» – после моей давешней одиссеи

вопрос звучал более чем цинично. Я пробурчал что-то невнятное, сказал, что, дескать, очень занят, обещал перезвонить позже. Стоило опустить трубку на рычаг, телефон зазвонил снова. Диалог слово в слово соответствовал предыдущему, в финале я снова отделался обещанием перезвонить. Завершив беседу, я наконец запер за собой дверь и направился к книжному шкафу, где таилась приныканная на черный день бутылка болгарского бренди, наполовину пустая, поскольку два вполне себе «черных» дня у меня на этой неделе уже случились. Телефонный звонок раздался в тот момент, когда я обшаривал комнату в поисках чистой рюмки. Дело, конечно, безнадежное, но я всегда был идеалистом…

Четвертый и пятый телефонные звонки последовали сразу же за третьим. Я начал понимать, что если так пойдет и дальше, я не только проклятущую нитку не распутаю, но даже честно заслуженную рюмку микстуры от стресса не волью в свой исстрадавшийся организм.

Поэтому я аккуратно положил телефонную трубку рядом с аппаратом. Пусть себе теперь звонят, может же у меня в кои-то веки быть занято? Может.

Ну и вот.

Напоследок я адресовал взбесившемуся аппарату укоризненный взгляд, почти машинально взял с подоконника чистую (хо-хо, знай наших!) рюмку, налил себе немного бренди, проглотил, почти не ощущая вкуса, закурил, налил еще, уселся на ковер, скрестив ноги. Еще глоток жгучей ароматной жидкости… ага, вот оно, спокойствие. И только спокойствие. Мне показалось, что все начало наконец становиться на свои места. Прогулка по улице Маяковского – черт с нею, сейчас-то я был

дома, взаперти, в безопасности, один. Мое отражение успокаивающе улыбалось мне из настенного зеркала, повешенного в свое время специально для иллюзорного увеличения площади комнаты. Я адресовал своему заботливому двойнику ответную улыбку. Нам всегда было хорошо вместе, что правда, то правда.

И тут зазвонили в дверь.

Я возблагодарил милосердное небо за то, что не успел осуществить свое решение касательно возжигания всех мыслимых осветительных приборов. Теперь можно делать вид, будто меня нет дома. Вот и славно: меньше всего на свете я сейчас был готов к роскоши человеческого общения. Раньше надо было попадаться мне навстречу, когда я в поисках родной человекодуши по городу метался, а теперь – все, проехали. Мне нитку распутывать надо, такие вот дела. Да и не осталось у меня в запасе ненужных слов для поддержания светской беседы. Все подевались куда-то…

Я разрешил себе еще одну порцию бренди: рюмка была совсем крошечная, жидкость цвета крепкого чая словно бы и не убывала из бутылки. Извлек из пачки новую сигарету, с удовольствием отметил, что руки уже не дрожат. Красота!

Звонок снова полоснул по нервам. Я поморщился: умеют все же некоторые граждане обламывать кайф, даже такой скудный. Трезвонят и трезвонят, словно свет клином на мне сошелся, будто некуда больше деться, и я – последняя надежда, а моя комнатушка – единственное пристанище. Возможно, впрочем, именно так и обстояли дела моего неизвестного визитера – что ж, значит, ему крупно не повезло. Моя задница не намеревалась отрываться от ковра, благо я как раз извлек из кармана

ужасающую Оллину нитку и принялся распутывать первый из бесчисленных узлов.

Звонок умолк, словно бы собираясь с силами, потому что минуты через три он задребезжал снова. На сей раз звонили настойчиво, я бы даже сказал – беспардонно.

– А если у меня девушка? – возмущенным шепотом спросил я у входной двери. – А если я под калипсолом? А если я уехал на дачу, в Москву, в Петушки, к черту на рога? А если я умер? Что ж теперь, дверь мне выламывать?! Мудачье.

Звонок умолк, словно бы обидевшись. Я спрятал торжествующую улыбку в уголках губ и принялся за следующий узел. Дело понемногу шло, узлы сдавались, и это делало меня совершенно счастливым. Сказал бы мне кто-нибудь пару дней назад, какого рода деятельность, оказывается, наиболее благоприятна для моей психики…

Новый звонок меня по-настоящему рассердил: теперь звонили не мне, а моему соседу, алкоголику Диме, человеку без определенных занятий, без возраста, без крупицы разума, зато неизменно добродушному и покладистому, в каком бы состоянии он ни пребывал. Блям, блям, – призывно тренькали фальшивые нотки за стеной. Обычный маневр: всем известно, что Дима не только моим друзьям, он зеленым человечкам с Марса дверь откроет в надежде на глоток дармовой аквавиты, а не достанется ничего – что ж, вздохнет тяжко и зашаркает в свою берлогу, ждать следующего шанса. А захватчики могут располагаться на коммунальной кухне, шарить по соседским кастрюлям в поисках закуски и караулить меня. Считается, что рано или поздно я

вернусь домой. До сих пор именно так всегда и случалось…

Я распутывал нитку и слушал, как бредет по коридору мой сговорчивый сосед, лязгает замок, коридор взрывается топотом и голосами. Компания, судя по всему, ко мне заявилась не самая маленькая. Теребя очередной узел, я распознавал голоса чужих, в сущности, людей, вознамерившихся похитить у меня очередной вечер жизни – потому лишь, что пить в кафе дорого, в парке – опасно (памятуя недоброй памяти восемьдесят пятый год, милиция все еще с энтузиазмом выслеживала пьяниц в так называемых «общественных» местах), а свободных хат, без родителей, жен, детей и прочей нечистой силы – раз и обчелся… И вот ведь странное дело: до сих пор такое положение вещей меня вполне устраивало; более того, всего пару часов назад я рыскал по городу в надежде встретить этих самых людей, а сейчас едва сдерживал гнев. «Закончу с ниткой, выйду и разгоню всех на хрен, – мрачно обещал я себе. – Ох, я им испорчу вечер! Ну, испорчу…»

Незваные татаро-монголы тем временем принялись стучать в мою дверь: «Макс, открывай, ты дома, Левка видел, как ты в подъезд заходил…»

«А я сплю, – сердито думал я. – Сплю и не просыпаюсь. У меня здоровый, крепкий, младенческий сон. Пшли вон, уроды!»

«У Карела же день рождения, – вещали из-за двери „уроды". – У нас полная сумка водки, два торта и палка колбасы! И Ирочка тут, она тебя сегодня любит… Ирка, скажи Максу, чтобы он открыл…» – и далее, с припевом и повторами, снова и снова, как заведенные.

Какая такая Ирочка-Ирка меня сегодня любила, я так и не уразумел: имя-то распространенное, а высокий требовательный голос показался мне незнакомым. Ну и черт с нею, хуже нет, чем такой вот эротический шантаж на весь коммунальный коридор. Безвкусица, перебор. Не царское это дело.

Противостояние продолжалось минут пятнадцать. За это время я покончил с узлами и принялся за разведение ритуального костра в самой большой из стеклянных пепельниц. Мог бы, конечно, и в пластмассовой огонь развести, с меня бы сталось, но этим вечером я на диво хорошо соображал.

Празднование именин наконец началось без моего участия, на территории человеколюбивого Димы. У моей двери выставили что-то вроде почетного караула, каковой периодически побивал несчастную фанеру кулаками и сулил мне колбасные горы и винно-водочные моря в обмен на добровольную капитуляцию. Время от времени к мужским прагматическим обещаниям присоединялось жалобное девичье мяуканье: «Ма-а-акс!» Оно понятно: у Димы обстановка, мягко говоря, не слишком праздничная: два огромных пустующих шкафа, продавленный диван, стол с табуретом, да древний черно-белый телевизор на колченогой тумбочке. А у меня – ковер с подушками для всеобщего возлежания, музыка, свечи и прочая романтическая хренотень. Ясен пень, им было за что бороться!

Давно уже я не чувствовал себя такой законченной сволочью. И ощущение это, как ни странно, пришлось мне по душе. Тайная дистанция между мною и прочими людьми внезапно стала явной. Я не хотел иметь дела со старыми приятелями – с этими, с другими, вообще ни с

кем. Кажется, я вообще больше не хотел иметь дела с людьми. Задача трудноосуществимая, но сейчас я понимал, что вполне готов на ее выполнение жизнь положить: оно того стоило.

Нитка тем временем заняла отведенное ей место в пепельнице, в центре моего миниатюрного костерка. Но морока на этом не закончилась. Оказалось, не так-то это просто – сжечь толстую шерстяную нитку. Я почему-то полагал, что она вспыхнет, как бумага, и все, развеивай пепел. Ничего подобного. Тлела, зараза, рассыпалась на разрозненные фрагменты, которые то и дело норовили угаснуть. Вооружившись спичками, я боролся как мог.

Сражение это завершилось моей сокрушительной победой. Победа, впрочем, была чуть ли не Пиррова: я вспотел, обжег указательный палец, подпалил манжету куртки; хорошо хоть волосы и ресницы уцелели, а то гулял бы паленым поросенком, все девушки – мои…

Тут только я сообразил, что гости притихли. Перестали колотить в дверь – это, положим, давно пора было сделать, молодцы; но из-за перегородки, отделявшей мою территорию от соседской, больше не доносилось ни звука. Они, конечно, могли покинуть неуютную Димину конуру, но чтобы добрый десяток подвыпивших людей бесшумно проследовал через коммунальный коридор к выходу – невозможно!

Пепел я сдунул в распахнутое окно; бутылку, все еще наполовину наполненную бренди, предусмотрительно спрятал в шкаф. На цыпочках проследовал к двери, прислушался. Тишина! Я повернул ключ, выглянул в коридор. Темно, тихо. Ничего не происходит.

За минувший день я успел порядком устать от нескончаемых нелепостей и несуразиц. Больше всего на свете мне сейчас хотелось поставить точку хотя бы над одним из бесчисленных «i». Поэтому я тихонько постучал в дверь соседа, в глубине души подозревая, что сейчас она распахнется и мне на голову свалятся притаившиеся там приятели. А что, ребята вполне могли прибегнуть к такому розыгрышу, зная мое любопытство. Ну… если так, значит, я попался как дурак, а они заслужили право завершить свою вечеринку на моей территории. Я все взвесил и решил: а почему бы нет?

14. Ан Дархан Тойон

В якутской мифологии дух – хозяин домашнего очага. Представлялся в виде маленького седобородого старичка. Обращаясь к нему, употребляли такие эпитеты, как «светлая голова», «белеющая борода», «светлый дедушка».

Услышав стук, Дмитрий Акимович мгновение помедлил, потом понял, что стучит Мальчик, а значит, надо открыть. Поспешно, но без излишней суеты он покинул свою излюбленную стенную щель и стал перемещаться к двери, на ходу принимая поднадоевший уже человеческий облик. В последнее время он не раз подумывал о том, что от скверной привычки ежедневно воплощаться в человечину пора бы отказываться. Чай, не юноша уже, фокусы безобразничать. Видали мы таких фокусников – и где они сейчас? То-то же…

На деле, однако, все оставалось по-прежнему: Дмитрий Акимович как-то привык, прикипел к неуклюжей этой оболочке и ценил нехитрые радости людского

бытия, испытывать которые без ее участия было бы затруднительно. Но в глубине души он уже полагал себя бесплотным, как прежде, существом, а потому порой небрежничал: то среди бела дня под потолком задремлет, то в щель какую запрячется, дверь на щеколду не закрыв, то в зеркале поленится отразиться, мимо него шаркая: авось никто не заметит! Да и воплощаясь, Дмитрий Акимович все чаще позволял себе некоторые вольности. То пегие пряди волос вдруг белоснежными кудрями изобразит, то лысину с макушки на лоб передвинет, то римский нос уточкой вытянет, а порой случалось, что и слезящиеся блекло-голубые очи пьянчужки окрашивал в иные цвета. Окружающие ничего не замечали, а даже если и мерещилось им что-то подозрительное, тут же списывали все несообразности на его пьянство. Да и не было им никакого дела до алкоголика Димы: он им *не очень мешал*, поскольку производил впечатление существа тихого, смиренного и абсолютно никчемного – вот и ладно. Ему это было только на руку: только когда тебя не берут в расчет, и можно спокойно существовать в свое удовольствие.

А удовольствий в существовании Дмитрия Акимовича имелось немало, хотя людям сторонним было бы непросто в это поверить. Но и проблем, конечно, хватало.

Начать с того, что питался Дмитрий Акимович страстями человеческими и за кормежку платил соразмерно, повинуясь некоему несформулированному, но для него очевидному *правилу*. Тех, кто был способен испытывать сильные чувства: страх, восторг, ненависть, радость, отчаяние, – Дмитрий Акимович тайно опекал, заботился об их здоровье и долголетии (отчасти из корыстных соображений: кто ж дойную-то корову под

нож допустит?!) и по мере скромных своих сил скрашивал их существование – так, по мелочам.

В последнее время, однако, дела Дмитрия Акимовича шли не бог весть как. Жильцы ветхого трехэтажного дома номер четыре дробь десять по улице Шевченко как-то досадно измельчали. Обитали здесь все больше старики-пенсионеры да несколько рыхлых семейных пар. Сильных чувств, и тем паче страстей, они практически не испытывали; из острых ощущений им были ведомы голод, жажда и (изредка) физическая боль; редкие тусклые оргазмы можно было вовсе не брать в расчет. Нормой считались, с одной стороны, усталость, раздражение и беспокойство, с другой – сытость, покой, вялое любопытство («что там делается у соседей?» и «что сегодня по телевизору?»). Но этими эмоциями Дмитрий Акимович брезговал, как записной гурман блокадным студнем из клейстера.

Уже лет двадцать минуло с тех пор, как он объявил жильцам дома номер четыре дробь десять форменный бойкот. Хозяйство их приходило в упадок: из кранов вечно капала вода; лампочки то и дело перегорали; газовая колонка редко работала дольше одного дня в месяц, поскольку исправно ломалась после каждого ремонта; молоко стремительно кисло даже в холодильниках; новые обои отклеивались от стен; под половицами деловито сновали мыши, а жирная холеная моль с наслаждением лакомилась нежным мехом шуб и ядреной овчиной дубленок, полагая обильный нафталин чем-то вроде пикантного соуса.

Сам же Дмитрий Акимович неожиданно нашел новую «кормушку». В подвальном этаже дома располагался пункт приема стеклотары. Соответственно,

ступеньки, ведущие вниз, динамическая композиция из поломанных деревянных ящиков на тротуаре и соседствующая с ними подворотня образовали своеобразный убогий парадиз для местных пьянчужек. Они сносили сюда обнаруженную на улицах пустую посуду, водили дружбу с приемщиками и иногда выполняли их поручения; самые сообразительные порой сновали вдоль очереди и предлагали аутсайдерам сдать тару чуть дешевле, зато немедленно, без томительного ожидания. Заработанные деньги пропивались тут же: «элита» имела право на вход в подвал; менее статусные, как воробьи, сновали в окрестностях, не в силах, впрочем, отойти от священного сооружения дальше, чем на пару десятков метров.

В этой среде, как обнаружил Дмитрий Акимович, бушевали страсти невиданной мощи. Алкоголь развязывал шнурки невидимых ортопедических корсетов, в которые насильственно упаковывается человеческое естество на конвейерах любой из педагогических фабрик планеты. Ненависть здесь в считанные секунды становилась беззаветным обожанием; эйфорический восторг мгновенно сменялся отчаянием (когда, например, падала на асфальт бутылка, на дне которой еще плескались остатки вонючего вермута), меланхолическая тоска вдруг захлебывалась отчаянной истерикой: *а-а-а-а, с-с-с-суки*! Если и копошились прежде за пазухой Дмитрия Акимовича сомнения: мир, дескать, наверняка идет к концу, а род человеческий вырождается, – то теперь он их решительно отбросил. Понял, что просто не везло дому четыре дробь десять с жильцами – что ж, бывает.

Тогда-то Дмитрий Акимович и стал баловаться с воплощением. Выбрал внешность, идеально

соответствующую избранной роли: убогую, неброскую, неприметную. Выходил на улицу, сидел на ящиках со своими новыми любимцами. Те мигом почуяли, что лысоватый молчун Дима принес им удачу: в тот день, когда он впервые проковылял вниз по крутой лестнице с полной авоськой пивных бутылок, на верхней ступеньке был найден рубль – мятый, как будто им жопу уже раза два вытирали, но зато не рваный, а значит, вполне пригодный к товарно-денежному обмену. С тех пор, кстати сказать, чудеса такого рода с ними то и дело случались, причем в самый нужный момент: если бутылку кто разбил, или менты наехали, или просто в рыло кто-то получил, – значит, нужно становиться на карачки и ползать среди ящиков: обязательно трояк найдешь, а то и червонец; это прямо-таки местным обычаем сделалось.

Дело кончилось тем, что в одной из комнат коммунальной квартиры номер тридцать шесть умерла одинокая старуха Барышева, и разнежившийся в вечно нетрезвых людских телесах Дмитрий Акимович поспешил занять ее комнату. Соседям и прочим заинтересованным лицам он глаза отвел: плевое дело оказалось, они и не задумались даже над тем, откуда он взялся. Словно бы никакой старухи Барышевой и не было вовсе, а Дмитрий Акимович был всегда. В каком-то смысле именно так и обстояли дела…

Поселившись в людском жилье на правах полноправного и единственного обитателя, Дмитрий Акимович окончательно расслабился. Раздобрел, обленился, стал благодушен. Лампочки в доме перегорали уже не столь часто. Вода из кранов все еще капала, и моль бесновалась по шкафам, а тараканы жировали на кухне, но мышей он, поразмыслив, укротил.

Да и на газовую колонку махнул рукой: раз уж починили, пусть себе работает. Не жалко.

А потом, четыре года назад, соседи, проживавшие в комнате, соседствующей с убежищем Дмитрия Акимовича, решили съехаться с мамой. У них были некоторые основания надеяться, что глухая старуха окажется менее долговечной, чем расширенная жилплощадь. Вялые обменные страстишки подкармливали Дмитрия Акимовича долгими зимними вечерами, когда друзья-алкоголики прятались по домам от мокрого снега. Продолжалась эта канитель чуть ли не год, после чего семейство воссоединилось в хрущевской пятиэтажке, где-то за пределами компетенции Дмитрия Акимовича, а в квартире номер тридцать шесть появился Мальчик.

Дмитрий Акимович даже облизнулся потаенно, когда впервые его увидел: о таком жильце можно было только мечтать. Мальчик обладал переменчивым настроением, был эмоционален, восторжен, подвержен приступам неконтролируемого гнева и жестоким депрессиям; однако и взлеты у него были – о-го-го! Он умел хохотать до слез и кричать от боли; ему часто снились кошмары, но и райские видения порой посещали его незадолго до рассвета; он влюблялся всякий раз словно бы впервые и навсегда, зато и разочаровывался чуть ли не сразу же, и праведный гнев его, обращенный скорее на себя, чем на объект угасающей страсти, был самым лакомым блюдом в рационе Дмитрия Акимовича.

Тот, ясное дело, бросился опекать своего любимца. Окна в комнате Мальчика всегда оставались чистыми, хотя простодушный жилец, кажется, даже не подозревал о том, что их положено время от времени мыть.

Оторванные пуговицы незаметно, сами собой, снова оказывались на его манжетах, а носки и ботинки оставались целыми, что бы он с ними ни вытворял; брошенная на столе еда не плесневела даже летом; ключи и прочие мелочи никогда не терялись, а участковый милиционер, надумавший как-то завести с новым ответственным квартиросъемщиком укоризненную беседу о «содержании притона», растерянно потоптался в коридоре и ушел, потирая виски: «Чего это я, а?». Этим благодать отнюдь не исчерпывалась, в жизни Мальчика происходило много приятных странностей, которые он, впрочем, принимал как должное. Его пленки (в ту пору он кое-как зарабатывал на жизнь фотографией) никогда не засвечивались; полезная для жизнедеятельности корреспонденция не исчезала из раздолбанного почтового ящика; самый жестокий грипп непременно проходил к утру; вороватые приятели покидали его дом с пустыми руками, изумляясь собственной честности; черные тараканы ушли жить на второй этаж, а рыжие обрели деликатный нрав; наконец, в самые скудные времена в каком-нибудь кармане непременно обнаруживался якобы заначенный червонец. «Я, оказывается, запаслив как белка! – гордо сообщал Мальчик окружающим. – Вот уж не ожидал от себя!»

Между ними установились очень теплые, родственные, почти интимные отношения, о чем Мальчик, с брезгливым сочувствием взирающий на грузную сутулую фигуру алкаша Димы, разумеется, не подозревал. Вечерами Дмитрий Акимович любил проникать в комнату соседа (в истинном своем бесплотном обличье, конечно же, уютная человечья туша тут была неуместна, да и без надобности). Грелся в лучах его переменчивого настроения, ластился к его тени, чуть

ли не мурлыкал по-кошачьи. Мальчик чуял его присутствие, вот что удивительно! Но ничего не мог понять, только ежился зябко, включал музыку погромче, да тянулся за сигаретами, чтобы отвлечься от морока. Дмитрию Акимовичу, который в эти моменты явственно ощущал себя огромным сытым котом, это не мешало.

Он, впрочем, знал, что сей счастливый период его бытия окажется недолгим. «Не жилец, – печально говорил себе Дмитрий Акимович, любовно взирая на своего „кормильца". – Биться об заклад могу: не жилец!»

Это, впрочем, не означает, будто он собирался хоронить Мальчика. «Не жилец» в устах домового обычно означает лишь тягу субъекта к перемене мест… или обреченность на перемену мест, это как посмотреть. У Мальчика просто-таки на лбу было написано, что нет на свете такого дома, в котором он задержится надолго, а такого рода невидимые надписи полуграмотный Дмитрий Акимович разбирал с лету и усваивал накрепко.

А сейчас Мальчик сам стучал в дверь Дмитрия Акимовича. Событие не сказать чтобы небывалое, случалось такое и прежде. Спички мог попросить, или еще какую ерунду; мог угостить пирожками от очередной дамы сердца или подарить оставшуюся после ухода гостей бутылку вина (сам он напиваться не любил, хотя весьма успешно скрывал сей факт от многочисленной армии своих приятелей). Однажды даже захотел Дмитрия Акимовича сфотографировать, но тот не дался: поди угадай заранее, что там на фотографии отобразится? Нет уж, от греха подальше!

Но теперь сосед стучал совсем по иной причине. Сегодня вечером с Мальчиком творилось неладное. Что именно – этого Дмитрий Акимович не знал и знать не

хотел. Мог лишь предположить, что давешние демоны, устроившие сущий кавардак в коридоре, были наименьшей из его забот.

15. Ао Бин

…рассказывается, как Ао Бин, появившись из морских глубин, пытался усмирить богатыря-малолетку Нэ-чжа, который не давал покоя жителям подводного царства.

Развеселая компания не вывалилась из комнаты моего соседа. Дверь открыл сам Дима. Вид у него был сонный, в комнате темно, постель разобрана – и не скажешь, что десять минут назад тут бушевало именинное веселье.

– Дима, – говорю, – а мои приятели уже ушли от вас? Вы извините за беспокойство, не мог я им открыть, у меня дело было неотложное…

– Извиняться не надо. Не было тут никаких твоих приятелей, – флегматично отвечает он, обдавая меня роскошным букетом сивушных ароматов.

Ну все, думаю, совсем мужик с крышей своей разругался, память потерял. Только что ведь свалила от него эта гоп-компания… А он вдруг подмигнул мне заговорщически и говорит:

– Это демоны были, Макс, а не твои приятели. Хорошо, что ты им не открыл. Совсем заморочить могли, обычное дело.

– Обычное?! Дело?! Обычное, да? Демоны – обычное дело?! – мой голос почти сорвался на визг. Не

везет, так уж не везет. Теперь еще и с соседской белой горячкой изволь возиться! С другой стороны, не бросать же его в таком состоянии… Но и в дурдом сдавать жалко, он ведь безобидный такой мужик, а там замордуют… Интересно, родственники-то у него есть? У кого бы разузнать?..

Дима тем временем понял, очевидно, какое впечатление произвело на меня его заявление насчет «демонов». Вздохнул, зевнул, посмотрел на меня с сожалением. И я вдруг увидел, что глаза у него ясные и такие разумные, что дай бог каждому, мне в том числе, хоть иногда в зеркале такие же обнаруживать.

– Да тише ты, – говорит снисходительно. – Хочешь, чтобы Ковальчуки твои вопли про демонов услышали? Они и так уверены, что ты наркоман, еще немного и письма участковому строчить начнут. Так что кончай орать. Иди к себе в комнату, а я – за тобой.

У Димы даже голос переменился, пока он все это мне говорил. Какие-то незнакомые мне прежде интонации появились: не то чтобы начальственные, но вполне барственные, словно бы он владел ситуацией, информацией, территорией и вообще всем, чем только можно владеть. Опустившиеся пожилые алкаши вроде моего соседа просто физически не способны производить на окружающих такое впечатление. Удивление мое не поддается описанию: в который уже раз за этот длинный путаный день я был сбит с толку. Достаточно сказать, что я утихомирился, послушно открыл свою дверь и вошел в комнату. Дима, последовал за мной, как и обещал.

16. Апсцваха

Как правило, жертвой его становятся слабые. В фольклоре часто человек, прибегнув к хитрости, одерживает победу над Апсцвахой.

– Дверь можешь не запирать, – небрежно заметил сосед, когда я пропустил его вперед и потянулся к ключу. – Не знаю уж, какой ворожбой ты тут занимался, и знать не хочу, только она уже закончилась. И демоны ушли. Они тебе помешать хотели, а теперь ты им без надобности. Да и не по зубам.

– Дима, – в моем голосе появились жалобные нотки, – ну скажите на милость, какие могут быть демоны с водкой и колбасой? Это Карел был с компанией. День рождения у него, а дома особо не попразднуешь: там родители и дед в двухкомнатной квартире жмутся. Вот они ко мне и ломились, а потом вы их пустили к себе, и все. Я только не слышал, как они ушли, вот и удивился… Они вас уговорили меня разыграть? Ну, считайте, что уже разыграли. Можете сказать им, что я плакал и просился к маме… А теперь объясните мне, что там у вас произошло, а?

– У меня? У меня ничего не произошло, у меня все в порядке, – как-то вяло откликнулся сосед. – Это у тебя, кажется, были неприятности, и лучше бы тебе поверить мне на слово… Эх, а ведь не поверишь, по глазам вижу! Ладно, раз так, смотри, да не отворачивайся.

Он исчез у меня на глазах. Не растворился в воздухе, как кусок рафинада в теплом молоке, на манер

воспитанного призрака из малобюджетного ужастика, а просто исчез. Раз – и нету никакого Димы.

– Тут я, тут, смотри! – его голос раздался из-под потолка. Рыхлая туша в древних джинсах и нечистой майке лежала на моем потолке, поодаль от люстры, подперев плешивую голову мясистой ладонью, подтянув колени к брюху. Судя по выражению лица, моему соседу было там весьма комфортно – а еще говорят, что неудобно, дескать, спать на потолке. Глупости какие…

Это я сейчас иронизирую, а тогда мне было не до смеха. На моих глазах случилось невозможное. То, чего быть не могло. Основной подвох крылся в персоне исполнителя. Если бы чудотворством занялась моя новая знакомая, гадалка Олла, или, скажем, друг детства Вик, каратист, экстрасенс и кореец по матери, или загадочный седой тип в глухом черном костюме, время от времени появлявшийся в кофейне у театра и интриговавший завсегдатаев колоритной своей персоной и полным отсутствием желания коммуницировать с внешним миром – все это куда ни шло. В глубине-то души я всегда был готов к чудесам, можно сказать, жил в ожидании их; еще немного – и взвыл бы от тоски потому лишь, что они, чудеса, не желают со мною случаться. Но при участии алкоголика Димы из соседней комнаты, совершенно очевидное, почти вульгарное в своей подлинности чудо казалось не то дурным сном, не то неуместной шуткой, не то просто температурным бредом. Если уж самый никчемный из обитателей нашей коммуналки вот так, запросто, может взмыть под потолок, значит, я – плод запретной любви Алисы и Мартовского Зайца. Добро пожаловать в Зазеркалье, приехали. Не зря, выходит, я от армии в свое время так легко отмазался: думал, притворяюсь хорошо, а мудрые доктора уже тогда все

про меня поняли. Но вот вылечить не сумели, куда уж им, скромным седуксеновым божкам! Я глупо хихикнул.

– Теперь ты отнесешься к моим словам с бо́льшим доверием? – осведомился сосед.

В голосе его звучало некоторое сомнение, кажется, он начинал понимать, что рассчитывать на мою вменяемость в ближайшие двести лет не имеет смысла.

– Теперь да, – механически ответил я и снова хихикнул: откуда-то из-за спины ко мне подкрадывалась самая настоящая истерика, добрая подружка моего детства. Сейчас мы с нею встретимся, и все будет хорошо… потому что все будет по барабану. Но я взял себя в руки и попросил: – Только слезьте, пожалуйста, с потолка. Мне будет довольно трудно вас внимательно слушать, если все останется как есть.

Через секунду Дима уже стоял на полу. Не рядом со мной, а у окна. Оно и к лучшему: теперь я предпочитал держаться от него на некотором расстоянии. Если бы он, к примеру, захотел положить руку мне на плечо, я бы заорал и бросился бежать. Но мой фантастический сосед не стал делать резких движений.

– Сразу, пока ты не начал вопить от страха и звать на помощь, – меланхолично начал он, – скажу тебе, что, кроме людей, вокруг тебя во множестве обитают и другие существа. Так уж заведено в этом мире. Иногда мы выглядим как обычные люди, иногда – как люди необычные, иногда еще как-то, а порой и вовсе никак не выглядим. В этом нет ничего особенного и удивительного, дело-то житейское. Мы же вот не орем от страха и не падаем в обморок, глядя, как вы толпами по улицам носитесь… Если бы вы были менее самодовольны и более внимательны, вы могли бы узнавать нас, водить

с нами дружбу и извлекать из этого немалую для себя пользу, хоть и страшновато вам всегда бывает поначалу. Но такое случается очень редко, а жаль… Ты, впрочем, еще ничего. Кота-то ты у себя в доме приметил? Думал, мерещится, да? Вот то-то же…

Этот его вопрос про кота подействовал на меня как ведро ледяной водки на голову: отрезвляюще и опьяняюще одновременно. Про невидимого чеширского кота я не говорил никогда, никому, ни при каких обстоятельствах. Я самому себе старался о нем не рассказывать, чтобы не пугать понапрасну. Следовательно, тот, кто знает о моем коте, вполне может знать и о гипотетических «демонах», ломившихся в мою дверь. Почему нет?

– Ладно, – кивнул я. – Всегда знал, что этот кот существует, вы меня убедили. Кричать и звать на помощь я не буду, сдаваться докторам в Катерининку не побегу, даже если вы опять под потолком повиснете. А теперь давайте поговорим про демонов. Это что, действительно были демоны, а не мои приятели?

– Ты их по голосам узнал? – ответил он вопросом на вопрос.

– Ну… кого-то узнал, кого-то нет. Карела точно узнал, Левку…

– У тебя есть телефон, позвони им. Может, застанешь дома. Спроси прямо: приходили они к тебе или нет. Выслушай, что тебе ответят. А я пока посижу, покурю.

– У меня бренди есть, – признался я, набирая номер Карела. – Хотите?

– Да мне, в общем, все равно, – неподдельное равнодушие Димы показалось мне самым фантастическим событием этого вечера. – Думаешь, я очень люблю выпивку? Просто, если уж живешь среди людей, проще всего слыть безобидным пьяницей. Я бы и курить не стал, но тебе же будет спокойнее, если я предамся этому обыденному пороку.

Да, тут мой загадочный сосед был прав: мятая папироса в его негнущихся пальцах произвела на меня самое что ни на есть терапевтическое воздействие, и я сосредоточился на телефонной трубке.

Карел был дома, хотя к телефону подходить сперва отказывался. После длительных переговоров с участием его интеллигентного папы, который, по счастью, не способен грубо послать человека, позвонившего по «чрезвычайно важному» делу, Карел, он же Митя Карелян, все же объявился на том конце провода. Он, оказывается, уже неделю сидел взаперти, ночами не спал, писал некую чудовищную телегу по своей специальности – не то диссертацию, не то просто статью, я так и не понял. Появился шанс отправиться на полгода в какую-то захолустную, зато заокеанскую, лабораторию и пахать там за изумрудно-зеленую валюту в рамках международного обмена учеными обезьянами. Ясен пень, умница Карел зубами вцепился в эту возможность и принялся страстно демонстрировать начальству свое профессиональное могущество; все прочие дела теперь не имели для него значения. Только мешали. «Какой день рождения, Макс, ты гонишь! – сердито ответил он на сбивчивые мои расспросы. – У меня день рождения был в ноябре, я же тебя в „Белом“ „Кровавой Мэри“ по этому поводу опоил до полусмерти. Забыл?»

Да, действительно забыл. Мало ли, кто, где, чем и по какому поводу поил меня полгода назад… Я оставил матерящегося Карела в покое, адресовал беспомощный взгляд примостившемуся на подоконнике Диме, – дескать, ваша взяла. На всякий случай, как бы делая контрольный выстрел, позвонил еще и Левке, тому самому, который якобы видел, как я входил в свой подъезд. Левки дома не было; впрочем, его жена утверждала, что его вообще нет в городе. Уехал, дескать, в Кишинев за книжками и вином. Звучало правдоподобно: поездки в Кишинев за книжками местного издательства и марочными винами местного же производства были частью Левкиного бизнеса (если это определение подходит для бесконечной череды коротких поездок за товарами и продолжительных запоев, сопровождающих беспорядочную, но вдохновенную торговлю добытым дефицитом).

– Вот черт. По всему выходит, что ребята ко мне действительно не заходили, – резюмировал я. – Даже если предположить, что они решили меня разыграть, Карел просто до дома не успел бы добраться: к нему отсюда даже на такси полчаса, не меньше, а таксиста, который согласится туда ехать на ночь глядя, еще отыскать надо… Рассказывайте теперь про демонов, я готов.

– А про них и рассказывать особо нечего. Просто прими к сведению: тот, кто впервые берется за ворожбу, должен быть готов к появлению демонов, которые приходят специально для того, чтобы ему помешать, заморочить, а то и напугать до смерти, если получится. Отличить их от людей проще простого. Тот, кто пытается помешать ворожбе, почти наверняка – наваждение; людей в такие минуты обычно калачом к себе не

приманишь, чутье у вашего брата все же имеется, и чутье это велит вам держаться от чудес подальше. Справиться с демонами тоже нетрудно, тут важно помнить одно *правило*: ты – сильнее.

– Правда? – изумлению моему не было предела.

– Правда, – подтвердил он. – Раз уж карты разложились так, что я пришел тебе на помощь, а теперь еще все разжевал, да в рот положил, значит, сила твоя и правда велика. Если всегда будешь начеку, если перестанешь верить собственным глазам и ушам, если на каждую хитрость у тебя найдется ответная, никто не причинит тебе зла.

– А вы-то сами кто, сосед? – нерешительно спросил я, кое-как переварив эту информацию.

– Да так, – неопределенно ответил он. – Можно сказать, никто. Просто постоянный обитатель места, на котором когда-то построили этот дом… Кстати, теперь тебе тут оставаться не следовало бы: после того, как я открыл свои карты, один из нас должен уйти. Только тебе есть куда идти, а мне – некуда.

Признаться, я изрядно растерялся от такого поворота сюжета.

– Мне тоже некуда. Разве, комнату обменять на другую такую же… Но это долго и хлопотно.

– Ищи и найдешь, – пообещал Дима. – Для тебя на этом доме свет клином не сошелся, а мне отсюда уходить нельзя: зачахну. Да и потом ты все равно собирался уехать. Не теперь, так через год-другой. Ты ведь тоскуешь в этом городе.

– Тоскую, ага. Только город тут, наверное, ни при чем. Просто так уж я устроен.

– Ты устроен так, что сидеть на привязи тебе невмоготу. Ну вот и не сиди. Договорились? – деловито спросил сосед.

Я машинально кивнул. И он исчез, на сей раз окончательно. По крайней мере, под потолком не объявился, на полу под ковром не распластался тенью и в шкафу не спрятался, – я проверял.

17. Арсури

Арсури любит злые шутки – сбивает людей с дороги, пугает жутким хохотом, издевается, щекоча и вырывая зубы.

Оставаться дома после всего вышеописанного было невыносимо. За стеной подозрительно шуршал сосед Дима, оказавшийся какой-то неведомой (возможно, всемогущей) зверушкой. Что касается прочих соседей, теперь у меня и на их счет имелись всяческие подозрения – беспочвенные, конечно, но фантазия-то буйная, что да, то да…

Вдобавок ко всему, я окончательно уверовал, будто темный коммунальный коридор еще недавно был переполнен некими «демонами», успешно мимикрировавшими под моих приятелей; в глубине души я опасался, что они непременно вернутся, как всегда возвращались ко мне незнакомые люди, случайно затащенные кем-то в гости, «на огонек», без особых причин, без мало-мальски сносного предлога: «проходили мимо», – вот тебе и вся немудреная

подоплека визита. В свое время я даже изобрел для такого времяпрепровождения специальный термин «*пописидеть*»: то есть посидеть, попиздеть и в туалет заодно заглянуть (день долог, пиво мокрое, общественные уборные ужасающи), а потом можно идти дальше. Вот и демоны эти вполне могут вернуться, дабы *пописидеть* всласть. В провинции, небось, и демоны ценят возможность комфортно убить лишний часок времени…

Встречаться с кем-нибудь из друзей-приятелей я пока не был готов; идея позвонить родителям или сестре и вовсе приводила меня в ужас. Доверия к знакомым голосам и лицам больше не было. Невелико удовольствие сидеть рядом с человеком и терзаться подозрениями: настоящий или подделка?

Прогулка по городу после давешних блужданий по улице Маяковского и поездки на троллейбусе, которого в природе быть не могло, тоже не слишком меня привлекала. Но из всех зол это показалось мне наименьшим. Хвала добрым божествам, на улице был май девяносто второго года, а не, скажем, февраль восемьдесят четвертого. Эта сермяжная календарная истина означала, что на центральных улицах полно народу. Во-первых, потому что тепло. А во-вторых, город уже зажил насыщенной коммерческой жизнью: рестораны и летние кафе работали допоздна (некоторые – так и вовсе до рассвета), павильоны с игральными автоматами не закрывались до последнего посетителя, а в одном из кинотеатров даже устроили экспериментальные ночные сеансы, и народу туда обычно набивалось под завязку, словно бы все эти годы люди мечтали лишь о возможности смотреть кино после полуночи. Мир понемногу менялся, город приучался

существовать в круглосуточном режиме. Теперь по ночам таксисты неспешно курсировали по оживленным улицам вместо того, чтобы простаивать до утра у вокзала; влюбленные парочки не прятались по подворотням, а с шиком целовались прямо за столиками кафе; в половине третьего утра роскошные женщины горделиво цокали каблучками по булыжной мостовой, пока их дородные кавалеры закупали мокрые пионы у несущих ночную вахту старушек. Да и милицейские наряды не столько дремали по машинам, сколько сновали по переулкам (сейчас этот, прискорбный, в сущности, факт меня скорее радовал: милиция и наваждения – вещи, как мне почему-то казалось, несовместные).

В общем, если бы пережить такой денек, как сегодня, мне довелось несколько лет назад, я бы, пожалуй, запаниковал. Но теперь дела мои обстояли не так уж скверно. Можно всю ночь бродить по городу, не рискуя остаться в одиночестве. Можно затеряться среди незнакомых любителей ночной жизни, а встретится среди них родной человечек или его точная копия – что ж, вот и славно. В леденцово-желтом свете витрин, среди праздных забулдыг, сорвавшихся с цепи студенток и насупленных ментов мне никакой морок не страшен. До рассвета продержусь, благо светает уже очень рано, а там – поглядим.

Так примерно я рассуждал, спускаясь по лестнице. По карманам (иногда я почти уверен, что «карман» и «карма» – однокоренные слова) было равномерно распределено мое скромное состояние; на груди пригрелся захваченный в последний момент паспорт: я уже привык к тому, что являюсь самой подозрительной личностью всех времен. Ни один нормальный мент не способен равнодушно взирать на мою физиономию в

темное время суток. Ее вид вызывает у всякого стража общественного порядка страстное желание меня безотлагательно обезвредить, не знаю уж, почему…

Из подъезда я выходил с такими церемониями, словно под лестницей притаилась медицинская комиссия, решившая вдруг пересмотреть свое мнение касательно моей вменяемости. Дряхлый, но проницательный профессор Гнездушкин, которому я обязан белым билетом, мог бы гордиться своим мудрым решением. Мне искренне жаль, что Валерий Яковлевич не имел возможности наблюдать, как я всматриваюсь в уличную темноту сквозь дверную щель; как, присев на корточки, внимательно изучаю ботинки случайного прохожего, которого черт дернул остановиться напротив подъезда, чтобы закурить; как с облегчением вздыхаю, провожая глазами его спину; как осторожно приоткрываю, наконец, дверь и макаю в ароматную чернильницу майской ночи свой заострившийся от тревоги нос.

Первые два квартала я не шел, а почти бежал. Потом убедился, что ничего не происходит, взял себя в руки, замедлил шаг. Закурил, вытер рукавом вспотевший лоб. Придирчиво оглядел свое отражение в темной витрине ателье мод, остался вполне удовлетворен увиденным. Довольно высокий, довольно худой молодой человек (и рост, и худоба – в пределах нормы, внимания не привлекают, вот и славно). Светлая джинсовая куртка; когда-то ультрамариновые, но уже до голубизны истертые штаны – что ж, могло быть и хуже. В «Парадиз» меня, пожалуй, в таком виде не пустят, и правильно сделают: всех моих сбережений едва ли хватит на самый скромный ужин в глянцевом кооперативном Поднебесье. Зато меня охотно пустят во все остальные места; пустят, и тут же забудут, как я выглядел: в тертой джинсовой

униформе ходит полгорода; таких темно-русых, не пойми как подстриженных шевелюр, серых глаз и невнятных носов – тысячи тысяч. Может, и паспорт предъявлять на сей раз не доведется – на фиг я кому-то сдался? Магическая формула «на фиг я кому-то сдался?» – делала меня почти счастливым.

Только-только я расслабился, как мои нервы снова подверглись испытанию, на сей раз – весьма дурацкому. Из-за угла мне навстречу вывернуло матерое человечище мужеского пола и, судя по первому впечатлению, чуть ли не школьного возраста. Прелестное дитя передвигалось на четвереньках и хорошо поставленным голосом возвещало: «Я – Луноход-Один! Я – Луноход-Один!» Я содрогнулся.

Если бы этому эпизоду не предшествовала вся совокупность моего свежеприобретенного опыта, я бы, конечно же, заржал. После того, как из-за угла показался еще один «четвероногий», скандирующий: «Я – Луноход-Два!», – я бы, пожалуй, начал похрюкивать, а в момент столкновения с «Луноходом-Три» (в белых, между прочим, штанах!) я вполне мог бы вывихнуть скулу. Но сейчас я оцепенел. В ушах у меня звенело, земля уходила из-под ног. Больше всего на свете мне хотелось развернуться и побежать, но колени были ватными, а в ступни словно бы впрыснули по ампуле новокаина: я только теоретически знал, что они у меня есть.

Их оказалось восемь, этих «луноходов». Моя персона их чрезвычайно возбудила: вместо того, чтобы ползти дальше, они принялись мельтешить вокруг меня, дружным хором заявляя о своем межпланетном предназначении; только порядковые номера «луноходов»

не совпадали и потому сливались в некое магическое число «*одисемть*». Я бессмысленно таращил глаза на эту карусель, благо рассудок срочным порядком закрылся на профилактику.

В довершение всех бед из-за угла вышли еще пятеро. Эти оказались прямоходящими юнцами в недурных, к слову сказать, костюмах. Они шествовали за своими товарищами с каменными лицами индейских вождей, а теперь остановились и принялись разглядывать меня, оказавшегося в центре безумного хоровода. Позже я узнал, что таковы *правила игры*: тот, кто не выдержит и засмеется, должен пополнить команду «луноходов», и лишь самый невозмутимый будет признан победителем. Но пока *правила игры* были мне неведомы, поэтому волосы на моей шее зашевелились от ужаса. Я был совершенно уверен, что именно так и проводят свой досуг пресловутые «демоны». И решил сдуру, будто мне конец.

И тогда какой-то дремучий инстинкт подсказал мне, что единственный способ выжить среди чужаков – это быстро притвориться «своим». Я грохнулся на четвереньки, взвыл: «Я – Луноход-Девять!», – и шустро пополз к проезжей части. Невозмутимая доселе компания прямоходящих взорвалась смехом.

Когда они заржали, я сразу понял, что никакие они не «демоны», не наваждения, не плод моего больного воображения. Нормальные пацаны, выпили, небось, по бутылке пива второй раз в жизни и резвятся теперь, ставят на уши участок реальности в радиусе двухсот метров от эпицентра теплой своей компании, делов-то!

«Луноходы» тоже ржали, опрокинувшись на задницы для большей устойчивости. «Теперь вы

луноходы, теперь ваша очередь», – наперебой твердили они своим товарищам. «Это не считается, он был не в игре», – дружным хором возражали те, все еще давясь остатками хохота. Я присел на бордюр, с неподдельным интересом прислушиваясь к их спору.

– Ты-то чего? – наконец спросил меня один из потенциальных «луноходов», морковно-рыжий, в сером костюме.

– А вы чего? – парировал я.

– Мы-то играли, а ты просто по улице шел.

– А я люблю играть в чужие игры, – объяснил я, поднимаясь на ноги. Движение это доставило мне неизъяснимое удовольствие, тело пело от счастья, осознав, что мною же самим сочиненная опасность внезапно миновала.

– Хочешь – присоединяйся, – предложил мне «луноход» в белых штанах. – Сейчас их очередь ползти, ты их рассмешил.

– Да нет, с меня, пожалуй, хватит, – решил я. И полюбопытствовал: – Что празднуем-то?

– Празднуем? А, ну да, у нас «последний звонок» с утра был.

– Вот оно что. Ну, удачи!

Я помахал им рукой и отправился дальше. Встряска пошла мне на пользу: настроение исправилось, давешний страх перед всем на свете куда-то подевался, метафизическая неопределенность моего положения кружила голову. Сейчас я, пожалуй, не отказался бы от приключения-другого. Слова Оллы: «У тебя все будет в порядке, лучше, чем ты сам себе мог бы пожелать», –

вдруг проявились в памяти и теперь звенели в ушах. Жизнь определенно налаживалась. Я даже замурлыкал что-то себе под нос: фальшиво, но задушевно.

18. Аск и Эмбля

В скандинавской мифологии первые люди, которых <…> бездыханных и «лишенных судьбы» нашли на берегу моря боги…

До улицы имени мумии я в эту ночь так и не добрался.

Все потому, что мне на глаза попалось симпатичное кафе, где часть столиков была помещена не на тротуар у входа, а выставлена на открытой веранде под полосатым (зеленое, розовое, белое, опять зеленое) тентом. Кафе имело наглость именоваться «Венским»; такое самозванство скорее подкупало, чем раздражало. Вероятно, сей островок европейского уюта открылся совсем недавно: этот переулок я пересекал чуть ли не ежедневно и твердо знал, что до сих пор единственным увеселительным заведением здесь мог с некоторой натяжкой считаться магазин детского питания, где по утрам тусовались юные мамочки, изнывающие от тягостного однообразия своего нового образа жизни. А вот кафе, ни «Венского», ни «Парижского», ни даже «Урюпинского» какого-нибудь, тут до сих пор отродясь не было.

Я люблю обживать новые забегаловки; в последнее время деньги, которые мне удавалось заработать, уходили почти исключительно на поддержку нарождающегося кооперативного общепита. К тому же

настроение у меня после давешнего столкновения с «луноходами» было приподнятое, хвала отечественной космонавтике! Ясное дело, я обосновался на пустой веранде, возле открытого окна, из которого сочились аппетитные запахи и приглушенные голоса. Достал из кармана сигареты, приготовился ждать барышню с меню.

Я расположился таким образом, что декоративная ажурная ставня скрывала меня от посетителей, устроившихся в полутемном зале кафе. Я, впрочем, тоже их не видел, зато акустика здесь была прекрасная.

Это – одно из моих хобби: обожаю подслушивать болтовню незнакомых людей, которые не подозревают о моем присутствии. Не то чтобы я действительно интересовался чужими делами, да и что можно уяснить об этих самых делах, суммируя случайные обрывки фраз? Увлечение мое скорее сродни безобидному коллекционированию: вырванные из контекста беседы, фрагменты разговоров порой оказываются уморительно забавными или причудливо переплетаются с моими собственными сиюминутными размышлениями, а иногда звучат чуть ли не пророчески.

Вот и сейчас я прислушался к голосам, долетавшим до меня из помещения. Почти сразу же выделил два, мужской и женский. Их обладатели сидели совсем рядом со мной, вероятно, возле самого окна или в нескольких шагах от него. Уши мои затрепетали: это явно была не деловая беседа, не светский гон и, тем паче, не любовное воркование. Это было… это было так странно!

– Ты же знаешь, Франк обожает таскать за собой непосвященных, – вкрадчивым шепотом говорила женщина. – Просто людей с улицы. Уводит на ту сторону

и там бросает на какое-то время. Затаится и наблюдает исподтишка: выплывет, не выплывет…

– Но это же свинство, – резко констатировал мужчина.

– Свинство? Не знаю. Может быть. Но… С другой стороны, это прекрасно. Это – шанс.

– Угу. Шанс умереть более экзотическим способом, чем это обычно случается. Шанс угодить в психушку. Ты была когда-нибудь в нашей Катерининке? Найди предлог, зайди, полюбуйся. Это пострашнее, чем Тупиковый Путь… Наверняка там полно приятелей Франка. Возможно даже, их собрали в одном отделении, по принципу схожего бреда…

Тут мне пришлось ненадолго отвлечься, поскольку мое присутствие было наконец обнаружено некими загадочными повелителями местных материальных благ. Из темноты выпорхнула юная официантка, состоявшая, кажется, почти исключительно из ног и ресниц: и то, и другое радовало глаз фантастической длиной. Молча протянула меню – неужели почувствовала, что я страстно желаю оставаться незамеченным?

Впрочем, содержание толстого тома в твердом зеленом переплете заставило меня на время позабыть о странном диалоге за окном. Цены здесь были более чем щадящими, а выбор потрясал воображение. В списке коктейлей обнаружился даже джин-тоник – по нынешним временам это нормально, но в начале девяностых, да еще и на расстоянии чуть ли не полутора тысяч километров от Москвы, о джин-тонике можно было разве что почитать в переводных детективах. Там его, конечно, были моря разливанные, хватало не только на центральных персонажей, но и эпизодическим

доставалось. Теперь в шкуре такого «эпизодического персонажа» мог оказаться я сам. С ума сойти!

Я молча показал длинноногой фее открытое меню, выразительно постучал пальцем по строчке, сулящей мне прохладную смесь хининовой горечи и хвойного аромата. Она понимающе кивнула и ушла, оставив меню на столе, дабы я мог в уединении наслаждаться содержанием этого выдающегося литературного произведения. Я открыл его наугад и прочитал: «Салат из авокадо с креветками». Креветки всегда казались мне пищей богов, но вот «авокадо» – что за зверь такой? Я озадаченно покачал головой. Однако знакомый голос оторвал меня от приятного чтения: теперь снова говорила женщина, взволновано, а потому довольно громко. И не хотел бы я ее слушать – пришлось бы. Но я-то как раз хотел…

– А ты представь себе на минутку, что ты – обычный человек. Живешь словно в скучном сне, ходишь туда-сюда по кругу, как цирковая лошадь, самое мистическое событие в жизни – чтение ксерокса «Кама-Сутры», а жить тебе осталось всего-то лет тридцать-сорок, не больше, хотя тело уже сейчас можно бы выбрасывать на помойку, не глядя… Но примерно раз в год ты случайно поднимаешь глаза к небу, видишь там полную луну и едва сдерживаешь желание завыть по-собачьи от тоски, а о чем тоскуешь – и сам не знаешь, да и не узнаешь никогда…

– Ну тебя, – почти сердито откликнулся мужчина. – Ты сначала думай, а потом говори. Я же все-таки ем…

– А я хочу, чтобы тебя проняло. Чтобы ты вспомнил, как люди живут. Чтобы на шкуре своей это прочувствовал.

– Считай, что уже прочувствовал.

– Да? Ладно, поверю тебе на слово. А вот теперь представь, что в одну из таких редких ночей, когда твое сердце оплакивает несбывшееся, а глупая голова предпочитает думать, будто это обычная депрессия, появляется наш Франк и говорит: «Ну что, пошли на небо?» Он ведь силой никого за собой не тащит, не забывай. Сами идут, как миленькие. И ты бы пошел, и я бы за ним пошла, даже если бы знали, чем это все может закончиться… А сколько таких несчастных всю жизнь ждут своего Проводника! Но Франк один, да и стих на него нечасто находит… А жаль.

– А с какой стати ты меня вообще уговариваешь? Ты же знаешь, я Франку не владыка, мешать я ему не стану, да и невозможно ему помешать… Это спор ради спора? Все еще хочешь меня победить? Но ведь мы уже давно не соперники.

– Не соперники, – соглашается женщина, и я чувствую, что она улыбается. – И это не спор ради спора. Ты меня невнимательно слушал. Все было сказано лишь затем, чтобы завершиться фразой: «Жаль, что Франк один такой».

– Ты собираешься заняться тем же? Таскать за собой непосвященных? Дело хозяйское, конечно, но…

– Не говори ерунду. Я не подхожу для этой роли; общеизвестно, что я – скверный Проводник. Мое дело – ходить туда, где никто из наших еще не бывал. И хожу я туда одна или с тобой, ты ведь знаешь… Ты все про меня знаешь.

Моя фея вернулась, принесла длинный узкий стакан. В прозрачной жидкости плавали кубики льда,

соломинку венчала лимонная долька. Она бесшумно поставила стакан на столик, рядом положила чек. Я полез в карман за деньгами, но она уже ушла: видимо, я не был похож на человека, способного удрать, не расплатившись. По большому счету, впечатление сие обманчиво, но из этого кафе я убегать не собирался – еще чего! Я был твердо намерен стать его завсегдатаем.

Я сделал первый в своей жизни глоток джин-тоника и вознес хвалу щедрым небесам, которые наконец потрудились излить на меня концентрат благодати. Это было здорово: найти свой напиток почти так же трудно, как встретить свою женщину. С пунктом номер два у меня пока ничего не получалось (впрочем, я не сетовал на судьбу: в таком деле процесс поиска весьма увлекателен сам по себе); зато пункт номер один был, наконец, осуществлен. Только что. Я расплылся в блаженной улыбке, закурил… и обругал себя последними словами. Теперь эти загадочные ребята в зале обнаружат мое присутствие и умолкнут. Или просто пересядут подальше: я сам на их месте именно так бы и поступил.

Голоса их, впрочем, умолкли несколько раньше, чем вспыхнула моя спичка: я машинально это отметил, хоть и был чрезвычайно увлечен дегустацией. А через несколько секунд стало понятно, почему мои загадочные незнакомцы замолчали: они просто закончили ужинать и собрались уходить. На пороге появилась парочка: миниатюрная белокурая женщина и мужчина средних лет, очень бледный, худощавый, с длинным лошадиным лицом и коротко подстриженной бородкой. Я посмотрел на них, и у меня перехватило дыхание. Впервые в жизни я был совершенно уверен, что встретил своих. «Голос крови» – так, что ли? Описать это ощущение невозможно: оно не было похоже ни на влюбленность,

ни даже на симпатию, которая, случается, вспыхивает мгновенно между совершенно незнакомыми людьми. В организме бушевала адреналиновая буря, сердце буравило ребра, огненные молоточки охаживали виски, но на фоне столь экстремальной физиологической реакции я оставался спокойным и счастливым, каким на своей памяти не был никогда. Через несколько секунд стало полегче, однако твердая уверенность в том, что передо мной – свои, оставалась при мне. Странно вообще-то: к людям, особенно незнакомым, я, как правило, отношусь с равнодушной настороженностью – это в лучшем случае. Однако сегодня все было странно…

– А этот как тут оказался? – наконец спросил мужчина у своей спутницы, бесцеремонно тыча в мою сторону перстом. – Или он тоже из наших? Но я его не знаю.

– И я не знаю. Может, из наших, может, – нет. Так сразу и не разберешь.

Она подошла ко мне, лучезарно улыбнулась и уставилась на меня с нескрываемым любопытством. В ее манерах было что-то детское, и это «что-то» действовало на меня обезоруживающе. Я не только терпел ее изучающий взгляд, но и был готов по первому требованию встать, покрутиться и даже раздеться, чтобы ей было удобнее производить осмотр.

– А как вы сюда попали? – наконец спросила она. Никаких там «извините пожалуйста», «позвольте полюбопытствовать» или «не-мог-ли-бы-вы-мне-ска-зать», – однако ее манеру обращаться нельзя было счесть невежливой, столько в ее голосе было неподдельной доброжелательности.

– Просто шел по улице, – растерянно объяснил я. – Вижу: новое кафе появилось. Поднялся по ступенькам, сел на веранде. Ничего особенного. А почему вы спрашиваете? – тут меня осенило, и я понимающе выпалил: – Вы – хозяева этого кафе, и вам интересно, как работает реклама?

Сказал эту чушь вслух и сам понял: идиот. Нет ничего глупее, чем объяснять невозможные вещи, цепляясь за обыденные конструкции: только ногти сорвешь, ерундой занимаясь. Прекрасная незнакомка, однако, не стала меня высмеивать, хоть и следовало бы.

– Да нет, – говорит, – как работает реклама, мне как раз не слишком интересно. Мне интересно, как вы смогли зайти в кафе, которого не существует. Оно *могло бы быть*, если бы некоторые обстоятельства сложились иначе. Но они сложились как сложились, поэтому никакого кафе тут нет. А это, – она сделала плавный жест рукой, как бы лаская воздух в метре над полом веранды, – всего лишь неосуществленная вероятность. Одна из. Это… Ну, собственно говоря, это и есть *несбывшееся*.

– Не морочь человеку голову. Для начала ему надо отсюда выбраться, – вмешался ее бородатый спутник. – У тебя есть идеи?

– У меня? У меня нет никаких идей. Но все как-нибудь образуется… Помнишь, кто-то, то ли Рон, то ли Анна, говорил, что человек, *лишенный судьбы*, способен на все… мы еще тогда никак не могли взять в толк, о чем речь, помнишь?

– Это говорила Анна, – кивнул мужчина. – Но она у нас с приветом…

– Ну и что? В этом ее сила, – пожала плечами женщина. – Эй, а может быть, ты тоже *лишился судьбы*? – теперь она обращалась ко мне, легко сменив официальное «вы» на невесомое «ты». – Как думаешь, могло такое с тобой случиться?

– Со мной сегодня могло случиться все что угодно, – вздохнул я. – Не далее как час назад я распутывал нитку, символизирующую мою прежнюю жизнь; в это время под дверью скулили демоны, но дух-хранитель дома, принявший облик старого толстого алкаша, их обезвредил, а потом улегся на мой потолок и велел мне убираться прочь из этого города… И это только десятая часть всего, что со мной сегодня случилось.

Сам не знаю, как меня угораздило все это им выложить. Впрочем, оно словно бы само собой рассказалось, без моего деятельного участия. Потому ли, что я был уверен, будто оказался, наконец, среди *своих*, потому ли, что исповедь помогает бороться со стрессами, или просто джин-тоник мне язык развязал – но даже умолкнув, я не испытал смутного сожаления о своей болтливости. Напротив, радовался, что у меня хватило духу заговорить о вещах, которые казались мне тогда чрезвычайно важными.

– Ну вот видишь? – белокурая женщина торжествующе подмигнула своему спутнику. – И так бывает.

– Какая у людей жизнь интересная! – его ирония была очевидна, но я не обиделся. Я не смог бы на них обидеться, даже если бы очень захотел.

– Я знаю, что тебе надо делать, – женщина, кажется, испытывала ко мне искреннюю симпатию. – Мы сейчас уйдем, и этого кафе не станет… по правде говоря,

я просто не знаю, что будет с этим местом после того, как мы уйдем. Но, скорее всего, оно просто исчезнет, поскольку существует лишь потому, что мы выяснили: оно *могло бы быть*… впрочем, ладно, это слишком сложно…

– А я куда денусь, когда все исчезнет? – сколь бы диковинными не казались мне ее речи, но мой инстинкт самосохранения – это нечто. Он работает, даже когда я сам не гожусь ни к черту.

– Хороший вопрос. Ответ на него можно получить лишь экспериментальным путем. Но я бы не советовала – без подготовки-то… Нет, ты сейчас сделаешь вот что. Ты закроешь глаза и побежишь, и…

– И грохнусь мордой на асфальт не позже, чем через полторы секунды. Тут же ступеньки, – укоризненно заметил я.

– Прежде, чем давать столь экзотические инструкции, следует предупреждать, что их точное исполнение – единственный шанс выжить, а промедление смертельно опасно, – бесстрастно заметил мужчина. Он демонстративно обращался к своей спутнице, но, ясное дело, рассчитывал, что я его услышу. И не ошибся в расчетах: я обмер и заткнулся.

– Ну вот, – спокойно продолжила женщина. – Сейчас ты закроешь глаза и побежишь изо всех сил, так, словно за тобою гонится толпа голодных духов. Впрочем, в некотором смысле, так оно и есть… Ты будешь бежать до тех пор, пока тебя не остановит некое внешнее препятствие. Это, конечно, может быть и фонарный столб, в который ты врежешься, но некоторым везет, и они попадают в дружеские объятия… В момент остановки ты обретешь новую судьбу взамен утраченной. И имей в

виду: этот трюк можно проделывать всякий раз, когда пожелаешь сменить судьбу. Он очень эффективный, ты еще удивишься, когда обнаружишь, что судьбу можно менять, как одежду… а можно и чаще.

– Когда я захочу изменить свою жизнь, я могу… побежать? И все? Как это может быть? Слишком просто.

– Просто, да не слишком. Тут требуется безлюдное место, темнота и *особое настроение*, которое позволит тебе мчаться, сломя голову, с закрытыми глазами, не заботясь о ближайшем будущем, и выкинув из головы эту глупую конструкцию: «мордой об асфальт»… Сейчас-то все просто: ты будешь убегать из зачарованного места. В обычных обстоятельствах тебе нелегко будет решиться, а еще труднее – поймать *правильное настроение*. Но ты уж постарайся, ладно?

– Океюшки, – согласился я, невольно улыбнувшись.

– Ну, тогда вперед. Выполняй мою инструкцию, закрывай глаза и беги, пока тебя не остановят. Марк редкостный зануда, но он был прав, когда говорил о смертельной опасности. Он вообще всегда прав, таково ужасающее свойство его организма.

– А… мне нельзя просто пойти с вами? – неожиданно для себя самого брякнул я. Понял, что отступать некуда, и торопливо объяснил: – Когда я вас увидел, я понял, что вы «свои», что я должен каким-то образом быть рядом, или просто *заодно* с вами… хотя до сих пор был уверен, что я всегда сам по себе, и это правильно, но тогда я не подозревал… – тут я окончательно запутался в собственных словах. Некоторые вещи не поддаются вербальной обработке, хоть головой о стенку бейся!

– Можешь не продолжать, мы понятливые. Может быть, ты прав, и мы «свои». А может быть, тебе померещилось, так тоже бывает… В любом случае сейчас тебе нельзя с нами. Тебе бы отсюда ноги живым унести, – сочувственно сказал бородатый.

– Если нам следует быть «заодно», ты встретишь нас в другое время и в другом месте, – добавила женщина. – А если не встретишь – что ж, значит, тебе по дороге не с нами, а с кем-нибудь еще, или ни с кем не по дороге, как ты и подозревал с самого начала. Все само устроится, потому что все всегда устраивается само. А теперь беги… нет, погоди-ка, обернись сначала, на дорожку. Чтобы лучше бежалось.

Я послушно оглянулся. Здания кафе уже не было. Веранда отчасти тоже канула в небытие: от столика, за которым я сидел, осталось меньше половины, неровный треугольный кусок полосатого тента трепетал над нашими головами; плавная кривая линия среза наводила на дурацкое предположение, что реальность была слизана языком некой гигантской коровы; однако на месте исчезнувшего фрагмента не просвечивало ночное небо с дежурным набором созвездий. Там копошилась живая тьма – не знаю, как еще можно описать то, что я увидел. По сути, там не было ничего, и в то же время более очевидную, плотную, динамичную и глубокую субстанцию, чем это самое «ничего», вообразить невозможно.

– Хватит любоваться, беги отсюда. Уноси ноги, пока тьма добрая. Беги. Беги же! – последние слова взвились пронзительной визгливой нотой, огненными буквами отпечатались перед моим внутренним взором, тонкими

иглами вонзились под ногти; я зажмурился и рванул вперед, как пришпоренный скакун.

Пока бежал, я не сомневался, что занят не более и не менее как спасением своей шкуры и прочих упакованных в нее сокровищ. Не то чтобы я обдумал эту идею и счел ее правдоподобной, я просто *знал*, что смерть рядом… жизнь, впрочем, тоже была рядом, а я – между ними, как младенец, которому лишь предстоит родиться.

Наверное, поэтому я совершенно не удивился тому, что остановили меня именно женские руки. Впрочем, одна из них держала нож, и каким образом я умудрился не нанизать свою тушку на его влажное от чужой крови лезвие, мы оба впоследствии так и не смогли уразуметь…

19. Ата

…божество и олицетворение заблуждения, помрачения ума.

Ада услышала, как далеко внизу хлопнула дверь подъезда. По лестнице поднимались двое. «Они, – с облегчением подумала Ада, – наконец-то! Они, больше некому! Полночь еще когда была… Все уже дрыхнут».

Полночь действительно миновала. У Ады не было хронометра (приборы, измеряющие время, внушали ей суеверный страх), но ее тело, с наступления темноты пребывающее в напряженной неподвижности, само отмеряло минуты, подобно огромным песочным часам. Холодный песок времени медленно тек по ее позвоночнику, и она сама была сейчас сродни времени: невидимая, неумолимая и неотвратимая. Нечасто ей,

нетерпеливой, как младенец, и подвижной, как ртуть, доводилось так долго томиться ожиданием, но игра стоила свеч, овчинка – выделки, дебет сошелся с кредитом, бухгалтерия дала добро, да и таможня не возражала…

Шаги приближались, чуткие ноздри Ады затрепетали от аромата свежей сирени. «Так они цветочки собирали! – с равнодушным сарказмом изумилась она. – Кустики ломали, твари! Любовь у них великая – ну так лежали бы и трахались спокойненько – а растения зачем калечить?!» Впрочем, возмутиться по-настоящему ей так и не удалось: сила была на ее стороне, ситуация – в ее руках, а возмущение – удаль слабого. Шаги тем временем оборвались у двери – у ТОЙ САМОЙ двери, к которой было приковано внимание Ады на протяжении этой непереносимо длинной весенней ночи.

Она выждала еще несколько секунд, позволила юной женщине вставить ключ в замочную скважину, ключу – совершить два полных оборота против часовой стрелки, а дверной ручке – мягко уплыть вниз, повинуясь влажной ладони. Потом времени пришлось сжаться. Ада сумела одолеть девять ступенек за столь ничтожную долю секунды, что влюбленным показалось: она возникла не из темноты лестничной площадки, а из небытия, примерещилась, и сейчас исчезнет, и можно будет войти в дом и выпить чаю с мелиссой, а может быть, даже поговорить об испугавшем их видении… хотя нет, говорить на эту тему, пожалуй, все-таки не стоит…

Прыжок из темноты завершился ударом ножа, который вошел в тело мужчины с упоительной легкостью: отличная точка в конце удачно

сформулированной фразы. Ада задохнулась от ликования, когда мужчина ошеломленно прошептал: «Что за дурость!» – и начал медленно оседать на пол. Она засмеялась почти беззвучно: испустить дыхание со словом «дурость» на устах – вот участь, достойная графомана, все бы они так умирали! Теперь оставалось разобраться с его перепуганной сукой: баловалась она стишками или нет, это ее проблемы. Сука влипла в историю. Просто влипла, так бывает.

«Сука» (сказать по правде, Нина была милой, застенчивой девочкой из хорошей семьи, с классическим консерваторским образованием; жизнь ее до нынешней ночи походила на черновик романа, написанного лишенным воображения, зато добрым и сентиментальным ремесленником) очень хотела закричать, но голос ей отказал, и пошевелиться не удавалось, как в ночном кошмаре – с той только разницей, что не было ни малейшего шанса проснуться.

Существо, появившееся из темноты, ранило (она ни за что не согласилась бы признать, что не «ранило», а «убило») ее «Басика». Именно так она называла красивого, немного меланхоличного (пока дело не доходило до постели) мужчину, полгода назад поселившегося в ее доме, сердце, теле, снах и размышлениях.

Только несколько тягостных секунд спустя Нина поняла, что «существо» было женщиной… и глаза этой женщины обещали продолжение ужаса. По всему выходило, что видеокассеты с ужастиками, стопка которых и сейчас лежала на тумбочке под телевизором, следовало считать длинным-длинным эпиграфом к сегодняшней ночи, а не развлечением, придававшим

некоторую остроту спокойному бытию. (Нина и сама сознавала, что встречает каждое утро любопытной улыбкой ребенка, проснувшегося в свой день рождения: ну, какие подарки ждут меня сегодня? – и никак не могла понять, почему жизнь, немилосердная к прочим, столь великодушна к ней. Хотя одно подходящее, как ей казалось, объяснение все-таки существовало: в глубине души Нина полагала, что она «хорошая девочка», а с «хорошими девочками» не случается ничего, кроме ежедневных походов за мороженым.)

– Давай, заходи домой, соска, – спокойно сказала женщина. – Нефиг топтаться в подъезде.

Нина не обратила внимания на грубое обращение; она почему-то испытала облегчение, решила, будто слова означают, что дела на сегодня закончены, а значит, ужаса не будет, по крайней мере, не будет настоящего ужаса. Они просто поговорят, и пускай эта женщина говорит ей все, что захочет, любые гадости, если ей так нужно. Может быть, она потом успокоится, или еще лучше: поймет, что натворила, и расплачется, и позволит вызвать врача, который спасет «Басика», а потом она, Нина, будет ходить к нему в больницу, а квартиру они быстро сменят, или даже вовсе уедут в другой город, и эта ужасная женщина никогда их не найдет; ее, сумасшедшую, вообще посадят в тюрьму за покушение на убийство или запрут в клинику, где ей и место, и все будет хорошо…

Эти размышления почти успокоили Нину, по крайней мере, она поняла, что уже вполне может закричать, позвать на помощь соседей; голос послушается ее, и рот не будет открываться беспомощно

и бесшумно, как у аквариумной рыбы, пожизненной узницы человеческих представлений о домашнем уюте.

Ада почувствовала перемену в ее настроении и коротко сказала:

– Квакнешь – убью сразу. Пока соседи будут решать, стоит ли выглядывать на твой вой, я успею не только на другой конец города уехать, а пешком в Париж уйти. А так… Может, и выживешь, я пока не решила. Давай, заноси его в дом.

– Как? – тупо переспросила Нина. Собственный голос испугал ее: это был надломленный голос женщины, попавшей в беду, а не тихий мелодичный голосок «хорошей девочки», которой ей так нравилось быть…

– Херак! – передразнила незнакомка и небрежно пнула Нину носком тяжелого армейского ботинка (Нина недолюбливала такие ботинки и не доверяла людям, которые их носят, а уж женщины в подобной обуви всегда вызывали у нее отвращение, смешанное с испугом – выходит, не зря). Удар был не слишком болезненным, он скорее походил на повелительный жест, чем на начало избиения. Нина подумала, что такими беззлобными, но рассчитанными ударами мясники загоняют свиней на бойню… мысль оказалась настолько дикой и точной, что разум почти оставил ее, она не могла (не хотела, не решалась) бороться, и склонилась над телом своего любимого мужчины, чтобы перетащить его в коридор их общей уютной квартиры, как велела эта ужасная женщина.

Ада молча наблюдала за ее попытками сдвинуть мертвеца с места. Минуту спустя, она с досадой констатировала, что сцена затягивается, и тихо сказала:

– Ты давай, шевелись, а то я решу, что проще уложить тебя рядом. Жить-то хочешь, небось, сука тупая?

Нина послушно заторопилась, напряглась и втащила тело в коридор.

– Как же вы все… цинично предсказуемы! – усмехнулась Ада, входя следом.

«Все кончено, – подумала Нина. – Все кончено, потому что меня сейчас будут убивать. Здесь, прямо на этом половичке. Убивать. Меня. Будут. Сейчас», – твердила она себе, и вдруг обнаружила, что страх покинул ее, осталась лишь растерянность, но и та понемногу проходила. Терять-то больше было нечего. Жизнь закончилась, *уже закончилась*, и единственное, что можно было сделать… впрочем, сделать нельзя было ничего в любом случае.

20. Аушаутс

Бог целостности, неповрежденности, <…> он отгоняет болезни и даже грехи.

А потом случилось нечто невероятное. Дверь в глубине коридора распахнулась настежь, и из Нининой спальни выскочил незнакомый мужчина. Растрепанный, в застиранной добела джинсовой куртке, глаза зажмурены, словно он собирался безотлагательно сыграть с ними в «слепого кота», – а истекающие кровью тела, убийства и прочие скучные вещи могут немного подождать, не так ли?

Нина видела его впервые; впрочем, это как раз неважно: сейчас она, пожалуй, не узнала бы и бывшего

однокурсника; она и на родителей своих смотрела бы, наверное, с ласковым недоумением, тщетно пытаясь понять, кого напоминают ей эти славные люди. Все пустое, значение имело только одно: из ее спальни, словно по волшебству, выскочил посторонний человек. Он оказался в коридоре именно в тот момент, когда ей стало окончательно ясно, что помощи ждать неоткуда – и вот, вдруг… Нина умиротворенно сказала себе, что это явился ангел-хранитель, чтобы спасти ее жизнь; спустился, наконец, с небес, пусть даже с изрядным опозданием, и теперь ответственность за дальнейшие события – на нем. А она, Нина, умывает руки.

Терять сознание было чертовски приятно, приятнее даже, чем пробуждаться от кошмарного сна. Ее тело обмякло, но губы напоследок растеклись в торжествующей улыбке. Она знала, что придет в себя только после того, как за кошмарной женщиной закроется дверь. В этот последний блаженный миг перед наступлением тьмы Нина знала и многое другое: все как бы (словно бы, будто бы – ах!) уладится; скорая помощь приедет по ее вызову вовремя, и врачи будут удивляться чудесному спасению раненого; а она, главная свидетельница преступления, не сможет вспомнить, как выглядела нападавшая: в памяти не останется ничего, кроме тяжелых ботинок, но и о них Нина почему-то промолчит, не решится рассказать седому усатому следователю с глазами больной дворняги – вот так-то… «У девочки шок», – да, именно. Шок. А потом она будет круглосуточно дежурить у постели своего любовника, поставит на уши полгорода, но добудет все необходимые лекарства, импортный перевязочный материал, греческий коньяк для хирурга, итальянскую косметику для сестер милосердия и еще кучу какой-то жизненно

важной муры, но когда он (уже не «Басик», а просто Богдан) встанет на ноги, Нина поспешит от него отделаться, уйдет к другому, первому, кто подвернется. Не потому даже, что с прошлым связаны такие уж невыносимые воспоминания (невыносимых воспоминаний вообще не бывает, невыносимым может стать только настоящее), просто – теперь она знала и это – для того, кто попробовал смерть на вкус, былые привязанности не имеют никакого значения, что бы он сам об этом ни думал. И еще Нина знала, что с «хорошей девочкой», которой она была до сих пор, покончено. Именно эта девочка погибла сегодня от руки убийцы, а больше – больше никто. Что ж, она еще дешево отделалась. Как там говорила красивая Терехова в пьесе Лопе де Вега, которую чуть ли не еженедельно крутят по телевизору: *теряют больше иногда*…

Вот именно.

Что же до незнакомца, он достался Аде. Та не успела опомниться, как мужчина оказался в ее объятиях, еще немного, и они оба грохнулись бы на пол; при этом затылку Ады грозило опасное соприкосновение с порогом. Но Ада устояла. Она была очень сильной, хотя никогда не старалась закалить свое тело. Просто таким уж оно родилось на свет: жестким, упругим и мускулистым. Повезло.

Пока Ада удерживала равновесие и поспешно решала, что делать со свалившимся на нее свидетелем убийства (его не могло тут быть, потому что его быть тут не могло!), он открыл глаза, посмотрел на нее и улыбнулся. Улыбка эта, столь неуместная в данных

обстоятельствах, показалась ей чудом. Поэтому Ада безвольно опустила руку с ножом и тихонько спросила:

– Ты откуда здесь взялся?

– Из одной несбывшейся вероятности, – он говорил нараспев, как сомнамбула. – Я был лишен судьбы, а меня научили, как найти новую. Надо просто бежать, бежать с закрытыми глазами…

– Стоп, – решительно сказала Ада. – Это меняет дело. Ничего не попишешь, пошли отсюда. Только быстро и очень-очень тихо.

Когда они вышли на улицу, ее новый знакомый встрепенулся. «Понимаю, – бормотал он, – теперь понимаю, почему я тут оказался. То кафе, оно было в этом самом переулке, на месте твоего дома…»

– Это не мой дом, – сухо перебила его Ада. – Мой дом далеко отсюда. Очень далеко. Зато машина – вон за тем углом. Поедешь со мной.

– Конечно, – легко согласился незнакомец. – Ты ведь, можно сказать, моя новая судьба – взамен утерянной…

– Да уж. Повезло тебе с «новой судьбой», – ухмыльнулась Ада, отмечая, однако, что ухмылка эта почти помимо ее воли превращается в сочувственную улыбку, а рука сама собой ложится на плечо незнакомца – нежный, дружеский, покровительственный жест. «Хотела бы я знать, от чего именно я его спасаю, – думает она. – Но спасаю, это точно…»

21. Афина

Мощная страшная совоокая богиня архаики…

Ада, Ада… Глаза серые, круглые, волосы взъерошены как перья, острые локти, тяжелые бедра. Рот кривится улыбкой: правый уголок вверх, левый – вниз. Ходит кругами по комнате, ступни утопают в тумане, словно бы невидимом, но для меня почти осязаемом почему-то… Голос резкий, каждое слово рыболовным крючком вонзается в виски. Невыносимое существо!

– Все просто: я убиваю тех, кто уничтожает дух поэзии. Поскольку, выбирая жертву, я не могу полагаться на собственные пристрастные суждения, я убиваю лишь тех, кто пишет стишки на заказ, будь это любитель, рифмующий корявые строчки ко дню рождения тещи, или профессионал, слагающий оду на восшествие очередного мудака к вершинам государственной власти… А этот идиот дал рекламное объявление в газету: «Пишу стихи к свадьбам, юбилеям и другим торжественным событиям. Качественно, недорого». Домашний телефон прилагался к объявлению; выяснить адрес – проще простого. Такие дела, Макс, такие дела…

22. Ахтиа

В иранской мифологии злой волшебник, задающий 99 запутанных и каверзных вопросов.

– Почему ты его убила, мне более-менее понятно, – вздохнул я. – Девушку-то зачем было мучить?

Она молчала. Внимательно рассматривала свои маленькие, почти детские руки с коротко остриженными

круглыми ноготками. Наконец подняла на меня глаза, мрачные, как дождливый Апокалипсис.

– А вот не знаю. Противная она была какая-то. Блеклая, сладкая, никчемная. Настоящая Хорошая девочка, с большой буквы «хэ»… Наверное, мне просто нравится мучить людей. До сих пор не нравилось, а теперь вдруг понравилось. Что, конечно, хреново. Думаю, это была моя последняя охота.

Я вопросительно поднял брови.

– До сих пор я вела бессмысленную и безнадежную, но священную битву. Я не получала никакого удовольствия от этих убийств. По природе своей я не убийца и тем более не садистка. Вернее, не была таковой прежде. Теперь все иначе. Значит, пора остановиться. Потакать своей жестокости, прикрываясь интересами духа поэзии, – что может быть омерзительнее?!

Бред. Трижды бред. «Дух поэзии», понимаете ли…

Теоретически все, что она говорит, – ужасно, и мне бы положено не нежиться, свернувшись калачиком под леопардовым пледом Ады, а судорожно обдумывать план побега. Но мне не хочется никуда бежать. Мне хорошо в ее квартире-студии под крышей черт-знает-сколькоэтажного дома на северной окраине города. Я слаб, как новорожденный котенок, которого к тому же еще и топили – неумело, в несколько приемов, – но так и не довели дело до конца. Я знаю себя: теперь мне нужны, как минимум, сутки, чтобы оклематься. А здесь, у Ады, тепло, уютно, спокойно, мой папа сказал бы «как у бога за пазухой». Именно то место, где можно медленно, с наслаждением приводить себя в норму. И еще…

И еще. Меня не покидает ощущение, что в моей жизни теперь все правильно – наконец-то! Рядом сидит серийная убийца, только что отмывшая в кухонной раковине лезвие своего ножа, а я ничего не могу поделать с ощущением, что эта кошмарная женщина – самый близкий и родной мой человек, потому что нас всего двое сейчас на этой планете, а больше и нет никого. И это прекрасно.

Она все чувствует. Знает, что я – не враг, но и не жертва. Больше Ада обо мне пока не знает ничего. Но для начала вполне достаточно.

– Думаю, тебе надо выпить, – тоном лечащего врача сообщает она. – Мне, впрочем, тоже. Сейчас будет грог. С лимоном. Это клево, вот увидишь.

На плите свистит изумрудно-зеленый чайник гэдээровских кровей – неземной красоты вещь. Ада рыщет среди кухонных полок. С одной берет пакет с чаем, с другой – две большие стеклянные кружки; откуда-то извлекает бутылку – ух, ни фига себе! – кубинского темного рома. Заваривает чай, наполняет чашки, щедрой рукой доливает туда ром. Лимон режет пополам (ага, тем самым ножом, но мне плевать), выжимает сок – напиток богов готов.

Пробую грог. Свежеприобретенная судьба нравится мне все больше.

– Приготовление такого напитка приравнивается к спасению жизни. Теперь я твой должник.

Она серьезно кивает, усаживается на корточки перед диваном, обремененным моим, обмякшим после трудного дня, телом, внимательно рассматривает мое лицо.

– Все бы хорошо, – говорит, – но знаешь, Макс, ты похож на привидение. Какой-то ты… ненастоящий. Выдумка, не человек. Но не моя выдумка. Чья же? Ты кто вообще?

Господи, и эта туда же!

– Мне сегодня уже говорили то же самое, – вздыхаю я. – И мне до сих пор кажется, что это – полная ерунда…

– Кто тебе такое говорил?

И я рассказываю ей про Оллу. Медленно, вспоминая мельчайшие детали, которые я вообще-то не склонен замечать. Про маки на чайнике, про лазурный цвет и необъятные размеры доставшейся мне чашки; кажется, я даже наш диалог с гадалкой воспроизвожу наизусть, слово в слово.

Ада уселась на пол по-турецки, спину держит прямо, руки неподвижно застыли на бедрах – скульптура, не человек. Она слушает меня – боже, как же она слушает! Алчно впитывает слова, так пересохшая земля поглощает скудную милостыню дождя.

– А потом ты ушел от нее. И что было дальше? – взволнованно спрашивает Ада, когда отчет о моем визите к гадалке подходит к концу. Ее глаза сияют, как у ребенка, которому рассказывают – не сказку, нет – чудесную, но *подлинную* историю из жизни взрослых; историю, которая когда-нибудь, возможно, случится и с ним.

Я рассказываю дальше, все по порядку. Я говорю долго, очень долго, но за окном по-прежнему чернильная гуща неба, и никаких перемен. Часов в этом доме, кажется, нет; да и мои остались дома, а рассвет все не наступает, хотя пора бы ему… И тут я понимаю, что

рассвет не наступит, пока мы не наговоримся. Потому что на рассвете нам следует заснуть: увидеть друг друга при свете дня мы оба еще не готовы (почему, бог весть, но солнечные лучи опасны для юной тайны, заложенной в фундамент наших отношений). Я откуда-то знаю, что здесь, в комнате Ады, течет *наше* время, ручное, послушное, готовое если не исполнить все пожелания, то, по крайней мере, считаться с насущной необходимостью. Я не удивляюсь. Принимаю это знание как должное – почему нет? Чем это чудо хуже прочих?

История моя, наконец, иссякла. Я опускаю голову на руки, с благодарным изумлением понимаю, что сейчас, наверное, засну, и буду спать… Сутки, не меньше. Этот срок подсказывает воображению измученное тело.

Но откуда-то издалека доносится до меня вкрадчивый голос Ады:

– И как ты теперь собираешься жить – после всего, что сегодня случилось?

– Это нечестно, – бурчу. – Слишком каверзный вопрос для спящего.

– Я спрашиваю не затем, чтобы услышать ответ, а для того, чтобы ты сам его услышал. Сон – хорошее место для того, кто ищет ответ на каверзный вопрос. Потому что там можно найти все, что угодно, – назидательно говорит она.

Я уже не могу отвечать, я только думаю на митьковский манер: «Ада, сестренка, дык елы-палы!»

Она, вероятно, может теперь читать мои мысли: ее тихий смех настигает меня на шатком мостике между

сном и бодрствованием. Я бы и рад обернуться, но сон уже устал меня ждать, и сам движется мне навстречу…

23. Ах-пуч

В мифологии майя один из богов смерти. Обычно изображается в антропоморфном облике с черепом вместо головы, черными трупными пятнами на теле.

Я сплю, и мне снится давешняя поездка на троллейбусе с улицы Маяковского. Это один из тех настораживающих снов, когда, с одной стороны, отдаешь себе отчет, что спишь, а не бодрствуешь, но с другой – прекрасно знаешь, что это, в сущности, не имеет значения: опасности здесь не менее реальны, чем наяву, да и проблемы столь же неразрешимы. Просто логика немного иная, а бэкграунд куда более пластичен и переменчив, чем статичный контекст повседневности – вот и все.

В текущем сновидении, например, я *знаю*, что троллейбус следует в *Нижний Город*. Сейчас мое сознание словно бы загрунтовано толстым слоем невнятной, но *достоверной* информации о конечной цели маршрута – в точности так же наяву я знаю о существовании любой из городских окраин. То есть я в общих чертах представляю, куда еду, и само по себе это место не является для меня чем-то фантастическим.

За окном темно, но и это меня не смущает. Не потому, что я привык к ночным прогулкам (это наяву я к ним привык, а здесь – еще неизвестно, как обстоят дела), а просто потому, что сейчас для меня само собой разумеется, что все поездки в Нижний Город всегда

происходят в темноте. Это – нормально. Хуже другое: я знаю, что прежде, чем мы достигнем цели, будет остановка под названием «Мастерские». Очень важно не выйти на этой остановке по рассеянности или повинуясь внезапному порыву, потому что Мастерские – опасное место. Здесь меня уже однажды убили (наяву я об этом не помню, а сейчас вот вспомнил), и смерть эта была не слишком похожа на безобидный ночной кошмар. Если бы в момент моего рождения похмельная акушерка не брякнула в ответ на беспокойные мамины расспросы, что у мальчишки, дескать, как у кошки, девять жизней (еще одна подробность, которой я не знаю наяву), сейчас, пожалуй, некому было бы смотреть этот мой сон. Но старая ведьма нечаянно сделала мне царский подарок. Девять жизней – не так уж много для человека, которому снятся сны, подобные моим, но лучше, чем одна. Гораздо лучше.

Опасения мои тем временем сбываются. Троллейбус не просто подъезжает к остановке «Мастерские» (даже сейчас, в этом сне, я не знаю, *что* там *мастерят*, и боюсь об этом задумываться); он тормозит у столба, на котором прибита самая обычная табличка с номером маршрута и расписанием движения, только вот надписи эти давным-давно истерлись до состояния петроглифической ряби. Бесстрастный голос в динамике сообщает, что троллейбус дальше не пойдет. Меня просят освободить салон. Я содрогаюсь, но выхожу: невозможно ослушаться.

За дверью меня ждет глухая ночь; на этой безымянной улице лишь одно молочно-белое пятно света, оно омывает автомат с газированной водой, и я устремляюсь туда. Свет притягивает меня, как бессмысленного мотылька: хоть и знаю я, что этот

островок безопасности – ломтик бесплатного сыра в мышеловке, но знание сие остается сугубо академическим, мои действия никак от него не зависят.

У автомата с газировкой меня уже ждут. Высокий силуэт в длинном, наглухо застегнутом плаще; из-под широкополой шляпы на меня взирает почти обезьянье курносое лицо с глубоко посаженными печальными глазами (оно обладает карикатурным сходством с черепом, но все же это не череп – и на том спасибо!)

– Хочешь газировки? – приветливо спрашивает незнакомец.

Я мотаю головой. Меня бьет крупная дрожь. Но он протягивает мне стакан с водой, и я послушно беру подарок. Пузырьки газа шипят на губах, щекочут нёбо, но проглотить воду мне не удается. Мой опыт свидетельствует, что почти невозможно бывает сделать хоть глоток во сне, про который знаешь, что это – сон; вот и сейчас ничего не получается. Незнакомец испытующе смотрит на меня из-под шляпы. От тяжести его взгляда я окончательно теряю контроль над собой и захлебываюсь прозрачной звонкой жидкостью, можно сказать, тону в одном глотке газированной воды…

24. Ацаны

Жили они в те времена, когда на земле стояло вечно теплое лето…

Ада разбудила меня. В комнате все еще темно, но сейчас темнота мне нравится. Уютный, ручной, ласковый мрак – застрять бы навсегда в этой майской ночи, как в капле смолы, честное слово, я бы не возражал!

– Все не слава богу, – вздыхает она. – Ты что, Макс? Хрипел так, словно окочуриться собрался. Что с тобой? Ты не колешься, часом?

– Семь, – говорю я, едва ворочая онемевшим языком. – Или семь с половиной. Все же я не доумирал до конца…

Я еще не понимаю, что мое бормотание кажется ей бредом; я пока действую в рамках иной, сонной, логики, где чужие мысли очевиднее собственных, а слова нужны лишь для исполнения какого-то древнего ритуала, смысл которого темен и невнятен, но необходимость не вызывает сомнений…

– Чего-о-о-о? – встревоженно тянет Ада. – Какие «семь с половиной»?!

– Семь жизней у меня осталось, – говорю. – Когда я родился, было девять.

– Как у кошки?

– Ага.

– И когда ты успел две из них растранжирить?

– Во сне, – отвечаю, – дурное дело нехитрое…

Я окончательно просыпаюсь и отмечаю про себя, что она теперь одета по-домашнему. Алый свитер с растянутыми рукавами, белые спортивные брюки – этакий аналог пижамы, допускающий, однако, некоторую публичность. Парадный наряд для просмотра снов, уместный в тех случаях, когда в доме ночует кто-то чужой. В темноте студии зияет разобранная постель. Судя по всему, разбудил я хозяйку дома своими кошмарами. Нехорошо вышло, неловко…

Смущенно, заплетающимся языком, рассказываю ей свой сон. Как только речь заходит о Нижнем Городе, Мастерских и прочих топографических подробностях, Ада порывисто хватает меня за руку. Что с нею творится? То смеется, то всхлипывает от полноты чувств. «И ты, – говорит, – и ты тоже там был! Не знаю, правда, при чем тут твой дурацкий троллейбус, – снова смеется, – но это пустяки, все остальное сходится… Значит, все действительно где-то есть! Макс, ты понимаешь? Это все действительно есть – где-то, когда-то, зачем-то, но есть, есть, есть!»

Она уже не говорит, а визжит. Не противно, по-бабьи, а лопаясь от восторга, как совсем мелкая девчонка, узнавшая, что старшие братья возьмут ее с собой в поход. И я бы хотел разделить ее радость, но…

Положим, тот факт, что где-то есть Мастерские, не приводит меня в экстатическое состояние. От такой перспективы впору под диван полезть – хоть и знаю я с детства, что хреновое это убежище, а все же там как-то спокойнее.

– Кроме Нижнего Города, есть много дивных мест, но все дороги туда идут через Нижний Город, – улыбается мне Ада. – Это такая… магистральная развязка, в своем роде.

Счастье преобразило ее: когда мы встретились, она выглядела лет на тридцать – не то с хвостиком, не то без оного. А теперь – школьница, да и только; к тому же школьница, получившая первую в своей жизни записку с любовным признанием. Великолепная, всемогущая, уверенная в собственном бессмертии малолетняя дурочка. Чудеса!

– А Мастерские? – мрачно напоминаю я.

– Ерунда. Это что-то вроде пропускного пункта. У меня вон одна жизнь всего, а я не боюсь… Знаешь, почему именно Мастерские? Знаешь, *что* там мастерят?

– Не знаю, и знать не хочу.

– Ну и глупо. Там мастерят… не вздумай затыкать уши! Там мастерят наши с тобой и все прочие жизни: каждую – в нескольких экземплярах. Одна сбывшаяся, остальные – несбывшиеся, про запас. Чтобы было о чем выть зимними ночами, обламывая ногти об оконное стекло… Ты этого не знал, да? Теперь знаешь.

– А меня там убили. Давно, когда я еще в школе учился, и вот только что… Но ты меня разбудила, так что одну жизнь я, наверное, все-таки сэкономил… Не вяжется это как-то с твоей версией.

– Почему? Где жизнь, там и смерть, все логично. Смерти тоже бывают сбывшиеся и несбывшиеся. Ты не понимаешь? Ну, поймешь когда-нибудь…

– Ада, – я стараюсь умерить ее пыл, – это же мой сон. Почему ты знаешь о нем то, чего я не знаю?

– Твой сон? Ха! Не твой, а мой, я с детства живу там. И не от случая к случаю, как ты, а почти каждую ночь там оказываюсь. Потому и знаю о тех местах больше, чем ты… Но до сих пор я думала, что это – только мой сон. Главный из моих снов, но все равно просто сон, морок предутренний, который днем не имеет значения. А твое свидетельство меняет дело. Как хорошо, что я тебя сюда привезла и уложила спать! Как же удачно все сошлось!

Я смиряюсь. Есть вещи, которые выше моего понимания, но в то же время настолько очевидны, что с ними приходится соглашаться. Просто соглашаться – и все. Так – значит, так, будь по-вашему, со мною очень легко договориться. Иногда, по крайней мере… Если Ада говорит, что мой Нижний Город принадлежит ей, что он изучен ею вдоль и поперек – да будет так. Почему нет? В конце концов, я с детства по-настоящему хотел лишь одного: чтобы со мною случилось чудо. Ну хоть махонькое, хоть самое заваляще, никому не нужное… Вот и получай!

– Расскажи мне про это место, – прошу я, закрывая глаза. – Оно мне редко снится, и я почти ничего не знаю…

– Рассказать тебе сказку? – тихо смеется Ада. – Сказку о волшебной стране, где вечное лето, где без нас, сами собою, проживаются лучшие из выдуманных для нас несбывшихся жизней?

25. Ачуч-пачуч

…согласно поверьям, люди постепенно уменьшаются, достигая в конце концов размера, позволяющего им пройти через игольное ушко.

– О волшебной стране, да, – бормочу я. И вдруг сон снова слетает с меня. – Слушай, – говорю, – получается, что вчера я мог попасть туда… наяву. Потому что я наяву ехал в этом троллейбусе, я же тебе рассказывал: он меня до подъезда довез…

– А вот не специалист я по троллейбусам, – немного сердито говорит Ада. – Я по своим сновидениям пешком

хожу, знаешь ли, а на дурацком городском транспорте я там не катаюсь… Наяву, говоришь? Ну, все может быть. Хотя мне всегда казалось, что оказаться там наяву труднее, чем верблюду попасть в Царствие Небесное…

– Пройти сквозь игольное ушко, – педантично поправляю я.

– Что? – моргает она.

– Ты перепутала цитату. В первоисточнике верблюд проходил сквозь игольное ушко, а в Царствие Небесное попадали… – вернее, наоборот, не попадали – богатые.

– А, ну да, – рассеянно улыбается Ада. Мыслями она сейчас где-то далеко, там, где нет ни меня, ни верблюдов, ни игольных ушек, ни ущемленных в иммиграционных правах богачей. В Царствии Небесном, очевидно.

Больше всего на свете я сейчас хочу ее поцеловать, или хотя бы по щеке погладить, прикоснуться ласково к женщине, которую почему-то люблю больше жизни, но ее отсутствующая улыбка похожа на вежливое предложение убираться к черту, и я засыпаю. На сей раз – крепко и надолго.

26. Ашвины

Ашвины принадлежат к небесным божествам и связаны с предрассветными и вечерними сумерками <…> они возвращают жизнь умершим.

Меня никто не будит, поэтому я сплю чуть ли не до вечера. Проснувшись, обнаруживаю, что в доме никого нет, а на полу возле дивана лежит записка: «Можешь

сожрать, выпить и выкурить все, что найдешь в доме, но не смей пользоваться моей зубной щеткой. И дождись меня обязательно!!!!!!!!!» – восклицательных знаков целых девять, по числу моих запасных жизней. Что ж, хорошая цифра. Убедительная.

Но я, собственно, и не собирался отсюда убегать. Мысль о том, что я могу больше никогда не увидеть Аду, казалась мне – не то чтобы невыносимой, но весьма нелепой. И потом у меня еще оставались вопросы. Столько вопросов! От ответов на половину из них в той или иной степени зависела моя жизнь; прочие же были продиктованы нормальным человеческим любопытством.

Поэтому я принял душ, заварил чай – больше мне, собственно, ничего не требовалось, и рад бы совершить дозволенный грабеж, да организм не велит – и чинно уселся с чашкой в той части студии, которая выполняла роль кухни. К слову сказать, ни телевизора, ни радиоприемника у Ады не было; она не держала дома ни книг, ни газет. Ни единой строчки текста не удалось мне обнаружить в ее жилище – кроме разве что оставленной мне записки, но ее я уже прочитал. Чай пришлось пить в полном внутреннем молчании, и это немного действовало мне на нервы. Вспоминать вчерашний день было, мягко говоря, некомфортно; обдумывать свое ближайшее будущее – того хуже. А в настоящем не происходило ничего – кроме, конечно, чая. Да и тот быстро иссяк. Я уселся на подоконник и стал разглядывать облака. Этот процесс немного сродни чтению: такой же увлекательный, безопасный сон наяву, только сюжеты попроще…

На пороге сумерек в замке заскрежетал ключ. Ада вернулась. В первое мгновение, впрочем, я решил, что

мое уединение нарушила какая-то посторонняя дама: сегодняшняя Ада не походила ни на давешнюю убийцу, ни на совоокую амазонку, пришедшую той на смену, ни на счастливую девчонку в красном свитере, которая убаюкивала меня минувшей ночью. Сейчас в дом вошла эффектная деловая женщина: шикарный серый костюм в тонкую черную полоску, изящные туфельки на низком каблуке, волосы аккуратно причесаны, на носу – пижонские очки «для чтения», узкие полоски стекол без оправы, по таким сейчас все городские модники с ума сходили, даже те, кому коррекция зрения не требовалась.

– Так вот вы какие, северные олени, – лопочу ошарашенно.

Она улыбнулась одними губами, уселась напротив, испытующе заглянула в глаза. Вздохнула. «Давай, – говорит, – с вещами на выход».

Я был разочарован, но виду не подал. Признаваться, что я надеялся остаться здесь надолго, было бы опрометчиво – раз уж от меня решили избавиться. Но она и так все поняла.

– Той Ады, которая тебя вчера сюда притащила, больше нет. И не будет, я надеюсь. Я теперь вместо нее. А рядом со мной тебе делать нечего – наяву, по крайней мере.

– Это метафора? – осторожно поинтересовался я, застегивая куртку.

– Это хренафора, – смеется.

Позже, в машине, она сказала:

– Меня не покидает ощущение, что вчера я спасла твою жизнь. Может быть, у тебя их действительно девять – да хоть четыреста! Но вещь все равно ценная, как думаешь?

27. Аэндорская волшебница

Волшебница из Аэндоры, <…> предсказавшая Саулу поражение в войне.

– Ценная, – говорю. Кто бы спорил!

– Ну вот. А взамен мне нужно вот что… Просить тебя молчать обо всем, что случилось, не буду: ты и без моей просьбы будешь молчать, тут я спокойна. И адрес мой ты вряд ли запомнил: я сама, когда сюда переехала, в первые дни по бумажке свой дом находила в этом лабиринте. Поэтому я попрошу тебя только об одном одолжении: не пытайся меня разыскать. Не нужно записывать номер моего автомобиля, не нужно наводить справки, не нужно шляться по этому району в надежде меня встретить. Ничего в таком роде, ладно? Считай, что я тебе просто приснилась. Это ни к чему не обязывает.

– Хорошо, – соглашаюсь. – Не буду. Если даже случайно на улице встречу, сделаю вид, что мы незнакомы.

– Это как раз глупо, – возразила Ада. Тон ее серьезен, глаза печальны. – Если ты когда-нибудь увидишь меня на улице, беги навстречу, ори, делай все, чтобы привлечь мое внимание. Потому что если мы когда-нибудь встретимся снова, это будем уже не совсем мы. И возможно, эти новые люди смогут провести вместе немного больше времени, чем кусочек ночи.

– Вот теперь я не понимаю ничего, – удрученно сознался я. – Если ты хочешь, чтобы я узнал тебя на улице, какого черта ты не диктуешь мне свой телефон или не записываешь мой? Что ты дурью маешься?

Я срываюсь на крик, потому что (я сам только теперь начинаю это понимать) расстаться с Адой для меня сейчас смерти подобно. Это не какая-нибудь дурацкая «любовь с первого взгляда», не сопливая собачья чушь для озабоченных юных прыщеносцев, просто рядом с нею мне ничего не страшно, а без нее… без нее я буду чувствовать себя как человек, болтающийся над пропастью в кабинке вышедшей из строя канатной дороги: вроде жив еще, но ясно уже, что это ненадолго. Потому и ору как идиот: слишком уж велика ставка.

– Тише. Ты меня отвлекаешь, а я за рулем. И, между прочим, собираюсь выезжать на шоссе, а там… а там, как всегда, пробка. Пока будем ползти, я тебе все объясню про «дурь», которой я, как тебе кажется, «маюсь». Ну, или не все, а только что-нибудь, как получится…

– Давай, объясняй, – мрачно требую я, когда ее «пятерка» медленно переползает с узкой боковой дорожки на четырехполосное шоссе и тут же обреченно замирает между несколькими желтыми «Икарусами», добродушными, грузными и неповоротливыми, как сытые коровы.

– Есть встречи, которые имеют значение, и есть встречи, которые значения не имеют, – мягко, даже немного нараспев, говорит Ада. – Встречи, которые имеют значение, случаются не просто так, от фонаря, а *зачем-то*. Событие, ради которого произошла наша встреча, уже случилось. Следовательно, наше

дальнейшее общение будет, возможно, приятным, но бессмысленным. Хуже того, потакая желанию оставить все как есть, можно все испортить. Это – *правило*. Запомни его, пригодится еще.

Ужас состоит в том, что я каким-то образом знаю, что Ада права. О чем, собственно, она толкует – не понимаю, но нутром чую: так оно и есть. Это хуже всего: я-то ее переубедить намеревался. Выторговать хотя бы возможность позвонить, если совсем уж невмоготу станет, если почувствую, что мою жизнь снова пора спасать. У Ады это отлично получается, хотя, казалось бы, не ее это специализация…

– А какое событие случилось? – спрашиваю. – Их вообще-то было немало.

Настроение у меня – хоть волком вой, но любопытство – страшная сила. По крайней мере, мое любопытство.

– По твоей милости я выяснила, что некоторые вещи, которые я считала собственным вымыслом, абсолютно реальны, – с энтузиазмом докладывает Ада, радуясь не то изложенному факту, не то возможности переключиться на вторую скорость: маршрутный автобус, за которым мы следуем, пополз немного резвее.

– Ты… сны имеешь в виду? – уточняю.

– В част-но-сти, – чеканит она. – Я была сегодня на этой твоей улице Маяковского. Странно: сколько лет в этом городе живу, а никогда раньше туда не сворачивала. Без надобности как-то было…

– И что? – спрашиваю, содрогаясь от предчувствия ответа.

– А то. Троллейбусных проводов там, конечно же, нет, как ты и говорил. Но одно рогатое чудовище мимо меня проползло. Не остановилось, правда. Очевидно, это сервис для избранных. Зато сразу стемнело… ну, не то чтобы совсем стемнело, а нечто вроде сумерек случилось – это сразу после полудня, каково?! И подворотни там интересные, на этой улице: куда только они не ведут… Я туда особо не совалась: знала, что из таких мест не всегда удается вернуться к обеду, а мне тебя выпустить надо было… ну и еще кое-какие дела уладить, по мелочам. А подворотенки-то сладостные!.. Исследуй как-нибудь на досуге, если с духом соберешься.

– Щас, – саркастически усмехаюсь, – побежал уже… Да я теперь эту улицу за пятнадцать кварталов обходить буду!

– Вот! Это в тебе самое ужасное, – сочувственно вздыхает Ада.

– Что такого ужасного ты во мне обнаружила?

– А вот, смотри… нет, погоди, я закурить хочу, – она бесцеремонно достает из моего кармана пачку сигарет, берет одну, неумело, но с некоторым остервенением прикуривает, и я замечаю, что руки ее дрожат. – Мы с тобой оба были на этой улице, и оба натерпелись там страху. Только я теперь собираюсь отправиться туда еще раз, ночью. А ты, скорее всего, из города сбежишь, чтобы случайно в какое-нибудь чудо ногой спросонок не вляпаться. Сбежишь ведь?

– Не знаю еще. Может, и сбегу.

Про себя я в этот момент уже твердо знал: еще как сбегу! Как, куда, надолго ли – на сей счет у меня не было никаких планов. Но подальше от этого города, темная

сторона которого, сотканная из чужих опасных фантазий, в последнее время повадилась предъявлять на меня права.

– Понимаешь, какое дело, – печально говорит Ада, – если бы ты не свалился мне на голову, я бы никогда не узнала, что каждому выпадает шанс наяву прогуляться по лабиринтам собственных снов. Ты словно бы дал мне ключ от двери, ведущей в лучшую из моих комнат. Комната-то моя собственная, а ключ от нее почему-то был у тебя. И знаешь что? Думается мне, ты просто создан для того, чтобы раздавать такие ключи посторонним людям. Выпускать птиц из клеток, распахивать заколоченные окна, взламывать потайные двери, и все в таком роде. Но ты никогда не сможешь сделать это для себя самого. Когда-нибудь ты так и умрешь, сжимая в руках связки чужих ключей… И это глупо, по-моему. Но так уж ты устроен.

– Это еще одно пророчество? – ядовито спрашиваю. – Развелось пророчиц на мою голову…

Я почему-то разозлился. Очень мне не понравилось все, что она говорила. Так не понравилось, что теперь я хотел выйти из ее машины прямо сейчас. Пусть катится, куда пожелает, пусть себе снует по подворотням улицы Маяковского, заодно и пару-тройку графоманов прирежет, их в тамошних кофейнях толпы тусуются… да и местным алкашам какое никакое, а развлечение… Дура сумасшедшая. Ненавижу.

– Ты меня сейчас ненавидишь, потому что знаешь: я сказала правду, – мягко говорит Ада. – Хочешь выйти здесь, выходи, я сейчас сверну в правый ряд… Только потом, когда перестанешь злиться, подумай вот о чем: возможно, я ошибаюсь, и когда-нибудь ты обнаружишь в

связке свой собственный ключ и решишься им воспользоваться. Может статься, ты воспользуешься им мне назло – ну и замечательно! Спроси любого пророка: чего он хочет больше всего на свете? Чтобы его пророчества не сбывались – так-то! Вот и я надеюсь, что мое не сбудется.

28. Аю

Аю – «юнейший», рожденный после других, обладающий поэтическим даром.

Она, наконец, переползает поближе к тротуару, останавливается, и злость моя проходит. Ее сменяет печаль, потому что – вот и все. Я должен выходить, нам уже сигналят сзади, десятки измотанных вечерней толчеей автомобилистов требуют, чтобы мы не становились у них на пути.

Я смотрю на Аду и понимаю, что на прощание должен сказать ей что-то очень важное.

– Когда-то, – говорю, – очень давно, я писал плохие стихи. О любви и смерти, конечно же: о чем еще может писать стихи подросток? Они были… не то чтобы совсем уж плохие, но… неважные. А потом я вдруг запретил себе это делать: мне показалось, что множить число «неважных» стихов – мерзкое дело. Теперь я понимаю, что это был мой рыцарский подвиг в твою честь.

Она смеется, довольная, что нам удалось переломить ход беседы, пусть даже в самый последний момент.

– «Очень давно», – передразнивает. – Для тебя такая категория измерения времени пока не существует. Тебе же лет двадцать всего?

– Двадцать семь, – я почти возмущен. Думал, она меня своим ровесником считает, а тут – на тебе!

– Все равно, ты еще маленький. Для тебя все – недавно… А стихи можешь писать, если очень припечет. Но не больше одного в год, договорились?

– Договорились, – серьезно отвечаю я. И выхожу из машины.

Номера у нее, как я и подозревал с самого начала, заляпаны грязью: не разобрать ничего. Ну и ладно. Я вдруг понимаю, что вполне могу встретить Аду в одном из своих снов – раз уж она всерьез собралась наяву штурмовать Нижний Город. Как ни странно, нелепая эта мысль окрыляет меня, и я убегаю прочь счастливый, как ребенок, которого только что прокатила на автомобиле добрая тетенька из соседней квартиры.

29. Аями

В тунгусо-маньчжурской мифологии духи-предки шаманов. У каждого шамана свой аями, он наставлял, указывал, какой костюм надо иметь шаману, как лечить.

Далеко я, впрочем, не убежал, потому как почти сразу же наткнулся на Сашку Тормана, который, оказывается, шел ко мне с распростертыми объятиями.

– А я тебя второй день ищу, – говорит. – К телефону ты не подходишь, окна даже в половине третьего ночи темные были, соседи твои меня уже к бениной маме

посылать устали, а ты тут, оказывается, с красивыми бабами по городу катаешься. Растешь, однако. Где ты такую нашел?

– Да никуда я не расту. Просто решил до центра на машине доехать, поднял руку, она и остановилась. Но я почти сразу тебя увидел и решил выйти.

Мне даже придумывать ничего не пришлось: лживая версия сама собой слетела с моих губ, и пока она проговаривалась, я сам почти поверил, будто так оно и было. А как же еще?

– Ну и поц: телки с тачками не каждый день с неба падают… Но вообще-то молодец: у меня к тебе дело на сто миллионов.

– Ну вот, – говорю гордо, – я и почувствовал, что надо выйти с тобой поздороваться.

А сам при этом обращаюсь в слух. «Дело на сто миллионов» – именно то, что нужно джентльмену, измученному всяческой непрактичной метафизикой, особенно если это дело затевает Торман. Сашка – фотограф, один из лучших в городе. Гений, трудяга, распиздяй, плейбой – гремучая смесь. Он мой учитель и работодатель заодно. Если я бываю порой способен вытворять чудеса со своим престарелым «Зенитом», да еще и деньги этими чудесами зарабатывать, все это – Сашкина заслуга.

Он подобрал меня десять лет назад. Не на помойке, а много хуже – в фотоателье, куда я носил на проявку свои любительские пленки. Торман же этим злачным местом в ту пору заведовал; его многочисленные бывшие жены и текущие любовницы были оформлены там на работу в качестве приемщиц, а Сашка за них отдувался,

поскольку решительно не способен сказать женщине «нет» – по крайней мере, пока она сохраняет хотя бы жалкие остатки былой красоты. В момент нашего знакомства Торман был слегка навеселе, а потому общителен, нахрапист и убедителен. Достал из коробки с готовыми заказами мои пленки, отсмотрел их, одобрительно мыча, после чего смял и широким жестом выбросил в мусорную корзину. Я был в шоке, но мой будущий наставник безапелляционно завил, что я понес справедливое наказание, поскольку настоящий мужчина никогда не доверит проявлять свои пленки постороннему мудаку. За такую глупость, по его мнению, следовало убивать на месте, но меня Сашка все же решил пощадить. Сообщил снисходительно, что для любителя у меня очень хорошая постановка, а посему из меня следует делать человека, причем безотлагательно. Потому что к двадцати годам, согласно теории Тормана, ни одна обезьяна переделке уже не поддается.

Мне едва исполнилось семнадцать, и я был готов заглядывать в рот любому, кто меня заметит и похвалит. Счастье, что не кто-нибудь, а именно Саша Торман первым распахнул передо мной свою пасть и любезно позволил пялиться туда сколько душа пожелает.

Конечно, он учил меня не только фотографии, хотя этому непростому ремеслу было уделено немало внимания. Но в перерывах между занятиями Торман учил меня высокому искусству существования взрослого человека среди других взрослых людей. Краткий курс молодого бойца с тягомотной совковой повседневностью охватывал чуть ли не все аспекты бытия: Сашка учил меня стильно одеваться (до встречи с ним я вечно таскал нечто купленное родителями «на вырост», так что даже фирменные джинсы висели на мне мешком) и пристойно

стричься (в этом вопросе теоретические знания были бесполезны, поэтому он просто отвел меня к одной из своих женщин, которая в совершенстве владела искусством ухода за черепными газонами). Именно Сашка внушил мне, что джентльмена делают ботинки: дескать, хоть в банном халате на улицу выходи, но обувь должна быть безупречной; он же весьма бесцеремонно, зато доходчиво разъяснил, чем отличается мужчина в чистых носках от мужчины в грязных. Без его дружеских консультаций я бы вряд ли так быстро и безболезненно отмазался от армии, да и родительский дом не решился бы покинуть на следующий же день после выпускного вечера. Благодаря Торману я стал вольной пташкой, начал вести богемный образ жизни прежде, чем обучился к месту употреблять сие словосочетание, и, конечно, был куда более свободным человеком, чем мои ровесники. Пару раз в неделю шеф брал меня с собой на какую-нибудь халтуру: чаще всего мы фотографировали человекообразных приматов на свадьбах, юбилеях и прочих кошмарных гульбищах, но случались и более серьезные заказы. Однажды мы снимали на слайды выставку в Археологическом музее, в другой раз – корабли в порту (я так и не понял, кому и зачем они понадобились); случалось нам неделями бродить по старым городским кладбищам в поисках экстравагантных надгробий, фотографировать породистых кошек на городской выставке и чернокожих студентов университета на фоне первого в их жизни снега. Да чего только не было!

К девятнадцати годам я начал работать самостоятельно, не забывая, конечно, отстегивать Торману за посредничество: предпринимательская жилка у меня отсутствовала напрочь, крутиться,

договариваться, искать и находить заказы я так и не научился. Зато примерно в то же время я почти перестал прислушиваться к его житейским советам: я взрослел очень быстро, а Сашкины премудрости оставались прежними и годились только для ранней, уже снятой с эксплуатации модели «Макс-1»; он, впрочем, и сам это понимал. Его покровительственная дружба как-то незаметно превратилась в необременительные приятельские отношения; для дела, как выяснилось, это было даже полезно. Моих заработков в ту пору с лихвой хватало, чтобы оплатить аренду мансарды в дачном районе города, эпизодически подновлять гардероб, регулярно мучить собственный организм испражнениями зеленого змия, откармливать пломбиром все живые существа, обладающие женскими первичными половыми признаками, и при этом – самое главное! – не терять ежедневно восемь часов своей единственной и неповторимой жизни на бессмысленную барщину в каком-нибудь учреждении. Даже зловещая статья за тунеядство мне не грозила, пока Сашка не разгромил родное фотоателье, неосторожно отправившись на работу в самый разгар очередного запоя. После этого подвига ему пришлось забрать из кормушки не только свои, но и мои документы. Следует, впрочем, отметить, что мудрый Торман устроил свой маленький Апокалипсис аж в восемьдесят восьмом году. К этому моменту нравы заметно смягчились, и ментовские страсти вокруг нетрудового народа поутихли: не до нас уже стало…

По правде говоря, в последние пару лет дела наши шли не так гладко, как прежде. Думаю, дело в том, что времена менялись слишком быстро, даже шустрый Торман не успевал к ним приспосабливаться. А я был слишком ленив, чтобы отправляться в самостоятельное

путешествие по бизнес-джунглям. Я уже привык к тому, что деловые вопросы решаются без моего участия; да и витальная сила Сашкиной харизмы была такова, что сомнений в его бытовом могуществе у меня не возникало, а неудачи наши казались явлением временным и безобидным, своего рода «отпуском за свой счет».

Б

30. Бахт

Чтобы вернуть обратно или пригласить Бахта, <…> в начале нового года совершают особые церемонии: девушки садятся на кочерги и скачут на них, старухи выходят из дома с посохами, стучат по земле и особыми заклинаниями просят Бахта вернуться в их дом.

В силу всех вышеизложенных и еще великого множества не поддающихся формулировке причин я воспринял заявление Тормана о загадочном «деле на сто миллионов» не просто как хорошую новость, а как своего рода приглашение вернуться к «настоящей» жизни (причем в тот момент мне бы и в голову не пришло закавычивать прилагательное). Реальность вдруг спохватилась, обнаружила, что я каким-то образом ускользнул от нее, увяз в потусторонних грезах. И решила меня вернуть, устами Сашки Тормана суля немыслимые блага и небывалые приключения.

Попадись мне навстречу кто-нибудь другой, я бы, чего доброго, решил, что морок продолжается. Но для обряда возвращения меня в лоно родной действительности был выбран самый подходящий (если не единственно возможный) исполнитель.

Честно говоря, я был в восторге.

– Рассказывай, – говорю, – про свои миллионы. Или дело такое, что нужно где-то прочно засесть?

– Да надо бы укорениться жопами, – лирически вздыхает Торман, – только я сейчас в завязке, а развяжу – мало никому не покажется… Пошли, что ли, в парке посидим на лавочке, как два пенсионера.

– Здесь до моря десять минут пешком, – подсказываю.

– Пиздишь, двадцать.

– Сойдемся на пятнадцати, – миролюбиво предлагаю я.

И мы углубляемся в бетонную гущу дворов, потому что героев, решившихся пересечь это царство теплой асфальтовой пыли, ждет награда в конце пути: жесткая трава, белый песок, полоумные чайки и вода. Очень много мокрой, соленой воды, пригодной для созерцания, но не для питья.

31. Бесы

Образ, который они принимают, <…> зависит от их выбора; а так как сама сущность бытия бесов – ложь, образ этот – фальшивая видимость, маска.

– Ты только давай прекращай придуриваться, что у тебя все клево, – бросает мне на ходу Торман.

– Почему «придуриваться»? – невинно удивляюсь я.

– А ты всегда придуриваешься, – ухмыляется он. – Сколько лет тебя знаю, и за все время ты сказал мне полтора слова правды, да и то по пьянке.

– Ну, положим, не полтора. Штук сорок. Просто тридцать восемь с половиной ты пропустил мимо ушей – по пьянке, опять же.

– Бухгалтер, блин… Ты мне скажи, что у тебя с глазами делается? Одни зрачки остались. Ты ширяться, часом, не начал?

– Да что ж вы все привязались ко мне? – ворчу. – Эта вон спрашивала вчера, теперь ты… Нашли самого главного наркомана всех времен! Я уколов боюсь с детства, между прочим. Может у человека крыша ехать просто так, на трезвую голову и голодное пузо?

– У нормального человека не может. Но у тебя – почему нет? – соглашается Сашка. И тут же перескакивает на более увлекательную тему: – «Эта», которая тебя вчера спрашивала – не та ли фифа с тачкой? Точно ведь она!

Я пожимаю плечами: дескать, думай себе, что хочешь. Врать человеку, который заранее уверен, что ты врешь, неинтересно; говорить же правду, пользуясь языком, словно бы специально созданным для измышлений, преувеличений и недомолвок – как-то нелепо, все равно что микроскопом гвозди заколачивать. Молчать загадочно – еще куда ни шло…

32. Биби-Мушкилькушо

Госпожа – разрешительница затруднений.

– У тебя ведь с бабками плохо сейчас? – спрашивает Торман после того, как мы усаживаемся на волнорезе.

Пляжи божественно пусты: во-первых, четверг, будний день; во-вторых, скоро стемнеет, да и вода пока холодная, градусов тринадцать, не больше. Май все-таки. Райский пляж на окраине райского же сада, задолго до наступления эпохи утраченной невинности. Возможно, именно поэтому Сашка употребил интеллигентное наречие «плохо», вместо обычного для него (и куда более уместного в данном контексте) «хуево». Такая сдержанность даже настораживает.

– Сам знаешь, как у меня с бабками. Если я отстегну тебе десять процентов от того, что заработал за весну, ты разоришься.

– Почему это? – хмурится непонимающе.

– Потому что проценты от отрицательной величины – тоже величина отрицательная.

Торман некоторое время обиженно хлопает глазами. Шутки, для понимания которых ему не хватает теоретических познаний, Сашку бесят. Меня, впрочем, тоже бесили бы, наверное… Поэтому спешу разрядить обстановку. Спрашиваю с почти восточной почтительностью:

– А что, у меня появился шанс изменить эту удручающую картину?

– Хрен – у тебя! У меня, – величественно сообщает мой гуру. – Шанс – у меня, а бабки будут у тебя. Нравится тебе такой расклад? – И умолкает. Мстит мне за «отрицательную величину», я полагаю.

– Общеизвестно, что без тебя я бы давно сдох, – льстиво замечаю я. И внезапно перехожу на звериный рык: – Па-а-адр-р-р-р-р-робности давай, не тяни жилы!

Все, тормановское сердце растоплено. Теперь он будет вещать, а я – слушать. Что и требовалось.

33. Благовещение

…«суммирующее предвосхищение» спасения людей.

– Тут на днях объявились какие-то странные фронсы,[2] – сообщает он. – Два мужика и баба. Страшненькая, но бойкая, тебе такие нравятся…

Сашка снова делает паузу. На сей раз не из вредности, а чтобы дать мне возможность оценить важность грядущего сообщения.

– Где ты их подцепил? – изумляюсь я.

Есть чему удивляться. Во-первых, насколько мне известно, Сашкины познания в области романо-германской филологии ограничиваются фразами, которые можно было почерпнуть из общедоступной сокровищницы кинематографа: «О'кей», «Хэндэ хох», «Пуркуа па», – и еще кой-чего, по мелочам. Во-вторых, иностранцы, приезжающие в наш город, бродят, мягко говоря, не совсем по тем тропам, где можно обнаружить россыпи тормановских следов. Мир ведь многослоен не только в метафизическом, но и в сугубо практическом смысле: он состоит из изолированных друг от друга пространств, которые входят в соприкосновение изредка и ненадолго, так что их обитатели могут разве что обнаружить присутствие друг друга; вступить же в контакт им почти никогда не удается, сколь бы

---

[2] Фронсы – так в некоторых городах бывшего СССР называли иностранцев.

поучительным и забавным ни полагали они сей несбыточный опыт…

– Подцепил? Это они меня подцепили. Их Брахман таскал за собой на поводке. Три дня он решал, куда им ходить, с кем знакомиться, что жрать и где ссать. И думал, что он – кум королю. А на четвертый день фронсы взвыли от тоски, и тут им подвернулся я.

– Где ты им подвернулся?

– Где, где… В «Белом», где же еще.

Ну да, я сам бы мог догадаться. Бар при гостинице «Белый город» – как раз этакий городской «перекресток миров», единственный в своем роде. Там и только там могла состояться официальная дружеская встреча двух городских знаменитостей: лингвиста Миши Брахмина, выпускника Тартусского университета, ученика Лотмана и прочая и прочая и Сашки Тормана, запойного фотографа с сомнительной репутацией гениального халтурщика. Пресловутые «фронсы» тоже были там весьма уместны. Пожалуй, уместнее даже, чем эти двое: еще не так давно считалось, что «Белый» существует специально для иностранцев; в начале, да и в середине восьмидесятых туда пускали только постояльцев гостиницы, коих обслуживали исключительно за валюту, но потом бар почему-то перешел в общее пользование, к неописуемому восторгу городских прожигателей жизни.

– А как ты с ними общаешься? – спрашиваю я. – Или Брахман согласился поработать твоим личным переводчиком?

Сомнительно, конечно, но чем черт не шутит. Сашка все же обаятельный…

– Хреноводчиком, – ржет тот. – Ага, за трояк в час… Эти фронсы сами по-русски пиздят не хуже нас с тобой. Русисты они. Или слависты… В общем, похуисты, но по-нашему шпрехают будь здоров. Изучают нас. Говорят, что две недели жили в Питере, потом еще в Москве были, а сюда приехали, потому что какой-то там наш поэт написал, что если уж пришлось в совке родиться, «лучше жить в провинции у моря», – так я запомнил. Ходят теперь с довольными рожами, глушат коньяк ведрами на каждом углу и говорят, что он прав оказался, поэт-то. Ну, им виднее…

– Понятно, – киваю. И смотрю на Сашку вопросительно: дескать, все это мило, но когда же про бабки-то будет?

– Вчера они у меня в гостях сидели, – важно сообщает он. – Пришли-то без задней мысли, из любопытства, посмотреть, как живет «свободный художник» – так они меня определили… Я их на кухню повел, сам знаешь, у меня больше и присесть-то по-людски негде. А на кухне висят твои «Едоки». И как они их увидели, такой геволт подняли! Теперь ты у этих фронсов любимый художник.

Я окончательно обалдел. «Едоки» – так называлась серия черно-белых фотографий, которую я делал на протяжении нескольких лет. Сама по себе концепция не принадлежала к числу особо грандиозных: вдохновившись, с одной стороны, «Едоками картофеля» Ван Гога, а с другой – специфической обстановкой свадеб и юбилеев, которые приходилось запечатлевать на пленку ради заработка, я стал коллекционировать особо омерзительные эпизоды взаимоотношений человека и пищи. Жующие рожи, перекошенные рты;

лезущие из орбит глаза поперхнувшихся обжор; струйка слюны на подбородке; макароны, свисающие из нетрезвой пасти; икорная сыпь на лоснящихся губах и все в таком роде.

Первые снимки были цветными, но я почти сразу выяснил, что хорошего качества мне тут не добиться, а скверных цветных фотографий и без меня в мире хватает. «Едоки» стали черно-белыми. После нескольких экспериментов я понял, что не брошу эту серию, ибо она способствовала уничтожению несметного количества зайцев. Тут нашли выход присущие мне мизантропия и охотничий азарт; кроме того, у меня появился стимул приумножать свои умения, да и приятно было, чего греха таить, ощущать себя «настоящим художником». Некоторыми кадрами я искренне гордился; прочие меня просто устраивали – а это тоже немало.

Торман поначалу обозвал мое новое увлечение «бздыком» и демонстративно им не интересовался. Однако некоторое время спустя снисходительно вспомнил: «Да, ты ж у нас жрачку снимаешь», – и потребовал коллекцию на просмотр. Поначалу ржал, потом вдруг помрачнел. Пробурчал что-то вроде «можешь ведь, если хочешь», – услышать такое от трезвого Тормана было очень круто. Расчувствовавшись, Сашка предложил мне выбрать несколько снимков и отпечатать их в крупном формате, 60×40, что-то около того. Фотобумага такого размера была тогда дефицитом, стоила страшных, по моим меркам, денег, да и техники требовала особой, профессиональной, у меня такой отродясь не водилось. То есть шеф сделал мне воистину царский подарок.

Несколько отпечатанных снимков Торман повесил у себя на кухне. «Чтобы гости не обжирали», – примерно так звучала его мотивация. Что правда то правда: мои «Едоки» могли лишить аппетита даже страдающего булимией. По крайней мере, отобранные Сашкой кадры.

В последнее время я серию забросил. Во-первых, оказий случалось все меньше. Во-вторых, отснятыми пленками можно было уже обмотать земной шар – ну, положим, не в районе экватора, а поближе к какому-нибудь полюсу, но мне казалось, что и это неплохой метраж. И наконец, так уж я устроен, что не могу подолгу заниматься одним и тем же делом, а с фотоаппаратом я не расставался уже лет десять, вот организм и взбунтовался.

– Они их купили, твои снимки, это раз, – огорошил меня Сашка. – Забрали все, что нашлось у меня. По полтиннику за штуку – нормально, а?!

Я быстренько подбиваю бабки. У Сашки дома хранится восемь больших фотографий из этой серии; по пятьдесят каждая – вот вам и четыреста рублей. Даже если Торман заберет половину (а он заберет), я получаю двести. Неплохо, если учесть, что негативы остаются при мне. «Жизнь налаживается», – вспоминаю я свой любимый анекдот про бомжа, который хотел повеситься в общественной уборной, но передумал, обнаружив там бутылку с остатками портвейна и крупный чинарик.

– Второе. Им этого мало. Я сказал, что у тебя несколько десятков пленок отснято, и теперь они хотят выбрать самые лучшие. Я по-быстрому отпечатаю, деньги пополам, идет?

– Идет.

«Пополам» – это он, конечно, офонарел, но я не умею торговаться. Ну и ладно. В конце концов, без Сашки вообще не было бы ничего. Не только этих странных клиентов, а вообще – ни-че-го. О таких вещах я не умею забывать. И рад бы, да не выходит.

– Так что, нужно показать им пленки? – спрашиваю. – А где? Не в коммуналку же их ко мне тащить…

– Конечно тащить! – орет Торман. – Они же за тем сюда и приехали, чтобы на нашу жизнь полюбоваться. Они мечтают побывать в настоящей коммунальной квартире. Я с ними договорился, что попробую тебя найти и притащить сегодня вечером в «Белый», а потом мы, конечно, пойдем к тебе. Если ты просто принесешь им пленки, они взвоют от разочарования.

– Ладно, – ухмыляюсь зловеще. – Будет им рашн экзотика. Если повезет, увидят даже, как Людмила Петровна ноги в кухонной раковине моет. Или как баба Лиза сидит в туалете, оставив дверь нараспашку, чтобы подкараулить тех, кто за нею якобы подглядывает. А если мало покажется, можно дождаться глубокой ночи и залезть в холодильник Ковальчуков: они там как раз сигнализацию устроили, у них в комнате колокольчик звенит, когда холодильник открывается… Настоящее экстремальное шоу, где они еще такое увидят!

– Макс, – проникновенно говорит Торман, не обращая внимания на дурацкий мой монолог, – вот тебе мой совет, постарайся с ними подружиться.

– Зачем? Они же фотографии покупают, а не меня… Нет, если ребята симпатичные, чего ж не подружиться… Но зачем специально стараться?

– Клевые чуваки, тебе понравятся… А стараться советую потому, что они меня о тебе вчера весь день расспрашивали. Сначала то-се, поинтересовались, сколько тебе лет, да говоришь ли ты по-английски или еще на каком языке… Я, кстати, ответил, что английский ты вроде как знаешь – не спиздел?

– Ну… будем считать, что нет, – вздыхаю скорбно.

Сразу после школы я бойко лопотал на заморском этом наречии, без особых усилий переводил тексты песен и даже книжки адаптированные какие-то в троллейбусах почитывал, а потом забросил сие занятие: стимула не было. Учить иностранный язык в совке, – думал я тогда, – все равно, что приговоренному к пожизненному заключению следить за модой. К счастью, времена стремительно менялись, и теперь у меня на горизонте замаячили смутные, но весьма соблазнительные возможности опозориться перед носителями этого самого языка… Эх!

– Они еще спрашивали, есть ли у тебя семья, – продолжает Сашка. – Интересовались, не собираешься ли ты жениться, и все в таком роде. Очень обрадовались, узнав, что ты – дурак, но не настолько… Ты понимаешь, к чему дело идет?

– Честно? Не понимаю пока.

– Ну и поц. Ясно, что у них есть какие-то планы на твой счет. Может быть они тебе работу предложить собираются? А что? Теперь же просто выехать, было бы приглашение…

– Нужен я им, – бурчу. – У них там такого добра на каждом углу.

– Пиздишь, – царственно возражает Сашка. – Ни одного моего ученика пока у них там нет… кроме Леньки Воланда, который уехал в Израиль, но Ленька был полный мудак. Ты когда только школу кончал, уже лучше работал, чем Ленька.

– Торман, – прошу жалобно, – умолкни. Сглазишь.

Потому что то, о чем он говорит – это больше, чем мечта. Много больше. Что-то вроде путевки в Царствие Небесное… Путевки, которой можно воспользоваться при жизни.

34. Боги

Вопрос о происхождении богов неоднократно ставился в литературе.

Пока мы едем на такси в центр, я размышляю о загадочных тормановских «фронсах». Какими они окажутся? Что им от меня может понадобиться? И, если уж на то пошло, зачем им мои «едоки»? Просто сувенир из «провинции у моря»? Странный, однако, сувенир… Может, пропаганды ради? Дескать, посмотрите, люди добрые, на жуткие хари всепожирающих строителей коммунизма… Да нет, вряд ли, они там нынче страстно любят Горбачева и перестройку, это даже круче, чем матрьошка-баляляйка-вотка-чьёрная-икра… Неужели просто ценители искусства? Богатые меценаты, готовые взять под крылышко юного гения из совдепии? «Под крылышко» – это хорошо бы, меня надо любить, холить, лелеять и давать мне много денег, только до сих пор никому не приходило в голову осуществить сию прогрессивную программу… А может быть, они из секты

буйнопомешанных диетологов и надеются, что «Едоки» помогут им пополнить ряды новыми адептами из числа убоявшихся уподобиться моим невольным натурщикам?

Последнее предположение нравится мне больше прочих: оно достаточно абсурдно, чтобы оказаться правдой.

Впрочем, самое главное я о них уже знаю. Эти щедрые иностранные психи – вестники самой судьбы или даже ее орудия. С этой точки зрения они благословенны и смертельно опасны; их появление сулит мне восторг и смуту больших перемен…

И все же интересно, откуда они взялись?

– Слушай, – спрашиваю, – а откуда они?

– В смысле? – удивляется Торман. – Ну фронсы же, из-за границы, значит.

– Ну, понятно, что не с неба свалились и не из-под земли выползли… А из какой именно страны, не знаешь?

– Не спросил, – он, кажется, сам удивляется теперь собственному промаху. Но быстро находится: – А не однохренственно ли тебе? Главное, что они есть.

И то правда.

35. Бран

Он переходит моря вброд…

За этими увлекательными размышлениями я не успел заметить, как наше такси свернуло на улицу Маяковского. Спохватился, когда за окном уже засверкал в сиропе фонарного света сизый кафель пятиэтажки. Тут

же повернулся к другому окну и убедился, что давешнее наваждение рассеялось: вывески кафетериев сияют жалкими неоновыми заплатками на фоне ультрамариновой роскоши новорожденной ночи; городские бездельники снуют в лабиринтах белого пластика – от столика к столику, от приятеля, к приятелю; даже старухи с семечками еще сидят на своих табуретах, не спешат отправляться по домам: клиенты-то – вот они!

Я расслабленно откинулся на спинку сидения. Все моря Вселенной были мне по колено теперь, когда зыбкие топи опасных, не мною вымечтанных, чудес расступились, чтобы дать мне дорогу. Я наконец почувствовал, что вернулся обратно. *Откуда*– на этот вопрос я предпочел бы не отвечать даже себе. Себе, собственно, в первую очередь.

36. Буркут-баба

В одном из <мифов> Аллах обещает удовлетворить любое желание того, кто простоит 40 суток на одной ноге.

«Фронсы» оказались симпатичные. По-русски говорили с легким акцентом, каждый искажал каноническую, привычную уху звукопись на свой манер, но словарным запасом они обладали фантастическим. Особенно белобрысая, коротко стриженая немка Клара; ее спутники, голландец и американец, объединенные немыслимым для чужих друг другу людей внешним сходством, были молчаливыми, приветливыми интровертами и словно бы просто создавали фон для ее непрерывного бенефиса. Пока мы чинно пили кофе в

баре (вопреки тормановским байкам, блудные иностранцы вели трезвую жизнь, по крайней мере, сегодня), она обрушивала на меня ничего не значащие сведения о себе и своих приятелях – обычный информационный мусор, пригодный лишь для натурального обмена при первом знакомстве. Сообщения перемежались сдержанными комплиментами моему мастерству «создавать настоящий кошмар на пустом месте», – формулировка, впрочем, принадлежала не Кларе, а молчаливому голландцу Дитеру. Комплименты я слушал вполуха: ждал, когда беседа вступит в свою деловую фазу. А она все не вступала.

«Ну и черт с ними, – решил я. – Нефиг губу раскатывать, и так все круто, двести рублей на дороге не валяются, а в кармане моем очень даже лежат». И расслабился. Спросил: «Ну что, пойдем ко мне?» Общество возрадовалось. О вкусах, конечно, не спорят, но я бы, дай мне волю, до утра в «Белом» сидел, а эти пулей вылетели на улицу.

Отправились: я впереди, показываю дорогу, суровый трезвый Торман замыкает шествие. Присматривает, чтобы клиенты не удрали, так, что ли?

– Скажите пожалуйста, Макс, – вдруг ожил американец Стив, молчавший до сих пор столь упорно, что я уж решил было, будто парень всю жизнь имел твердую «двойку» по этой своей «русистике». То есть здороваться по-русски его худо-бедно за пять лет в университете научили, но это – все!

Однако оказалось, что с русистикой у Стива полный порядок. Просто он был самым деловым человеком в этой маленькой компании, на ерунду вербальных усилий не тратил.

– А доводилось ли вам когда-нибудь работать по заказу? – он спросил не просто вежливо, а почти робко. Словно предполагал, что, услышав такое, я, как подобает великому художнику, смертельно оскорблюсь, побледнею, задушу всех присутствующих голыми руками, а потом убегу прочь, сотрясая ночь сдавленными рыданиями.

– Если бы я не делал работу по заказу, я бы сдох от голода десять лет назад, – отвечаю этому наивному капиталисту с воистину пролетарской снисходительностью. – Откровенно говоря, только тем и занимаюсь, что по заказу работаю.

Иностранцы, кажется, удивились. Наличие свободного предпринимательства в стране недостроенного коммунизма, очевидно, не вписывалось в рамки известной им концепции мироустройства. По крайней мере, они дружно умолкли. Переваривали информацию.

– Но это просто замечательно, – говорит наконец Стив. – Раз так, вам будет не сложно принять участие в нашем проекте. Конечно, если он вас заинтересует…

Земля совсем было собралась уйти у меня из-под ног, но я на нее цыкнул. Нашла время, сучара! Тут такие дела творятся…

– А что за проект? – голос мой звучит так спокойно, словно мне и правда не очень интересно, будто бы из вежливости только спрашиваю. Высший пилотаж, вот уж не ожидал от себя!

– Через полтора года мы будем делать международную выставку, – будничным тоном объясняет он. – Название проекта – «Мизантропия»…

– «Мизантропия»?!

Ушам своим не верю.

– Сами понимаете, ни один фонд не выдал бы нам грант на реализацию такой концепции, но… К счастью, у Клары богатый дедушка.

– И очень злой, – смеется Клара. – На доброе дело ни за что денег не дал бы. А на «Мизантропию» дал. Сказать по правде, я специально для него эту выставку придумала. Дед еще ни разу в жизни не дал ни копейки своим потомкам. Когда мой отец был школьником, он получал карманные деньги из приданого бабушки, которая имела отдельный банковский счет… Но я подобрала ключи к сердцу – у вас так говорят, кстати, или выражение устарело?

– Да нет, не устарело пока… Так вы мои фотографии для этой выставки купили?

– Не совсем, – мнется Стив. – То есть для выставки, да… Но мы, можно сказать, купили скорее концепцию, чем объекты.

– Так, – вздыхаю. – Это для кого из нас русский язык – иностранный? Наверное, все-таки для меня: я уже ничего не понимаю. Или я просто дурак?

– Ты не дурак, – строго поправляет меня Дитер. – Ты – большой художник.

Ночь оглашается ржанием Тормана. Переждав шумовую бурю, они снова пускаются в объяснения.

– «Едоки» – это очень хорошая концепция, – веско заявляет Стив. – И исполнение хорошее, хотя качество печати оставляет желать лучшего, но это поправимо…

Теперь Торман скрипит зубами. Хорошо, что он трезв: будучи подшофе, мог бы и убить за такую оценку его труда. А что, запросто!

– Увидев ваши работы, мы много дискутировали, – продолжает потенциальная Сашкина жертва, – и пришли к выводу, что эту концепцию надо расширить. Сделать своего рода карту мира… Понимаете, Макс, ведь некрасивые люди есть не только в вашем городе, они есть везде…

– Приятно слышать, – ухмыляюсь.

– …и все эти некрасивые люди, во всех городах мира, иногда едят! – торжественно завершает Стив. У него просветленное и немного надменное лицо человека, только что совершившего информационное благодеяние. Наверное, именно так выглядел пророк Мухаммед после того, как впервые поведал окружающим о величии Аллаха.

– Эту затею очень просто осуществить, – вступает Клара. – В каждой стране мира мы найдем нескольких хороших фотографов – пусть снимают своих «Едоков»!

– Вы, Макс, конечно же, будете фигурировать как автор идеи, – поспешно говорит Дитер.

– Ну да, – растерянно соглашаюсь я, не в силах дать оценку всему вышеизложенному. Мой разум не способен определить, «хорошо» это или «плохо». Он обескуражен, сбит с толку. Такого поворота дела я не ожидал.

– Но если уж выяснилось, что вы привыкли работать на заказ, может быть, вы возьметесь за русскую часть проекта? – осторожно интересуется Стив. – Ваши работы хороши, но нам еще понадобятся едоки из Москвы, Ленинграда, Киева, Таллина… Словом, из разных

городов. На ваше усмотрение. Печатать фотографии больше не нужно, это мы сделаем сами… У нас есть специальные материалы, которые обеспечивают высокое качество печати. Очень дорогие; к тому же, здесь таких не достать, – поясняет специально для Тормана, который снова начал издавать скрежет зубовный.

– Это большая работа, – сочувственно говорит мне Дитер. – Вам придется много ездить и много… как говорят… крутиться… – нет, выкручиваться. Находить способы фотографировать людей, которые едят: это ведь не всегда просто, не каждый разрешит. И я боюсь, что мы не сможем высоко оплачивать ваш труд. Мы можем компенсировать расходы на поездки, проживание, материалы и платить вам… – он мучительно краснеет, смотрит на Клару, как бы умоляя о помощи.

Та пожимает плечами и решительно подбивает бабки:

– Пятьдесят марок за одну пленку, не больше. Но получать их можно будет безотлагательно, в той валюте, которая вас устроит. В Москве, у дедушкиного представителя. Он открыл у вас какой-то бизнес. Я толком не знаю, какой, но это неважно…

Я готов броситься ей на шею, заорать: «Ну конечно, неважно, важно совсем другое, совсем другое важно, красавица моя, я на все согласен, я на все готов, я мир переверну на таких условиях и на место потом аккуратно его поставлю, если пожелаешь!» Но я, разумеется, не ору. Веду себя прилично. «Придуриваюсь», как сказал бы Торман.

– Деньги, конечно, смешные, – небрежно говорю я. – Но работа очень уж интересная. И потом… это

все-таки мой проект. Не могу же я доверить его исполнение чужому дяде – на своей-то территории!

Сашка смотрит на меня супрематическими очами. Кажется, я не только себя удивил этой речью. Иностранцы же вздохнули с облегчением. Очевидно, пятьдесят марок за пленку по их меркам – совсем не деньги. Нелепая сумма, даже с учетом дополнительно оплаченных дорожных расходов. Я вдруг понимаю, что им было стыдно делать мне такое предложение. Что ж, повезло: русисты попались неопытные. Язык-то они выучили, словарный запас нагуляли, небось и Толстоевского наизусть вызубрили, и по Чехову рефератов написали больше, чем я съел котлет, но вот в интимных экономических подробностях нашего бытия еще и не начали разбираться. Не понимают пока, что означает для безработного провинциального фотографа их предложение. И халва Аллаху!

– Но вам придется очень много ездить, – Стив делает мне последнее предупреждение. – Вы почти не сможете бывать дома и у вас не будет возможности работать на своей основной работе.

– Ничего не поделаешь, – лицемерно вздыхаю я. – Всегда мечтал заниматься только искусством. Ради этого можно пойти на любые жертвы.

– Значит, ты сможешь сделать для нас русскую часть проекта? – удовлетворенно резюмирует Клара.

– Я все смогу, – мой подбородок горделиво взмывает к небу.

– Все? – ехидно встревает Торман. – А сорок дней на одной ноге простоишь?

Что за нелепая идея?! И я решаюсь быть честным, чуть ли не впервые за сегодняшний вечер.

– Нет, – говорю, – сорок дней да на одной ноге – это вряд ли. У меня вестибулярный аппарат хреновый.

Сашка удовлетворенно кивает, как следователь, которому удалось наконец вывести подозреваемого на чистую воду. Иностранцы наблюдают за нами с неподдельным интересом. Решили, наверное, что это наш местный национальный обычай – на одной ноге стоять. Своего рода тест на «мужика».

37. Бхима

Он – сильный, стремительный, страстный, необузданный, прожорливый.

Я дожевывал чуть ли не пятнадцатый по счету бутерброд (переступив порог родного дома, вспомнил, что не ел больше суток, и теперь истерически наверстывал упущенное). Гости соизволили допить остатки моего бренди (порции вышли почти символические), вежливо что-то поклевали и теперь с нескрываемым интересом следили за моей трапезой. Тоже мне, естествоиспытатели…

Дитер, хихикнув, что-то шепнул на ушко Кларе. Та заржала в голос, смущенно косясь на меня.

– Увидев твои работы, мы решили, что ты аскет. Теперь Дитер говорит, что твои дорожные расходы влетят нам в крупную сумму…

– Это просто шутка, – поспешно объяснил Дитер, испугавшись, очевидно, что я могу обидеться и расторгнуть давешнюю договоренность.

– Ничего, – невозмутимо мычу я, не потрудившись проглотить недожеванный бутерброд. – Я действительно почти аскет. Но иногда срываюсь. Некоторые уходят в запой, а я – в зажор. Бывает такое со мной…

– «Зажор»… – оживился Стив. – Такое слово есть в русском языке?

Проникаюсь сочувствием к его лингвистической проблеме.

– Я его только что сконструировал. Смотри: слово «запой» происходит от слова «пить». От слова «жрать» такой производной нет, но я совершил насилие над родным языком, и теперь она есть.

– А, каламбур, – успокаивается Стив. – Как у Кэрролла.

– Куда уж мне до Кэрролла… – впрочем, сравнение мне льстит.

38. Бынаты Хицау

Согласно мифам, он живет в кладовой, и его могут увидеть только знахари…

Дело обкашляно. Торман отправляется за церемониальным коньяком в некое таинственное, одному ему известное место, где после полуночи можно купить не только тошнотворную подделку под благородный напиток, но и сам оригинал. Мои варяжские гости принимаются смотреть бессчетных «Едоков», благо я

храню у себя не только пленки, но и пробные отпечатки. Маленькие, на самой дешевой бумаге, но все лучше, чем негативы рассматривать. Иностранцы наслаждаются, а я скучаю, поскольку видеть ее уже не могу, эту свою коллекцию жрущих.

Поэтому я просто сижу. Произвожу лирический осмотр собственного интерьера. Люстры у меня нет, комнату освещает множество мелких светильников, настольных ламп и прочей электротехнической дребедени: так гораздо удобнее, можно подчинять освещение сиюминутной прихоти, а не выбирать мучительно между ярким светом и полной темнотой. Вот и сейчас мы сидим в медово-желтом круге света, а по углам копошатся кусочки темноты – этакие домашние любимцы, почти ручные уже, в отличие от диких неукротимых тараканов…

Вспомнил некстати о «домашних любимцах» – и на́ тебе, в сумерках у батареи центрального отопления шевельнулся мой невидимый кот. Морда у него сегодня печальная, укоризненная такая морда. Дескать, просил же я тебя: сгинь отсюда! А ты-ы-ы…

Мне стало здорово не по себе от этой призрачной укоризны. Все бы ничего, но я-то намеревался ночевать дома – сегодня, завтра и еще несколько дней до отъезда. А ведь он мне, пожалуй, устроит веселенькие ночки! По крайней мере, это вполне в его власти.

Я бормочу нечто абстрактное, всем своим видом даю понять гостям, что отправляюсь в непродолжительное паломничество к отхожим местам, и выскальзываю в коридор. Тихонько стучу в Димину дверь. Сосед не открывает, но я чувствую, что он дома. Придется поскрестись.

Шум поднимать не хочется, и я тихо, но внятно говорю, приблизив губы к дыре, на месте которой когда-то, в незапамятные времена, красовался английский замок: «Дима, откройте, я на секунду всего! Очень нужно поговорить».

Это, как ни удивительно, сработало. Оказывается, неведомые существа с легкостью соглашаются на переговоры, живого человека я бы так легко не уболтал. Дверь бесшумно открывается, значит, можно войти в комнату. Сосед скукожился в дальнем углу; он даже не дает себе труда принять свой обычный облик. Так, колышется в полумраке что-то антропоморфное – и ладно. Первое впечатление – кажется, он на меня дуется.

– Дима, – говорю ему проникновенно, как обиженному ребенку, – жизнь наша с вами налаживается. Я скоро свалю отсюда, надеюсь, что навсегда. Все будет хорошо. Только потерпите меня еще несколько дней, ладушки?

– Да, – отвечает. Лаконично, но внятно.

Ну вот и славно. Потерпит, значит. Я зачем-то кланяюсь бесформенной куче, символизирующей моего соседа, и отступаю к двери.

– Я бы не стал выживать тебя из дома, – вдруг говорит это странное существо. – Но когда поблизости крутится некто, знающий о моей природе, очень трудно сохранять человеческий облик. А я без него скоро затоскую… Не держи на меня зла.

– Да нет, – лепечу, – какое там зло… Все к лучшему, все очень хорошо сложилось, а вы меня еще и спасли вчера, кажется.

– Вот об этом не забывай, – медленно, с расстановкой произносит недоброкачественная копия моего соседа-алкоголика.

Я киваю и поспешно отправляюсь обратно, в мир нормальных живых людей.

39. Бьятта

Рассказывается, что во времена короля Анараттхи человек по имени Бьятта получил необыкновенную силу, съев часть пламенно-чистого тела великого алхимика.

Там хорошо. Там, оказывается, уже пьют коньяк, который принес Торман. Сам Сашка, кажется, твердо вознамерился не «развязывать». Сделал символический глоток огненной воды и отставил рюмку в сторону. Сидит на моем ковре по-турецки, строгий и немного печальный. Странно. С какой стати ему печалиться?

– Ты чего? – спрашиваю.

– Как «чего»? Жабой давлюсь, – ржет.

Русисты тут же возбудились, потребовали точного истолкования нового идиоматического оборота. Пока Сашка с ними возится, толкует про «жабу» и «зависть», а заодно пытается разъяснить неофитам специфику нашей с ним манеры общения, я пробую принесенный напиток.

Он не слишком походил на коньяк, еще меньше – на фальсификацию оного. Теперь ясно, почему Торман не смог выпить больше одного глотка.

Дело, конечно, не в том, что жидкость пламенем плясала во рту, испепеляла гортань и неохотно угасала уже в желудке. Это я такой избалованный, хрупкое дитя

эпохи многослойных коктейлей, а Сашка может медицинский спирт пить не морщась, как воду: с утра бы до ночи такие фокусы демонстрировал! Но мне показалось, что спирт и его производные не имеют вообще никакого отношения к данному напитку. Чувствовал я себя так, словно проглотил небольшую порцию настоящего огня, который уничтожил какую-то часть моих внутренностей – судя по моему дальнейшему самочувствию, самую негодную их часть, но все-таки! Очень странное ощущение, мучительное и приятное одновременно. Повторять опыт тем не менее я не спешил.

– Что это было? – спрашиваю осипшим голосом.

– Коньяк! – хором ответили русисты.

– Александр достал очень хороший коньяк, – обстоятельно пояснил Стив, увидев по выражению моего лица, что лаконичного ответа недостаточно.

– Торман, что это было? – смотрю ему в глаза.

– Кровь дракона, – ехидно ответствует тот.

Шуточки у него…

– Что это было? – повторяю настойчиво.

– Ладно, раз ты так настаиваешь, скажу тебе правду, – ухмыляется. – Это была не кровь дракона…

– Уже хорошо.

– …Это была моя собственная кровь, – и крутит у меня перед носом своей здоровенной шуйцей. На указательном пальце – свежая царапина. Не то поранился, открывая бутылку, не то действительно… Только этого еще не хватало!

Торман корчит ужасающие рожи к полному восторгу варягов. Мне же не до смеха. На фоне событий, успевших обрушиться на меня за последние сутки, дурацкая Сашкина шутка звучит более чем зловеще. Если уж алкаш Дима оказался некой непостижимой, свисающей с потолка субстанцией, Торман вполне может потянуть и на самого Князя Тьмы, или кто там у них старший по званию…

40. Бэс

Нож и музыкальный инструмент в его руках должны были устрашать врагов.

Александр, разумеется, не был ни Князем Тьмы, ни просто князем. За свою неописуемо долгую жизнь он не единожды имел возможность возвыситься, но всякий раз ею пренебрегал. Инстинкт подсказывал ему, что следует оставаться незаметным, просто человеком среди людей; быть господином среди слуг – и хлопотно, и опасно.

Из ремесел, которые предоставляют простолюдину большую свободу действий, он предпочитал те, что связаны с войной и музыкой; лишь последние лет сто Александр начал вдруг интересоваться разного рода техническими новшествами. Когда изобрели телефон, он стал одним из первых наладчиков этой хитроумной аппаратуры; автомобили и аэропланы поначалу тоже заинтересовали его и были покорены, но быстро надоели, зато фотокамера надолго стала любимой игрушкой и даже орудием ремесла. Но лишь прикосновения к оружию или музыкальному инструменту дарили ему порой минуты настоящего блаженства; повседневные удовольствия, которые можно получить от

шалостей с женщинами или мальчиками, представлялись ему лишь жалким подобием, бледной тенью этих мгновений полного единения с собственной природой.

К врачеванию же, занятие которым подарило ему когда-то не то бессмертие, не то просто очень долгую жизнь, он, напротив, не желал возвращаться – не потому ли, что мог бы весьма возвыситься на этом поприще? Или опасался, что формула зелья, которое умертвит его неуязвимое тело, может составиться столь же легко и случайно, как родилась когда-то в его чаше амброзия, напиток, коим боги по традиции столь неохотно делятся со смертными…

Александр понятия не имел, почему так вышло, с какой стати его, столь заурядная поначалу, судьба стала восхитительным исключением из общего правила – не знал и знать не желал. Он вообще не любил задавать себе вопросы; еще менее ему нравилось биться над ответами. К чему? Жизнь – это скорее ощущения, чем размышления; приключения плоти и духа, а не разума, который должен знать свое место, смирно сидеть в углу и ждать хозяйского оклика: «Эй, за работу!» Самоанализ никогда не был его излюбленным занятием. Александр и без того знает о себе все, что следует знать: он – удачливый человек, бывший врачеватель, воин по душевному складу и музыкант божьей милостью (прочие занятия его лишь развлекали, не более того); отец двух сыновей, чей прах истлел еще в ту пору, когда он только-только начинал осознавать свое бессмертие; у него отличное крепкое тело тридцатилетнего мужчины, глаза, широко открытые навстречу миру, цепкая память, практичный ум и нежное вместительное сердце.

Он любил жизнь страстно, самозабвенно и полагал себя одним из лучших ее любовников; что же касается людей, то с ними бывало всякое: тому, кто на протяжении столетий зарабатывал на жизнь войной, не избежать свар, – однако дети человеческие вызывали у Александра как минимум устойчивый интерес. Особенно некоторые – те, кого он про себя величал «странниками», памятуя при этом, что слова «странствие» и «странность» во многих языках имеют общий корень.

В книжке, с которой его юный друг в последнее время носился, как варвар с Евангелием, Александр обнаружил рассказ, описывающий ужасающее, тоскливое бытие бессмертных.[3] Он счел автора самоуверенным идиотом. Тот предположил, будто бессмертные слабоумны и даже лучший из них обречен скитаться по свету в поисках волшебного зелья, которое поможет умереть. Хуйня какая…

Так он и сказал Максу; тот же, к его удивлению, лишь разозлился. Александр немного досадовал, что не может пустить в ход свой главный аргумент: «Это я, бессмертный, тебе говорю!» Но не такое великое дело спор о какой-то дурацкой книжке, чтобы ради него разглашать тайну, которую другим знать не надо. И в первую очередь ее не следовало знать Максу. Когда-то Александр взялся его опекать потому лишь, что у мальчишки было лицо человека, которому суждено умереть молодым. У Александра на такие вещи глаз был наметанный: какой-то особой интуицией он не обладал,

---

[3] Речь идет о рассказе Борхеса «Бессмертный».

но опыт, исчисляемый столетиями, надежнее, чем интуиция.

Время шло; оказалось, что юный «странник» куда более живуч, чем полагал его бессмертный опекун. Даже неописуемые, но очевидные приметы недолговечности, кажется, исчезли с его чела. Александр, от природы не склонный к теоретизированию, в порядке исключения изобрел объяснение на сей счет: решил, что Макс находится под его покровительством и поэтому как бы скрывается от гибели «в тени» его бессмертия.

А теперь им предстояло расстаться. Александра это ничуть не огорчало: он давно научился отделять симпатию от привязанности (в противном случае ему пришлось бы коротать вечность, подсчитывая потери и тоскуя по сотням тысяч мертвых друзей и любовниц). Всякий раз, когда на его глазах чья-нибудь судьба круто виляла в сторону, он бескорыстно наслаждался этим великолепным зрелищем, поражаясь многообразию возможных сюжетов. Но теперь Александр вынужден был признать, что сердце у него не на месте: он полагал, будто смерть только и ждет, когда мальчишка отойдет от него на почтительное расстояние.

Нельзя сказать, что Александр почитал спасение подопечного главным делом своей жизни, но он был азартен; смерть же казалась ему самым достойным противником: хоть и обыграл он ее однажды, а все же приходилось оставаться настороже и поддерживать себя в хорошей форме. Никогда ведь не знаешь, чего от нее можно ждать! Макс случайно стал ставкой в его новой игре со смертью. Игра была пустяковая, обычная тренировочная разминка, да и ставка не слишком велика, и все же Александр не намеревался проигрывать.

Поэтому он сделал для своего юного приятеля то, чего никогда прежде не делал. Сцедил в его рюмку немного крови из расцарапанного пальца – на всякий случай. Вдруг поможет. Александр не был уверен в том, что его кровь действительно является эликсиром бессмертия, но былой опыт врачевателя подсказывал: если уж через кровь передается всякая зараза, почему бы и благу не распространяться тем же путем?

Это можно было проверить хоть сейчас. Еще в бытность свою храмовым музыкантом Александр научился издавать горловые звуки, способные убить всякого, кто стоит напротив, как бы крепок и силен он ни был. Можно попросить Макса проводить его к выходу, спеть на прощание заветную песенку и посмотреть: выживет или нет. Но Александр воздержался от эксперимента. Ему не хотелось давать смерти ни малейшей форы, а уж становиться послушным инструментом в ее руках – еще чего!

Поэтому он просто попрощался и ушел, сославшись на усталость. Макс был уверен, что увидит своего друга не далее чем завтра, Александр же знал, что они не увидятся никогда.

Оба, к слову сказать, ошибались.

41. Бянь Хэ

«Я скорблю не о том, что потерял обе ноги, а о том, что драгоценный нефрит называют простым камнем…»

Вслед за Торманом потянулись на выход варяги. Клара, впрочем, осталась.

Это можно было предвидеть с самого начала, но я не предвидел. И теперь был счастлив. Каюсь, не потому, что Клара мне так уж понравилась (вообще-то понравилась, но головы я не терял), и не потому, что мне предстояло впервые в жизни трахаться с иностранкой, хоть и принадлежал я к поколению, наивно полагающему, будто у зарубежных гражданок все устроено как-то не так (как именно – непонятно, но значительно лучше, изящнее и удобнее в эксплуатации, чем у местных самочек).

Просто сегодня я боялся оставаться один дома. Мне требовалась не столько любовница, сколько психотерапевт, личная охрана и, желательно, опытный экзорцист с паникадилом и канистрой святой воды. Клара же производила впечатление человека, способного справиться с любым количеством наваждений. Она была похожа на стакан холодного молока, который обнаруживаешь на столе солнечным летним утром; впрочем, и на само летнее утро она тоже была похожа. Славное солярное существо, наилучший компаньон для героя, решившего во что бы то ни стало дожить до третьих петухов.

Клара, впрочем, тоже вряд ли сгорала от страсти. Скорее уж – от любопытства. Я был ей интересен: и как автор пресловутых «Едоков», и как обитатель странной неухоженной империи, которая во времена ее детства была одной из главных эсхатологических страшилок, и как жилец коммунальной квартиры, куда Клара попала впервые в жизни; да и в качестве носителя языка я мог принести ей немалую пользу.

Выходит, что в постели мы оказались скорее из взаимной вежливости – все лучше, чем объяснять друг

другу: «Ты – прелесть, но сейчас меня волнуют совсем иные вещи». Иногда секс – это просто повод поговорить. Веский, к слову сказать, повод.

Клара, судя по всему, именно так и считала, по крайней мере, допрос начался задолго до первого поцелуя и продолжился, как только я снова обрел возможность внятно формулировать. От меня требовали полного отчета о нелепых обстоятельствах нашего здешнего бытия; осознав свою ответственность перед европейской русистикой и прочей мировой наукой, я старался как мог.

Это своеобразное интервью продолжалось, пока Клара не потянулась за коньяком. Отхлебнула прямо из горлышка, не утруждая себя поисками рюмки, протянула бутылку мне. Я отрицательно помотал головой: и без того уже носом клевать начинал, а отвечать безмятежным храпом на расспросы любознательной дамы было бы как минимум бестактно.

– А ты очень мало пьешь, – заметила она, скорее удивленно, чем одобрительно. – Почему? Для дела это хорошо, но у вас принято пить много, разве нет?

Умиротворенный, расслабленный, благодарный ей – не столько за чудесную перемену участи, сколько за сиюминутный душевный покой, я почувствовал, что вполне могу рассказать Кларе то, о чем не рассказывал до сих пор никому. И не помышлял даже. Я бы дорого дал за возможность забыть эту историю, но право на склероз, вероятно, дарует ся лишь за выслугу лет…

– Однажды, – тоном профессионального сказочника начинаю я, – давным-давно, когда я только-только ушел из дома и учился жить один, со мной случилась одна

большая глупость. Могу рассказать, если тебе интересно… А тебе действительно интересно?

– Мне все интересно! – почти с негодованием восклицает Клара. Дескать, не выдрючивайся, а давай работай языком. Разглашай информацию, шнелль, шнелль, арбайтен махт фрай! Я уж хотел было рявкнуть: «Яволль, майн фюрер», – но вовремя прикусил язык. Обидится ведь. Поэтому просто продолжаю:

– В тот раз я впервые напился по-настоящему. Пил на голодный желудок, поскольку перед этим целый день ничего не ел…

– Ты был такой бедный? – ужасается Клара.

Хотелось бы сказать честно: «А я и сейчас не намного богаче», но в беседе с будущим работодателем следует воздержаться от чрезмерной откровенности. Пусть думает, что я крутой.

– Я был не столько бедный, сколько глупый. Деньги я тогда уже зарабатывал неплохие, а вот тратить их не умел совершенно. Мог в один день спустить на ерунду недельный заработок. Мне же всего семнадцать лет было, я не знал еще, что, получив деньги, следует сделать запасы хлеба, чая и сахара, и только потом можно начинать кутить.

– Хлеб, чай и сахар? Тебе этого достаточно? – смеется Клара.

– Вполне.

– А тогда у тебя не было даже хлеба?

– Ага. В том-то и дело. Говорю же, дурак был. Я целый день ничего не жрал, а потом вдруг заявился приятель, принес мне старый долг и бутылку портвейна в

знак благодарности. Мы выпили, потом пошли гулять, встретили еще кого-то, добавили. Никому в голову не пришло, что меня надо сначала покормить, а уже потом продолжать веселье; сам же я перестал соображать еще дома. В какой-то момент я отключился окончательно. Что я вытворял после этого, неизвестно, но, очевидно, вел активный образ жизни, поскольку очнулся на рассвете, на другом конце города, в совершенно незнакомом дворе, с вывернутыми карманами. Пока я спал, кто-то меня ограбил. Это было… ну, как тебе сказать… хуже, чем просто противно. Даже денег не так уж жалко, но чувство отвратительное: знать, что кто-то ворочал твою бесчувственную тушку с боку на бок, по карманам шарил и вообще мог сделать с тобой все что угодно… В то утро я был себе омерзителен и понял, что нет ничего хуже, чем утратить контроль над ситуацией. По крайней мере, для меня… В довершение ко всему, мне пришлось идти домой пешком: автобусы еще не ходили, а на такси у меня не было денег. Как дошел, не знаю: там и быстрым-то шагом часа полтора, а я едва на ногах держался. Но ничего, справился. И получил бесценный опыт. С тех пор я славлюсь умением не напиваться – ни при каких обстоятельствах. Полный контроль – драгоценность, с которой я добровольно не расстанусь.

Клара смотрит на меня исподлобья. Очень внимательно разглядывает, словно в первый раз увидела.

– Из твоей истории могла бы получиться хорошая брошюра Ассоциации анонимных алкоголиков: и сюжет есть, и мораль выведена. Очень поучительно и очень невинно. Но ты не все рассказал. Было еще что-то, да?

Еще что-то очень, очень плохое, о чем ты не хочешь говорить.

Вот уж не ожидал от нее такой проницательности.

– Было, – киваю. – Было еще кое-что. Но не события. Не то, о чем можно рассказать. Было еще кое-что, чего на самом деле не было.

– Что же? – она хмурит лоб. – Я плохо поняла твою последнюю фразу. Слова знакомые, а смысл ускользает. Это фразеологический оборот?

– Нет. Не фразеологический оборот. Обычное косноязычие. Не знаю, как сказать, чтобы ты поняла. Ну, попробуем так: то, о чем я умолчал, относится скорее к области фантазий… нет, не фантазий. Скорее уж видений. Галлюцинаций. Наваждений. Как тебе больше нравится.

– Тебе просто снились кошмары?

Клара немного разочарована. Кажется, она приготовилась выслушать душераздирающую историю о том, как меня изнасиловала банда извращенцев или еще что-то в таком роде. Но я ничем не могу ей помочь, поскольку в ту ночь никаких извращенцев поблизости не оказалось.

– Смотри, – говорю, – как обстоят дела. У меня есть два воспоминания о том пробуждении во дворе. Одним я уже с тобой поделился. Второе не менее реально: я прекрасно помню, как проснулся на улице, грязный, вонючий, с больной головой – все удовольствия по полной программе. Но деньги, которые я заранее, в самом начале загула, отложил на такси, были при мне. То есть, согласно этой версии, никто меня не грабил.

– Как интересно! Но какая из этих версий правдива? Ты сам не знаешь? – Кларе уже не нужен отчет об извращенцах, мой сбивчивый рассказ о двойном похмельном утре, как ни странно, пришелся ей по вкусу.

– Сначала дослушай до конца, ладно? Как я уже сказал, это воспоминание отличается от предыдущего лишь тем, что у меня были деньги, чтобы добраться домой на такси. Я кое-как привел себя в порядок, отряхнулся, помыл руки и лицо, благо во дворе нашлась водопроводная колонка. Вышел на улицу, минут десять шел пешком, потом вдалеке появилась машина. Желтое такси с зеленым огоньком. Я поднял руку, водитель остановился, мы немного поторговались, я сел рядом с ним, и мы поехали… Ничего интересного, да?

– Не нужно так волноваться, – просит Клара. Кажется, она начинает понимать, что связалась с психом. А она связалась именно с психом. Потому что…

Потому.

Что.

Не доехав до моего дома всего километра два, водитель потерял управление. Не знаю уж почему. Устал после ночной смены, наверное. Бывает. «Волга» на скорости сто тридцать километров в час вильнула вбок, стукнулась об какую-то твердую пакость, перевернулась… Подробностей я, собственно, не знаю, поскольку мирно дремал на переднем сидении, рядом с водителем, и скончался, не приходя в сознание, вследствие перелома шейных позвонков. Это была глупая смерть. Глупее не придумаешь. Погибнуть в дурацкой автокатастрофе, на абсолютно пустой, безопасной городской улице, да еще и в качестве пассажира, а не водителя, расплачиваясь за чужую

ошибку, а не за собственный просчет… Отвратительный финал. Хуже не бывает.

Я стараюсь объяснить все это Кларе, памятуя, во-первых, о возможных лингвистических трудностях, а во-вторых – о том, что история моя должна казаться постороннему человеку пустым бредом, бледным воспоминанием о давнишнем похмельном кошмаре, не более того.

Но она удивительно верно все поняла.

– И с тех пор ты не знаешь, что случилось с тобой на самом деле, а что – померещилось, да? У тебя нет доказательств, что ты жив, потому что в смертном сне может примерещиться все, что угодно. Это так? И поэтому ты не можешь найти себе места?

– Все так, – соглашаюсь. – Но не только это.

– Что же еще?

– Мне казалось, что после этого двойного пробуждения жизнь моя должна как-то радикально перемениться. Потому что одно из двух: либо я чудом избежал опасности, либо веду уже посмертное существование, – в любом случае, думал я, обыденность должна бы отступить; жизнь моя с этого мгновения станет чередой фантастических событий… Ну и все такое.

– Но ничего не переменилось?

– По большому счету – ничего. Не стану жаловаться, за минувшие с тех пор девять лет у меня было немало славных деньков и еще больше приятных минут, но…

– Что-то не так?

– Мне было обидно, – говорю, отвернувшись к стене. – Обидно разменивать сокровище на медяки, которые тем не менее нужны, чтобы прокормиться… Ты понимаешь?

– Если «сокровищем» ты называешь свою жизнь, а «медяк» – это мелкая монета, вроде тех, что нам везде суют в качестве сдачи, то, наверное, понимаю, – спокойно соглашается Клара.

В

42. Вабар

...эта местность заколдована и охраняется духами. Человек может попасть в Вабар только волею случая...

Сна, ясное дело, уже ни в одном глазу. Меня колотит, челюсти все норовят сжаться до зубовной крошки. Как ни странно, мне по душе это состояние. Чувствую себя самолетом на взлетной полосе: его тоже трясет, когда он набирает скорость. А зачем самолеты набирают скорость? Правильно, Макс, чтобы взлететь. Вот и я...

...натягиваю домашние шорты, беру фонарик и иду на кухню, варить нам кофе. Ночью на коммунальной кухне хорошо; даже тени людей, которые околачиваются тут с семи утра до девяти вечера, не потревожат героя, отважившегося пересечь темный, обсиженный чужими сновидениями коридор, дабы завладеть этим огромным гулким пространством. Ночью на коммунальной кухне можно по собственному рецепту приготовить чудодейственный эликсир, который не дарует ни вечной молодости, ни вселенской мудрости, зато поможет снова почувствовать себя живым.

Это важно.

В обычную двухсотграммовую чашку следует налить полторы столовых ложки коньяка. (Можно больше, хотя такая алчность наверняка испортит вкус напитка; меньше же нельзя ни в коем случае.) Джезву снять с огня, как только появится светло-коричневая пенка; промедление

варварски исказит результат. Разлить кофе по чашкам так, чтобы они наполнились лишь наполовину. Добавить теплое молоко (лучше топленое) или сливки (желательно, не слишком жирные). Идеальная пропорция: треть молока на две трети кофе с коньяком.

(Молока у меня, конечно же, не оказалось; пришлось лезть в соседский холодильник, благо их примитивную систему сигнализации я давно научился обезвреживать.)

Итог усилий следует пить торопливо, большими жадными глотками. Допив, закрыть глаза и расслабить мышцы – на несколько минут, не больше. Потом открыть глаза, сделать несколько движений, требующих усилия (например, потянуться, или подпрыгнуть, или маваши-гири какое сотворить) – и можно жить дальше. Эффект поразительный: приготовленный таким образом кофе с коньяком снимает стресс и усталость, прогоняет похмелье и лечит простуду, примиряет с судьбой и приучает к иронической улыбке.

Клара старательно выполнила мою инструкцию по части употребления напитка. Кажется, осталась довольна. Впрочем, она и прежде не жаловалась на самочувствие. Как бы то ни было, а в знак благодарности Клара решила протянуть мне некое подобие соломинки.

– Твоя история о противоречивых воспоминаниях напомнила мне вот о чем. Есть такой писатель, Михель Штраух, мой земляк и добрый приятель… Не нужно делать вид, что имя тебе знакомо, на другие языки его пока не переводили. Он и у нас-то больше известен как автор ежедневной колонки в Die Ruhrzeitung.[4] Кроме

---

[4] Die Ruhrzeitung – «Рурская газета», или «Газета Рура» – как вам будет угодно.

этой колонки Штраух успел написать только один роман… впрочем, он еще вполне молодой человек. Так вот, в этом романе у него есть некое высказывание, которое прежде казалось мне темным и неясным. Штраух пишет, что есть такие места – он настаивает, что это именно реальные, а не воображаемые места… ну как сказать лучше… участки пространства, да, – где человек может получить странный опыт, пережить фрагменты какой-то иной, несбыточной жизни. Он придумал называние для места такого рода: die Schicksalkreuzung, – это можно перевести как «Перекресток судеб».

– Судьбокресток, – машинально конструирую новое нелепое словечко.

Клара непонимающе хмурится: упражнения такого рода ей пока не по зубам. Отмахнувшись нетерпеливо от слова-мутанта, продолжает:

– Попасть туда, по мнению Штрауха, может кто угодно, совершенно случайно, не предпринимая специальных усилий. Хотя шансы каждого конкретного человека найти такой «перекресток» очень невелики, потому что просто пройти мимо – бесполезно. Там надо задержаться на какое-то время… Я теперь думаю: а вдруг Михель не сочинил эти места? Может быть, он однажды пережил что-то схожее с твоим опытом?

– Не знаю.

Я действительно не знаю.

43. Велиал

В иудаистической и христианской мифологиях демоническое существо, дух небытия, лжи и разрушения.

Мне и радостно знать, что, возможно, есть где-то в мире человек, которого время от времени мучают те же демоны, что и меня, но и обидно немного: неужели мой приватный, эксклюзивный, тайный кошмар оказался на поверку изделием массового производства? Как могло выйти, что кто-то уже пережил сходный опыт, да еще и описал его, и издал массовым тиражом, на потеху любителям беллетристики? Кажется, я просто ревную свою тайну, как женщину. Сравнение пошлое; ощущение – и того хуже.

Гнев охватывает меня, я открываю рот, чтобы заявить: писатели – опасные существа, ибо, по сути, они лишь множат ложь и суету, населяя сознание простодушных читателей бессмысленными призраками, чье копошение более занимательно, чем сама жизнь. Чтение – всего лишь хитроумный способ *убивать время*. Искусство сновидения для ленивых, наркотик для осторожных, приключение для трусливых; я сам запойный читатель, я знаю, о чем говорю.

Но вместо этого я мечтательно мурлычу:

– Черт, какая хорошая книжка – и не по-русски написана. Обидно! Неужели нет перевода?

Самое смешное, что сожаление мое не менее искренне, чем гнев; я испытываю эти чувства не последовательно, а одновременно, и сам решаю: что можно обнародовать, а что следует оставить при себе. Странная двойственность: не то предвестник шизофрении, не то – тривиальное лицемерие.

– Был бы издатель, я бы сама перевела, – будничным тоном говорит Клара. И добавляет: – вот

приедешь на открытие выставки, я вас познакомлю. Михель – это особенный человек…

44. Видар

В скандинавской мифологии молчаливый бог.

«Приедешь на открытие выставки», – это звучит просто божественно. Сладкое напоминание о том, что моя жизнь разительно изменилась. Я буду колесить по белу свету, путешествовать налегке, жить в гостиницах и обедать в ресторанах, фотографировать жрущих уродов, получать за это сказочные гонорары, а потом еще и на выставку отправлюсь. В волшебную страну Германию, где текут пивные реки, где в садовых палисадниках стоят фигурки гномов, где по утрам колокольный звон сливается с фырканьем электрических кофеварок, где в избытке водятся белокурые голенастые валькирии вроде Клары, которые интересуются телами живых героев куда больше, чем душами мертвых…

Это так прекрасно, что я умолкаю и от полноты чувств молчу минут пять, не меньше.

Своего рода рекорд.

45. Власти

…Гностики из секты каинитов, совершая в согласии со своей доктриной тот или иной имморальный акт, понимали это как дань Властям и произносили формулу: «О, Власть имярек, творю действие твое».

На следующий день выясняется, что оперативная бригада моих ангелов-хранителей собирается уезжать не далее как нынешней ночью. Меня призывают в отель для подписания зловещего вида контракта, который обязывает меня, в частности, ежемесячно сдавать работу дядюшкиному агенту в Москве и звонить Кларе с отчетом хотя бы раз в неделю (последний пункт скорее льстит моему самолюбию, чем заставляет задуматься о тяготах трудовой дисциплины).

Мы пьем мартини и слишком много смеемся. Стив с калькулятором в течение полутора часов высчитывает размеры предстоящих мне расходов; он то и дело звонит администратору и задает дурацкие вопросы, вроде: «В какую сумму мне обойдется один обед в обычном советском ресторане?» – или: «Сколько у вас в стране, как правило, стоит один билет на поезд дальнего следования?» Администратор же, ясное дело, с молоком матери впитал азиатскую убежденность, что любой чужеземец должен быть обведен вокруг максимально возможного числа пальцев – по крайней мере, цифры, которые появляются в формулах Стива после очередного раунда переговоров, ужасают. Сумма, отпущенная мне на ближайший месяц, опасно кружит голову: если меня не ограбят в ближайшем темном переулке, этих денег хватит на год сладкой жизни. Дас ист фантастишен!

Мы снова пьем мартини, опять смеемся. Дитер потерял паспорт. Мы нервничаем и пьем мартини. Дитер нашел паспорт, но, кажется, потерял билет. Мы смеемся. Билет Дитера неожиданно обнаруживается среди выданных мне купюр. Клара говорит, что это *знак судьбы*: теперь мне придется тратить много денег на поездки – кто бы сомневался!..

Мы пьем мартини и смеемся, когда Дитер объявляет, что не потерял ничего, кроме правого ботинка. Искать его он не намерен: если найдется и эта пропажа, тут же непременно потеряется что-то более важное, поэтому пусть все остается как есть.

Мы захлебываемся беспричинным смехом и наконец допиваем мартини.

Остаток фрагмента времени, в котором пересеклись наши жизни, тратится на суету. Мы сумбурно творим какие-то невнятные действия. Я отправляюсь домой, чтобы переодеться (то бишь поменять одни джинсы на другие, чуть менее облезлые) к ужину. На обратной дороге неожиданно встречаю своих приятелей: они, оказывается, забыли, что мы договорились встретиться в отеле, и отправились меня искать. Куда? – Они сами толком не знают. Предлагаю продолжить поиски: вдруг мы все же найдем где-нибудь еще одного меня? Клара вспоминает, что должна купить сувениры, и тут же мистическим образом теряется на миниатюрной площади у входа в городской сад. Обнаруживаем ее в трех кварталах от вышеозначенного места: она кормит мороженым бездомного пса и задушевно общается с ним на языке Гёте и Штирлица. Дитер знакомится с юношей, играющим на флейте; Стив покупает флейту на память о поездке, Дитер тут же отбирает флейту у своего приятеля и возвращает ее оторопевшему музыканту. Клара берет урок игры; от звуков, которые она извлекает из этого простенького инструмента, дохнут вороны, а флейтист, обескураженный повышенным вниманием Дитера, смывается «под шумок» – ага, флейта наша! Печальный Дитер порывается уехать на троллейбусе за линию горизонта; я объясняю, что дальше промзоны он на этом тоталитарном транспортном средстве не

заберется. Стив спрашивает, что такое «промзона», и делает пометки в блокноте. Клара катается на тощем верблюде, отбывающем трудовую повинность на центральной улице города. Мы вспоминаем, что собирались ужинать в ресторане, тут же покупаем четыре порции пломбира в вафельных стаканчиках и усаживаемся на бордюр; в наших действиях нет ни логики, ни смысла, зато мы, кажется, на какой-то нелепый манер счастливы.

Так и проходит остаток дня: весело, суматошно, немного нервно. В полночь русисты исчезают в бело-лунном чреве такси, которое отвезет их в аэропорт, а я остаюсь на тротуаре. Кода.

46. Ворон

...он – мудрый шаман и плут-трикстер, попадающий впросак или совершающий безумные поступки...

И можно бы пойти домой, но домой мне не идется.

Прежняя жизнь уже закончилась, а новая еще толком не началась. Я взвинчен, как берсерк, и трезв, как правоверный мусульманин. Есть еще, правда, голова, тяжкий свинцовый куб, памятник уничтоженному мартини, но похмельные муки каким-то образом существуют отдельно от меня; я даже чувствую расстояние, которое нас разделяет: около полуметра.

Иду по городу почти вприпрыжку, ощущаю себя Самым Главным Человеком В Мире; причина тому – не гордыня, а одиночество. Кроме меня, нет никого, потому что никого, кроме меня, нет на свете – примерно так обстоят дела.

Мудрая похмельная голова подсказывает, что мне следует себя покормить. Буржуи-то, супостаты, сочли, что черная рыбка-маслинка, жизнерадостно плещущаяся в коктейле – необходимая и достаточная закуска, а я маслины не люблю. Впрочем, если бы и любил… Маловато будет, даже вместе с утрамбованным вослед за маслинами пломбиром.

Ноги, однако, проносят меня мимо неоново-синей вывески дорогого ресторана «Осло», мимо леденцовых витражей демократичного «Кавказа», мимо зеленых жалюзи «Ренессанса», мимо позолоченных арок «Эльдорадо». Мимо, мимо, мимо; я уже миновал все мыслимые и немыслимые шансы поужинать. Можно бы вернуться, но мятежные конечности влекут меня в душистую темень переулков; направляются, кажется, прямехонько в порт, скитания по территории которого в это время суток, мягко говоря, не прельщают. И все же… я… туда… иду? На кой ляд?!

Но нет. До неуместной цели еще далеко, а меня заносит в какой-то двор, где я внезапно обнаруживаю, что уже пришел в себя, *прочухался*, как сказал бы Торман, и снова могу управлять собственным поведением. Что ж, лучше поздно, чем никогда!

Двор, к слову, мне понравился. Просторный, вымощенный булыжником; в глубине его жухнет сирень и лопаются жасминовые бутоны; по углам фонарные столбы истекают лилово-молочным светом; в центре возвышается былинной мощи платан, под платаном – зеленая скамейка со спинкой. Присмиревшие ноги не то чтобы настаивают, но очень просят сделать им одолжение, дать передохнуть. Охотно повинуюсь: все же они мне не чужие. Да и перекурить не помешает. С

мыслями собраться… и разобраться – с ними же и их ближайшими конкурентами, ощущениями.

Я уселся в центре скамейки и тут же обнаружил, что на краю, слева от меня, лежит колода карт. Рубашка выдающаяся: профиль египтянки Нефертити на лазурном фоне. «Цап – мое!» – была у нас во дворе когда-то такая игра, своего рода пятнашки с пассивным участием неодушевленных предметов. Оказывается, полученные в те времена навыки я усвоил накрепко: сгреб находку прежде, чем успел решить, нужна ли в моем хозяйстве еще одна засаленная карточная колода, какую ни один серьезный игрок в руки не возьмет.

Принялся рассматривать свое новое сокровище. Обалдел изрядно: лицевая сторона карт служила кому-то не то записной книжкой, не то черновиком, не то… А черт его разберет! Между числами, значками масти и живописными портретами колодной элиты извивались строчки, выведенные яркой тушью. Старательное исполнение бросалось в глаза: эти надписи не могли быть сделаны случайно. Их автор наверняка потратил не один час, выводя на глянцевой бумаге свои послания щекастым валетам и насупленными королям. Но зачем?

Я вдруг понял.

«Сам нарисуй себе колоду и гадай всем желающим», – говорила мне рыжая Олла-Хельга. Найденные мною карты были именно гадальными. Кто-то уже успел последовать этому странному совету – до меня, без меня, вместо меня. А теперь чужая гадальная колода досталась мне – что за странный дар?!

Смотрю на находку с опаской, но из рук не выпускаю. Жизнь моя, в который уже раз за эти майские дни, запинается, останавливается в растерянности; снова

начинается отсчет иного, «волшебного» времени, которое течет, как вздумается, и гуляет само по себе. Делаю вдох, делаю выдох; даже нехитрый сей процесс кажется мне сейчас необычным переживанием. Дабы развеяться, читаю надписи.

«Пока я спал, я слышал ваши речи», – гласит десятка пик. Цитату из «Скорбного бесчувствия» Сокурова я опознал сразу же. Фильм этот попал на экраны, кажется, в 1987 году и произвел на меня изрядное впечатление. «Если колода предназначена для гадания, эта карта наверняка означает некий заговор, сплетенный за спиной заинтересованного лица, – думаю я. – Или же совет обращать больше внимания на содержание снов? Кто знает, дорогой Ватсон, кто знает…»

«Пей, жабка, пей» – надпись на восьмерке бубен. Внутренне содрогаюсь. Все бы ничего, но я отлично помню нелепую эту фразу. Ее произнес однажды мой знакомый художник, наливая себе в чашку бледно-желтую безвкусную жидкость, в восьмой, если не девятый раз заваренный чай. Кроме меня, кажется, рядом никого не было… Или я ошибаюсь? Или он регулярно произносит это заклинание в присутствии все новых и новых свидетелей? Скорее всего, именно так и обстоят дела, можно было бы обойтись без всяческих дурацких мурашек, устроивших форменный марш-бросок по моей спине.

Впрочем, успокоиться не удается. Надписи на следующих картах тоже словно бы сделаны мною самим, хотя почерк точно не мой. У меня – беспорядочная бисерная неразбериха, чуть ли не половина букв алфавита выглядит в моем исполнении одинаково, так

что «м» от «ш», «т» или «н» не всегда отличишь. А над колодой поработал настоящий каллиграф: его строчки не только разборчивы, но и красивы. Однако контекст-то родной, моя неповторимая мешанина дурацких цитат, ускользающих образов и житейских эпизодов. Черт знает что!

Шестерка бубен. ***«Это не то, о чем думают варвары»***, – пару лет назад это была моя любимая фраза. Уж не помню, откуда я ее выудил, но с наслаждением использовал, когда хотел дать понять собеседнику, что его интерпретация, мягко говоря, искажает суть происходящего.

Туз бубен. ***«Запасной рай»*** – так благодарные приятели окрестили мою саморазрушающуюся коммуналку. Дескать, каждый, кого в очередной раз изгнали из личного «рая», знает, что есть еще и «запасной рай», куда всегда можно прийти. «При гадании эта карта должна считаться весьма благоприятной, поскольку указывает на некий надежный тыл, который никуда от тебя не денется, что бы ни случилось», – авторитетно объясняю себе, словно бы уже примериваюсь к этой колоде, будто и правда собираюсь обзавестись для солидности шаманской паркой и зарабатывать на жизнь беспорядочным копошением в чужих судьбах…

Шестерка червей. ***«Кокошка придет, задушит»***, – ну надо же! Я собственными ушами слышал, как один коллекционер-маньяк, человек энциклопедических знаний и достоевского надрыва, пугал именем художника Кокошки свою малолетнюю дочку. Ребенок, к слову сказать, рыдал и просился к маме.

Валет пик. ***«Пошути со мною, небо!»*** Как же, как же. Эта фраза принадлежала героическому Торману. Он брякнул, ясное дело, по пьянке, после чего почти немедленно разразилась роскошная гроза – в ноябре-то месяце! Разумеется, мы оба были в восторге…

Я как раз разглядывал туз червей, надпись на котором гласила: ***«Первые симптомы демиурговой болезни»***, – и озадаченно размышлял, что бы она могла означать, когда услышал звук приближающихся шагов.

Ночью обычная городская акустика разительно меняется; можно подумать, будто солнечный свет препятствует распространению звука, а тьма, напротив, способствует. Ночью шаги невидимого прохожего, пересекающего мостовую в двух кварталах от твоего сиюминутного «центра вселенной», так звонки, что сердце начинает биться в чужом, непривычном ритме. Ночью звук шагов может стать визитной карточкой идущего, поскольку сообщает о вещах куда более важных, чем служебное положение да телефонный номер. Ночью, когда все кошки серы и все женщины красивы, перестук каблуков по асфальту может внушить страсть к невидимой незнакомке (это со мною случалось не раз) или отвращение к покладистой подружке (и так вышло однажды). Звук шагов ночью – это особый язык, секретный код, своего рода тайная азбука Морзе для имеющих уши, для тех, кто готов прислушиваться… для меня в том числе. Я – не то чтобы крупный специалист в этой области, но некоторые надежды подаю.

Поэтому, услышав шаги, я сразу понял: идут сюда. Именно в этот двор, а не в соседний. Хозяева карточной колоды. Их двое, это сейчас тоже для меня очевидно. Они обнаружили, что забыли ее здесь, и решили

вернуться. У меня нет никаких оснований так думать – что ж, тем крепче моя уверенность. Я просто *знаю*.

Я знаю также, что не намерен расставаться со своей находкой. Ни за какие коврижки. Не отдам. Эта колода принадлежит мне, потому что на ее листах чужой рукой записаны обрывки моего собственного внутреннего моно… диа… – да не один ли черт?! – …лога.

Я прячу карты во внутренний карман и устремляюсь в глубину двора, под буйную сень цветущих кустарников.

47. Вритра

…Вритра погружается во мрак…

Душистая влажная тьма поглощает меня. Странное дело: я вломился в сиреневые заросли, как бешеный лось, но дров не наломал. Нежные ветки гнулись, пропуская меня в некое подобие тайника, туда, где пролегала граница между несколькими кустарниками, где обнаружился пятачок свободного пространства, со всех сторон окруженного пахучими листьями.

Там я и замер. Затаил дыхание, приготовился подглядывать и подслушивать. Некоторое время ничего не происходит.

Ничего кроме мрака.

48. Ву-Мурт

Ву-Мурта прогоняют, стуча палками и топорами по льду.

Наконец во дворе появляются двое. Мужчина и женщина (это, впрочем, я понял гораздо раньше, по звукам их шагов). Как я и предполагал, производят осмотр скамейки. Женщина красноречиво разводит руками. Оба смеются, что-то неразборчиво говорят. Кажется, исчезновение колоды их не слишком огорчило – что ж, вот и ладненько.

Присматриваюсь к ним внимательно. Была у меня теория, что надписи на картах могли изготовить мои друзья. Самые близкие, каковых немного. Список из четырех… ну, максимум, пяти имен. Но этих ребят я вообще впервые вижу. Странно: вообще-то наш город – средних размеров деревня, здесь все друг друга знают, хотя бы в лицо. Ну… с другой стороны, могли ведь они просто приехать к морю, не дожидаясь лета, когда пляжи будут забиты потливой тушенкой из человечины.

Могли, конечно. Но эта версия окончательно разбивает мне сердце. У людей, которые живут в нашем городе, общаются с моими приятелями, каким-то образом не попадаясь при этом мне на глаза (ладно, ладно, чего только не бывает), ходят в те же кинотеатры и в те же кофейни, выслушивают ежедневно городские сплетни о моей персоне, – у них был бы какой-никакой шанс случайно воспроизвести на гадальных картах все эти надписи, включая совершенно эксклюзивного «Кокошку» и мой «запасной рай». Но если они просто приехали в отпуск откуда-нибудь издалека… Такая гипотеза сводит меня с ума.

Меня разбирает любопытство. Я понимаю, что ничего не остается, кроме как отправиться за ними. Попробую выследить, куда они пойдут. Если, к примеру, зайдут во двор, где живет кто-то из моих приятелей,

тогда многое сразу прояснится… А может быть, чем черт не шутит, они соберутся выпить по стаканчику в какой-нибудь ночной забегаловке? Тогда я просочусь следом, усядусь поблизости, послушаю краем уха, о чем они говорят. Вдруг обнаружу, что с ними вполне можно познакомиться? Было бы славно.

Дождавшись, пока таинственные владельцы гадательной колоды скроются в арке, выскальзываю из дружеских объятий местной растительности и спешу следом, соблюдая, как мне кажется, все необходимые предосторожности…

Они меня, однако, засекли. Возможно, не сразу. Но когда мы пересекали Красногвардейский мост, парочка уже регулярно оборачивалась, дабы убедиться, что я все еще плетусь сзади. Чувствую себя полным идиотом; понимаю, что проследовать за незнакомцами до их жилища мне теперь вряд ли удастся, но все еще надеюсь, что появится шанс завязать знакомство. Приближаться к ним здесь, на совершенно пустом мосту, не решаюсь: попробовал бы ко мне кто-то сунуться при таких обстоятельствах! Поэтому плетусь пока следом, намеренно отстаю, увеличиваю расстояние между нами до полусотни метров, дабы преследуемые поняли, что я абсолютно безопасен.

Не знаю, что они там поняли, но, миновав мост, тут же свернули в самый узкий из многочисленных переулков – Корабельный. Считается, что он тупиковый, но мы, любознательные окрестные жители, знаем, что там имеется целых три проходных двора. Так что, ступив на булыжную мостовую, я обнаруживаю, что переулок уже пуст. М-да, вряд ли они просто приехали в отпуск… Или

живут тут? Ну уж нет, не может быть, чтобы так досадно совпало!

Ныряю в ближайший проходной двор. Гадать, в каком именно скрылись мои незнакомцы, бессмысленно: во-первых, не угадаю, а, во-вторых, все три прохода введут на одну и ту же улицу Маркса. Где, к слову сказать, даже днем не слишком людно, зато сейчас сияют фонари и даже работает пара-тройка кафе с террасами. Если повезет – если очень-очень-очень повезет! – я обнаружу своих таинственных приятелей за одним из столиков. А не повезет – что ж, ничего не попишешь, не порисуешь и не полепишь…

Поскольку двор я пересекал бегом, мы появились на улице Маркса почти одновременно: парочка вынырнула из соседней подворотни. Я их сразу увидел, они меня – тоже, к сожалению. Я уж совсем было решился вступать в переговоры, не дожидаясь более удобного момента, но они переглянулись, взялись за руки и побежали прочь.

На этом мою затею можно было считать окончательно угробленной. Я решил махнуть на все рукой, и неторопливо пошел следом: уже не потому, что собирался продолжать оперативно-сыскные работы, просто мой дом находился в той же стороне, а ошалевшее тело требовало еды, сна и… еще немного еды. Больше ему ничего от меня не требовалось.

Знакомую парочку я, к величайшему своему удивлению, обнаружил возле ярко-желтой милицейской патрульной машины. Увидел их издалека, сначала обрадовался: дескать, нашлась моя пропажа, – а потом допер, что радоваться мне не следует. «Они ведь сейчас меня сдают, – с изумлением понял я. – Небось, за маньяка какого приняли… Поди докажи теперь, что я не

маньяк! Хорошо хоть паспорт в кармане, бабки спрятаны дома, ножа окровавленного за пазухой вроде с утра не было, да и алкоголь из меня давным-давно выветрился… или все же свернуть куда-нибудь от греха?»

Но сворачивать уже было некуда: подворотни, мимо которых я сейчас шел, вели в глухие, тупиковые дворы; ни в одном из них у меня никогда не жила хоть какая-нибудь завалящая дама сердца, на которую можно в случае чего сослаться. Поэтому я решил вести себя, как подобает невинной жертве оговора: идти спокойно домой, словно бы не ведая о грядущих неприятностях.

Менты меня, ясен пень, затормозили. Загадочные незнакомцы, на которых я в настоящий момент был чертовски зол, к этому времени, небось, уже давно сверкали пятками где-то на соседней улице. Я, в полном согласии с составленным по дороге сценарием, скорчил удивленную рожу и подошел к стражам порядка с приветливой улыбкой на устах. Даже «доброй ночи» пожелал, словно был уверен, что остановили они меня с единственной целью развеять патрульную скуку. Они потребовали документы. Я улыбнулся еще шире и полез в карман за паспортом. Хранители миропорядка принялись его разглядывать; добравшись до последней страницы, стали листать назад, словно бы надеясь обнаружить там тайное имя бога, или еще какую мистическую хренотень.

– Так. Значит… Максим, – сверившись с подписью под фотографией, резюмировал пожилой старшина. – Ничего, что без отчества? Ты мне не то что в сыновья – во внуки годишься.

Я с энтузиазмом закивал, всем своим видом показывая, что именно такого деда мечтал иметь всю жизнь, да вот, не сложилось как-то…

– Тут ребята проходили, жаловались, что ты за ними по всему городу бродишь, – ворчливо, но вполне добродушно, словно бы заразившись моим дружелюбием, сообщил его коллега.

– Не знаю, – говорю, разбавляя свою, и без того идиотическую, улыбку насыщенным раствором дебильной наивности. – Я просто домой иду. Я живу тут рядом.

Стражи порядка авторитетно кивают: не зря ведь штамп прописки изучали полторы минуты; начертанный там адрес свидетельствует в мою пользу.

– Значит, ты за ними не шел? – удовлетворенно спрашивает старшина.

– Да не знаю, – пожимаю плечами, – может, и шел. Были впереди какие-то прохожие, но я внимания не обращал…

Менты понимающе переглядываются. Наверное, с самого начала решили, что жалобщикам все примерещилось, и остановили меня только для порядка. Новоиспеченный «дедушка» кивает:

– Ясно. Они решили, что ты за ними следишь, и испугались. Сейчас ведь что творится? В газетах только и пишут про убийства да грабеж… Ты-то чего один так поздно гуляешь?

– Влюбился, – говорю, стыдливо осклабившись. Убойный аргумент.

Мы расстаемся друзьями, и я наконец могу отправляться домой, заботиться о своей оголодавшей и измученной дурацкими переживаниями тушке.

49. Вырий

В восточнославянской мифологии древнее название рая и райского мирового древа, у вершины которого обитали птицы и души умерших. Согласно украинскому преданию, ключи от вырия когда-то были у вороны, но та прогневала бога, и ключи передали другой птице.

Их было двое, и порой им казалось, что дела всегда обстояли таким образом. (Память клялась мамой, тельняшку на груди рвала, божилась, будто познакомились они, дескать, всего-то шесть лет назад, но память – дура, сказочница, бесталанная визажистка, ей веры нет.)

Они никогда не называли друг друга по имени: оба полагали, что подобное обращение прозвучит нелепо, как лепет безумца, увлеченного беседой с самим собой. Даже личные местоимения «*он*», «*она*» – казались им некоторым излишеством. «Мы» – еще куда ни шло…

Они имели странную власть над людьми и событиями, но не умели повернуть ее себе на пользу, ибо само понятие «пользы» не укладывалось в их головах; стратегические расчеты казались насилием над разумом, а немногочисленные попытки обдумать собственное будущее парализовывали волю. Поэтому они жили одним днем и играли с миром, как младенцы с набором цветных кубиков: любая конструкция, причудливая ли, уродливая ли, возникала лишь для того, чтобы тут же быть

разрушенной неловким движением могущественной, но неумелой руки; руинам же всякий раз было суждено чудесное превращение в волшебный лабиринт – впрочем, и это случалось лишь на краткое мгновение.

Они бодрствовали по ночам, поскольку обязанность жить в одном ритме с прочими людьми казалась им сущей мукой. Оба физически ощущали давление *всеобщего распорядка* и полагали его разрушительным; сопротивление было возможно, но утомительно. Куда проще оказалось организовать свое бытие таким образом, чтобы засыпать в тот момент, когда люди идут на работу; просыпаться во время всеобщей послеобеденной истомы; отправляться на прогулку, убедившись, что грозное *большинство* уже добровольно очистило территорию.

Эффект превзошел самые смелые их ожидания. Смена распорядка оказалась равносильна эмиграции в иное измерение: тот, кто выходит на улицу лишь в темноте, добывает еду и одежду с помощью хитроумных ухищрений и ограничивает человеческие контакты почти исключительно случайными встречами и странными происшествиями, становится обитателем изнанки реальности. Утрачивая понемногу представление о том, как выглядит повседневный мир, ночной житель постепенно узнает тайное его устройство. Ничего удивительного: где, как не на изнанке, можно обнаружить и во всех подробностях разглядеть швы, узлы и следы штопки…

Как они умудрялись существовать без работы, пособий, стипендий, щедрых покровителей, пренебрегая множеством обыденных ритуалов, утомительных, но полезных для выживания? Да им просто в голову не

приходило, будто обойтись без постоянных доходов невозможно; к стабильности они не стремились, социальных гарантий от судьбы не требовали; мелкие житейские проблемы утрясались сами собой и почти всегда в срок, а других и не было. *Он* умел находить деньги среди палой листвы, на цветочных клумбах, под скамейками на бульваре и среди использованных проездных талонов на троллейбусных остановках. Понемногу, зато стабильно: как минимум рубль за прогулку. Непревзойденным рекордом был лиловый четвертак, фантастическая по их меркам сумма. *Она* пробовала перенять мудреное сие искусство, но не слишком преуспела: на глаза попадались исключительно медные монетки; впрочем, при известных усилиях за ночь набирался все тот же рубль, или около того.

Лишь однажды, несколько лет назад, они нарушили несформулированный, но, несомненно, действующий уговор с судьбой: обшарили карманы пьяного паренька, который безмятежно спал в соседском дворе, и вымели оттуда всю наличность. Совесть их не мучила, но и желания повторить эксперимент более не возникало. Полукриминальное сие происшествие оставило у обоих иррационально светлое воспоминание: словно бы доброе дело совершили. Почему, с какой стати, что за доброе дело такое – а черт его разберет! Узнать наверняка невозможно, а версии выдумывать всякий дурак может.

На досуге («досугом» считалось время жизни, которое не нужно тратить на сон и редкие попойки из числа так называемых «дружеских встреч») они писали повести на карточных колодах, рисовали тушью пейзажи на древесной листве, изобретали новые языки,

составляли гороскопы обитателей своих сновидений,[5] записывали хронику текущих событий в стиле скандинавских саг, учились предсказывать ближайшее будущее города по афишам кинотеатров, – да чем только не занимались! Среди множества способов насыщать жизнь *бесполезной*, но увлекательной деятельностью ночные прогулки занимали особое место.

Ночью городской житель получает шанс обнаружить, что обитает в удивительном пространстве; с опытом приходит особая, почти звериная чуткость, и вот он уже откуда-то знает, что некоторые переулки таят необъяснимую опасность, другие сулят защиту от любой беды, иные же хранят секреты, прикосновение к которым может навсегда лишить душевного покоя, зато и слой сала с сердца соскрести поспособствует. Знанием этим не просто можно, но и необходимо пользоваться: без него ночные прогулки бессмысленны и чреваты неприятностями – житейскими и не только.

Двор на улице Гоголя оба полагали одним из «чудесных мест» (определения, не предназначенные для предъявления посторонним, обычно не грешат замысловатостью). В теплое время года они любили сидеть на зеленой скамейке под платаном, да и зимой заглядывали ненадолго, полюбоваться медленным кружением снега в блеклом сиянии дворовых фонарей. При свете дня они туда не сворачивали ни разу: это было *правило*, одно из множества правил, возникающих в их

---

[5] Тут важно не забыть спросить дату и время рождения у всякого, кто приснится; еще сложнее бывает не утратить эту информацию в момент пробуждения. Все остальное просто, следует лишь иметь в виду, что в гороскопе обитателя сновидения наиболее важными будут минорные аспекты, а доказательством, что гороскоп составлен правильно, является отсутствие каких-либо планет и звезд в Первом доме.

жизни словно бы из ниоткуда, – не то сами изобрели, не то из небесной канцелярии по беспроволочному телеграфу получили, сразу ведь не разберешь…

В ту ночь они взяли с собой одну из карточных колод, собственноручно исписанную нелепыми фразами, понатасканными из захламленных кладовых памяти; происхождение большинства цитат было неясно им самим, а собственные придумки казались теперь беспомощными и неуклюжими. Колода эта была одним из первых литературных опытов и считалась неудачной. Для гадания она не годилась: слишком уж легкомысленным был текст; называть же поделку «литературным произведением» язык не поворачивался. Глупость, безделушка досужая, а не «произведение». Вот недавно им действительно удалось написать на другой карточной колоде изящную историю о четверых пассажирах падающего лифта. Каждая масть повествовала о непростой биографии и душевной смуте одной из жертв; джокеры являли собой два разных финала: трагический и комический. Особенно забавно было читать повесть не по порядку, а в процессе какой-нибудь игры: по мере сдачи карт история бытовой катастрофы трансформировалась, порой до неузнаваемости. По сравнению с этим достижением старая колода показалась создателям особенно убогой, и они решили от нее избавиться.

Понятно было, что такие вещи в мусорное ведро швырять не стоит, да и маме на день рождения дарить не рекомендуется. А вот оставить где-нибудь на скамейке в парке, или на краешке тротуара в качестве странного подарка неизвестному прохожему – именно то, что надо!

Однако забывать карты во дворе на улице Гоголя они не планировали. Это произошло случайно: шли мимо, свернули по привычке, задержались на перекур, засиделись, залюбовались цветущим жасмином, извлекли из сумки отверженную колоду, некоторое время рассматривали надписи и размышляли, не лучше ли будет рассеять их по всему городу, даже поспорили немного на сей счет, а потом ушли, взявшись за руки, оставив предмет дискуссии на скамейке, влажной от ночной росы.

Минут двадцать спустя они обнаружили пропажу и решили вернуться. Оставлять следы в «чудесном месте» не хотелось; вернее, казалось почему-то, что это – *неправильно*. Ну и потопали обратно: почему нет? Бешеной собаке семь верст – не крюк…

Колоды на скамейке уже не было. Поначалу это их изрядно насмешило: представили себе изумление нового владельца, которому придется теперь разбирать сделанные от руки надписи и, чего доброго, искать в них некий «тайный смысл». И ведь найдет же, небось: дурное дело нехитрое!

Впрочем, смеялись они не слишком искренне и сами это понимали. Любимый дворик, надежный приют, островок сердечного покоя, за время их отсутствия странным образом переменился. Ничего особенного, однако настроение здесь теперь царило муторное, словно бы духи-хранители «чудесного места» не рады их возвращению и ждут не дождутся, когда же непрошеные гости оставят их в покое. Возможно, у них просто разыгралось воображение, и без того весьма живое; а может быть, гипотетические «духи-хранители» ни при чем, просто неподалеку болтался кто-то чужой – да хоть

новый владелец их карточной колоды. Они не стали разбираться, а просто поспешно ушли, встревоженные куда больше, чем следовало бы.

Дальше началась полная фигня. Почти сразу же они заметили, что за ними кто-то следит. Одинокий прохожий, несомненно, мужчина – прочие сведения о нем поглотила мутная смесь ночной мглы и фонарного света – оказался весьма неравнодушен к их перемещениям в пространстве. Шел чуть ли не по пятам, сохраняя, впрочем, некоторую дистанцию. Прилип как репей, наверняка даже на следы их наступал – прежде им и в голову не приходило, что можно почувствовать, как кто-то наступает на твой след. Неприятное, к слову сказать, ощущение.

Они не видели, откуда он появился, но сердце подсказывало: ясен пень откуда. Из любимого дворика на улице Гоголя, будь он неладен! В кустах там прятался, что ли? Но какого черта ему надо?!

Следовало бы, конечно, повернуть навстречу назойливому преследователю и прямо спросить: какого хрена? Но у них некстати сдали нервы. Так бывает. Они загривками чувствовали значительность этой встречи, но сдуру решили, будто ощущают опасность. Ничего удивительного: и то, и другое нередко холодит позвоночник, а чтобы распознать породу снующих по твоей спине мурашек, требуется немалый опыт.

Миновав Красногвардейский мост, они поспешно свернули в Корабельный переулок. Сам по себе переулок – узкий, почти необитаемый тупик, но им было известно, что один из дворов – точно проходной. Впрочем, в этом городе чуть ли не все дворы проходные, можно

подумать, его специально строили в качестве гигантского полигона для игры в «казаки-разбойники»…

Двор пересекли бегом. Вынырнули на улице Маркса; глаза непроизвольно щурились от яркого фонарного света. Опасность, судя по всему, миновала. Даже если таинственный преследователь знает этот проходной двор… Что ж, по крайней мере, здесь светло как днем, кафе какое-то работает, а в конце квартала дежурит ментовский «бобик». Маньякам и призракам (они почему-то были уверены, что назойливый попутчик непременно окажется либо тем, либо другим) в такой обстановке некомфортно. Вот и славно, трам-пам-пам. Можно расслабиться.

Как бы не так! Он вдруг вынырнул из соседней подворотни и оказался совсем рядом. Если бы беглецы потратили секунду-другую, чтобы разглядеть своего преследователя, они бы увидели круглые от любопытства глаза, рыжеватые вихры над ушами и смущенную готовность к улыбке на почти мальчишеском лице. У них был шанс уразуметь очевидное: гипотетический «маньяк» – не враг, а друг, каких еще поискать, из тех, что «одной крови», из тех, кто готов идти рядом, а не путаться под ногами, но… Они этим шансом не воспользовались. Посмотрели не на незнакомца, а друг на друга. Собственная паника, отразившаяся в зрачках ближнего, возрастает не в геометрической даже, а в какой-то небывалой, не поддающейся математическому описанию, прогрессии. Влажные от страха пальцы метнулись друг к другу. Взявшись за руки, они побежали вверх по улице Маркса. Домой, домой! Под ненадежную защиту хлипких запоров и растрескавшихся стен.

«Маньяк» не смог, очевидно, выдержать предложенный темп. Начал отставать. Теперь их разделял почти целый квартал. Разрыв увеличивался с каждым шагом. Казалось бы, можно уже перевести дух, но ошалевший дух не желал переводиться, сволочь такая.

– Он может выследить, где мы живем.

– Может.

– Что будем делать?

– Надо свернуть и спрятаться во дворе.

– А если найдет?

– Не найдет.

– Захочет – найдет… Надо ментам его сдать.

– Бред.

– Не бред. Вон менты стоят. Скажем, что этот хмырь за нами уже час гоняется. Пока они с ним разберутся, мы будем дома.

– Нельзя человека ментам сдавать.

– Иногда все можно. Сейчас – как раз такой случай.

– Не…

– Хочешь завтра утром встретить его в подъезде?

– Не хочу.

– Ну и…

– Ладно.

Он прибег к помощи работников правопорядка второй раз в жизни. Первый опыт такого рода он пережил в возрасте пяти лет, когда семья переехала в

новую квартиру, и маленький исследователь новых ландшафтов заблудился в лабиринтах неизученных улиц. Тогда он попросил «дяденьку милицанера» отвести его домой, и все завершилось благополучно, можно сказать, идиллически. Последующие встречи с милицией были куда менее благостны (то волосы длинные, то сережка в ухе, то «почему не работаешь?» – и прочий мудизм). Однако сейчас, когда вымышленная опасность дышала в затылок, он предпочел воспользоваться опытом пятилетнего мальчика, которого выручил однажды добрый милиционер. Добежал до ярко-желтого «бобика», почти волоча не поспевающую за ним подружку, и взмолился о помощи.

Менты оказались вполне доброжелательные. Прониклись, посочувствовали. Даже документов не потребовали. Обещали «разобраться». Посоветовали отправляться домой и не шляться по ночам, а спать «как нормальные люди». Все как положено. Задушевная беседа отняла полминуты, не больше. Преследователь едва маячил где-то вдалеке. Оставалось надеяться, что охранники правопорядка сдержат обещание и «разберутся». Если они хотя бы паспорт у него потребуют, дело, можно сказать, в шляпе: дом-то вот он, совсем рядом, до угла добежать, свернуть, а потом всего каких-то полтора квартала останется.

Добежали. На третий этаж неслись, перепрыгивая через ступеньку, ключи доставали трясущимися руками, на лету. В замок попали с пятой попытки. Запирались долго и суетливо: верхний замок, нижний замок, цепочка, щеколда… не работает, дрянь такая. Ржавая совсем. Однако, обламывая ногти, задвинули и щеколду. Обессиленные, рухнули на ковер. Переглянулись. В

глазах немой вопрос: «А чего мы испугались-то?» Ответ существовал, но формулировке не поддавался.

Ну и ладно.

Спать они легли на удивление рано, еще до рассвета: вымотались.

– Мы больше не пойдем туда, да? – спрашивает она, прижимая к себе его руку, как ребенок плюшевого медвежонка: нежно, но и беспардонно, не заботясь об удобстве обласканного предмета.

– На Гоголя? Конечно, не пойдем. Все, это больше *не наше* место, – меланхолично откликается он, стараясь облегчить существование угнетенной конечности.

– Жалко, – бормочет она. Руку не отдает: без теплой этой игрушки страшно сейчас оставаться в красноватой темноте, обступающей всякого, кто решится смежить веки. – А город?

– Что – «город»?

– Это еще *наш* город? Или уже тоже *не наш*?

– Не знаю. Завтра выйдем на улицу и поймем.

– И что мы будем делать, если?.. Уедем?

– Может быть. Посмотрим. Я сейчас не понимаю ничего.

– Я тоже… Вот, слушай, знаешь, что надо? Надо сочинить историю об этом маньяке. Придумать, зачем он за нами ходил. Придумать и записать. Он станет просто героем истории, а герой истории уже не опасен.

– Разве?

– Ну да, – авторитетно подтверждает она, словно бы всю жизнь только и занималась, что обезвреживала

опасных преступников, превращая их в литературные персонажи.

50. Вьяса

Вьяса стал великим отшельником…

Скинув куртку, я засомневался: а вернули ли мне документы давешние менты? Я так старался произвести на них благоприятное впечатление, что на прочие вещи уже внимания не хватило. Как поговорили – помню; как ушел – помню; как посылал про себя беззлобные матюки в адрес перепугавшейся парочки – тоже помню, а вот участвовал ли паспорт в церемонии счастливого избавления меня от бдительно-карательных органов – непонятно…

Священный документ был на своем месте, во внутреннем кармане. Я машинально открыл его, дабы убедиться, что помещенная там фотография все так же нелепо ушаста и остроноса, как прежде. Из паспорта выскользнул обрывок линованной бумаги. Записка? С какой стати? Не было у меня до сих пор такой дурацкой привычки: переписку приватную в документах хранить.

«Ты влип. Теперь они тебя придумают», – вот, собственно, и все. Больше ни слова. Буквы корявые, написано карандашом, с сильным нажимом, словно бы на весу… Я присмотрелся и обалдел окончательно: на плотной бумаге паспортной страницы отчетливо проступали вмятины, в точности соответствующие некоторым фрагментам текста. По всему выходило, что записку написал мент, тот самый, который так долго любовался моим черно-белым изображением, отвлекаясь

от этого божественного зрелища лишь затем, чтобы помедитировать над синюшным штампом прописки. Он, зараза, больше некому. Хорош страж порядка, однако…

Это была последняя капля. Я твердо решил уезжать немедленно. Не через неделю, уладив немногочисленные дела, а первым же поездом. В Москву, где меня никто не знает. Восемь миллионов рыл – и ни одной знакомой рожи. Восхитительно!

Мне почему-то казалось, что стоит покинуть город, где меня знает каждая собака, и все уладится. Решил, будто в чужом городе чудеса, возможно, не в курсе, что они теперь должны со мною случаться. Я найду там убежище и окопаюсь. Пережду. В конце концов, мне всего-то и надо: короткий тайм-аут, крышу на место поставить, а потом – будь что будет.

Принятое решение действует на меня как лошадиная доза валерьянки. Я внезапно успокаиваюсь, ноги становятся ватными, мышцы лица расслабляются, так что даже надежные очертания моей внешности, кажется, становятся текучими, и отражение в зеркале больше похоже на отражение в зыбкой воде. Я больше не знаю, кто я такой, но этот вопрос меня, мягко говоря, не слишком тревожит. Засыпаю прямо на ковре, не обременяя себя заботами о постельных принадлежностях. «Не забудьте погасить мир перед сном», – фундаментальное правило новой техники безопасности само собой придумывается в полудреме. Мне немножко смешно, но не настолько, чтобы давать себе труд растягивать губы в улыбку. И так сойдет.

51. Вэйшэ

Тот, кому посчастливится увидеть вэйшэ, станет правителем. <…> По другой версии, наоборот, тот, кто увидит вэйшэ, должен тотчас же умереть.

Мне снится, будто я – двуглавая змея с фиолетовым телом и янтарными глазами. Меня обступили ученые мужи преклонных лет в экзотических костюмах, место которым скорее в этнографических музеях, чем в моих скромных сновидениях, и одни говорят, что увидеть меня – счастливая примета, а другие утверждают, что якобы встреча со мною сулит смерть. Но я-то знаю: встреча со мной не сулит ничего особенного. С каждым, кто увидит меня (и с теми, чей путь никогда не пересечется с моим) случится лишь то, что суждено, а я – лишь краткий эпизод, превращенный людским воображением в фатальное знамение. Старцы спорят, а я молчу, ибо змеи, даже о двух головах, бессловесны. Моя вынужденная немота – источник их заблуждений; я начинаю понимать, что всякая настоящая тайна сокрыта от любопытных вовсе не потому, что кому-то угодно ее хранить, а потому лишь, что она не может быть высказана вслух. Обладатели тайн не скаредны, а немы. Вероятно, это *правило*. Одно из.

Поскольку теплокровному существу даже в сновидении невозможно долго оставаться в хладной шкуре рептилии, я просыпаюсь в девять утра, мокрый от ледяного пота. Одежда прилипла к телу, волосы – к вискам. Смотрю в зеркало. Вполне человеческая тушка, бледная кожа и всего одна голова – какое утешение!

Говорить, впрочем, я не мог еще минут десять. При попытке издать хоть пару-тройку членораздельных звуков из горла вырвался лишь хриплый свист, до полусмерти напугавший меня самого. Потом уста наконец отверзлись, и я вывалил на ковер ворох беззлобной, но виртуозной брани. Не то со страху, не то от облегчения, не то просто для поддержания боевой формы: мне еще на вокзал за билетом идти предстояло. В очереди топтаться. Какие уж там ночные кошмары…

52. Вяйнемёйнен

Он уплывает прочь в своей лодке.

В очереди стоять, однако, не пришлось. Чудеса продолжались, в билетном зале работала не одна касса, как обычно, а все шесть окошечек. В результате я даже не успел изучить расписание поездов: медитация такого рода требует длительного сосредоточения, а моя очередь подошла минуты через три.

Расписание, впрочем, и не понадобилось: изящная женщина средних лет сообщила мне, что билеты на скорый московский поезд раскуплены на две недели вперед, на пассажирский имеются лишь верхние полки в плацкартном вагоне, поэтому она рекомендует мне ехать дополнительным поездом. Отправляется сегодня, в семь вечера; ехать, правда, придется две ночи, зато в купе, на нижней полке, возможно, в полном одиночестве. «Была бы зима, – говорит, – я бы вам этот поезд не советовала: на дополнительных топят всегда очень плохо. Но сейчас – другое дело. Поедете с комфортом, без толчеи».

Ее интеллигентная речь произвела на меня почти тягостное впечатление: не может наша вокзальная кассирша обладать дикцией столичной телеведущей, ну вот не может, и все тут! За пыльным стеклом должна сидеть не симпатичная женщина, а красномордая тетка с ультрамариновыми потеками вокруг глаз и морковным ртом, и голос у нее должен быть фельдфебельский, и «г» фрикативное, и манеры грузчика из овощного магазина, и бытовая ненависть во взоре… Обман информационных ожиданий, вот как это называется!

От такого несоответствия я растерялся, размяк и позволил ей всучить мне билет на дополнительный поезд, не поинтересовавшись даже, по какому случаю его ввели, и в котором часу оный состав изволит прибыть в белокаменную столицу нашей непричесанной державы. Впрочем, не все ли равно? Ни тридцать пять часов в раскаленном, битком набитом плацкартном вагоне, ни двухнедельное ожидание меня не прельщали, а тут такая славная альтернатива!

Билет был куплен, я рассыпался в благодарностях и покинул здание вокзала. По всему выходило, что мне нужно собираться, да и пожрать не помешало бы, и еще позвонить, наверное, надо кому-нибудь. Например, Торману. И, например, Наташке. Ей можно бы даже ключи от квартиры оставить: пусть живет, ей под одной крышей с мамой давно уже тесно, а под прочими крышами Ташка надолго не задерживается…

Что касается «пожрать» – этот пункт программы я выполнил ревностно и с тщанием. Отправился в «Белый» и уничтожил там недельный запас кофе, сока и теплых слоеных булочек. – Ты хаваешь, как другие похмеляются, – уважительно заметил знакомый бармен

Толик. – Можно подумать, что сдохнешь, если я тебе булку вовремя не донесу.

– А что, вполне может быть, что и сдохну, – авторитетно подтвердил я с полным ртом. – По идее, я должен был сожрать все это еще вчера утром. Или хотя бы вечером. Но не сложилось.

Толик понимающе улыбается. Он был свидетелем старта и финиша давешнего загула с «фронсами»; никто не мешает ему теперь домыслить подробности, сообразуясь лишь с собственным вкусом, благо воображение у парня, кажется, весьма живое.

После беспорядочного, но обильного завтрака я некоторое время гуляю по городу, честно стараясь осмыслить тот факт, что теперь мои ноги будут попирать какие-то иные, далекие, неведомые пока булыжники. Факт осмыслению не поддается. И черт с ним.

Возвращаюсь домой: надо собирать вещи. В моем случае это, положим, не самый обременительный труд, но четверть часа потратить придется. Да и потом, я ведь звонить собирался, встречи назначать, прощаться, отдавать ключи, и все в таком духе. До семи вечера еще прорва времени, но я-то знаю, как ненадежна лукавая эта стихия; мне хорошо известно, что всякий час отличается от прочих, он может оказаться куда короче или, наоборот, длиннее, чем положено, и никогда заранее не знаешь, насколько вместительный час поступил в твое распоряжение.

Собрать рюкзак и поставить на видное место сумку с фотоаппаратурой (забыть орудия производства дома – поступок вполне в моем духе, но сегодня я твердо решил не превращать свою жизнь в комедию положений) оказалось делом нескольких минут. С телефонными

звонками обстояло гораздо хуже. Никуда я, честно говоря, не дозвонился, хотя бог свидетель, я старался как мог.

Торман, оказывается, укатил на рыбалку. По крайней мере, так сказала очередная обитательница его многокомнатного сердца. Известие это повергло меня в недоумение: до сих пор Сашка рыбной ловлей не увлекался, благо какой-то дополнительный предлог для крупномасштабного пьянства ему никогда не требовался, достаточно было обычного волеизъявления. Ну… ладно. На рыбалку так на рыбалку, с кем не бывает! Придется позвонить ему уже из Москвы и услышать, что сбежать, сломя голову, без прощального банкета и прочих церемоний, могла только тварь негодная, вроде меня. Ну, что ж теперь делать, пусть ругается, переживу как-нибудь…

А Наташки не было дома уже три дня. Поскольку мое обаяние на ее матушку никогда толком не действовало, выяснить подробности мне не удалось. Обзвонив две дюжины общих знакомых, я так и не напал на след взбалмошной нашей подружки. Ничего удивительного: Ташка обладает удивительной способностью крутиться под ногами в самые неподходящие моменты и пропадать именно тогда, когда мне требуется срочно ее увидеть.

Увлекшись следственно-розыскным мероприятием, я так никому и не сообщил о своем отъезде. Обстоятельство небывалое, если учесть мою болтливость. По идее, я бы должен прохожих на улице останавливать, дабы сообщить им эту потрясающую новость: дескать, я, любимый, уезжаю, можете начинать

рвать на себе волосы. Однако вот ведь, ни разу не обмолвился.

Утомленный телефонной болтовней и сломленный неудачами, я сам не заметил, как задремал на ковре, в обнимку с телефонным аппаратом. Проснулся от пронзительного лязга: звонкоголосая оранжевая сволочь орала прямо мне в ухо – и все это лишь для того, чтобы жизнерадостный мужской голос с не поддающимся идентификации, но режущим слух акцентом потребовал к аппарату некую «Свэту», следов которой в окрестностях моей кармы не обнаруживалось. Ошиблись номером. Блин.

Но взглянув на часы, я был готов расцеловать неизвестного благодетеля и его ненаглядную «Свэту». Как же вовремя он ошибся номером! До отхода моего возлюбленного поезда оставалось всего-то часа полтора. Каким образом я умудрился проспать полдня – уму непостижимо! Впрочем, я не мог не признать, что это было наилучшим способом провести время до отъезда. А то ведь маялся бы ожиданием, болтался бы по городу, разыскивая неуловимую Наташку, поил бы пивом всех встречных, и сам бы с ними набульбенился «на посошок», или того хуже, решил бы сообщить о грядущем отъезде родственникам – не потому, что я полагаю, будто это действительно необходимо, а просто так, от нечего делать. Дал бы им возможность закатить истерику и хоть как-то заполнить томительную паузу, так некстати образовавшуюся в моем расписании.

Теперь же все это было без надобности. Я умылся, рассовал по карманам куртки деньги и документы, взял рюкзак, забросил на плечо сумку, запер комнату и отправился на вокзал. Пешком: ноша меня не тяготила, а

прогулка по вечернему городу казалась неплохим способом с ним попрощаться. В кафе на углу я выпил двойной эспрессо и осушил бутылку боржоми. В ближайшем киоске купил пачку жевательной резинки, несколько бутылок минеральной воды и упаковку голландского баночного пива; в комиссионке на улице Маркса – несколько пачек запредельно дорогих импортных сигарет, всегда бывших предметом тайного моего вожделения.

Засим сборы в дорогу можно было считать окончательно завершенными. Я неторопливо зашагал к Вокзальной площади. По дороге мне не встретилось ни единой знакомой морды, но я уже устал удивляться по столь пустяковым поводам.

В здание вокзала я вошел за четверть часа до отправления поезда. Не слишком рано, не слишком поздно – в самый раз. Голова была пустой, а тело – легким, как сухой лист. Я уезжал. Возможно (и сладко, и боязно было ощущать на пересохших от волнения губах это слово) – *навсегда*.

Г

53. Гандхарвы

…своего рода фата-моргана, мираж.

– Молодой человек, не гневайтесь, что нарушаю ваше уединение, но мне подумалось: может быть, вы не прочь сыграть в нарды?

Вот уже два часа я наслаждался затворничеством. В купе ехал один, без попутчиков – круче, чем просто люкс! Более того, во всем вагоне нас было трое: я, тощий однобровый проводник с челюстью Щелкунчика и вот этот элегантный седой господин в полуспортивном костюме цвета выгоревшей солдатской гимнастерки – редкостной красоты вещь, к слову сказать. Мой попутчик занимал третье по счету купе, я – шестое, так что даже «соседями» мы являлись лишь очень условно. О таком вакууме я и мечтать не смел.

За минувшие два часа я успел открыть окно (считается, что это невозможно, но если очень захотеть, получается все), подставить голову свежему ветру, пережить восемнадцать мощных эстетических потрясений при виде пасущихся вдоль рельсов коров, выкурить две сигареты, выпить банку пива и окончательно обалдеть от излившейся на меня благодати.

Впрочем, предложение сыграть в нарды поступило весьма своевременно: я как раз пресытился созерцанием пасторальных сцен при участии крупного рогатого скота и с некоторым сожалением обнаружил, что не взял с

собой книг. Совершенно нехарактерный для меня поступок: обычно я даже в пригородный автобус без книжки не сажусь, а тут – не то что бы даже поленился лишний груз тащить, а просто вылетело из головы, что хочешь, то и делай!

И вдруг, как нельзя более кстати, возник этот русобородый Мефистофель с приторными профессорскими повадками. Был бы не столь элегантен, вышел бы комический персонаж. Но костюм, более приличествующий буржую на сафари, чем пассажиру вялотрясущегося по просторам Совдепии поезда, но тонкий профиль, но сияющие льдинки светлых глаз, да еще и запах наидражайшей из кёльнских вод – какой уж там «комический»… И как же славно, что он именно в нарды захотел сыграть! Предложил бы партию в шахматы, пришлось бы мне мычать нечто невразумительное, признаваться в постыдной своей неспособности улаживать неприятности ферзей да королей; но, хвала Аллаху, обошлось без позорища.

– С удовольствием, – говорю. – Только я «длинные нарды» больше люблю. А вы?

– И я, пожалуй.

– А у вас доска с собой? Давайте здесь играть. Видите, я окно открыл. Свежо. И курить можно.

– От курения, пожалуй, воздержусь, ибо бросил. Но открытое окно – это прекрасно. Добрый знак. Лучше быть не может, – обрадовался мой попутчик.

Зашел в купе, уселся напротив, положил на стол миниатюрную досточку для нард. Расставил крошечные лакированные шашки, извлек из кармана кожаный стаканчик и два миниатюрных кубика. Я от природы не

завистлив, но тут меня чуть кондратий не посетил: какие все же роскошные вещицы!

Звали моего нового знакомого Карл Степанович. Опять же вроде бы комичное сочетание, но ему столь курьезное имя-отчество даже шло: была в нем некая импортная, почти королевская стать, но и нечто уютное, домашнее, успокаивающее нервы, наличествовало в его внешности. Этакий респектабельный «американский дядюшка», от которого следует ожидать скорее рождественских подарков, чем скучных нотаций и прочих подвохов.

Сообщив друг другу свои наименования, мы кинули кубики, чтобы выяснить, за кем право первого хода. У меня выпала единица, у моего соперника тоже. Улыбнувшись совпадению, мы повторили бросок. На сей раз на обоих кубиках были двойки. Еще раз – две тройки. Моя улыбка приготовилась было сползти с лица, но Карл Степанович столь искренне радовался наглядным этим опровержениям теории вероятности, что и я заразился его энтузиазмом. Однако две четверки заставили меня содрогнуться.

– Пятая попытка? – деловито спросил попутчик. – Нас с вами, друг мой, в цирке показывать можно, за большущие деньги…

Но у меня сдали нервы.

– Хватит, пожалуй. Пусть первый ход будет ваш.

– Тогда уж ваш, – великодушно возразил он. – У меня и без того преимущество: доска-то моя. Можно сказать, на своем поле играю.

– Резонно, – соглашаюсь. И кидаю кубики, дабы не затягивать процедуру взаимных реверансов.

Некоторое время мы играли молча, сосредоточенно наблюдая друг за другом. Игра с незнакомым противником поначалу всегда доставляет совершенно особенное удовольствие; впрочем, и понервничать приходится.

Первую партию я продул. Без особого, правда, позора: к моменту окончания игры мои шашки уже стояли дома, все до единой, и даже «на двор» пару штук я успел вывести. Зато следующая игра была моя. Мне отчаянно везло, удалось даже запереть несколько шашек противника и долго не выпускать их на волю. Выиграв партию, я расслабился и обнаружил, что вполне готов к светскому общению. Поблагодарил своего попутчика за отличную идею, предложил ему пива. Он отказался, неожиданно резко.

– Не пью эту гадость. И вам не советую. Взор человечий от него мутится, знаете ли, ясность утрачивает… От пива тупеют, соловеют и, в конечном счете, жиреют. Если уж приспичило выпить, пусть это будут крепкие напитки. В них есть нечто честное… Нет, вы-то, конечно, поступайте как вам угодно, мое дело предупредить о последствиях.

Ненавижу поучения, но тут почему-то скушал замечание партнера по игре, не поперхнувшись, да еще и жестянку с «влагой Вальхаллы» обратно в упаковку затолкал. То ли потому, что сам не слишком люблю сонную пивную одурь, то ли просто почувствовал по тону собеседника, что у него нет намерения навязать мне бесценное свое мнение. Просто сказал человек, потому как к слову пришлось, без потаенной цели

перевоспитать, повлиять, переделать меня по образу своему и подобию. Так отстраненно, кстати, мало кто умеет делать замечания. Высокий штиль! Профессиональное это у него, что ли?..

– Вы врач? – почти не сомневаясь, поинтересовался я.

– Отчасти, – Карл Степанович неопределенно пожал плечами, поморщился, словно бы от зубной боли, и тут же оживился: – Вот воды минеральной я выпью с удовольствием, если предложите. А потом, пожалуй, угощу вас темным кубинским ромом. Может, проигрывать начнете, – лукаво добавил он, покосившись на только что брошенные мною кости: выпали две четверки. Не самый мелкий дубль, для игрока в нарды дело наипервейшей важности.

– Не откажусь от такого эксперимента, – я поспешно открыл бутылку «Куяльника».

Теплая целебная вода с шипением окропила многострадальные мои джинсы. Награда, впрочем, не замедлила воспоследовать: из нагрудного кармана Карла Степановича была извлечена посеребренная фляга музейных кровей. Обещанный темный ром оказался напитком богов и членов их семей.

Проигрывать я, однако, не начал. По крайней мере, ничего катастрофического на моем поле не произошло. Игра продолжалась с переменным успехом, текла ровно, без особых волнений, немудрено, что у меня язык развязался.

– Славное все же занятие – игра, – говорю. – Особенно в пути.

– Да, особенно *в пути*, – Карл Степанович как-то по особенному выделил слово «путь», дабы мне стало ясно, что речь идет не о поездке из города в город. По крайней мере, не только о поездке.

Я адресовал ему вопросительный взгляд. Дескать, разъясните, уважаемый гуру, какой такой «путь» вы имели в виду, и добавьте, на всякий случай, что Дао, выраженное словами, незамедлительно утрачивает сертификат подлинности… Смех смехом, но я уже тогда нутром чувствовал, что вялотекущая наша беседа может вот-вот принять некое *особое* направление. И было мне от этого и тошно и радостно – вот уж воистину небывалый коктейль ощущений!

– Ну, тут, положим, дополнительных разъяснений не требуется, – меланхолично заметил мой попутчик. – Вы и сами сразу же подумали, что если «путем» полагать не отдельно взятое перемещение в пространстве, но человеческую жизнь, ваше замечание касательно игры приобретает дополнительную глубину… хотя в то же время катастрофически возрастает коэффициент банальности высказывания. Но тут уж ничего не попишешь, с обобщениями всегда так получается: либо банальность, либо ложь. Лучше уж первое…

– Н-н-н-наверное, – запинаюсь почему-то, тушуюсь и затыкаюсь. Надо бы перевести дух. Опять же, моя очередь кубики кидать.

– Игра же, – говорит Карл Степанович мечтательно, словно бы смакуя это слово, – действительно славное занятие для того, кто *в пути*, тут вы правы… В сущности, игра – это добровольное наложение на себя немыслимых, зачастую нелепых ограничений, верно? Казалось бы, кто заставляет нас с вами, взрослых, разумных людей,

передвигать шашки не куда вздумается, а в соответствии с указанием кубиков? Кто сказал нам, будто делать ход следует по очереди, а не одновременно? С какой стати каждый передвигает только черные или только белые шашки, вместо того, чтобы совместными усилиями расставить по местам и те, и другие? Почему мы слепо повинуемся правилам, изобретенным задолго до нашего рождения, без нашего участия, да еще и удовольствие от этого получаем? И немалое, смею заметить, удовольствие!

– Наверное, именно потому, что нас никто не заставляет это делать, – улыбаюсь ему. – И потом, мы ведь сами выбрали способ ограничить свободу своей воли. Не нравились бы нам правила игры в нарды, резались бы сейчас в «дурака», или в «морской бой», или, к примеру, в прятки, благо обстановка располагает, – тут я невольно хихикнул, поскольку представил себе, как респектабельный Карл Степанович карабкается на багажную полку под потолком купе, пока я, зажмурив глаза, считаю до десяти, запершись в уборной. Справившись кое-как с непрошеной смешинкой, резюмировал: – Считается, что игра – не очень важное занятие, поэтому в этой области человек всегда более-менее свободен выбирать. Нет такой профессии ни в одном цивилизованном обществе: «надзиратель за настольными играми частных лиц». А значит, играя, мы можем наложить на себя именно те ограничения, которые нам по душе. Так ведь?

– Вот именно, – с удовольствием соглашается мой собеседник. – Выбор игры всегда заслуживает пристального внимания, поскольку рассказывает об игроке куда больше, чем подробные биографии и

заполненные анкеты. Вот мы с вами любим играть в «длинные нарды», и это очень показательно, верно?

– Да уж…

Небольшая заминка, но молчать почему-то невыносимо, и я цитирую по памяти подходящий фрагмент из страстного монолога гадалки Оллы, столь впечатлившей меня три дня назад, когда мир еще только собирался пойти вразнос.

– Очевидно, это значит, что нам обоим чрезвычайно нравится мысль о возвращении «домой», хотя я вряд ли представляю себе, что это за место такое – мой «дом»… А вы? Вы представляете?

– Отчего же, вполне представляю, – щурится мой элегантный попутчик, в уголках его рта вдруг обнаруживается улыбка вполне мечтательного свойства. – Вероятно, потому, что я, если оперировать вашей системой метафор, уже «дома»… Ага, вот я вас и обыграл!

И правда обыграл. В ходе всей партии я лидировал с небольшим отрывом, но как только стали убирать шашки «на двор», везение меня покинуло. Впрочем, загадочные намеки моего удачливого соперника волновали меня сейчас куда больше, чем судьба двух белых лакированных кругляшков, так и не успевших эвакуироваться за борт.

– О каком «доме» речь-то? – спрашиваю, с трудом размыкая непослушные губы.

– Ну уж, по крайней мере, не о двухкомнатной квартире в Медведково, – смеется.

Про себя заключаю, что «Медведково» – это, вероятно, один из спальных районов Москвы. Слово смешное. Не то медведи там бродят, не то бабочки-медведки порхают – одно слово, глухомань!..

– Рассказывать о *своем* «доме» я вам не стану, уж не обессудьте, – продолжил он. – Вам это ни к чему, в метафизическом смысле мы с вами – отнюдь не «соседи»… К слову сказать, пейзаж за окном любопытный, вы не находите?

Я машинально обернулся к окну, ожидая увидеть там очередную пасторальную идиллию, и обмер. Открывшийся мне ландшафт никак не мог существовать на обширной территории между моим родным городом и Москвой. Потому хотя бы, что территория эта равнинная, а за окном сейчас возвышались горы. Не слишком высокие, округлостью очертаний напоминающие Карпаты, но не столь лесистые. Поезд наш неспешно пересекал долину, а на склоне ближайшей горы толпились причудливые тени, четко прорисованные на ультрамариновом фоне ночного неба, горели оранжевые и зеленые огни, затмевающие тонкий серп ущербной луны – неужели город? Точно, город, хотя все известные мне географические карты многомиллионным хором массовых тиражей свидетельствовали: никакого города здесь быть не может. Гор, впрочем, тоже.

Мне бросилось в глаза странное сочетание приземистых массивных зданий и хрупких, почти игрушечных башенок, и еще дом из белого кирпича, на островерхой крыше которого крутился флюгер в форме попугая. И еще мне показалось, будто я слышу музыку, едва различимую танцевальную мелодию, словно бы на городской окраине в разгаре вечеринка…

Я чуть ли не по пояс высунулся в окно и опьянел от восхитительного хаоса ночных ароматов: кажется, воздух этого места подействовал на меня как веселящий газ… впрочем, по правде говоря, я не знаю, как именно влияет пресловутый газ на человеческий организм. Не нюхал я его.

– Что это? – ору, счастливый и перепуганный, как никогда прежде. – Что это? Что это такое?

– Симпатичный городок, – вальяжно замечает Карл Степанович. – Возможно, именно сюда вам когда-нибудь предстоит вернуться… Впрочем, в таком деле гарантий быть не может, сами понимаете.

54. Гбаде

…легко возбуждается и стремится все истребить.

– Ничего я не понимаю! – кричу, уже с надрывом.

Говорить спокойно я сейчас не способен, хорошие манеры забыты. Меня раздирают противоположные желания: хочется не то выпрыгнуть на ходу из поезда и вскарабкаться по склону горы к дивным этим каменным стенам, не то забиться под стол, закрыть глаза, заткнуть уши и сидеть так, пока мир не придет в норму, пока за окном не замелькает скучный степной пейзаж: распаханные поля, узкие полоски лесопосадок, редкие огоньки станционных будок… И к чертям собачьим зачарованные города!

– Здесь не может быть никакого города, – я смотрю на попутчика почти с ненавистью. – И гор не может быть.

Какие, на хрен, горы?! Вы мне в ром ЛСД подмешали, что ли?

Последняя догадка кажется мне просто блестящей. Следствие по делу можно считать закрытым. Обвиняемый обязуется затолкать остатки галлюциногена в собственную холеную задницу. Экспериментатор хренов!

– Обижаете, батенька, – хмыкает «обвиняемый». – ЛСД да в ром? Зачем же хороший продукт портить?

У него редкий дар убеждения. Мои подозрения тут же рассеиваются, разум охотно подчиняется странной логике собеседника. Действительно, ЛСД в ром – какая нелепость! Смешно просто!

– Не может быть здесь гор, говорите? – мягко продолжает Карл Степанович. – Ну, не может так не может. Их и нет уже, ваша взяла. Посмотрите-ка в окно. Такой пейзаж вас устраивает?

Я снова высовываюсь в окно. Теперь там все в порядке. Степь да степь кругом, сиротская темнота пашен, в небе бледнеет лимонная долька ущербной луны. То что доктор прописал.

И тут волком взвыла одна из составляющих сложносочиненной моей личности, та самая, что подзуживала меня кубарем вылететь из поезда на полном ходу, полагаясь скорее на великодушие судьбы, чем на телесную ловкость; та, что была готова плюнуть на все ради возможности прижаться щекой к каменной кладке городских стен, увидеть влажные от ночной росы булыжники мостовой и умереть на руках прекрасных призраков в бархатных полумасках… Она, эта составляющая, теперь истерически визжала, стучала твердыми кулачками по черепу и ребрам, проклинала

меня последними словами и твердила, что жизнь кончена; она бы и посуду, небось, начала бить, да нет внутри меня никакой посуды. Только алебастровой белизны скелет, вполне качественный ливер, да бессмертная душа, скандалистка, каких свет не видывал.

Я знал, что упустил некий *шанс*. Понимал, что замена иррационального пейзажа привычным – не благо, а величайшая утрата. Город этот будет теперь являться мне во снах, и по утрам подушка моя будет сырой от пролитых ночью слез, а я ведь, пожалуй, и не вспомню даже, почему плакал во сне, и очередная подружка будет заботливо гладить меня по голове, как маленького, а мне останется лишь беспомощно скрипеть зубами от невыразимой тоски по утраченному – чему? Хороший вопрос…

55. Гвелиспери

Гвелиспери наносит поражение врагам божества и помогает его преданным слугам в несчастье.

В общем, хреново мне. И еще страшно. Очень страшно. Понятно, что от чудес я не удрал, только еще хуже влип, увяз в них по уши, как в болоте, а вытаскивать себя за волосы не обучен, увы. Сижу вот в одном купе с незнакомым человеком – хорошо еще, если действительно с человеком! – созерцаю в окно чудесные видения, и деться мне отсюда особо некуда, разве из поезда на ходу выскочить в «степь да степь кругом». Оч-ч-чень романтично!

Хорошо хоть на курносого незнакомца из худших моих кошмаров Карл Степанович не похож… хотя – что

внешность? Насколько я понимаю, для тех существ, соседство с которыми по-настоящему опасно, выглядеть всякий раз иначе – сущие пустяки.

– Кто вы? – спрашиваю попутчика, без особой, впрочем, надежды на удовлетворительный ответ. Кто, кто… Дед Пихто в кожаном пальто.

– Да так, ничего особенного, отнюдь не инициатор, а почти случайный свидетель чуда, которое было готово с вами случиться, но не случилось, – приветливо откликается он. – Странно, кстати, что вы столь болезненно реагируете на исполнение вашего же собственного потаенного желания… Вероятно, то, что легко дается, действительно редко ценится, – драматическая пауза. – А что вы будете делать, если чудеса вовсе перестанут с вами случаться? Вы об этом думали?

– Только об этом в последние дни и думаю. Как – что?! Просто жить и наслаждаться душевным покоем. Крышу чинить буду, – я выразительно постучал костяшками пальцев по собственному темечку.

– Вы меня не поняли, – настойчиво говорит он. – Вот, положим, приведете вы в порядок смятенный свой разум, отдохнете, обдумаете все, что случилось, успокоитесь… Пройдет, скажем, год. Никаких странностей, никаких недоразумений, ничего настораживающего. Даже сны вам больше не снятся…

– Красота какая! – бурчу. Догадываюсь уже, к чему он ведет.

– Проходит еще год, и еще. Скажем, десять лет. Чудеса по-прежнему с вами не случаются. Вы смотрите в зеркало, обнаруживаете мешки под глазами, мимические

морщины, пивное брюшко и прочие приметы зрелости… Проходит еще десять лет – ничего необычного, кроме разве что лысины на макушке. Зато пейзаж за каждым окном всегда соответствует вашему представлению о том, каким ему следует быть. Зато никаких странных типов, никаких шокирующих высказываний, трамваи ездят лишь там, где проложены рельсы, а соседи не взмывают к потолку…

– Откуда вы знаете, что мой сосед?.. – я в панике.

– Да не знаю я ничего о ваших соседях. Так, для красного словца приплел. А что, он действительно взмывает к потолку?

– Периодически, с похмелья, – вкладываю в эти слова все жалкие остатки былого сарказма. Выпендриваться я, пожалуй, и на смертном одре не прекращу.

– Надо же, – Карл Степанович неодобрительно качает головой.

Уж не сулит ли это моему соседу Диме строжайший выговор с занесением в какие-нибудь сионские протоколы небесной канцелярии? Впрочем, его проблемы. Мне бы со своими разобраться! Спрашиваю:

– Все, что вы мне сейчас сказали насчет жизни без чудес, брюха и прочих житейских радостей – это лирическое рассуждение, пророчество или угроза?

– Неужто я должен выбирать одно из этих трех определений? Ни одно не подходит. Есть в русском языке слово из шести слогов: пре-ду-преж-де-ни-е. Мне оно больше по душе.

– Желтая карточка?

– Вот именно.

– Игрок, нарушивший правила, сначала получает предупреждение, а с поля его удаляют лишь после повторного нарушения, – говорю тихо, почти нараспев. – Но я не знаю правил этой вашей игры. Наверное, надо бы ловить на лету, но я дурак дураком… Налейте-ка мне еще рому, а то в ушах звенит, виски словно ватой набиты. Я ничего не понимаю, а вы не объясняете. Мне грустно и страшно. Я влип?

– Ага, – смеется, – влип. Но не сейчас, а двадцать семь лет назад. А теперь начинаешь вылипать.

– «Вылипать»? Ну-ну…

Я и не заметил – когда это он перешел со мною на «ты»? Только что? Или раньше? И что это значит? Что спутник мой снял маску вежливого интеллигентного дядечки? А что под маской-то? Смотрю на него внимательно. Никаких перемен, лицо как лицо, вполне себе человеческое. Налил мне рому, чуть-чуть совсем, птичью порцию.

– Правил, – говорит, – не существует. И «удалять с поля» тебя никто не будет. Плохо другое: ты, как и любой другой человек, вполне способен «удалиться с поля» самостоятельно. Игрок, добровольно покидающий поле, обычно полагает, что просто берет тайм-аут. Короткую передышку. Отдохну, дескать, и с новыми силами… Но так не бывает.

– Как не бывает? – кажется, за этот вечер я изрядно отупел. Никак не мог взять в толк, что он имеет в виду.

– А вот так. Нельзя «отдохнуть» и «вернуться в игру с новыми силами». Вернуться после перерыва почти невозможно. Мне кажется, ты должен это знать. Ты ведь

как раз собрался спрятаться от собственной судьбы? Потому и в бега подался? Ну, положим, Москва – не то место, где можно спрятаться от судьбы… Но когда человек искренне хочет, чтобы чудеса ушли из его жизни, желание, как правило, исполняется. А потом…

– А потом – что? – спрашиваю, содрогаясь.

56. Гесперидыы

Гесперидыы живут на краю мира, у берегов реки Океан и охраняют яблоки вечной молодости…

– Да так, ничего особенного. Просто время начинает идти очень быстро, знаешь ли. Не успеешь проснуться, а за окном уже вечер; закончишь пережевывать обед, а уже спать пора… И множество мелких, но обременительных – не дел даже, делишек. И еще больше способов от них отдохнуть – общий корень со словом «до́хнуть», тебя это не настораживает?

– Передергиваете, – возражаю. Но он меня, кажется, не слышит. Увлекся.

– А потом вдруг наступает старость – можно сказать, ни с того, ни с сего. Ничего особенного, конечно, все идет по плану, но тебе покажется, что впереди – не целая жизнь, а всего один короткий, хлопотный день. И ощущение это будет, в сущности, очень верным.

– Я никогда не стану старым, – говорю упрямо. Губы дрожат, но голос я обуздал. – И жизнь моя не будет похожа на один хлопотный день. Так не будет, потому что я с детства решил: так не будет. И все.

– А как будет-то? – доброжелательно интересуется мой попутчик. – Это ты уже решил?

57. Гинунгагап

В скандинавской мифологии первичный хаос, мировая бездна.

Ничего я, разумеется, не решил; хаос первобытный царит в глупой моей голове, и извлечь оттуда удается не мысли, не слова, а лишь разрозненные звуки, да и те гласные: «я… э-э-э… а я… и я… а… о!»

Или, если уж быть честным до конца: Ы-Ы-Ы-Ы-Ы!

58. Главк

Ребенком, гоняясь за мышью, упал в бочку с медом и был найден мертвым. Некий Полид с помощью целебной травы, бывшей в употреблении у змей, возвратил его к жизни.

Никогда не мог толком сформулировать, чего я, собственно говоря, хочу. Картины будущего не роились в моей голове, даже мечты не принимали конкретных очертаний, а невесомыми цветными хлопьями кружились в темноте перед глазами, и расшифровывать их приходилось как кляксы Роршаха: ну-ка, ну-ка, на что похожа эта тень? Ни на что не похожа? Ну и ладно.

Я не строил далеко идущих планов, просто плыл по течению, лелея втайне надежду, что это некое *особенное* течение, и попутчиков у меня кот наплакал: две щепки, сухой лист, да бумажный кораблик.

Да уж, великим стратегом меня не назовешь. *В голове моей опилки, но кричалки и вопилки*… Эк меня занесло! Что ж, направление выбрано верно. В сущности, вся наша жизнь случается с нами в детстве, в концентрированном виде. А потом мы только разбавляем этот концентрат дистиллированной водой времени…

Я вспомнил вдруг, что был в детстве жутким чистюлей. Запачкавшись в грязи, поднимал такой вой, что оконные стекла звенели: я полагал, будто от грязи можно «заразиться» окружающим миром, как гриппом или свинкой. Опасался, что вместе с грязью в меня проникнет некий ужасный «микроб», и я стану «как все». Превращусь во взрослого лысого (как папа) дядьку, обзаведусь толстой (как мама) женой, буду носить мешковатые костюмы, ходить на работу, чавкая, поедать ежедневный борщ, проводить лето на мокром от пота диване и орать с балкона на детей, своих и соседских, втайне ненавидя их (просто потому, что они – дети и, вероятно, умрут позже, чем я). Метафизический этот страх – одно из самых ярких воспоминаний, хотя слова, подходящие для описания ужасавшей меня «взрослой» участи, нашлись не сразу: в младенчестве легко довольствоваться невнятными подсказками инстинкта, не утруждаясь формулировками.

Опасения мои отчасти оправдались: в конечном счете, я действительно «заразился миром», но организм до сих пор упорно сопротивлялся неизлечимой этой болезни. Лысины, жены, мешковатых костюмов и детей у меня пока не было; даже ежедневные походы на службу мне не грозили, и я намеревался удерживаться на этих позициях до последней капли крови. Потому что еще в детстве я твердо решил, что буду «великим исключением из правил», как единственная роковая женщина моей

жизни Мэри Поппинс, книжку о которой я обрел на школьных задворках, среди пачек с макулатурой (не зря, выходит, рылся часами в стопках старых газет, вообразив почему-то, что именно там может быть спрятана подробная карта мира с указанием всех пиратских и разбойничьих кладов). Решил, загадал желание: «Быть не как все», произнес его вслух, заручившись поддержкой падучих августовских звезд; записал на счастливом трамвайном билете и съел, морщась от противного прикосновения размокшей бумаги к нёбу; выцарапал на стеариновой свече, каковую сжег, оставшись один дома, в полной темноте, содрогаясь от всякого шороха. Совершил все мыслимые и немыслимые магические обряды, информацию о которых удалось вытрясти из «великих посвященных» нашего двора, и с тех пор будущее меня не пугало. Я знал, что надо просто подождать. Все само как-нибудь уладится.

И вот теперь, очевидно, пришло время оплатить давнишний заказ. Хочешь не хочешь, а выворачивай карманы, принимай ценную бандероль, сколь бы пугающим ни казалось ее сладкое, как мед, содержимое.

59. Гмерти

Он вездесущ и всепонимающ, един, но многочислен в своих «долях», через которые может являться в образе любого существа-избранника.

Карл Степанович сам себе дивился. Словно бы со стороны наблюдал, как из звенящей пустоты образуются слова, смысл которых был для него если и не вовсе темен, то чужд до зевотной одури. Очутившись на пороге этого купе, Карл Степанович полностью утратил контроль

над своим телом. Хорошо хоть так называемая «душа», кажется, была неизвестному «захватчику» без надобности. Невелико, впрочем, утешение для скептического ума!

Голосовые связки Карла Степановича, мышцы его лица и прочие полезные телесные механизмы более не подчинялись хозяйским намерениям. В его распоряжении осталась лишь способность осознавать происходящее; беспокойный разум на какое-то время озадаченно притих, но быстро адаптировался и снова принялся суетиться. Следует, впрочем, признать, все это было не только жутко, но и весьма познавательно. Даже, можно сказать, забавно.

Медиумических талантов Карл Степанович до сегодняшнего дня в себе не прозревал; гипнотизировать его пробовали дважды, оба раза безуспешно; от галлюциногенов он делался сонным и равнодушным ко всему, в том числе и к сумбурным видениям, а кокаин его интересовал только в сочетании с сексом. Поэтому сравнивать настоящий опыт было не с чем, разве что с чужими литературными трудами, но он искренне презирал всяческую «мутнофизику» и не трудился вникать в подробности, лишь имена модных авторов запоминал, дабы пыль в глаза пустить при случае.

Более всего его теперь изумляло, что наступившая «раздвоенность» оказалась скорее уж тройственностью. Старый добрый Карл Номер Один (так называемый «настоящий») вынужденно бездействовал, но все же не исчез вовсе; разум его то панически метался в поисках удобоваримого объяснения данному феномену, то принимался язвительно комментировать происходящее. Карл Номер Два («захватчик») общался с симпатичным

молодым человеком и нес, по мнению Номера Первого, сущую белиберду. Наконец, Карл Номер Три беспристрастно наблюдал за обоими. Именно Номер Три слушал собственный голос и фиксировал метания разума, запоминал, делал выводы. Накапливал опыт. К слову сказать, он, этот Третий Номер, был именно таким, каким всегда хотел казаться (себя обманывать бесполезно, а вот прочих – святое дело!) Карл Степанович. Хладнокровный, рассудительный, мудрый, как автор надписей на Соломоновом перстне, спокойный, как статуя Будды. Карл Номер Один страстно желал оставаться таким всегда, сохранить этого «третьего», не дать ему исчезнуть потом, когда наваждение закончится (должно ведь оно когда-нибудь закончиться). Третьему же Номеру это было абсолютно безразлично. Он не строил никаких планов на будущее, поскольку существовал вне системы координат «вчера—сегодня—завтра». Среди бесчисленных понятий, при помощи которых человеческий разум описывает время, лишь два казались ему приемлемыми: «сейчас», «всегда». Это – все.

«Игрок, добровольно покидающий поле, обычно полагает, что просто берет тайм-аут», – говорил тем временем Второй хорошо поставленным голосом Карла Степановича. Номер Первый внутренне содрогался и проклинал все на свете: что за чушь?! Какой «игрок», какое «поле»?! Что за нелепая стилизация под футбольного комментатора? Номер Третий наслаждался: он не просто понимал, о чем речь, но и разделял точку зрения «захватчика». «Это надо бы запомнить, – терпеливо твердил он Первому, – непременно, непременно надо запомнить…»

Бесполезно. Смятенный разум Карла Степановича, лишенный возможности хоть как-то вмешаться в происходящее, как раз подыскал себе занятие по душе: принялся бурно сожалеть о содеянном. «На кой тебя понесло в его купе? – почти злорадно вопрошал он себя. – Кто тебя под руку толкал? Лежал бы сейчас с журнальцами под простыней, ром бы прихлебывал, банку ананасов открыл бы… Так нет же, в нарды припекло сыграть старому пидору! На рыженьких мальчиков мы, видите ли, смотреть спокойно не можем… И ведь ясно было, что ничего тебе тут не светит! Было тебе это ясно?»

Было. Особую пикантность происходящему сообщал тот факт, что Карл Степанович навестил случайного своего попутчика с почти (почти!) невинными намерениями. Молодой человек понравился ему чрезвычайно. То, что он не гей, было видно невооруженным глазом: обычный гетеросексуал, совершенно довольный таким положением вещей, даже не любопытствующий. Но, во-первых, рядом посидеть, поболтать, скоротать время за игрой – тоже изрядное удовольствие, а во-вторых… никогда не знаешь, где тебе повезет! Жизнь щедра на сюрпризы.

«Вот уж воистину щедра!» – озадаченно констатировал Карл Степанович, пока губы его складывались в обаятельную улыбку, печальную и загадочную, воспроизвести которую ему впоследствии ни разу не удалось, хотя, видит бог, он старался…

«Ты решил, как все будет?» – спрашивает некто голосом Карла Степановича. Спрашивает уже не в первый раз, мальчику можно только посочувствовать. (Обладатель голоса полагает такую настойчивость

беспардонной, но повлиять не ход событий по-прежнему не в его власти; он может лишь *присутствовать*.)

60. Гномы

В недрах земли гномы хранят сокровища.

– Ну так что? Ты решил, как все будет? – снова спрашивает мой попутчик. – Формулируй, это важно.

– Я пока вспомнил только одну формулу: «Быть великим исключением из правил». Когда-то я так решил. В детстве.

Лучше бы уж молчал! Чувствую себя глупо: очень уж наивно звучит мое младенческое заклинание. А что делать? Чем богаты… Но мой собеседник, кажется, доволен.

– Что ж, звучит неплохо. Но почему, в таком случае, ты впадаешь в панику всякий раз, когда формула твоя начинает овеществляться? Или ты полагаешь, будто «быть великим исключением из правил» – означает просто спать, пока прочие спешат на работу, или сидеть в баре, когда все остальные завершают вечер перед телевизором?

Крыть нечем. Примерно так я себе это и представлял. И только теперь обнаружил, сколь убого выглядела до сих пор моя версия «исключительной судьбы». Стыдно, конечно…

Спутник взирает на мое смятение с заметным сочувствием.

– Можно, конечно, и так, – примирительно говорит он. – Все можно, ничего не запрещено… Вот только

бессмысленно. Тебе самому надоест. Впрочем, уже надоело, я не ошибаюсь?

– Не знаю.

Я и правда уже ничего не знаю, не понимаю ни фигушеньки. Каждое слово загадочного этого существа, назначенного судьбой мне в попутчики – сокровище, но взять его на хранение я, кажется, не способен: сундуки мои переполнены какой-то дрянью, и нет уже времени избавляться от хлама.

– Зачем все это? – спрашиваю. – Я не готов пока к… Не знаю, к чему. Ни к чему не готов. Зачем переводить на меня чудеса? Это расточительство. Вы же, наверное, насквозь меня видите…

– Вижу, – соглашается. – Именно поэтому не трудись рассуждать, к чему ты там «готов» или «не готов». Мне виднее.

61. Голем

…вырываясь из-под контроля человека, являет слепое своеволие…

Очень хочется снова спросить его: «Да кто же вы такой, черт подери?» – но вряд ли ответ меня устроит. Отмажется ведь как-нибудь, произнесет *нечто глубокомысленное, ни к чему не обязывающее*, выскользнет угрем из вспотевших моих ладошек. Хотел бы поразить меня в самое сердце сакральным своим статусом, давно бы это сделал. А если уж решил путешествовать инкогнито, ничего не попишешь: нет у меня ни дыбы, ни испанского сапога, ни даже лукавства инквизиторского. И нос мой словно бы специально создан

для того, чтобы меня за него водить, сколько душа пожелает. Примитивное, но удобное средство управления мною.

Я вдруг начинаю злиться.

Все, – решаю, – с меня хватит. Поговорили, и ладно. Пора завязывать с этой иррациональной тягомотиной. Пойду-ка я… а неважно, куда. Просто пойду.

Поднимаюсь и, не оглядываясь на респектабельного волхва, берусь за дверную ручку. Желудок сжимается до размеров куриного: он (не я!) предчувствует, что дверь купе окажется запертой – и что тогда прикажете делать? Головой биться о пластиковые перегородки? Дверь, однако, отъезжает в сторону без проблем. То есть, она, конечно, то и дело запинается, и приходится искать к ней особый подход: то чуть на себя потянуть, то, наоборот, надавить, а то и вверх поднажать слегка, – но даже мне, до медвежьей болезни почти перепуганному, ясно, что причиной тому не всяческая зловещая мистика, а почтенный возраст да скверный уход.

Выглядываю в полутемный коридор и обнаруживаю, что там уже выставлен «почетный караул». *Никто не уйдет отсюда живым*, так-то!

У окна, повернувшись к нему спиной, а ко мне, соответственно, неповторимым своим фасадом, стоит проводник. Тощий, нескладный, угрожающего в нем – только массивная нижняя челюсть, да брови, сросшиеся на переносице. Нелепая помесь Щелкунчика, Дуремара и «злого магрибского колдуна», достойный персонаж для комедии ужасов. В другое время я бы, пожалуй, расхохотался, а то и за фотоаппаратом бы полез, дабы запечатлеть курьезное создание нетрезвой природы. Но тут я замер на месте, утратив в высшей степени

полезные умения двигаться, соображать и дышать: сделал один длинный судорожный свистящий вдох, и на этом все.

Не такой уж я паникер, да и нервы у меня покрепче, чем у среднестатистического персонажа Стивена Кинга, но сейчас глазам моим предстало нечто вовсе из ряда вон выходящее.

Проводник ел мышь. Это я понял почти сразу: мертвый зверек был еще почти цел; серая шкурка, тонкий хвостик, острая мордочка, черные точки остекленевших глаз – не нужно быть крупным естествоиспытателем, чтобы с ходу установить личность жертвы. Лицо проводника хранило бесстрастное выражение, по его подбородку медленно полз темный сгусток крови, к губам прилипло несколько шерстинок, в уголке рта мутно поблескивала какая-то нехорошая анатомическая подробность. Он ел вдумчиво, неспешно – так не утоляют голод, а лакомятся, скажем, мороженым после обеда, на сытый желудок. Возможно, если бы он жадно пожирал свою добычу, как подобает голодному хищнику, потрясение мое было бы не столь сильным. А так…

Я почти не помню, как шагнул назад, в купе, как захлопнул дверь, навалился на нее отяжелевшим телом и повернул тугой замок, как обрушился на свое место и утер вафельным полотенцем мгновенно вспотевшие лицо и шею, как метнулся в сторону и высунулся по пояс в окно, содрогаясь от спазмов в пустом желудке. Однако я все это проделал, и получил награду за расторопность: добрый колдун Карл Степанович выдал мне порцию рома, намочил полотенце моей минералкой и протянул мне: дескать, умойся.

Я выпил ром, протер рожу. Закурил. Биологическая система «Макс» снова начала функционировать – не без сбоев, конечно, но тут уж ничего не попишешь.

– Какая гадость! – говорю, обретя, наконец, драгоценный дар речи.

– Надеюсь, это нелестное определение относится не к моему рому? – холодно осведомляется попутчик.

– Это «нелестное определение» относится к рациону нашего проводника. Вы видели? Он дохлую мышь жрал!

– Ну, надо же ему чем-то питаться… Ты сам виноват. Кто тебя просил прежде времени в коридор высовываться?

– Прежде какого такого времени? – начинаю звереть. – Мне что, нельзя теперь из купе выходить? А в туалет? Что творится в этом поезде? Может быть, в соседнем купе уже человеческие трупы гложут?

– Может быть, и гложут – тебе-то какое дело? Здесь ты в безопасности, вот и сиди пока, не высовывайся. Тем паче, что ни в какой туалет ты не хочешь. Детская уловка!

– А что вообще происходит? – спрашиваю шепотом, опасливо и даже заискивающе.

Куда только подевался давешний праведный гнев! Про себя кумекаю, что надо бы мне оставаться в добрых отношениях с попутчиком, который, кажется, является полномочным представителем нечистой силы в отдельно взятом вагоне дополнительного поезда. Может быть, тогда мне позволят не есть мышей на ежегодном шабаше, каковой сегодня, судя по всему, здесь вершится.

Возможно даже, меня самого не съедят этой ночью, не заколют ритуальным кинжалом в тамбуре, не принесут в жертву бойлерному котлу, каковой наверняка исполняет здесь роль верховного идолища…

– Не сходи с ума, – строго говорит «полномочный представитель». – Возьми себя в руки. Ничего особенного не случилось. Просто в тех местах, где пересекаются миры, реальность иногда выходит из-под контроля, и тогда предметы и люди начинают своевольничать, приоткрывать стороннему взору истинную свою природу… Впрочем, это обычно быстро заканчивается. Все уладится, не беспокойся. Просто не нужно пока покидать купе.

– А когда будет можно?

– Ну… довольно скоро, – он неопределенно машет рукой. – Я скажу, когда… А теперь, чем спрашивать о ерунде, задай-ка мне вопрос, которого я жду.

– Вопрос? Что за вопрос?

– Ну же!

62. Грааль

Грааль – это табуированная тайна, невидимая для недостойных, но и достойным являющаяся то так, то иначе, с той или иной мерой «прикровенности».

Видит бог, я понятия не имел, чего он от меня хочет. Ни проблеска догадки, ни единой версии не было у меня на сей счет. Немудрено: голова-то по-прежнему занята лишь проводником, поедающим мышь, а внимание сконцентрировано на дверном замке – прочен ли? Иные

впечатления этой странной ночи смазались и казались теперь незначительными.

Уста тем не менее отверзлись, повинуясь не чьей-то чужой, а моей собственной воле, но не той «повседневной» разновидности воли, которая ежесекундно приводит в движение мышцы и манипулирует желаниями, а какой-то иной, куда более мощной силе, что проявляется редко и всегда неожиданно, будто совершенный сей инструмент мне не принадлежит, а лишь порой удается взять его взаймы на краткий срок; причем момент передачи и возврата собственности определяю не я сам, а некий непостижимый заимодавец.

– Вы сказали, будто реальность выходит из-под контроля *в тех местах, где пересекаются миры*, – смотрю испытующе на Карла Степановича: того ли он ждет, продолжать ли?

Визави мой доволен, как удав после визита в крольчатник, кивает ободряюще: дескать, продолжай.

Продолжаю.

– Это означает, что мы находимся именно в таком месте?

– Ага, означает, – отвечает с удовольствием. – Наконец-то!

– Что – «наконец-то»?

– Беседа наша принимает должное направление.

– Тогда расскажите мне о мирах, которые зачем-то пересекаются в этом дурацком вагоне. Что за миры-то?

– Скорее уж ты мог бы мне о них рассказать. Оба мира тебе знакомы. Один из них ты полагаешь

«реальностью», когда бодрствуешь, другой же кажется тебе таковой во сне. Вернее, в некоторых снах. Не во всех, конечно же.

– Вы имеете в виду… город в горах?

– Ну а что еще? По крайней мере, не вечернюю трапезу нашего проводника, – он неожиданно подмигивает мне и заразительно смеется.

Я, впрочем, не готов пока присоединиться к веселью. Мне не до того: я делаю открытие за открытием.

Во-первых, вспоминаю вдруг, что город в горах действительно часто мне снился, он знаком мне с раннего детства; всякий раз, оказываясь там во сне, я знал, что попал *домой*. На меня тут же обрушивается множество щемящих подробностей: узкие тротуары; возносящиеся к небу переулки-лестницы; заманчивые цветные лоскуты бесчисленных вывесок; полосатые тенты над длинными уютными верандами, словно бы специально созданными для неспешного, ленивого бытия бессмертных; пахучая зелень живых изгородей; плетеные гамаки в садах, где так приятно коротать солнечные послеполуденные часы; сладкий ванильный дух из кондитерской на центральной площади; неспешный говор завсегдатаев кофейни с огромными окнами, прозрачными, но искажающими силуэты, как озерная вода; изящно изогнутый мостик через узкую горную речку, разделяющую город на две неравные части. И еще один мостик с гладкими деревянными перилами, и ароматный дым ритуальных охранительных костров на городской окраине, и хрустальный смех небес, отмеряющий дни вместо колокольного перезвона: его

можно услышать дважды в день, перед наступлением темноты и на рассвете, и еще… И еще, и еще, и еще.

Теперь я понимаю, почему ощущал себя чужаком в собственной семье, а позже – в любой, самой теплой компании, почему, как черт от ладана, шарахался от женщин, стремящихся к постоянству, почему упорно называл самых близких друзей «приятелями» и не беспокоился о собственном будущем, сколь бы удручающим оно ни представлялось по здравому размышлению. Всю свою жизнь я словно бы просидел на чемоданах: все ждал, что вот-вот придет время *вернуться домой*. С ума сойти можно!

С ума сойти можно хотя бы потому, что (это уже во-вторых) снов о городе в горах я до сегодняшней ночи не помнил напрочь, да и когда увидел его за окном, не встрепенулся, хмелея от узнавания. Совершенно на меня не похоже: обычно я запоминаю все, что мне снится; в свое время я даже придумал способ ловить ускользающее сновидение. Для этого, проснувшись, надо осознать себя бодрствующим, но всего на краткий миг. Потом следует снова закрыть глаза и задремать, но не *заснуть*, а именно *задремать*, нащупать границу между сном и явью, и тогда – хлоп! – Макс хороший охотник, полузабытый уже сон занимает свое место в активной памяти, где-нибудь между подробным отчетом о вчерашней вечеринке и списком незавершенных дел. По крайней мере, вспомнить его теперь будет столь же просто, как любое другое недавнее событие.

Но вот обнаружилось, что «охотник» я так себе, средненький, самая ценная добыча до сих пор обходила мои капканы стороной. (Кто знает, не потому ли черная тоска по *несбывшемуся* иногда грызла меня по утрам,

пока я, переставляя ватные ноги, брел на коммунальную кухню, размахивая древним уродливым чайником полусферической формы с загадочной надписью «ОБМОРОК-76» на мятом боку.)

Я чувствовал, что могу сейчас вспомнить еще множество удивительных вещей, но не был уверен, что готов переварить эти воспоминания без особого для себя вреда. Отмахиваюсь от них (безуспешно), пробую занять себя другими мыслями (тоже не получается), и тогда я начинаю говорить, многословно и путано пересказываю Карлу Степановичу сумбурные свои впечатления. Не потому, что полагаю, будто они ему интересны, просто среди множества способов не сойти с ума говорение всегда было для меня наиболее простым и эффективным упражнением. Вот и сейчас сразу полегчало.

– Все это довольно занимательно, – вежливо перебивает меня, наконец, попутчик, – но самые интересные вещи ты скрываешь. Не от меня, конечно. От себя.

– Ага, – соглашаюсь, – скрываю. Знать ничего не хочу, потому что крыша и без того едет. А ей надо бы на месте оставаться: у меня там Карлсон живет. Ему без крыши нельзя, без моей крыши он бомжом станет…

Карл Степанович нетерпеливо отмахивается от меня, крыши, Карлсона – от всех разом.

– Я помогу сформулировать. Больше всего тебя пугает необходимость признать, что город этот – не просто видение, не мечта, не греза предутренняя, не картинка из сна, которую можно воспроизвести в акварели на сеансе у психоаналитика и благополучно забыть…

– А разве на сеансах у психоаналитиков рисуют? – изумляюсь. – Я думал, просто на кушетке лежат и на жизнь жалуются.

– Иногда рисуют. Есть сейчас такая модная тенденция; некоторые специалисты своих пациентов и рисовать заставляют, и петь, и спектакли разыгрывать; другое дело, что все без толку… Но как же настойчиво ты стараешься сменить тему!

– Есть такое дело, – винюсь. – И ведь сменил почти! А вы, наверное, как раз собирались сказать, что город это *настоящий*; что стены его домов можно потрогать руками, что там можно поселиться, можно даже наняться на работу, ходить по утрам на рынок, удить рыбу в реке, собирать улиток с виноградных листьев… Да? Но это я уже и сам знаю. И не хочу никаких подтверждений. Хочу иметь возможность думать, что это просто моя дурацкая идея. Одна из множества. Если еще и вы сейчас станете утверждать, что я действительно гулял во сне по *взаправдашнему* городу, это… это уже ни в какие ворота! Я отказываюсь переваривать такую информацию.

– А почему, собственно?

– Апатамушта! – бурчу угрюмо и умолкаю.

Почему, почему… У меня болит голова, звенит в ушах, немеют кончики пальцев, перед глазами пляшет какая-то тошнотворная неоновая мозаика. Чем больше мы углубляемся в стремную тему «реальности» моего сладостного наваждения, тем хуже я себя чувствую.

– Ты так боишься узнать настоящую тайну, что каждая новая подробность действует на тебя как порция яда, – сочувственно констатирует Карл Степанович.

63. Гулльвейг

…асы забили ее копьями, трижды сжигали, но она живет и поныне.

– А я не умру от этого яда?

– Нет, ты не умрешь. Ты теперь очень, очень живучий. Один прощелыга-бессмертный напоил тебя сдуру своей кровью, а ты и не заметил.

– Что за бессмертный?

– Неважно. Важно другое: тебе повезло. Вовремя же это случилось!

– Вы хотите сказать, что теперь я тоже… – запинаюсь от ужаса и ликования, – бессмертный?

– Ну уж нет, обойдешься. Глупости какие… Но сегодня ты не умрешь. Поэтому слушай меня внимательно. Времени у нас уже почти не осталось.

64. Гюль-Ябани

Являясь людям, он разговаривает с ними человеческим голосом…

– Как это – «не осталось»? – изумляюсь. – До Москвы еще больше суток ехать…

– Эта подробность касается лишь тебя. Ну и еще того человека, который вошел в твое купе с предложением поиграть в нарды…

Упс, приплыли! Теперь он говорит о себе в третьем лице. С какой стати?! Карл Степанович нетерпеливо качает головой, но отвечает на мой немой вопрос:

– Я – только голос. Когда я уйду, он, – выразительно стучит кончиками пальцев по собственной груди, – останется. Не мучай его расспросами, но и в объяснения не вдавайся. В крайнем случае скажи, что он просто потерял сознание, ты ходил по вагонам, искал врача, но не нашел. Он, скорее всего, поверит: нечто подобное с ним уже однажды случалось… Впрочем, возможно, он и спрашивать не о чем не станет. Многие на его месте предпочли бы сделать вид, будто вообще ничего не произошло.

– Так вы – не Карл Степанович из соседнего купе? Только *голос*? Но зачем нужен этот маскарад?!

(Я в своем репертуаре: ничего толком не понимаю, но возмущение на всякий случай выказываю.)

– Тут вот какое дело, – неожиданно мягко, кажется, даже виновато ответствует мой собеседник. – Тебе был нужен нормальный *человеческий* разговор, к другому ты пока не готов. А для того, чтобы говорить как человек, требуется человеческое тело, иначе не получается. Пришлось воспользоваться тем, что было под рукой, а под рукой оказался прекрасный медиум, обладатель уникальных, хоть и не раскрытых способностей… Редкая, к слову сказать, удача!

– А он… Он переживет такое обращение? – спрашиваю, невольно содрогаясь. – Его-то, небось, бессмертные кровью не поили.

– А кто его знает, может, и поили. С ходу не разберешь. Но мужик крепкий, по нему хоть

асфальтовым катком елозь – как об стенку горохом… Бывают же люди!

– А вы, – осторожно начинаю я, – *чей* вы голос? Вы что…

На этом месте я запинаюсь и безнадежно увязаю в смущенном мычании, поскольку не «богом» же величать собеседника: при всем своем эгоцентризме не могу представить ситуацию, в которой Всевышний станет целый час париться со мною, неразумным, в купе дополнительного поезда. Да и «дьявол» какой-нибудь – гипотеза ничем не лучше. На кой я им обоим сдался?!

– Я-то? Да так, ерунда, обыватель эфирный, почти случайный свидетель нескольких фрагментов твоего бытия, – невозмутимо отвечает эта загадка природы. – Могу объяснить подробнее, но ты вряд ли поймешь, да и ни к чему тебе пока такого рода осведомленность. Что ты с нею станешь делать?

Д

65. Дадхьянч

Индра обучает Дадхьянча знаниям, но запрещает ему передавать их другим.

Покорно пожимаю плечами. Ни к чему так ни к чему. Я уже настолько сбит с толку, что собственного мнения на сей счет не имею. Какое уж там «мнение»! Мне бы только ночь простоять да день продержаться…

– Значит, так, – жизнерадостно заявляет «дух бесплотный», ритмично постукивая по столу весьма мясистой ладонью. – Подводим итоги. Что касается Города, тут ты и сам все уже понял. Он есть, и это важно. Если у тебя хватит мужества и страсти, однажды ты вернешься туда наяву. Теоретически это могло бы случиться сегодня, но тебе и в голову не пришло выскочить из поезда. Возможно, это даже к лучшему: что легко дается, редко ценится, как я уже говорил в самом начале нашей долгой и, увы, весьма бестолковой беседы… Далее. Дабы предостеречь тебя от построения бинарных конструкций, замечу, что на так называемой «действительности» и твоем возлюбленном Городе свет клином не сошелся. Миров, обитаемых и необитаемых, вещественных и неосязаемых, – что блох на псах Гекаты.

– Метафоры у вас! – Я сражен.

– А то!.. Не перебивай меня.

– Океюшки, слушаю и повинуюсь.

– Давно бы так… Далее. Возможно, у тебя будут сложности, и немало. С одной стороны, ветхая нить, соединявшая тебя прежде с обыденностью, благополучно сожжена; судьба твоя теперь подобна металлической проволоке, гибкой, но прочной. Ты связан по рукам и ногам и намертво – слышишь, намертво! – прикручен к пограничному столбу, на нейтральной полосе, в месте пересечения множества миров. Ветреное это место и неуютное, но все прочие для тебя – гибельное болото, ты еще сам в этом не раз убедишься… С другой стороны, в последние дни ты слишком часто искренне хотел, чтобы никаких чудес в твоей жизни больше не было. Если завтра, через год или даже через несколько лет – бывает и так! – ты обнаружишь, что опасное сие пожелание начинает выполняться, не отчаивайся. Безнадежных ситуаций не бывает, просто тебе, возможно, придется когда-нибудь побегать за чудесами с той же прытью, с какой они сейчас гоняются за тобой.

– Как это – побегать?

– А вот так. Будешь охотиться на чудеса, в точности как они сейчас охотятся на тебя.

– Думаете, действительно буду? У меня уже крыша от страха не раз ехала. Ночевать один боялся… А теперь – когда останусь один – я же на стену полезу!

– Ну, слазаешь, если припечет, – весьма полезная практика. Все равно от судьбы своей никуда не денешься. Есть две вещи, которые вселяют в тебя настоящий ужас: смерть и обыденность. Когда эти двое припрут тебя к стенке, ты мир перевернешь.

– Пожалуй, – соглашаюсь растерянно. Эк он меня раскусил!

– Учись быть хорошей приманкой для чудес, запасись терпением, привыкай к молчанию…

– К молчанию?! – взвыл я.

– Да нет, об обете молчания речь не идет, не тот это подвиг, к которому ты сейчас готов. Болтай сколько влезет, только о *главном* молчи.

– О Городе?

– Именно. И вообще поменьше говори о вещах необычайных. Не пересказывай посторонним свои сны, не вздумай хвастаться девушкам, что пил кровь бессмертного, и о соседе своем, под потолком пребывающем, тоже помалкивай. Что касается событий сегодняшней ночи – это вообще табу. Даже заикаться не вздумай.

– Хорош буду, если заикнусь, – ворчу. – Кому я стану все это рассказывать? Своему лечащему врачу? Спасибо, от армии я уже благополучно отмазался… Но почему нельзя рассказывать? Это тайна?

– Да нет, не то чтобы… Видишь ли, всякая *настоящая тайна* сама себя охраняет: и захочешь проболтаться – не сможешь. Косноязычие одолеет, а то и замертво упадешь. Тут другое. Так уж все устроено, что некоторые чрезвычайно важные события человеческой жизни не столь достоверны, как малозначительные происшествия. О них нельзя сказать: «Это было» или «Не было такого», потому что правда где-то посередине. И было, и не было; и да, и нет. Может быть, наяву все случилось, а возможно, пригрезилось во сне. Улавливаешь?

Киваю молча: кажется, действительно понимаю.

– Слова разъедают ткань таких событий, как кислота. Выболтаешь сокровенное воспоминание собутыльнику, а наутро обнаружишь, что рассказывал ему давнишний свой сон, да еще и настаивал, будто все произошло на самом деле. Посмеешься над собой и забудешь… Так-то!

– То есть от моего поведения теперь зависит не только будущее, но и прошлое?

– Совершенно верно. Подобные вещи, к слову сказать, случаются куда чаще, чем принято думать. На одном из человеческих языков[6] этот эффект называется *бекенхама* – «упраздненное время». Так говорят, когда речь заходит о прошлом, достоверность которого до какого-то момента не вызывала сомнений, а потом стала вымыслом, поскольку на смену ему пришло новое, не менее достоверное прошлое.

– Ну ни фига себе! – ошалело мотаю головой. – В каком же это языке есть термин «бекенхама»?!

– В языке людей, которые знают о времени куда больше, чем ты способен вообразить… что, впрочем, не делает их ни бессмертными, ни просто счастливыми. С теоретическим знанием – с ним всегда так.

– Это тоже *правило*? – спрашиваю.

– Скорее просто сентенция. Плод многолетних наблюдений, так сказать… Так ты понял, почему надо молчать?

---

[6] Речь идет о языке, строго говоря не совсем «человеческом»: термин «бекенхама», насколько известно автору, взят из Кунхё – сакрального языка обитателей мира Хомана, упоминания о котором можно встретить в романе М. Фрая «Гнезда химер».

– Если я проболтаюсь, я однажды *вспомню*, что ничего такого не было?

– По крайней мере, усомнишься. Какая-то часть тебя будет помнить эту ночь в поезде и наш с тобой разговор; другая же станет твердить, будто ты летел в Москву самолетом или автостопом добирался. И, возможно, эта двойственность сведет тебя с ума. Множество рассудков повредилось именно на этом участке трассы. Я тебя убедил?

– Ага.

– Вот и славно. На этой оптимистической ноте предлагаю считать нашу партию в нарды завершенной.

– Как, уже? Но вы так ничего толком и не…

– Ты услышал от меня ровно столько, сколько готов был услышать. Ни словом больше, ни буквой меньше. А посему до следующих встреч, мои маленькие радиослушатели!

Последнюю фразу он выдал голосом «доброго сказочника», артиста Николая Литвинова, ведущего чуть ли не всех радиопередач моего детства. Пока я изумленно распахивал рот, стараясь добиться максимальных размеров открытого миру отверстия, Карл Степанович поднялся с места и неуверенно проследовал в коридор, одарив меня напоследок диким взором светлых, как бельма, глаз. Одной рукой он словно бы придерживал сердце, не давая ему выскочить из грудной клетки, другой, как слепой, прокладывал себе дорогу.

Я понял, что загадочный «голос» ушел, остался лишь мой настоящий сосед по вагону, и возблагодарил небо за то, что сей господин не потребовал от меня разъяснений. Что я мог ему сказать? Что диагнозы у нас

разные, а бред один на двоих? Ну так это он и без моей помощи сообразит, пожалуй…

Проводника в коридоре, к слову сказать, не было. Сей факт вселял оптимизм. Жизнь, вероятно, в очередной раз налаживалась.

66. Дварака

В индуистской мифологии столица ядавов.

Поезд прибыл в Москву ночью, в самое глухое, мертвое время, как и положено дополнительным поездам. Поскольку перед этим я проспал чуть ли не сутки, запершись в купе на все замки, включая искореженную кем-то, но исцеленную моими усилиями цепочку, устраиваться на ночлег можно было не спешить. Я оставил рюкзак в камере хранения, купил в зале ожидания мороженое крем-брюле (вожделенное столичное лакомство, одно из сладчайших младенческих воспоминаний) и отправился гулять по городу.

Киевский вокзал произвел на меня гнетущее впечатление, каковое требовалось немедленно развеять. Уж я-то знаю, как важно поладить с городом, где собираешься провести хотя бы несколько дней жизни! Если поначалу не заладится, потом все будет не в радость: и от еды местной желудок скрутит, и аборигены нахамят не раз, и милиция будет через каждые пять метров останавливать по причине необъяснимого сходства вашего облика с приметами очередного кровожадного карманника, и от сквозняка в гостиничном номере ячмень на глазу выскочит, и свободные такси станут проезжать мимо, да еще птица какая-нибудь

местная поставит несмываемую белую кляксу на плечо, этакое позорное клеймо докучливого гостя – достойное завершение череды мелких пакостей!

Словом, нет ничего хуже, чем невзлюбить новое место обитания. Чтобы домашняя, прикормленная, ручная удача не оставила вас в чужом городе, с ним нужно поладить, причем тут требуется искренняя симпатия. Просто сказать себе: «ОК, будем считать, что мне все нравится» – недостаточно.

К сожалению, интерьеры большинства вокзалов и аэропортов не оставляют приезжим ни единого шанса на любовь с первого взгляда. Привокзальные площади тоже редко способствуют пробуждению добрых чувств. Единственное, что можно предпринять, – как можно быстрее покинуть неуютные эти пространства и отправиться на приятную прогулку. В этом отношении мне повезло: ночью можно полюбить не только Москву, но и пресловутый Бердичев; из всех городов, где мне доводилось бывать, ночью я не смог полюбить только Свердловск, да и то потому лишь, что попал туда зимой, когда на улице было чуть ли не минус сорок.

А сейчас – конец мая; прохладно, конечно, по моим меркам, зато сухо и звездно. Мудрые нижние конечности сами вынесли меня на набережную, а там – знай себе иди вперед, дурное дело нехитрое. Ступни мои довольны встречей с московской мостовой, чуткий нос счастлив запахом ветра с реки; обертку от мороженого кручу в руках в ожидании встречи с мусорным контейнером: кинуть на землю рука не поднимается, и это правильно, так и должно себя вести, ежели хочешь понравиться Месту… Вот только небо тут странное. Не чернильный бархат, не густой ультрамарин, не «лазурь железная» –

перебираю в памяти все оттенки, к которым привык, – а кирпично-бурая, почти багровая тьма. Впрочем, по мере удаления от центра (что я от него именно удалялся, выяснилось поутру, когда пришло время подыскивать гостиницу и вообще браться за ум) тревожная краснота небес становилась все менее заметна и наконец вовсе сошла на нет. Ну, или почти сошла.

Странный цвет неба кружит мне голову, воспламеняет воображение. И мерещится мне, что попал я не в ту Москву, которая «столица нашей родины», место действия большинства телевизионных программ, заповедник гоблинов из ЦэКа и прочая, и прочая, а в иную какую-то Москву, столицу три тысячи восемьсот двадцать пятого измерения, которая, возможно, отличается от «оригинала» лишь несколькими незначительными деталями, но ни одного моста не проложено меж этими, столь схожими Москвами, ни одного тайного подземного лаза не выкопано, лишь курсирует изредка между двумя вселенными дополнительный поезд, чьи случайные пассажиры до конца дней пребывают в счастливом заблуждении, будто прибыли именно туда, где намеревались оказаться…

Теория-то простенькая, но как она меня тогда впечатлила!

67. Демон

Внезапно нахлынув, он молниеносно производит какое-либо действие и тут же бесследно исчезает.

Разыгравшаяся фантазия подсказывает мне, что теперь-то уж я точно никогда не вернусь домой – можно

разве что навестить точную копию своего родного города, бродить по тамошним улицам, настороженно озираясь в поисках не менее точных копий друзей-приятелей – бр-р-р-р…

«Нет уж, – думаю, – обойдемся без охоты на призраков прошлого. Не буду я, пожалуй, возвращаться. Не приживусь здесь – сунусь еще куда-нибудь… Можно снова на дополнительном поезде, дабы совсем уж лихо перекрутить…»

Смеюсь тихонько, представляя себе диковинную траекторию будущих своих путешествий – если принять, конечно, за аксиому дикую теорию насчет дополнительных поездов и прочих метафизических транспортных средств, включая троллейбусы, разъезжающие по улицам, где не протянуты провода, – с них, собственно, вообще следовало бы начать список… С удивлением понимаю, что размышления на эту тему больше не сводят меня с ума, не пугают, не гнетут. А, напротив, веселят, и даже кураж появляется. Вот возник бы сейчас передо мною из предутреннего речного тумана давешний Город, я бы в таком настроении не задумываясь туда ломанулся. Но он не проявляется. Что ж, тоже не беда, наваждением больше, наваждением меньше – кто же их считает!

Москва, таким образом, становится для меня неожиданным источником мужества и душевного покоя. Вот уж не ожидал.

И тут меня осенило. «Для нового места, – думаю, – нужна и новая судьба. А судьбу мы менять уже умеем, чему-чему, а этому успели научиться. В первый раз круто получилось, интересно, как сейчас обернется…

Безлюдное место и темнота – к моим услугам, да и *особое настроение* вроде как в наличии. Почему нет?»

Я вообще по природе своей человек порыва; к тому же не раз замечал, что продуманные и тщательно спланированные дела обычно приносят мне менее эффектные результаты, чем импульсивные поступки. Потому и старался всегда прислушиваться к своему «внутреннему идиоту», как называл про себя беспутного, но порой гениального советчика, обитающего где-то в спальном районе на окраинах моего существа. А тут меня еще и некая внешняя сила подталкивала – ветер не ветер, поток не поток – и то, и другое сравнение похоже, но все равно не слишком точно.

Это рассказывать долго, а тогда решение было принято за какую-то долю секунды. Я, не раздумывая, закрыл глаза и побежал.

В первый раз все закончилось быстро: я тогда всего-то несколько шагов сделал и сразу угодил в объятия Ады. А теперь пришлось совершить настоящий марш-бросок. Кайф, к слову сказать, получил неописуемый: в какие-то моменты мог бы поклясться, что ноги мои больше не касаются земли, а порой меня разбирал смех. На истерику это совершенно не походило, скорее уж на способ «выпустить пар», избавиться от излишков невесть откуда взявшейся энергии – кажется, ее было куда больше, чем я способен вместить.

На сей раз пробежка завершилась весьма обыденным образом: я все-таки споткнулся и упал. Не ушибся, но содрогнулся, услышав тихий утробный звяк: это соприкоснулась с земною твердью сумка с аппаратурой, которую я, дурак великовозрастный,

почему-то не решился оставлять на вокзале вместе с рюкзаком. С собой поволок. Зачем?!

Пушной зверь песец с семейством посетил моего верного друга. Скорбь была краткой, но интенсивной; впрочем, сожалений о содеянном я почему-то не испытывал, как ни старался оживить в своем сердце привычное это чувство. Ну и ладно, не очень-то и хотелось…

Несколькими часами позже, уложив свое опустошенное тело на гостиничную койку, я наконец понял, в чем, собственно, состояла нынешняя «перемена участи». Разбитая фотокамера – недвусмысленное указание судьбы. Очевидно, мне следовало немедленно переменить род занятий. Я, собственно, никогда не возражал против радикальной смены образа действий, но слишком уж несвоевременно все это случилось! Профессия моя, в кои-то веки, сулила крышесносный заработок и даже «путешествие на Запад» – не совсем такое, что выпало Сунь Укуню, но и от ежевечерних прогулок по коммунальному коридору по санитарным делам весьма отличное.

Недвусмысленные указания судьбы вошли в прямое противоречие с моими корыстными интересами. Впору было начинать кусать локти. Но для этого ритуала мне явно недоставало гибкости суставов.

68. Джангар

Из предлагаемых исследователями многочисленных этимологий <…> наиболее убедительной представляется «сирота», «одинокий». <…> При данной этимологии имя

Джангар сопоставимо с Эр-Соготох («муж одинокий») у якутов, Чагыс («сирота одинокий») у шорцев и др.

Несколько дней я вообще ничего не предпринимал. В смысле так и не купил новую камеру, хотя вполне мог бы себе это позволить. Деньги же, хоть и было их пока вдоволь, старался не тратить: и без того на гостиницу чудовищные какие-то суммы расходуются, а уверенность в обеспеченном будущем потихоньку меня покидала. Но и отказываться добровольно от лучезарной перспективы не хотелось. В общем, маялся я.

Эта своеобразная бизнес-неприкаянность, впрочем, не мешала мне получать удовольствие от прогулок по Москве. Напротив, только этим я и занимался, чуть ли не круглосуточно: очаровала она меня, ничего не скажешь. Купил карту города и теперь с неведомой мне доселе последовательностью вдыхал жизнь в схематические изображения улиц. Под моими неутомимыми ногами аккуратно расчерченные квадраты воплощались в бескрайние асфальтовые равнины Садового кольца, вздымались холмами, сияли нечистым хрусталем водоемов, пенились душистой зеленью бульваров, бередили душу косноязычным, но проникновенным архитектурным лепетом переулков. *Моя* Москва была в ту пору лоскутным одеялом, где соседствовали фрагменты «настоящего», уже обследованного мною и словно бы затвердевшего под пристальным моим взором города и туманные, бесплотные обрывки «гипотетических» улиц – тех, что присутствовали на карте, но не были еще утоптаны моими ступнями, а значит – и не существовали пока. Так мне, по крайней мере, тогда казалось.

Я и метро понемногу осваивал, с каждым днем все больше подпадая под очарование прохладных подземных залов, медленно движущихся эскалаторов и гулких переходов; даже бесчисленные топорные изображения пролетарских идолов здесь, под землей, меня не слишком раздражали: ну, солдаты с матросами; ну, колхозники, да пионэры юные в мешковатой униформе; ну, бесконечные мертвые головы Ильичей, с торсами и без оных, – подумаешь!

В эти дни я сам себя не узнавал. Стал почти аскетом: всего пару раз выпил кофе с бутербродами в каких-то безликих кооперативных забегаловках; в прочее же время довольствовался покупкой мороженого или бубликов, меланхолично поглощал на ходу эти сиротские лакомства, почти не ощущая вкуса, как, вероятно, не ощущает вкус дизельного топлива заправленный им самосвал. А ведь какой был сибарит, почетный завсегдатай всех мало-мальски пристойных кофеен, этакий провинциальный денди, душу в ломбард Люцифера готовый отнести ради возможности ежедневно транжирить время в комфортных условиях…

Впрочем, это еще что, были и другие, куда более разительные перемены. Теперь я произносил всего пару десятков слов в день, да и те извлекал из опустошенной гортани лишь в силу крайней житейской необходимости: «Здравствуйте», «Извините», «Как пройти…», «Спасибо». К тому же я не завел ни единого знакомства и не позвонил никому из перебравшихся в Москву приятелей – а это уже ни в какие ворота!

Самое удивительное, что мне это новое состояние души нравилось чрезвычайно. Мне наконец выпало пережить восхитительное, пьянящее «одиночество в

толпе», о котором я до сих пор знал лишь из романов, любовно проиллюстрированных моим же воображением. Из девяти миллионов человек, проживающих в Москве, – скудная официальная цифра, не учитывающая так называемых «гостей столицы», у которых хватает дерзости *проживать без прописки*, осуществлять обмен веществ в организме без священных талонов на покупку сахара и водки, быть в ладах с настоящим без особой уверенности в завтрашнем дне, – так вот, ни единой живой душе из легально и нелегально заполонивших московские улицы миллионов не было до меня никакого дела. Возможно, именно поэтому наяву я не чуял земли под ногами, а среди тягучих, сладостных сновидений, ожидавших меня в сумерках гостиничного номера, не затесалось ни одного кошмара.

Мне было хорошо как никогда прежде, но долго это не могло продолжаться: я – нестабильная система; что бы со мною ни происходило, можно заранее биться об заклад, что это скоро пройдет, и выиграть пари.

69. Дзаячи

Функции Дзаячи, связанные с судьбой, вытекают из понятия дзая (заяа, заяан), означающего и само небесное волеизъявление, и ниспосланную небом судьбу.

Пасмурным теплым утром, на пятый, кажется, день после прибытия в Первопрестольную, я проснулся, обуреваемый жаждой действий. Очень хотелось купить камеру и немедленно приступить к работе: неизвестно ведь еще, как дело пойдет, тут лучше бы иметь в запасе время на ошибки и неудачи, дабы не биться потом глупой головой о краснокирпичные кремлевские стены. С

другой стороны, я имел некоторые основания полагать, что новый фотоаппарат может почить с миром, не прожив и дня: слишком уж недвусмысленным было давешнее указание судьбы, а я более не мог относиться к подобным вещам с прежним легкомыслием.

Смятенный разум твердил, что следует немедленно начать операцию по коррекции московской части моей кармы; послушное ему сердце в панике взбивало пенистый мусс из артериальной крови; желудок нехорошо ныл, пророча наступление скудных времен; прочие же мои составляющие отказывались работать в таком бедламе.

Я отправился в гостиничный буфет, обаял местную владычицу пяти подбородков, выклянчил чашку кофе не двойной, не тройной – усемиренной! – крепости. В результате все равно получил помои, но с большим количеством кофеина, что и требовалось. Ссутулился над клетчатой клеенкой, пинками растолкал своего «внутреннего стратега», каковой до сегодняшнего дня, в точности как былинный лежебока Илья Муромец, не произвел ни единого выдающегося телодвижения. Нынче ему предстояло совершить первый подвиг: бытие мое нуждалось в тщательном планировании как никогда прежде.

Он оказался молодцом, этот сонный парень. В отличие от меня, он знал, что человек, возжелавший собственноручно спроектировать свое ближайшее будущее, должен поначалу сделать две вещи: задать себе вопрос: «А чего я, собственно, опасаюсь?» – и ответить с предельной честностью. Это было просто, хоть и не слишком приятно: я обнаружил, что ужасно боюсь потратить все наличные деньги на покупку нового

фотоаппарата и остаться у разбитого корыта в случае его гибели (весьма, как мне казалось, вероятной). Одно дело сидеть на бобах дома, где потенциальные кормильцы сами ежевечерне стучат в твою дверь, где на каждом углу можно обрести человеческое существо, готовое ссудить тебя пятеркой до лучших времен, где, в наихудшем случае, к твоим услугам пригородные сады и огороды, чьи хозяева злоупотребляют домашним самогоном, а потому спят крепко, да и ущерба поутру не замечают. И совсем другое дело остаться без денег в чужом городе, где за одну только крышу над головой приходится платить немыслимые суммы. Мне уже мерещилась ночевка на скамейке в Нескучном саду со всеми сопутствующими обстоятельствами: поиски пустых бутылок, очередь перед пунктом приема стеклотары, борьба со столичными нищими за право клянчить еду на Черемушкинском рынке. В финале же – позорное возвращение домой на попутных машинах, пыльные пенаты, отключенный телефон, раздосадованный моим возвращением домовой, продолжительная депрессия… Столь мрачные перспективы не грезились мне и в худшие времена! Вот ведь странное дело: неожиданно разбогатев, я тут же начал бояться нищеты. Куда только подевалась моя всегдашняя бесшабашность?

Выслушав всю эту чушь, внутренний стратег снисходительно посмеялся над нашей с ним общей глупостью и за несколько минут состряпал вполне пристойный сюжет: сначала телефонный звонок московскому представителю Клариного деда-злодея; потом, ежели выяснится, что немец уже осведомлен о моем существовании, мне предстоял официальный дружеский визит в его контору на предмет немедленного обогащения.

Идти туда я намеревался не с пустыми руками, поскольку предусмотрительно захватил в дорогу несколько негативов, которые искренне полагал самыми удачными. Мои щедрые работодатели этих шедевров не видели: я держал их в отдельной коробочке, а в тот вечер, когда они у меня гостили, достать забыл. Вспомнил уже перед отъездом и решил взять с собой как раз на тот случай, если работа поначалу не заладится. Если что, скажу, мол, отправился в Москву с друзьями на машине и по дороге снимал деревенские свадьбы где-нибудь под Харьковом: фиг ведь проверишь, как на самом деле было. Теперь же я решил всучить эти пленки немцу, а выручку потратить на новый фотоаппарат. Пропадет – не так жалко, деньги-то почти шальные. К тому же нынешний стратегический запас у меня за пазухой останется, а значит, будет время, чтобы спокойно решить, как мне теперь жить дальше. Даже от соблазнительного проекта не обязательно отказываться: можно, например, нанять исполнителя, если уж новая судьба не позволит мне самому оставаться фотографом. Можно… да все можно, черт побери! Надо только действовать, а не сидеть на месте и ждать, пока все как-нибудь само собой уладится.

Приведя себя в боевое расположение духа, я отправился в гостиничный вестибюль и попросил разрешения воспользоваться телефоном. Печальная одутловатая дама, во всякое время суток обретавшаяся за стойкой администратора, меланхолично подвинула ко мне красный телефонный аппарат. Я набрал диковинный семизначный номер, и тут меня заключил в свои медвежьи объятия Великий Облом.

Я, конечно, был готов к подвоху. Предполагал, что Клара, возможно, еще не успела переговорить со своим

злодейским дедом. Или же она-то все успела, но забывчивый старик не отдал пока соответствующих распоряжений, и тогда меня с убийственной тевтонской вежливостью попросят перезвонить попозже. На сей случай у меня имелся отдельный стратегический маневр: позвонить Кларе и доложить ей обстановку, упирая на то, что «художника всякий может обидеть». Пусть почувствует себя виноватой, работодателя надо держать в ежовых рукавицах, а то больно уж много у него власти над нашим братом наемным работником!

Действительность, однако, оказалась куда бесцеремоннее, чем мне мнилось. На другом конце провода находилось вовсе не представительство немецкой фирмы, а вульгарная прачечная. Заикаясь от возмущения, я прочитал вслух цифры телефонного номера и получил раздраженное подтверждение: да, действительно двести тридцать восемь, и дальше все верно, только вот никаких немцев тут отродясь не было и, как меня заверили, хрен их сюда пустят: самим тесно.

Я оценил убийственный аргумент интеллигентного сотрудника прачечной и опустил трубку на рычаг; администраторша косилась на меня с сочувственным любопытством. Выражение лица у меня, надо думать, было то еще…

Несколькими секундами позже я успокоился. Понял, что Клара вполне могла ошибиться, записывая по памяти чужой незнакомый телефонный номер. Ну уж свой-то телефон она вряд ли переврала! Значит, надо звонить Кларе, только и всего.

Осуществить международный телефонный звонок из вестибюля гостиницы мне не позволили. Я клялся, что заплачу́, но в ответ услышал, что это невозможно по

сугубо техническим причинам, и получил материнский совет попытать счастья на центральном телеграфе. Дескать, оттуда куда хочешь можно позвонить: хоть в Германию, хоть в Израиль. Слово «Израиль» моя собеседница почему-то выговаривала неумело, с ударением на третьем слоге, но с заметным стыдливым удовольствием: так совсем мелкие детишки повторяют за старшими братьями непристойные словечки: «жопа», «ибаца», «блят».

Центральный так центральный, телеграф так телеграф. Нам, потомкам Чингисхана, как водится, все равно. Выскакиваю из гостиницы в мелкий июньский дождь, маюсь в ожидании автобуса; через пять минут терпение мое иссякает, и я отправляюсь к метро пешком. Всего-то двадцать минут быстрым шагом, а сегодня я резв как никогда: меня грызут нехорошие предчувствия, с которыми можно покончить, лишь услышав голос Клары, убедившись, что она существует, а значит – все идет по плану, жизнь продолжается, невзирая на досадные недоразумения. Спускаюсь в метро, еду до станции «Площадь Революции». Купленная из уважения к местным традициям газета оставляет на влажных ладонях темные полосы. Поднимаясь по эскалатору, изучаю эту «боевую раскраску», обнаруживаю, что на левой руке грязь размазана, а вот пересечение угольно-черных линий на правой подозрительно напоминает перекошенную букву N латинского алфавита. После непродолжительной борьбы с желанием закрыть глаза на очевидное узнаю грозный рунический знак «Хагалац»[7] – настораживающая подробность! Но я не

---

[7] При руническом гадании появление руны Хагалац как в прямом, так и в перевернутом положении означает хаос и катастрофу, свидетельствует, что впереди вас ожидает нечто, находящееся вне вашего контроля. Последствия

сдаюсь, я никогда не сдаюсь, потому что я не сдаюсь никогда, и хватит об этом…

С третьей попытки выхожу из подземного перехода в нужном месте, почти бегом преодолеваю два квартала, влетаю в помпезное здание центрального телеграфа. Там царит субтропическая духота, но очереди, к счастью, нет.

– Мне нужно поговорить с Дюссельдорфом.

– Со всем населением Дюссельдорфа сразу? – Белокурая девушка в окошке смеется.

Она немного похожа на Клару, и это кажется мне добрым знаком.

– Конечно, со всем населением. Но начать я планирую вот с этого номера…

Диктую номер, но она не слушает.

– Это мне ни к чему, сами его наберете. Сколько говорить будете? Пять минут? Давайте деньги.

Она называет сумму (я, честно говоря, предполагал, что звонок в Германию обойдется куда дороже). Достаю деньги. Пока все путем.

– Проходите в четвертую кабинку, правила набора номера описаны в инструкции. Прочитайте ее внимательно. По крайней мере, будете уверены, что набрали именно тот номер, который вам требовался.

могут быть благоприятными или трагическими, но в любом случае они непредсказуемы.

При изготовлении талисманов руну Хагалац используют в тех случаях, когда хотят разорвать замкнутый круг; выйти из исчерпавшей себя, но затянувшейся ситуации. Ее призывают на помощь тогда, когда можно уверенно сказать себе: «Что бы ни получилось в результате, это будет лучше чем то, что есть сейчас».

– Спасибо.

Я демонстрирую свои последние достижения в области конструирования обаятельных улыбок, но девушка уже отвернулась. Ну и ладно, не до того сейчас. Науку покорения столичных девичьих сердец будем осваивать позже. Наверняка выяснится, что тут есть какие-то свои тонкости, нюансы и прочие секреты мастерства…

Уединяюсь в переговорной кабинке, похожей на обычную телефонную будку, читаю инструкцию. Хвала Аллаху, все вроде бы внятно описано. Вращаю диск, набираю код страны, код города, номер. Руки трясутся, как у запойного пьянчуги, откупоривающего поутру пивную бутылку, – стыдно!

Мне отвечает женщина, но не Клара, это я сразу понял. Голос не тот, да и русского языка она, в отличие от моей покровительницы, не знает. Застегиваю душу на все пуговицы, собираю волю в кулак, вспоминаю известные мне немецкие слова, торопливо, пока собеседница не бросила трубку, говорю: «Клара, битте. Их бин Макс». На том конце провода разражаются страстным монологом, из которого я не понимаю ни словечка. Предлагаю говорить по-английски; по счастью, язык сей дама, вероятно, учила в школе, а потом забросила: ее словарный запас точно не больше моего, но и не намного меньше, так что можно договориться.

Я снова прошу позвать к телефону Клару. Выясняю, что женщины с таким именем здесь нет, зато имеются Ханнелора, Биргит и Марианна. Все это, конечно, мило, но я-то уже почти готов умереть от отчаяния. Хватаюсь за нескладный наш диалог, как утопающий за соломинку. Это Дюссельдорф? Дюссельдорф, все верно. Номер

такой? – медленно, внятно перечисляю цифры. Да, все правильно. Но Клары тут все равно нет, и не было никогда, разве что среди прежних жильцов, возможно, была какая-нибудь Клара, но они переехали уже девять лет назад. Девять?! Да, девять. А что в этом удивительного?

Да нет, ничего. Совершенно ничего удивительного, конечно же. Разве я не предчувствовал, что этим все и закончится? Предчувствовал. Более того, знал. И нечего теперь морду воротить от реального положения дел. Жизнь продолжается. Я вежливо прощаюсь и кладу трубку. Смотри-ка, уложился в две минуты вместо пяти. Умница.

Но так просто я не сдаюсь. Пока телефон под рукой, нужно завершить следствие по делу «неуловимой Клары». Снова иду к прекрасной телефонистке, плачу́, возвращаюсь в будку. Звоню Торману. Выясняю, что он снова «на рыбалке». Волосы дыбом от такого дивного стечения обстоятельств: я начинаю полагать, что Сашкина «рыбалка» – событие того же порядка, что и путаница с телефонными номерами Клары. Способ отрезать меня от прошлого, от славной старой судьбы, которую я совершенно добровольно сменил на новую – на фига оно мне приспичило?! Нет ответа на этот вопрос. Так случилось, и все.

Последняя попытка. Вспоминаю, что моих иностранцев поначалу выгуливал Миша Брахмин. Наверняка и координатами они обменялись, дабы иметь возможность когда-нибудь повторно обрести родственную душу, иначе быть не может.

Обзваниваю общих знакомых. С пятой попытки добываю его телефон. Застаю Брахмана (о чудо!) дома.

Чувак, конечно, удивлен: прежде мы были едва знакомы. Но держится корректно, на фиг не посылает. Дескать, рад помочь.

Он-то, может, и рад…

А я выясняю, что никакие слависты в мае к нам в город не приезжали, а если и приезжали, то он, Брахман, к сожалению, не в курсе, хотя уж ему-то сам бог велел знать о таких визитах, поскольку…

Дальше я почти не слушаю. Не приезжали, значит. А Сашка между тем рассказывал, что именно Брахман привел наших маленьких и пушистых зарубежных гостей в «Белый», да еще и общению Тормана с его подопечными был бы рад воспрепятствовать, но не смог… Не приезжали, ага. Бред. Собачий. Овчарочий, спаниелий, доберманoвый, сенбернарный бред. Гав!

Однако я все же не лаю в трубку, а говорю по-человечьи, как заведено меж нами, двуногими заложниками небесных волеизъявлений. Вежливо благодарю Мишу за предоставленную информацию. В конце концов, он не виноват, что полученные сведения вполне могут свести меня с ума. Не его это печаль.

Мои проблемы.

70. Дике

Неумолимая Дике хранит ключи от ворот, через которые пролегают пути дня и ночи.

Иду по улице Горького. Ноги заплетаются, в голове пусто после давешних телефонных переговоров. Ясно одно: поработать на благо проекта «Мизантропия» мне,

вероятно, не придется, поскольку работодателей моих то ли вовсе не существует, то ли просто связь с ними установить невозможно… Ну и ладно. Жил я ведь как-то прежде без иностранных инвестиций, и ничего…

Неясно же теперь все остальное. Обдумывать метафизическую сущность происшествия не хочется: занятие скорее опасное, чем полезное. Поэтому стараюсь размышлять исключительно о практической стороне проблемы. Например, что мне делать дальше? Тоже повод для умственного усилия, ничем не хуже прочих. Домой возвращаться не хочется… даже не так – не можется. Невозможно *вернуться*, это я знал еще несколько дней назад, когда вышел из поезда. Зачем-то мне нужно пока быть тут, в Москве. Почему – понятия не имею. Но *знаю*: так надо.

Положение мое, если отрешиться от эмоционального фона, отчаянным не назовешь. Денег хватит на несколько месяцев безбедной жизни – если, конечно, сменить гостиницу на более дешевое жилье. Квартиру снять, например. А почему нет? Перспектива обрести приватную московскую крышу над головой кажется мне весьма привлекательной. Знать бы еще, с какого конца браться за это дело! Куда идти, с кем и о чем договариваться, как обезопасить себя от обмана? Ох, следовало признать, что мне всегда скверно давалась наука устраиваться в жизни. В этой области я абсолютно бездарен. Мне нужен хороший советчик. Мудрый, обстоятельный, доброжелательный. Да где такого найдешь? Был у меня раньше специальный полезный Торман, да вот, на вечную рыбалку укатил. Не в справочный же киоск соваться с вопросами…

Вдруг вспомнилось, да так четко, словно в конторской книге памяти открылась нужная страница: «Будь внимателен, и весь мир станет твоей гадальной колодой. Трещины на асфальте и ветви деревьев будут принимать форму рун – ты только научись их читать. Книга, открытая наугад, будет содержать ответ на любой твой вопрос; птицы всегда укажут тебе верное направление, а из номеров проезжающих мимо тебя автомобилей сложатся формулы…»

Так говорила моя персональная Заратустра, рыжая гадалка Олла, встреча с которой превратила мое нестабильное, но вполне заурядное бытие в научно-популярный фильм о буднях шизофреника… Что ж, одну руну я уже обнаружил – не на асфальте, на собственной ладони, и предсказанный хаос сразу же ворвался в мою жизнь, спасибо, на сегодня достаточно! Расшифровывать голубиное воркование я пока не научился, да и формулы, слагающиеся из номеров автомобилей, не вызывали у меня должного научного интереса. А вот открыть наугад книгу, чтобы получить ответы на все вопросы… Почему нет?

Гляжу, а неподалеку как раз лоток с книгами. И покупателей возле него не сказать чтобы много. Маленькая старушка в ядовито-зеленой кофте теребит брошюру о траволечении, да крупная красивая брюнетка, похожая на Кармен, получившую как минимум два высших образования, неторопливо перебирает книги и о чем-то тихо говорит с продавцом. Мне они вряд ли помешают.

Подхожу, беру первую попавшуюся книжку. Открываю наугад, читаю первый же абзац: *«Она долго думала над своей задачей. Поскольку не было никакой*

возможности проникнуть в дом, единственным решением было найти путь, чтобы выманить его из дома».[8]

Ну и дела! Понятно, что в голове у меня сейчас крутилось множество вопросов касательно Клары: была ли она, не примерещилась ли (а если примерещилась – откуда взялись деньги?!). И зачем было давать мне крупный аванс, но при этом снабжать фальшивыми телефонными номерами? Какой, дескать, в этом смысл? Четкость и недвусмысленность ответа меня, признаться, оглушили.

Но я существо суетное, недоверчивое. Мне подтверждение потребовалось. Беру с лотка еще одну книгу, «Паутину» Джона Уиндема. Открываю, как и положено, наугад, да еще и пальцем в страницу тычу: кто сказал, что правда-матка непременно в первом абзаце должна быть зарыта?! Читаю и офигеваю окончательно: *«Нокики источал презрение. Он не верил ни в какой катаклизм. Это явная уловка, чтобы выманить их с острова»*…

Пресвятая Богородица, матерь Божья, как любила говаривать моя бабушка-католичка. Да что же это делается? Снова «выманить» – теперь уже не «из дома», а «с острова», ну да не будем придираться к мелочам…

Впрочем, на достигнутом я не остановился. Уверовав в пророческую силу коммерческого печатного слова, схватился за следующую книжку. Ну надо же, Хайнлайн, автор «Пасынков Вселенной», потрясших мое воображение этак классе в шестом (именно в ту пору роман публиковался в журнале «Вокруг света», который

---

[8] Очевидно, под руку подвернулась книга Сидни Шелдона «Гнев ангелов». Цитата – оттуда.

мой отец, по счастью, выписывал). Именно ему, бесценному Роберту Энсону, я решил адресовать следующий актуальный вопрос: как жить дальше? Меня это и правда весьма занимало.

«Однако начнем. – Прямо сейчас, сэр?»[9] – Мой палец уткнулся в нижний край страницы, поэтому пришлось довольствоваться последней строчкой.

«Прямо сейчас», – тупо повторил я про себя и растерянно огляделся по сторонам: дескать, что же можно начать – прямо сейчас-то?

Я так увлекся, что забыл о присутствии посторонних. Умная Кармен между тем внимательно меня разглядывала. Просекла, очевидно, что я не просто книжки смотрю, а вот что именно я с ними проделываю, никак не могла понять. Я встретился с нею глазами, и она тут же спросила, без излишних церемоний:

– Вы что-то ищете?

– Ага, – говорю. – Ответы на вопросы жизни и смерти.

– И что, находите? – Она, кажется, совершенно не удивилась.

– Да вот, кажется, нахожу. – Тон и манеры случайной собеседницы провоцируют на откровенность: она вела себя так, словно мы уже лет десять были – не близкими друзьями, конечно, а, скажем, соседями по подъезду. Посему меня несет. И рад бы заткнуться, да не выходит.

---

[9] Цитата взята из романа Р. Э. Хайнлайна «Астронавт Джонс».

– Только я не все понимаю. Например, на вопрос: «Как мне жить дальше?» – получил ответ: «Однако начнем». Вот стою, думаю: что начать-то? Пока не придумал.

– Так вы по книгам гадаете? – она почему-то обрадовалась. Словно бы всю жизнь мечтала встретить живого человека, способного к нехитрой этой магической процедуре, и вот, сбылось наконец-то.

Я смущенно пожимаю плечами. Утвердительный ответ, старательно замаскированный под безответственное: «А хрен меня разберет».

– А погадайте-ка ему! – вдруг просит она, указывая на продавца книг, который все это время пребывал в состоянии оторопи. То ли заключил опасливо, что два психа нашли друг друга и в наш бредовый диалог лучше бы не встревать, то ли, напротив, внимательно прислушивался, надеясь стать свидетелем Большого Откровения и, соответственно, просветлеть не далее как в ближайшую пятницу. Но тут он встревожился.

– Раиса Адольфовна, ну зачем вы надо мной смеетесь? – взмолился книгопродавец. – Хотите уволить – увольняйте. А изгаляться зачем?

– До этого пока не дошло, – спокойно ответствует брюнетка, и я начинаю понимать, что их связывают какие-то драматические производственные отношения. – Я пока не решила, увольнять тебя или нет. Вот пусть молодой человек погадает, все само и решится. Давайте, что же вы! – последняя реплика обращена уже ко мне.

Пожав плечами, беру томик Чехова из подписных изданий. Демонстративно зажмуриваюсь, открываю книгу, снова тычу наугад перстом. Открываю глаза.

– *«Читать ты не умеешь, а воровать умеешь. Что ж, и то слава богу. Знания за плечами не носить. А давно ты воровать начал?»*[10]

Я в шоке, книготорговец – и подавно в шоке. Кармен, она же Раиса Адольфовна, ржет, аки небесная кобылица: громко, заливисто, но не без хрустальных обертонов, то и дело взрывающих ровный поток мощного звука.

– Суки, – говорит нам обиженный продавец. Голос у него при этом тоненький, жалобный, того гляди заплачет. – Падлы, мудачье голимое. Да идите вы на хер! «Воровать»! Украдешь тут, блин… За копейки… зимой… на жаре… блядища жирная… лимитчица, ебанарот…

От избытка чувств он умолкает, выходит из-за лотка и почти мгновенно исчезает. На улице Горького исчезнуть – плевое дело. Надо лишь шагать в едином ритме с прочими пешеходами, и тогда очень быстро становишься частью толпы, а это даже круче, чем быть невидимкой.

– Ну вы даете! – отсмеявшись, говорит моя Кармен. – Ваш способ гадать – это нечто. Я Василия давно раскусила, да за руку поймать все недосуг было. А теперь он сам ушел. Ну и слава богу…

– Так это ваш лоток? – спрашиваю.

– Ну да. Этот и еще два десятка книжных лотков по всей Москве, – гордо подтверждает она. – Торгуем новыми изданиями и на комиссию книги берем…

– Круто, – констатирую.

---

[10] Цитата из рассказа Чехова «За яблочки».

– Да нет, не то чтобы так уж круто. Но жить можно… Слушайте, а вот теперь вы мне погадайте. То есть просто задайте вопрос: кто я такая. Очень интересно, что получится.

Дурное дело нехитрое. Беру следующую книгу. Куприн. Эк меня на классику потянуло!

– Вот… Ох, по-моему, я устал. Тут ерунда какая-то открылась…

– Вы читайте, а не комментируйте, – нетерпеливо требует моя новая знакомая.

– Слушаю и повинуюсь: *«Я не знаю и не могу сказать, обладала ли Олеся и половиной тех секретов, о которых говорила с такой наивной верой, но то, чему я сам бывал нередко свидетелем, вселило в меня непоколебимое убеждение, что Олесе были доступны те бессознательные, инстинктивные, туманные, добытые случайным опытом, странные знания, которые, опередив точную науку на целые столетия, живут, перемешавшись со смешными и дикими поверьями, в темной, замкнутой народной массе, передаваясь как величайшая тайна из поколения в поколение»*.[11] Конец абзаца.

– «Ерунда», говорите? Ну, считайте пока, что и правда ерунда, – усмехается Раиса Адольфовна.

Теперь она смотрит на меня с нескрываемым любопытством. Кажется, даже восхищение можно обнаружить в ее темном взоре, и я понимаю, что снова попал в самую точку. Вероятно, мадам недавно открыла в себе какие-нибудь модные экстрасенсорные способности, или же на картах гадать научилась, или еще

---

[11] Цитата из повести Куприна «Олеся».

что-то в таком духе – для женщины такого типа это, по-моему, совершенно нормальное явление. И вот теперь из наших с Куприным уст она словно бы лицензию получила… Я понимаю, что сейчас из нее веревки вить можно, причем продолжаться этот плодотворный период будет недолго: не тот, кажется, у леди характер, чтобы годами лелеять в сердце чувство благодарности к «таинственному незнакомцу». Полчаса полелеет – и ладно.

– Когда вы со мной заговорили, я как раз искал ответ на вопрос: «Как жить дальше?» И получил совет «Начать прямо сейчас». Получается, что я должен попроситься к вам на службу. Вы ведь, кажется, остались без одного работника?

– Вы хотите продавать книги с лотка? – Она ошарашена.

– Хочу? Да нет, не хочу. Но в последнее время я не раз убеждался, что некоторыми советами пренебрегать не следует. А мне было четко сказано: «Начинаем». И тут вы со мной заговорили. Одно к одному…

– Понимаю, – серьезно кивает Раиса Адольфовна. – Что ж, если вас не пугает перспектива заниматься столь неквалифицированным и неблагодарным трудом… Учтите: заработать тут много не получится.

– Ну, – говорю неуверенно, – лишь бы на оплату жилья хватило… А хватит?

– А, вы ведь не москвич, – с некоторым даже облегчением говорит она.

– Я – не он. Это меняет дело?

Про себя я уже смирился с мыслью, что меня сейчас пошлют. «Не москвич» – это, очевидно, что-то вроде инвалидности или беременности, такие работодателям ни к чему.

– Да, меняет, – подтверждает она. И неожиданно заговорщически мне подмигивает: – Причем к лучшему. Я и сама из Киева. И не раз убеждалась, что местных на работу лучше не брать. Толковые и без меня устраиваются как-то, а прочие… ну, вы сами одного из них видели.

– Вот оно как, – я расплываюсь в улыбке.

– Тогда помогите мне собрать книги, – решительно заключает она. – Складывайте их в коробки… ага, правильно, коробки стоят под лотком. Как вас зовут-то?

– Макс.

– Это вы «Максима» так обкусали или «Максимилиана»?

– Ну уж! Какой из меня «Максимилиан»…

– Почему нет? У меня папу вообще Адольфо зовут. Не Адольф, а именно Адольфо. Он испанец наполовину: дедушка был из тех испанских детишек, которых к нам в тридцатые привезли…

– Это очень заметно, – улыбаюсь.

– Заметно не «это», а совсем другое: у меня бабка, мамина мама, цыганка.

– Со всеми вытекающими последствиями? – спрашиваю восхищенно.

– Ну, вы же сами «Олесю» открыли в нужном месте…

Пока я одобрительно качаю головой, сочиняю комплименты и неумело, но старательно распихиваю книги по коробкам, к нам подходит немолодая, очень хорошо одетая дама, интересуется детективами. Я с энтузиазмом неофита сую ей под нос все, что под руку попадается. Покупательница покидает нас через несколько минут, унося в сумке не одну и не две, а целых три книжки: Чейз, Чандлер, снова Чейз.

– Че-че-че! – восхищенно цокаю языком ей вслед.

– Да у вас легкая рука! – резюмирует Раиса Адольфовна.

– Переходите на «ты», что ли. Теперь я, можно сказать, раб вашей лампы.

– Что?!

– Помните Аладдина и его ручного джинна?

– А, поняла теперь… Но «ты» – это пока неловко. Не люблю стремительно сокращать дистанцию. Поэтому, если не возражаете…

– Да нет, мне все равно, лишь бы вам было комфортно.

Общими усилиями мы уложили книги (по ходу дела умудрились продать еще одного Чейза, сборник стихов Высоцкого и тонкую душеспасительную брошюру Дейла Карнеги). Напоследок я открыл оказавшийся наверху томик Льюиса и взвыл от восторга, сунул книгу под нос своей свежеиспеченной владычице.

– Смотрите-ка, что вышло: *«Пошел на службу к Белой Колдунье – вот что я сделал. Я на жалованье*

у Белой Колдуньи».[12] Что скажете, гражданка Белая Колдунья?

– Все это еще более странно, чем я думала, – меланхолично констатирует она. – Единственное возражение: у меня не «жалованье», а процент от выручки. А теперь беритесь-ка за лоток, и поехали. Колеса тут, конечно, враскоряку, но склад не очень далеко, в Малом Гнездниковском… К слову сказать, один алкаш, живущий по соседству, не далее как вчера предлагал мне в аренду свою квартиру – если, дескать, я расширяться собираюсь. Он очень дешево готов уступить. Понимает, наверное, что со мной безопасно дело иметь: не убью, в тюрьму не засажу, в ЛТП не отправлю, из квартиры не выпишу, еще и подкармливать буду регулярно… Если хотите, я с ним поговорю и добуду для вас ключи.

– От райских врат? – смеюсь.

– В некотором смысле – да, – спокойно соглашается Раиса Адольфовна.

71. Доля

В славянской мифологии воплощение счастья, удачи, даруемых людям божеством; первоначально само слово «бог» имело значение «доля».

«Ключ от райских врат», впрочем, подошел и к английскому замку, врезанному в массивную дверь, за

---

[12] Цитата из «Хроник Нарнии» Клайва Льюиса. Пожалуй, следует напомнить читателю, что фразу эту произносит фавн Тамнус, в чьи служебные обязанности входило похищать детей, заманивая их в свою пещеру и усыпляя звуками флейты.

которой скрывалась одна из мерзейших помоек, какие мне когда-либо доводилось обживать. Площадь помойки, по счастью, была величиной исчезающе малой, и это давало надежду, что у меня достанет сил быстро привести ее в божеский вид. (Все к лучшему: тяжелый физический труд – наилучшее лекарство от бытовой шизофрении, а состояние жилища позволило сбить цену, и без того не слишком пугающую.)

Формальности были улажены быстро. Суровая Раиса заставила хилое нетрезвое существо, каковое являлось законным владельцем апартаментов, подписать договор о найме; даже некий специальный бланк у нее в конторе нашелся. Считалось, что теперь я надежно застрахован от всех мыслимых административных бед. Мой лэнд-лорд трясущимися лапками ухватил аванс и мгновенно растворился в сумраке ближайшей подворотни. Раиса Адольфовна тоже умчалась по делам, назначив мне свидание в офисе поутру. Я остался один и тут же пулей вылетел прочь из собственной крепости. Угораздило ведь этакий дворец найти!

Забрав вещи из гостиницы и навестив по дороге чуть ли не десяток хозяйственных магазинов в поисках моющих средств и прочих орудий домашнего труда, я вернулся в Гнездниковский переулок. Остаток дня пришлось посвятить генеральной уборке. К вечеру я и думать забыл о демонах, троллейбусах, прекрасных убийцах, зачарованных городах, дополнительных поездах, переменчивых судьбах и бесследно исчезающих иностранцах. Я вообще перестал думать, и это было благом. Зато и новое мое жилище больше не вызывало гадливого содрогания. Теперь это была просто очень маленькая и очень чистая комната с большим окном, за которым отцветала бледная дворовая сирень. Здесь не

имелось телефона, мебели, холодильника, люстры и газа; зато и соседей не было, а вот отдельная ванная и прочие буржуйские удобства, напротив, наличествовали, и это наполняло сердце ликованием.

Благодетельница Раиса одолжила мне настольную лампу, тусклого света которой с лихвой хватило, чтобы озарить немногочисленные квадратные метры, имеющиеся в моем распоряжении. Презентовала древний, но исправно работающий электрический чайник – вот уж воистину благодеяние, с коим не сравнятся дары волхвов! Я же еще днем предусмотрительно зашел в «Детский мир» и купил полдюжины дешевых черно-голубых одеял с минималистическими изображениями котиков и собачек, из которых соорудил на полу жесткую, но вполне уютную постель. Больше ничего, кажется, и не требовалось, по крайней мере пока.

Спал я в эту ночь как убитый, зато и проснулся часов в семь утра, под шварканье дворницкой метлы. Словно бы вместе с новой судьбой получил и новые привычки: вообще-то я типичная сова, мне до полудня проснуться – мука, считай, день пропал. А тут вскочил ни свет ни заря. Что ж, сейчас мне это было на руку.

Раисины книжные лотки выезжали на московские улицы около десяти утра, но я явился на склад к девяти, поскольку полагал, что мне предстоит выслушать подробные инструкции. Промаялся под дверью до половины десятого, вместо инструкций получил сонную улыбку, самодвижущийся лоток с книжками и школьную тетрадку, куда крупным, но неразборчивым почерком моего предшественника были вписаны названия книг и

стоимость товара. Помогая мне вытолкать лоток за порог, моя начальница тараторила:

– Сами разберетесь, невелика премудрость. Только цены самовольно не завышайте, иначе будем ругаться, а ругаться совершенно не хочется… Помните, где мы вчера встретились? Ну вот, это и есть ваше постоянное место. Менты нашу фирму знают и со мною знакомы, но на всякий случай имейте в виду, что на дне одной из коробок должна быть копия лицензии. Если не найдете, скажите мне, тогда придется поехать еще бумажек наксерить… Да, теперь об оплате. Ваши десять процентов с выручки. Это пока, для начала. Приживетесь, к зиме будет пятнадцать. Расчет в конце дня: отдаете выручку, получаете деньги. За книжками следите: если что-то пропадет, оно пропадет из вашего кармана, а не из моего… Ну, вроде все. Я подойду потом, посмотрю, как у вас идут дела.

– А что делать, если книжки закончатся? Где можно взять еще? – озабоченно поинтересовался я. Меня это с самого утра занимало.

– Как это – «закончатся»? – Раиса, кажется, даже проснулась.

– Ну, если я все продам…

– Максим, – прочувствованно сказала моя «Белая Колдунья», – вы удивительно гадаете на книгах, у вас легкая рука и глаза человека, способного на все, но если вам удастся продать за целый день хотя бы половину книг, я съем собственную лицензию!

– Не зарекайтесь, – улыбнулся я. – Мало ли что… Можете просто увеличить мою долю, если я совершу это чудо.

– Ладно, – легко согласилась она. – Поскольку это все равно невозможно, я могу пообещать вам хоть половину… Но осторожности ради ограничусь четвертью.

– Идет, – я сверился с тетрадкой. – Если эти записи верны…

– Я вчера сама проверила остаток и вычеркнула все проданные книги.

– Ну и отлично. Итак, у меня восемьдесят шесть книг. Значит, если в течение дня я продам сорок три или больше…

– Вы получите двадцать пять процентов выручки, – подтвердила Раиса. – Но на вашем месте я бы не слишком рассчитывала на успех.

– Да мне все равно, – говорю. – Просто дело новое, а я азартный…

Своих новых коллег я так и не увидел; вероятно, никто из них не имел привычки вовремя являться на работу. Впрочем, впечатлений и без того хватало: прежде мне никогда не доводилось ничем торговать. Я подозревал, конечно, что уже через неделю-другую сочту сие занятие не менее рутинным, чем все прочие легальные способы зарабатывать на хлеб и зрелища, но сегодня меня пьянила новизна ощущений. Даже сожалений по поводу утраченных иноземцев я не испытывал: нелепо, проснувшись, сокрушаться о вчерашнем сладком сне; вдвойне нелепо сожалеть о нем на пороге нового сновидения.

Мое настроение не загубил даже недолгий, но тяжкий путь к торговому месту. Лоток несколько раз был на грани крушения, но сегодня мне везло, и я без особых усилий предотвращал катастрофы, беззастенчиво

призывая на помощь высшие силы и спешащих прохожих. Некоторые внимали призывам, а посему я временно возлюбил человечество. Ничего не попишешь, заслужило!

Торговля сразу пошла бойко, словно заядлые читатели с раннего утра болтались в окрестностях, ожидая моего прибытия. Книги хватали из рук, меня даже раздражала такая поспешность: только-только разложу аккуратно очередной рядок, и тут же приходится извлекать из самой его середины книжку, дабы удовлетворить внезапный интерес потенциального покупателя. Я не удивлялся собственному успеху. Именно так я и представлял себе тяжелый труд книготорговца: то и дело нырять под прилавок за товаром, судорожно листать тетрадку с ценами, обшаривать карманы в поисках сдачи и с пеной у рта доказывать окружающим, что Жапризо круче Чейза, а юность, проведенная без «Хроник Амбера» под подушкой, может считаться загубленной (при этом, учтите, обмену и возврату она не подлежит, – угрожающе сообщил я растерянному студенту в синих, как у слепца, очках).

Что бы там ни говорила многомудрая Раиса, но я как-то не мог поверить, будто среднестатистический книготорговец действительно коротает день, слоняясь вокруг прилавка в ожидании редких покупателей. Я просто не видел причин, по которым люди могли бы не покупать у меня книги, искренне не понимал, как можно пройти мимо такой роскоши, как книжный развал. Очевидно, сила моей наивной библиофильской убежденности была столь велика, что прохожие невольно подпадали под ее власть.

Раиса пришла вскоре после полудня, узрела полупустой прилавок и декларативно схватилась за сердце.

– Сорок восемь! – торжественно сообщил я. – Это больше половины. Хорошо, что вы пришли. Я ведь с утра спрашивал, как быть, если все распродам, а вы не сказали…

– Сорок восемь? – переспросила она, критически озирая жалкие остатки былой букинистической роскоши. – Хорошо, что я заранее отказалась от идеи съесть лицензию! Ладно, поехали на склад. Хватит с вас на сегодня.

– Я только во вкус вошел! – искренне запротестовал я.

– Верю. Рада, что вам нравится эта работа. Но сегодня вы очень заняты.

– Чем?

– Я приглашаю вас пообедать.

– Здорово. Это награда за выдающиеся коммерческие способности?

Сопровождаю вопрос самой обаятельной из Большого Праздничного Набора Послеполуденных Улыбок и даже подмигиваю лукаво. Нельзя сказать, будто я действительно вознамерился привнести в наше общение некую фривольную двусмысленность, просто повинуюсь давней привычке кокетничать с красивыми женщинами. Им это обычно нравится, но тут я, кажется, перестарался. Лицо Раисы вдруг принимает суровое выражение.

– Скорее уж действительно награда за способности, чем предклимактерический флирт.

Я люблю делать вид, будто меня не так уж легко смутить (на самом деле легко), но тут кровь приливает к лицу, шумит в ушах, того гляди брызнет из-под кожи. Блею почти испуганно:

– Что вы несете? Как вам могло прийти в голову, будто я стану думать… С какой стати? И почему флирт именно «предклимактерический»? Это как?

Возмущенно умолкаю, запутавшись в нехитрых словесных конструкциях. Она наблюдает за моим смятением с любопытством исследователя и, пожалуй, не без удовольствия. Наконец снисходит до объяснений.

– Потому что мне сорок три года. Считается, что именно в этом возрасте женщина должна озаботиться поисками молодого любовника. Но я выбиваюсь из графика… И не нужно делать вид, будто вы оскорблены. Я просто расставила точки над некоторыми часто встречающимися «i». Теперь вы знаете, что моя симпатия к вам не является следствием гормональной бури в увядающем женском организме. А у меня есть некоторые основания надеяться, что ни один из моих дружеских жестов не будет истолкован как возрастное блядство.

– Я в курсе, – срываюсь на крик, швыряя книги в коробки, – что человеческие отношения не ограничиваются взаимными сексуальными домогательствами. И не предполагал, что произвожу впечатление придурка, который…

– Да что ж вы орете-то так? – невинно умиляется Раиса. – Впрочем, я даже рада, что вы возмутились. Это так… так трогательно. Сколько, вы говорили, вам лет?

– Сколько есть, все мои, – бурчу. – Между прочим, совсем недавно мне присоветовали не иметь дел с «женщинами, созданными для любви» и «мужчинами, созданными для войны». И что бы я делал, если бы вы действительно решили меня охмурить? Все бросить и в бега? Такие дела, Раиса свет Адольфовна, такие дела…

– Ну и советчики у вас, – изумляется она. – Мне бы таких… Кто присоветовал-то?

– Одна рыжая гадалка, – вздыхаю. – Очень хорошая гадалка, встреча с которой перевернула мою жизнь… даже нет, не перевернула, а перекрутила на манер ленты Мёбиуса. Я бы вас познакомил, но она живет в другом городе. Я оттуда уехал, а она осталась.

– Ну, раз так, ничего не попишешь. Собирайте манатки и поехали на склад. Обедать-то вам со мною все равно придется, – ухмыляется моя начальница.

– С любовью и удовольствием, – склоняюсь в смиренном поклоне, приличествующем эпизодическому персонажу «Тысяча и одной ночи».

Обед – это прекрасно и удивительно. Я так долго не ел по-человечески, что желудок вправе жаловаться на меня в международный суд. Все видные правозащитники будут на его стороне, и слово «геноцид» не раз прозвучит в зале заседаний. Поспешно закрываю коробку с остатками книг, хватаю лоток и с проворством гонщика «Формулы-1» влачу его в направлении Гнездниковского переулка.

72. Древо познания

«Знаю, висел я в ветвях на ветру девять долгих ночей…»

Пока Раиса подсчитывает мою выручку и терзает калькулятор, дабы выплатить проспоренные проценты, я слоняюсь по заваленному книгами помещению. Глазею. На стене обнаруживается копия лицензии на торговлю. Название фирмы, куда я столь внезапно поступил на службу, обескураживает.

– Раиса, – спрашиваю осторожно, – а вы… вы что, поначалу похоронное бюро намеревались открыть? Почему кооператив «Харон»?

Она смеется.

– Что, испугались? То-то же, будете в следующий раз знать, как наниматься на работу, не наведя справки о фирме!

– Но все-таки почему?

– А на этот вопрос, товарищ Максим, есть несколько ответов. Официальная версия, которую я всем рассказываю, гласит, что мы с компаньоном пошли регистрировать фирму, как-то не подумав заранее о том, что придется дать ей название. И вот, когда в последний момент обнаружилось, что мы понятия не имеем, как именуется наш новорожденный кооператив, Венька толкает меня в бок и просит: «Раечка, ты такая начитанная, вспомни, лапушка, какое-нибудь красивое слово, чтобы древнее было, из античности, но незаезженное, не „Гермес“ какой-нибудь и не „Афродита“. Давай, скорее!» И тут я, вознамерившись его

подколоть, говорю ехидно: «Харон». Шучу, конечно. При этом совершенно уверена, что Венька знает, кто такой Харон: это ведь все знают. А он, отморозок, радуется, говорит: «Умничка ты моя!» – и через минуту наши бумаги заполнены, печать поставлена, а я молчу, как идиотка, и проклинаю попавшую мне на язык смешинку, поскольку менять что-либо уже поздно… Конечно, потом Веня пришел в себя и вспомнил, кто такой Харон.

– Это официальная версия? – уточняю. – А как звучит неофициальная?

– А с неофициальной подождем. Может быть, Веня сам вам расскажет. Он нас, кстати, уже ждет, а мы тут деньги считаем.

– Это вы деньги считаете, а я покорно жду благоприятного исхода… Так мне предстоит знакомство с еще одним господином и повелителем?

– Что это вас на восточные мотивы пробило? Да, конечно, Вениамин хочет с вами познакомиться. Имеет полное право знать своих сотрудников в лицо, хоть и нечасто им пользуется… Ему очень понравилась история нашего с вами знакомства. Особенно цитата из Чехова про воровство, ну и «поступил на службу к Белой Колдунье» – Венька просто пищал! «Белая колдунья» – это, знаете ли, мое студенческое прозвище: в те времена я обесцвечивала волосы и гадала по руке всем желающим. Но по сравнению с вами я, конечно, просто дурачила народ.

Я почему-то тушуюсь. От ее похвалы чувствую себя самозванцем. Фальшивособытчиком (как фальшивомонетчик создает лживые денежные знаки, не имеющие подлинной ценности, так и я порой инициирую события, которые кажутся сторонним наблюдателям

чрезвычайно важными, но на деле не заслуживают внимания).

– А он, случайно, не создан для войны, этот ваш компаньон? – спрашиваю, насильственно переключаясь на более актуальную тему. – Может, мне все же пора в бега пускаться…

Вроде бы в шутку интересуюсь, а с другой стороны, мне и правда надо это знать. Раиса отвечает вполне серьезно:

– Вряд ли Веня создан для войны. Скорее уж наоборот. Он все-таки поэт.

– Правда? – вежливо изумляюсь.

– Правда, правда. Только имейте в виду: я вам ничего не говорила. Он скрытничает… Вот ваши миллионы, поехали.

Скрытничающий поэт Вениамин оказался тонкокостным, худым, лысым, но очень моложавым дядей, надежно упакованным в джинсовую кольчугу. Все предметы его гардероба были изготовлены из этой ткани: рубашка, брюки, куртка – еще ладно, но и легкие летние туфли, и сумка, и кепка, из-под которой на меня строго взирали небольшие яркие глаза, тоже словно бы выкрашенные синей краской индиго. Ни здороваться, ни тем более представляться он не стал, а сразу же заявил:

– Вас долго не было, я заскучал и развлекался, делая заказы. Райкины вкусы мне известны, а с вашим рационом, Максим, пришлось действовать наугад. Не знаю, любите ли вы осетрину, но я ее для вас заказал. Угадал?

– Угадали, – киваю. – Спасибо.

(На самом-то деле я не знаю, люблю ли осетрину, потому как до сих пор никогда ее не пробовал. Ну вот, значит, сегодня мне предстоит отяготить себя новыми знаниями… и, вероятно, новыми печалями?)

Поначалу, минут десять, я пребываю как бы под наркозом: дистанция между Максом действующим и Максом осознающим от смущения всегда увеличивается, а я чрезвычайно смущен. Я обычно легко нахожу общий язык с незнакомыми женщинами, но чертовски стесняюсь незнакомых мужчин. Сам не знаю, почему так происходит. Однако заказанный в полузабытьи джин-тоник делает свое дело: еще несколько глотков, и я смогу не только бестрепетно взирать на нового знакомца, но и контролировать тот вербальный вздор, который производит мой затмившийся от смущения рассудок…

Ага. Вот так. Теперь хорошо. Прихожу в себя, прислушиваюсь к текущему диалогу. С изумлением отмечаю, что беседа наша между делом принимает опасный оборот.

– Вам когда-нибудь доводилось умирать? – спрашивает Вениамин.

Я даже поперхнулся от неожиданности, как распоследний комедийный персонаж. В джинсовых очах дознавателя светится сугубо научный интерес, выражение лица – самое что ни на есть бесстрастное. Таким тоном лечащий врач интересуется: «Гепатитом болели? Аллергия на лекарства есть?» Зато Раиса над стулом приподнялась от любопытства.

– Даже не знаю, что вам на это сказать, – отвечаю, прокашлявшись. – Врать тут глупо, а правды я и сам

толком не знаю. Во сне – было дело. И не раз. А вот наяву… «Да, нет, не знаю». Нужное подчеркните. А я предпочитаю последний вариант ответа: «Не знаю».

– Как такое может быть? – меланхолично вопрошает он.

– Обычное дело. Некоторые воспоминания обманчивы: было-то оно было, а вот во сне ли, наяву ли? Не разберешь. С вами разве не случалось такое?

– Вряд ли. Я умею различать сон и явь.

– А я – не всегда. Возможно, никогда. Я даже сейчас не уверен, что бодрствую.

Мне не хочется пересказывать им фатальный эпизод своей бурной юности. Дело не в том, что оба воспоминания – и о похмельной пешей прогулке на рассвете, и об автомобильной аварии – мне неприятны. Ну, неприятны, но сие соображение вполне можно бы и похерить. Дело в ином: суетное я существо и тщеславен непомерно. Если уж произвел на кого-то благоприятное впечатление, добровольно ни за что его не испорчу. Рассказывать этим милым людям, как я по пьянке в подворотне уснул? Нет уж!

– Ладно, – нетерпеливо говорит Вениамин. – Во сне или наяву – это вы сами разбирайтесь. Или не разбирайтесь, если вам все равно… Но ощущения были достоверными?

– Да, вполне. Откровенно говоря, я бы предпочел нечто более причудливое. Но я всякий раз просто чувствовал себя лампочкой, которую выключают. И у меня был выбор: либо тихо угаснуть, либо взорваться напоследок. И я… ну да, взрывался. Мне почему-то казалось, что это дает какую-то смутную надежду. Что

после «взрыва» осколки меня могут снова собраться вместе. Но у меня никогда не получалось их собрать. И наступала темнота.

– А потом?

– Потом я просыпался. И обнаруживал, что жив. Приятная, знаете ли, неожиданность.

Его любопытство кажется мне назойливым. Раздражает. Даже злит. Какого лешего он заставляет меня вспоминать? Чтобы отбить аппетит и сэкономить на заказе? Глупо: проще было с самого начала оставить меня до вечера за прилавком, или, на худой конец, задушевно напоить чаем в конторе.

– Не сердитесь, – ласково просит моя начальница. – Веня выбрал не самую удачную тему для беседы за аперитивом. Но, поверьте, не из праздного любопытства.

– Это важно, – спокойно подтверждает ее приятель. – Действительно очень важно.

– Почему? – равнодушно спрашиваю.

– Ну, хотя бы потому, что умирание – это, так сказать, классический обряд инициации… Люди, пережившие этот опыт, и те, кому не довелось, отличаются друг от друга настолько, что могут быть классифицированы как два разных биологических вида. Думаю, вы понимаете, о чем я толкую.

– В общих чертах, – ухмыляюсь злорадно. – *«Знаю, висел я в ветвях на ветру девять долгих ночей…»* Óдин, приносящий себя в жертву Одину, и прочие литпамятники… Я зело начитанный, как и положено провинциалу…

Они переглядываются, почти в смятении.

– Почему вы сейчас вспомнили Одина? Откуда взялась эта цитата? – наконец спрашивает Вениамин.

– Не знаю. Всплыла из небытия. Вполне естественная ассоциация, разве нет?

– Может быть, и естественная, – недоверчиво хмурится он. – Знаете, мне кажется, что вам не обязательно использовать книги для гадания. Это лишнее. Вы и без них превосходно справляетесь.

Адресую ему вопрошающий взгляд, бессмысленно-молочный, как у слепого котенка.

– Не понимаю.

– Я и сам ни хрена не понимаю, – вздыхает Вениамин. – Но, видите ли, какое дело… Ладно, слушайте. Когда-то, лет двадцать с хвостиком назад, будучи призван в ряды советской армии, ваш покорный слуга был столь оглушен новыми впечатлениями, что решил пресечь земное свое существование путем «самоповешения за шею», как было сказано в протоколе. Из петли меня извлекли почти вовремя, а труп, так и не достигший должного окоченения, ясное дело, отправили на хранение в дурдом, от греха подальше. С лечащим врачом мне повезло: веселый такой попался старикан, крупный спец по суициду. Он прозвал меня Одином и после первого же осмотра велел писать стихи. Я думал, шутит или издевается, а это, оказывается, был его излюбленный метод терапии. Дед, когда ему на шею сажали очередного психа, перво-наперво подыскивал какой-нибудь древний миф, наиболее соответствующий проблеме пациента. И метод лечения находил в этом же мифе. Клин клином, так сказать… В частности, всем неудавшимся висельникам он прописывал обязательное ежедневное рифмоплетство. Дескать, ежели повисел на

«древе познания» – будь добр и мед поэзии оттуда с собой захвати…

– И что, помогало?

– Мне говорили, что среди его бывших пациентов не было ни единого рецидива. Ну, не берусь судить: мне-то для полного выздоровления достаточно было выяснить, что в часть я не вернусь ни при каких обстоятельствах… Теперь вы понимаете, почему я охренел от вашей цитаты?

– Да уж. Я бы и сам охренел.

– Я бы с удовольствием списал ваше прозрение на Раисин язычок… Раечка, не дуйся, ты знаешь, как я тебя люблю, и еще ты знаешь, что вполне могла бы составить небольшой заговор – просто ради пущего эффекта, чтобы я оценил твою находку. Но я прекрасно помню, что рассказывал тебе только первую часть этой истории. Подробностей про свой перелет над «гнездом кукушки» я никому до сих пор не рассказывал. Дед велел помалкивать. Боялся, что его за нетрадиционные методы лечения попрут на пенсию. Теперь-то ему уже лет девяносто, если жив, конечно, но я уже привык, что надо молчать…

– Ну и дела, – мечтательно вздыхает Раиса.

Что до меня, я молчу в тряпочку. Влажные ледяные змейки ползут по спине, в ушах – набат, и воздух пузырится с хрустальным звоном, словно бы реальность соткана не из надежной материи, а из капелек холодного стекла, что беспорядочно мельтешат, но каким-то образом остаются на месте. Так всегда случается, если я в смятении, а как еще обозначить нынешнее мое состояние? «Смятение» – это еще мягко сказано.

73. Дурьодхана

Буквально: «с кем трудно сражаться»…

Медленно допиваю джин-тоник, стараюсь успокоиться. Ничего страшного не происходит. И сердечко кроличье напрасно суетится в грудной клетке: от странных совпадений, драматических признаний да потусторонних разговоров пока еще никто не умирал. Разве что второстепенные персонажи ужастиков. Но я-то, хвала Аллаху, не какой-нибудь там «персонаж», я у нас настоящий, мясной, костяной, волосатый, кожаный. Упрямый, как ослиный царь, здоровый, как дикий зверь элефант, с холодным сердцем, горячей головой и грязными после первого рабочего дня верхними конечностями. Живой и хороший.

Осторожно глажу одной рукой другую, дабы убедиться в собственной достоверности. Раиса заинтересованно наблюдает за процедурой.

– Руки у вас красивые, – одобрительно замечает она. – Даже слишком. Пальцы длиннее ладони. Любой хиромант сказал бы, что именно поэтому вы и болтаетесь между небом и землей, не в силах сообразить, что действительно происходит, а что – лишь мерещится, даже если речь идет о жизни и смерти.

– Ну да, вы ведь по руке гадаете, – оживляюсь. – Со студенческих времен, ага?

– Я – типичная шарлатанка со стажем, просто знаю некоторые базовые правила, невелика премудрость… Вы что приуныли-то?

– Да вот, – говорю жалобно. – Ошалел я тут с вами. С чего это мы вообще о смерти заговорили, а?

– Наверное, все дело в названии нашей фирмы, – лукаво предположила Раиса. – Харон, будь он неладен!

Пальцы ее небрежно поглаживают тонкую ножку бокала, а глаза вопросительно шарят по лицу соратника. Тот словно бы вдруг утратил интерес к беседе, с непроницаемой физиономией уткнулся в тарелку. Мне кусок в горло не лезет, а ему – как с гуся вода.

– Ну да, – ворчу. – Кооператив «Харон». Книжки, конечно же, всего лишь прикрытие. Специализируетесь небось на ритуальных убийствах без летального исхода… Обряд инициации, быстро, недорого; приверженцам культа вуду и ВИЧ-инфицированным не беспокоиться – так, что ли?

Вениамин наконец прекращает жевать и тихо смеется.

– Что вы, Макс. Мы не настолько крутые. Просто мы с Райкой, каждый в свое время, чуть было не откинули копыта. Прокатились на Хароновом челне, только билеты у нас были в оба конца, туда и обратно. Так уж получилось. И я уверен, что это – залог нашего успеха. Знаете, ведь человек, который сражался со смертью и выжил, может противостоять чему угодно. Вообще чему угодно, потому что смерть – самый сильный из возможных противников… Вы согласны?

– Да, наверное. Мне и самому порой кажется, что теперь мне сам черт не брат и море по колено, но, в то же время, я очень хорошо представляю степень своей уязвимости. Это ведь просто удивительно, как легко уничтожить живого человека! Столько разных способов,

один другого эффективнее… При моем буйном воображении впору от собственной тени шарахаться.

– Верно, – соглашается Раиса. – И все же лучше осознавать собственную уязвимость, чем нет. Тот, кто предупрежден, вооружен, не так ли?

– Вы так слова подбираете, словно не книжками торгуете, а огнестрельным оружием, – смеюсь. – «Сражаться», «противостоять», «вооружен»…

– Ну, знаете ли… На дружеский саммит млекопитающих жизнь деловых людей и впрямь не слишком похожа…

И что тут скажешь?!

74. Дханвантари

В индуистской мифологии лекарь богов.

– А что, продавцов на лотки вы тоже по этому принципу отбираете? – спрашиваю удивлено. – Чудесно спасенных, полубессмертных?

– Да нет, – вздыхает Раиса. – Берем кого попало. Вы, возможно, еще не поняли, но работа эта не из престижных. Да и заработки не ах.

– Очень даже «ах», – возражаю. – Даже если бы мы с вами сегодня не спорили и вы отдали бы мне только 10 процентов с выручки, как положено, все равно неплохо получилось бы. Я жадный, но даже мне хватило бы.

– Да, но вы первый, кому удалось за полдня продать чуть ли не полсотни книг.

– Полсотни? – оживляется Вениамин. – Ну вы даете!

Я смущенно пожимаю плечами. Было бы из-за чего шум поднимать.

– Он полагает, что это нормально, – объясняет Раиса своему коллеге. – Что так и должно быть. Что я ему книжек мало дала, а то можно было бы и больше продать.

– Ну, значит, в следующий раз дай ему больше книг, – советует он. – И посмотри, что будет.

У меня пылают уши. Не люблю, когда меня хвалят в моем же присутствии. Лучше бы за глаза, ей-богу, очень уж неловко! В школе, классе в шестом, я намеренно перестал учить уроки, поскольку не мог выносить публичных учительских похвал. Если бы не эта му́ка, так бы и ходил в отличниках до победного конца. Но оказалось, что нотации да попреки сносить легче: они меня совершенно не трогали. Как об стену горохом. Пофигу, по барабану, до задницы.

– Прошу прощения, – сочувственно говорит Вениамин. – Вы, наверное, чувствуете себя как дрессированный медведь в окружении зевак. Но мы с Райкой бестактные толстокожие крокодилы, и менять что-либо уже поздновато. Придется вам нас терпеть. Зато с нами просто: что на уме, то и на языке. Никаких намеков, полутонов и задних мыслей. Как в букваре… Вы мне вот что скажите: вы всерьез решили заняться книготорговлей? Или это развлечение на неделю? Только честно скажите, я должен знать, как долго мы можем на вас рассчитывать.

– Ну, все-таки не на неделю, наверное. На пару месяцев, как минимум. А то и больше. Но боюсь, что рассчитывать на меня не очень-то можно. Во-первых, я – типичный спринтер, мне почти любое занятие быстро

надоедает; к тому же я вообще не уверен, что по утрам в моей постели просыпается тот самый человек, который вчера залез под одеяло… Но это ладно, это мои заморочки… Хуже другое: со мной в последнее время то и дело что-то случается, без объявления войны и прочих любовных прелюдий. В частности, еще десять дней назад я даже не подозревал, что когда-нибудь перееду в Москву. Между тем я здесь уже неделю околачиваюсь.

– А возвращаться домой не собираетесь?

– Ни в коем случае. Но от меня, кажется, не слишком много зависит. Поэтому – просто не знаю, – вот вам самый честный ответ на ваш вопрос.

– А вы погадайте, – лукаво советует Раиса.

– По меню, что ли? – ухмыляюсь. – Других-то книг здесь нет.

Чтобы развеселить сотрапезников, открываю объемистый талмуд в темно-вишневом дерматиновом переплете. Указательный палец вслепую движется влево и вверх, скользя по странице. Заранее предвкушаю грядущее пророчество: сейчас выяснится небось, что ближайшее будущее сулит мне не то пьянство, не то обжорство, поскольку кроме названий блюд и напитков в меню ничего нет и быть не может. Открываю рот, дабы огласить свой жребий… и молчу, аки громом пораженный.

– Можно подумать, вы не меню открыли, а «Апокалипсис», – смеется Раиса. – Что вы там нашли?

– Тут написано по-английски: «Welcome», – сообщаю растерянно. – Типа, для иностранных гостей, да? А следующая строчка – по-русски: «Добро

пожаловать». Что ж, если это ответ на мой вопрос… Вероятно, я тут застряну. И будет мне хорошо.

– Вот и славно, – невозмутимо кивает Вениамин. – Мне кажется, вы принесете нам удачу. Скажу больше: в глубине души я надеюсь, что не просто будете продавать по полсотни книжек в день, но и поможете нам понять, почему дела пошли хуже и как нас следует лечить.

– А что, все плохо? – огорчился я.

– Да нет, не то чтобы. Просто… как бы вам объяснить? Понимаете, Максим, осенью, когда мы только-только начинали, наши дела шли не просто хорошо, а фантастически. Все складывалось самым невероятным образом: нужные люди сами нас находили, чиновники принимали без очереди и делали все, что положено, не требуя ничего взамен. Представляете? Так ведь не бывает. Дальше – больше. Знаете, сколько стоит аренда помещения в центре Москвы?

– Небось страшных, нечеловеческих денег?

– Даже раза в полтора больше… Так вот, мой друг уехал в США и оставил нам свою квартиру в Гнездниковском переулке, на первом этаже, идеальное место для офиса и склада – ну, вы же там были, видели. Совершенно бесплатно оставил, только взял с меня слово, что, если ему припечет вернуться в Москву, мы освободим помещение. Но он пока вроде не собирается возвращаться. Прижился, нашими молитвами… И, знаете, если уж везет, так везет. Мы пребывали в состоянии непрерывного изумления. Книги у нас тогда раскупались как горячие пирожки, работники не воровали – ну или почти не воровали… Может, не умели просто? Неопытные были, как и мы сами.

– А теперь научились? – спрашиваю сочувственно.

– Ну да, научились. И вообще в последнее время все уже как-то не так. И продавцы запойные, и товар залеживается, и с ментами то и дело проблемы мелкие возникают… Но это, положим, пустяки. Хуже другое: все уже не в радость. Скучно, хлопотно. Раиса устает как портовый грузчик, а я вообще в офисе почти не появляюсь, ибо лентяй и сволочь. Работаю дома с документами, да на встречи деловые изредка себя палкой выгоняю, когда выхода иного нет… В общем, что-то стало не так. Но вот что? И как это исправить?

– Думаете, я действительно знаю ответы на ваши вопросы?

– Да нет, вряд ли. С чего бы вам знать? Но если захотите, узнаете, теперь я в этом не сомневаюсь.

75. Дьо

Благодаря Дьо боги невидимы людям на земле, он «одевает» их.

И вдруг я понимаю: что-то действительно не так. Но не с книжным бизнесом моих новых приятелей, чьи проблемы, откровенно говоря, не слишком меня впечатляют, а здесь, сейчас, с нами.

Мы ведем себя противоестественно. *«Да нет, вряд ли. С чего бы вам знать?»* – Живые люди так не разговаривают. «Да ни хуя ты не знаешь», – должен бы гоготнуть мой новый знакомый. Ну, или если он, паче чаяния, несокрушимый интеллигент, чья лексика не мутирует даже под тяжким гнетом малого бизнеса, буркнул бы: «Нет» – и дело с концом. Но куда там!

«Теперь я в этом не сомневаюсь», – поди ж ты! Вся наша беседа – фальшивка, липа; мы сидим за столом и говорим друг другу длинные аккуратные фразы, совершенно не похожие на нормальную человеческую речь. Мы следим за мимикой и тщательно исполняем положенные жесты, словно бы где-то рядом развалились в креслах невидимые наблюдатели, для которых наш треп – развлечение, вроде водевиля или бульварного чтива. А мы – что ж, мы просто хорошо делаем свою работу. Отрабатываем некий неизъяснимый, не выражаемый словами, но вожделенный гонорар. Нутром это чую, хоть и не могу аргументированно доказать.

Тогдашнее мое переживание не из числа тех, что поддаются достоверному изложению. Менее всего оно походило на «мысль, пришедшую в голову», или на выверт шального воображения. Просто осенило – и все. Я словно бы вдруг увидел происходящее не изнутри композиции, в центре которой разместился с вилкою в деснице и стаканом в шуйце, а со стороны. С такого ракурса, откуда фальшь очевидна, как рябь на воде, как лиловое на желтом, как визг пилы, заглушивший птичий щебет.

Я судорожно втягиваю воздух. Надо бы сказать этим симпатичным, в сущности, людям, моим новым работодателям (и, возможно, новым друзьям), о своих странных сомнениях. Предложить им немного помолчать, а потом начать все сначала и постараться говорить нормальным человеческим языком, короткими, небрежными фразами, то и дело сбиваясь, повторяясь, запинаясь, перескакивая с одной темы на другую, не заботясь о жесткой внутренней логике диалогов… Но этого я не сделаю никогда, потому что… Почему? А вот

не знаю. Даже подумать боюсь: не приведи господи, догадаюсь.

И тогда я собираюсь с духом и говорю как ни в чем не бывало, что, дескать, поживем – увидим. Про себя отмечаю, что простенькая эта фраза – вполне узнаваемая цитата из исландских саг, и, возможно, именно поэтому она прекрасно вписывается в противоестественную нашу беседу. Аккуратно занимает свое место в разговоре, поскольку скроена в точном соответствии с формой и размерами наступившей паузы. Невидимые наблюдатели вяло аплодируют, развалившись в своих театральных креслах. Все довольны.

Все, кроме меня.

Но я – не в счет.

Поэтому будет лучше, если я просто доем буржуйскую рыбу осетрину и откланяюсь, пообещав посвятить книготорговле некоторую часть своей единственной и неповторимой жизни. И отправлюсь гулять. Не знаю, что со мною творится, но пешие прогулки всегда были полезны для моего душевного равновесия. Возможно, ближе к ночи до меня дойдет наконец, что все удивительно удачно складывается в новой моей жизни. Просто на редкость. Как в сказке про Мальчика-с-пальчик. И нечего ныть.

76. Дэвы

Иногда дэвы вступают в дружбу с героями, помогают им в их подвигах.

Раиса и Вениамин остаются наедине. Черные глаза встречаются с синими, губы приоткрываются словно бы для поцелуя – но нет. Только для диалога.

– Забавный мальчик.

– Даже слишком.

– Он нам нужен, верно?

– Он-то нам нужен. Но вопрос поставлен некорректно.

– Я должна спросить, нужны ли ему мы?

– Вот. Теперь вопрос поставлен корректно. Ответ: вряд ли. Не обольщайся.

– Тогда зачем морочить ему голову?

– Почему нет? Пусть помогает нам в наших подвигах. Он принесет нам удачу. А мы ему – крышу над головой в самом центре Москвы, стабильный заработок и, возможно, кое-какие перспективы. По нынешним временам – вполне адекватный обмен.

– Не спорю… А он странный, правда?

– Достойное пополнение нашей коллекции колоритных персонажей, это да. Считай, обзавелись персональным карманным оракулом… Слушай, а ты представляешь, как теперь упростится кадровая политика? Пусть погадает каждому сотруднику, а мы послушаем и решим, кого оставлять, кого гнать в три шеи. А как легко станет принимать решения! И не только по работе. Теоретически говоря, мы можем даже узнать у него, есть ли жизнь на Марсе. Правда здорово?

– Да уж. Ответы на все вопросы жизни и смерти теперь у нас в кармане.

– За это и выпьем.

– За ответы?

– Нет. За то, чтобы у нас не прошло желание задавать вопросы. Чтобы оно оставалось при нас до самого конца.

– Еще лет двести-триста?

– Умничка моя. Никак не меньше.

Они чокаются. Эти двое не могут прожить друг без друга и дня, но никогда не окажутся в одной постели; даже прикосновения рук строго дозированы: не более двух случайных в день и еще одно намеренное раз в месяц, непременно в полнолуние. Оба полагают, что любовная связь – бросовый товар, а сердечная дружба с привкусом тайной, безнадежной, полудетской влюбленности – единственное сокровище, для охраны которого следует подрядить огнедышащего дракона. Поэтому час спустя Раиса поедет домой, к сыну и мужу, а Вениамин кинет красный деревянный кубик, чтобы решить, к какой из любовниц следует сегодня отправиться. В его нынешнем списке реализованных возможностей на сегодняшний день значится шесть имен, поэтому идея с кубиком напрашивается сама собой. А как еще выбирать?

77. Дянь-му

Считалось, что Дянь-му освещает молнией сердца.

А я иду, шагаю по Москве. Вот уже часа три иду-шагаю в надежде, что дурь как-нибудь сама собой из меня повыбьется, что рассеется почти метафизический

ужас перед бандой «невидимых наблюдателей», каковых я, вероятно, сам же и изобрел, долго ли умеючи… Бреду без цели, щедро расходую на халяву потребленные калории, жду, когда ветер переменится. Рассеянно глазею по сторонам, равнодушно, но внимательно изучаю прохожих, словно бы они – детали мозаики, которую мне вскоре предстоит разобрать, смешать и собрать заново.

И вдруг вижу знакомое лицо. Не просто «знакомое лицо», а много, много больше. Лицо Ады. Серые, круглые глаза, волосы взъерошены, как перья, маленький детский рот кривится улыбкой: правый уголок вверх, левый – вниз. Точно, она. Идет по противоположной стороне улицы в умопомрачительных лиловых лосинах и просторной шелковой рубашке чуть ли не до колен, и я, очертя голову, кидаюсь в поток машин, благо ползут они в этот предвечерний час пик едва-едва и лавировать меж ними – дело нехитрое. Ну, стукнут слегка, ну, обматерят пару раз – переживу! (На сей раз, впрочем, не стукнули, даже обматерить не успели, так стремительно я несся.) «Ада, – кричу, – Ада, ты здесь откуда взялась?»

Не оборачивается. Но мне сейчас плевать, хочет она меня видеть или нет. Важно другое: я хочу, чтобы она меня увидела. Обижаться, грустить, чувствовать себя лишним, назойливым мудачонком будем позже, а еще лучше – вовсе не будем, потому что Ада – вот она: горделивая посадка головы, острые локти, тяжелые бедра, легкая, немного подпрыгивающая походка. «Если ты когда-нибудь увидишь меня на улице, беги навстречу, ори, делай все, чтобы привлечь мое внимание», – попросила она, прощаясь. Ну вот, бегу, ору. (Скандал заказывали? Получите.) Еще пять минут назад я не подозревал, что есть лишь один способ почувствовать

себя абсолютно счастливым: встретить Аду. Теперь я это знаю. Это, кажется, приговор, но мне совсем не страшно. Хуже того, я в восторге.

Настигаю ее наконец, нападаю сзади, обнимаю за плечи.

– Совсем озверели? Руки уберите!

Разворачивается резко, хорошо хоть по роже не заехала; впрочем, руки мои сами собой стекают вдоль туловища двумя вялыми струйками. Боже, какой облом! Не она, не Ада. Просто очень, очень похожа. Фантастически похожа, но все равно не она. Господи, слышишь ли ты меня? Если ты есть, ты предатель, Господи, а если тебя нет… Я так не играю!

Незнакомка молча смотрит на меня, читает с лица партитуру симфонии «Смятение чувств». Ее черты смягчаются. Судя по всему, вид мой сейчас может разжалобить даже распоследнего изувера.

– Вы меня с кем-то перепутали, – не спрашивает, утверждает.

Обреченно киваю, не в силах обсуждать эту тему.

– У вас такое лицо… Мне даже жаль, что я – не она. Но тут я не в силах ничего изменить. Извините.

Голос у нее хриплый, но не резкий. Воркующий, голубиный, клокочущий голос, словно бы невидимая ладошка в плюшевой перчатке нежно гладит барабанные мои перепонки, к ласке не слишком привычные. Не хочу, чтобы она умолкала, не хочу, чтобы она уходила, и не знаю, как предотвратить катастрофу.

– Это вы меня извините, – бормочу. – Напал на вас… Но я был уверен. Вы очень похожи. Настолько, что,

если вы скажете, будто вы все-таки Ада и просто решили сделать вид, что мы незнакомы, я вам поверю.

– Нет, – вздыхает. – Я не Ада. Куда уж мне. Я – Маша… Я пойду, если вы не возражаете?

– Эта женщина, – говорю торопливо, – Ада, за которую я вас принял, живет в другом городе… если она вообще хоть где-то живет. Я не знаю ее адреса и телефона. Мы были знакомы меньше суток. Возможно, она мне приснилась. Не знаю. Я уже ничего не знаю.

– Зачем вы мне это рассказываете?

– Затем, чтобы вы поняли: если теперь мне придется постоянно высматривать в толпе вас обеих, я сойду с ума. Можно сделать так, чтобы вы никуда не уходили? Или, если вам обязательно надо уходить, чтобы это случилось не сразу? Можно?

– Теоретически говоря, можно, – невозмутимо кивает она. – Хотите сказать, вы теряете голову, когда видите женщин такого типа? Интересная инверсия.

– Вероятно, именно так и обстоят дела, – я смеюсь от облегчения, потому что уже понятно: никуда она не уйдет. – Но трудно утверждать наверняка, для этого мне не хватает данных. Таких, как вы, мало. За последние двадцать семь лет вы – вторая.

Е (Ё)

78. Европа

Влюбившись в Европу, Зевс похитил ее…

Мы сидим в полутемном кафе (дорогу показывала Маша, поэтому я сейчас совершенно не понимаю, в какой части необъятного центра Москвы нахожусь, но мне плевать). Можно сказать, я достиг некоторых успехов. Еще по дороге мы перешли на «ты». Маша смотрит на меня скорее с неявной симпатией, чем с явным отвращением; почти все время молчит, но мой треп слушает с удовольствием. Иногда даже улыбается одобрительно – и на том спасибо. Она не отказывается ни от кофе, ни от коньяка; после некоторых колебаний интимным шепотом признается, что вполне способна съесть полкило мороженого за один вечер, и я тут же предоставляю ей такую возможность. Идиллия.

Казалось бы, все идет по плану, и можно расслабиться, предоставив событиям случаться самостоятельно, ибо они знают, как лучше, а я – нет. Можно-то оно можно, но я так и не притронулся к стакану с мутно-красным напитком (что я себе заказал? коктейль? – вероятно); лоб мой пылает, руки холодны и подвижны, как две обезумевшие рыбины, а рот не закрывается. Больше всего на свете я боюсь замолчать. Боюсь, что возникнет пауза и у моей новой знакомой появится возможность спросить себя: «А что, собственно говоря, я делаю здесь, с этим странным типом, и не пора ли мне сматываться?» А я не хочу, чтобы она задавала

себе такие вопросы. Если Маша встанет и уйдет, что мне останется делать? Красться за нею по темным переулкам, подряжать в погоню флегматичного московского таксиста, взламывать кодовый замок подъезда? Глупости какие… Но я понимаю, что готов совершить все эти глупости и множество других, куда более впечатляющих. Потому что…

Ага.

Однажды, давным-давно, две недели и две судьбы назад, я встретил женщину, рядом с которой вдруг понял, что в моей жизни все наконец-то стало *правильно* (а *кто* она, *какая* она, что у нее на уме, на сердце и в прошлом – все это не имеет значения, потому что нас всего двое на этой планете, и всегда было двое: я и она, а больше никого – просто я, дурак, этого не понимал). Но сероглазая убийца по имени Ада велела мне выметаться из ее жизни, «с вещами на выход», а сама отправилась искать Нижний Город, наше с нею общее наваждение, одно на двоих. Это могло бы разбить мне сердце, если бы хоть немного походило на эпизод из настоящей человеческой жизни. Но наша короткая встреча казалась мне лишь обрывком длинного, путаного, почти лишенного связности сновидения, поэтому я просто принялся ждать пробуждения, когда можно будет открыть глаза и просто забыть Аду и всё, всё, всё… Вообще всё.

Но пробуждение не наступало. Казалось, я, напротив, засыпаю все глубже, и пульс, свидетельствующий о жизнеспособности тушки, оставшейся где-то по ту сторону вещей, уже едва различим. И вдруг великодушная Ада посылает мне навстречу свою тень, зазеркальную сестру-близняшку, –

кто я такой, чтобы отказываться от подобных подарков?! И что со мною станет, если я не удержу ее дар в неловких руках?

То-то и оно.

Поэтому когда Маша мягким жестом прерывает мой монолог и встает из-за стола, я, потеряв остатки такта и здравого смысла, вскакиваю, чтобы последовать за нею: на край света или в дамскую уборную – мне все равно. Лик мой, вероятно, страшен и смешон, но она не ужасается и даже не смеется, а кивком подбородка указывает на свою сумку, повисшую на спинке стула. Дескать, вот тебе залог моей верности, никуда я не денусь, поэтому сядь на место и подожди. Вслух же она говорит только: «Сейчас вернусь», и я обессилено шмякаюсь обратно, на свое место. Раздается громкий шлепок, словно кто-то уронил на пол большой кусок сырого теста, и я тихо смеюсь от облегчения, хотя глаза мои почему-то на мокром месте – только этого не хватало!

Впрочем, к моменту возвращения прекрасной дамы я уже в полном порядке. Меня снова можно показывать детям и домашним животным и даже рассчитывать, что сие зрелище доставит им некоторое удовольствие.

– Значит, так, – строго говорит Маша. – Я вполне готова поверить, что ты увидел меня и потерял голову. Так, вероятно, бывает, хотя до сих пор еще ни один мужчина не набрасывался на меня на улице. Ну, лиха беда начало… Но почему, когда я встала из-за стола, у тебя было такое лицо, словно ты сейчас умрешь? Ты что-то говорил о женщине, на которую я похожа. Давай, рассказывай все. Если уж я связалась с маньяком, имею право знать историю болезни.

– Ладно, – говорю. – Будет тебе история, добрый доктор Маша. Начинай щипать корпию.

И вкратце пересказываю ей историю знакомства с Адой. Адаптированную версию, согласно которой Ада – не убийца, а просто женщина, с которой я столкнулся на улице. Бóльшую часть иррациональных обстоятельств, сопутствовавших нашей встрече, я пока тоже оставляю при себе. Дескать, случайные знакомые рассказали, как можно круто переменить судьбу, а поскольку меня терзала депрессия и терять было нечего, я решил тут же проверить: сработает ли? Зажмурился, побежал, ну и, ясное дело, сшиб с ног прекрасную незнакомку… Далее можно обойтись почти без купюр, просто о Нижнем Городе, зловещих Мастерских и мистических троллейбусах нужно болтать поменьше, а вот о внезапно обнаружившемся родстве душ и неожиданном, сумбурном прощании следует рассказывать детально, не брезгуя гиперболами. Пусть ее проймет. Пусть почувствует, как много значит для меня ее внешнее сходство с Адой, пусть знает, что, если уйдет, не оставив ни адреса, ни телефона, ни надежды на новую встречу, я сойду с ума от отчаяния и буду выть на луну, пока не превращусь в серого волка (им, тварям лесным, все же полегче нашего живется: ни тебе роковых встреч, ни тебе разбитых сердец, сплошной основной инстинкт да тайная власть Гекаты, с каковой я, пожалуй, готов примириться…).

Я бы не умолкал до рассвета, но кафе закрывается в полночь, которая каким-то образом умудрилась наступить, поэтому мы выходим на улицу. Нервы мои на пределе, и зубы стучат не от ночной прохлады; защита завершила свое выступление, и сейчас мне вынесут приговор: «Проводи меня до метро», «Поймай мне такси», «Позвони мне завтра», «Все это мило, но мне

пора», «Ты действительно маньяк, и не смей за мной идти», «Если ты ко мне прикоснешься, я закричу» – нужное подчеркнуть.

– Ты действительно маньяк, – говорит Маша. С удовольствием смотрит на мою перекосившуюся от отчаяния рожу и продолжает: – Если ты меня не обнимешь – сейчас, немедленно! – я закричу.

Кричать ей, ясен пень, не пришлось.

79. Единорог

Единорог своим рогом очищает воду, отравленную змеем.

– Слушай, а ты вообще хоть где-нибудь живешь?

– Живу. В Гнездниковском переулке.

– Где-где? – Маша начинает хохотать, да так, что обессиленно сползает на тротуар, и мне приходится приложить немало усилий, чтобы вернуть ее в вертикальное положение.

Прежде чем она задала этот вопрос и получила ответ, мы бродили по городу чуть ли не до рассвета. Я думал, что мы просто гуляем, кружим по ночной Москве в поисках темных закоулков, пригодных для поцелуев (и был так счастлив, что помыслить не смел о большем), а Маша, оказывается, считала, что я веду ее к себе домой и не останавливаю такси только потому, что оставил все деньги в кафе. Щадя мое гипотетическое самолюбие, она не предложила мне финансовую помощь, а мужественно шагала рядом, полагая, что мы медленно,

но неотвратимо приближаемся к моему жилищу, хотя замысловатый маршрут ее, конечно, изрядно озадачивал.

– Это кафе, где мы сидели, оно же в двух шагах от Гнездниковского! Для маньяка ты удивительно застенчив, – отсмеявшись, заключила моя жертва. – Наверное, ты какой-то особо опасный маньяк.

Я восхищенно киваю (сейчас я готов согласиться с чем угодно) и выскакиваю на проезжую часть, отчаянно размахивая рукой, словно этот призывный жест способен породить зеленый огонек такси в глубине совершенно пустой улицы. Она думала, что мы идем ко мне, и не возражала – это не просто хорошо, это слишком хорошо, это настолько прекрасно, что у меня нет ни малейшего шанса сохранить вменяемость. Поэтому, когда Маша говорит, что машину ждать не нужно, до Гнездниковского переулка мы отсюда за четверть часа пешком доберемся, я лишь взираю на нее безумными очами да киваю, как китайский болванчик, но рукой по-прежнему размахиваю, ибо не понимаю уже человеческой речи, и вообще ничего не понимаю, кроме одного-единственного факта: таким счастливым я еще никогда не был, и вот, оказывается, как оно происходит, а я-то, бездарь, двадцать семь лет на свете прожил и не догадывался даже.

– Можно я не буду ничего о себе рассказывать?

– Совсем ничего?

– Ага. Совсем. Ни фамилии, ни адреса тебе не скажу. И про работу ни слова, и про родственников, а? Не буду информировать тебя, где училась, как зарабатываю на жизнь, с кем дружу, где провела

прошлый отпуск… ну, что там еще все друг другу о себе рассказывают? Я не хочу тратить на это слова. Можно я буду девушка без адреса и биографии?

– Странный вопрос. Не захочешь – не скажешь. Пыточную камеру я тут пока не успел оборудовать… А почему ты не хочешь рассказывать? Ты – Мата Хари? И сейчас нас снимают телекамеры всех спецслужб мира? Что ж, надеюсь, тебе не придется краснеть перед коллегами: я очень фотогеничный.

Она тихо смеется, уткнувшись носом в мое плечо. Минуло всего-то полчаса с тех пор, как мы переступили порог моей квартиры (больше всего я боялся заблудиться на радостях где-нибудь в соседнем дворе, но бог миловал). Я только-только успел убедиться, что мы действительно словно бы специально созданы друг для друга, и ни единая телесная подробность не нарушает сей отрадный факт, а это, к слову сказать, редкость: вечно найдется какая-нибудь мелочь, которая раздражает, причиняет неудобство, не дает телу расслабиться, а душе – отлететь. И в итоге заставляет думать, что «настоящая» страсть придет когда-нибудь потом, позже, а сейчас – ничего не попишешь, незначительный эпизод… Но теперь все не так. По отдельности и я, и моя чудесная находка, вероятно, не представляем собой ничего из ряда вон выходящего, но вместе мы – уникальный случай, идеальная пара, высокий образец для начинающего демиурга.

«Все это слишком замечательно, чтобы иметь продолжение», – думаю я, поскольку с детства *приучен* к мысли, что все хорошее быстро заканчивается, воскресенье – самый короткий день недели, праздников

катастрофически меньше, чем будних дней, и вообще, «делу – время, потехе – час», кошмар!

Торопливо возношу безмолвные, но отчаянные молитвы всем дежурным богам: пусть утро не наступает никогда. Пусть всегда будет темно, пусть стрелки часов навеки застынут в нынешней благословенной позиции: маленькая подползает к четверке, большая замерла между восьмеркой и девяткой. Без четверти четыре. Почти. Лучшее время лучших в моей жизни суток. Пусть так будет всегда. Готов дать подписку, что согласен застрять в этом здесь-и-сейчас, добровольно увязнуть в клейкой струйке времени, подобно моим предшественницам, древним мошкам, обладательницам янтарных саркофагов.

– Если бы я была Мата Хари, – говорит тем временем Маша, – я бы с удовольствием выболтала тебе все свои секреты. В том-то и дело, что никаких секретов у меня нет. Только информация, пригодная разве что для заполнения анкет. А зачем тебе моя анкета? Ты уже принял меня в свою жизнь на должность прекрасной незнакомки, и твой отдел кадров не затребовал моих документов. Поздно, проехали.

– Если ты тут останешься, анкета и правда ни к чему. Но если завтра ты вспомнишь, что тебе нужно идти на работу… Или, еще хуже, в какое-нибудь неведомое «домой». И как я буду тебя искать без анкетных-то данных?

– Завтра мне никуда не нужно идти. Тебе, надеюсь, тоже. Завтра суббота.

– Это меняет дело.

Вот теперь стрелки часов могут продолжить движение. Действительно ведь суббота. Этому week-у настал полный end. Как же вовремя!

– Тебе не придется меня искать, – продолжает Маша. – Просто дай мне ключ, и я буду приходить сюда когда вздумается. Возможно, каждый день. Вполне, знаешь ли, возможно: мне тут пока нравится… Если тебе надоест мое постоянство, сменишь замок, только и всего. Гораздо лучше, чем выяснять отношения, правда? При таком раскладе тебе мои анкетные данные не понадобятся. И я могу ничего не рассказывать. Что и требовалось доказать.

– Для тебя это так важно: ничего о себе не рассказывать?

– Очень важно. Ты представить себе не можешь, до какой степени.

– Тогда мои пожелания не имеют значения. Не нужно, не рассказывай. Пусть все будет, как ты хочешь. До сегодняшнего дня все всегда происходило по моему сценарию, и это не сделало меня счастливым… Но почему важно? Или это тоже тайна?

– Нет, что ты. Хотя, если бы ты сам не вел себя сегодня как псих – и правильно делал! – я бы постеснялась. Но тебе, наверное, можно такие вещи объяснять…

– Мне все можно, – подтверждаю с удовольствием. – Объясняй мне *такие вещи*.

– Давным-давно, – нахмурившись, начинает она, – в некотором царстве, в некотором государстве жила-была девочка Маша. И все у этой девочки Маши было в полном порядке. *Все как у людей*. Всегда. Изо дня в день… Но

имелось у девочки Маши то ли апокрифическое шило в одном месте, то ли некая доброкачественная опухоль в правом полушарии, то ли просто генетическое завихрение в хромосомах – бог весть! Была она зело мечтательна, как это у нас, хороших девочек Маш, принято. Хотелось ей, знаешь ли, не то неба в алмазах, не то большой и светлой любви, не то натереться мазью из белладонны и на метле над Плющихой хоть разочек пролететь: вж-ж-жик! А лучше и то, и другое, и третье сразу, и можно без хлеба, ибо он всему голова, а голова в таком деле – помеха… Дай мне воды какой-нибудь мокрой, а то я сейчас разревусь от полноты чувств.

Оперативно исполняю ее просьбу. Молчу, но испепеляю рассказчицу пылким взором, дескать: ну же, ну же! Я весь – внимание, смирение и трепет. Понимаю: одно неосторожное слово, равнодушный взгляд или резкий жест, и она замолчит, а я никогда не узнаю самых важных вещей про женщину, которую встретил несколько часов назад. И будет мне от этого камень на сердце, пустые хлопоты, печаль в доме и прочая пиковая поебень.

– В общем, – Маша ставит на пол опустошенный стакан и меняет тон на более ровный, почти деловитый, – что касается алмазов, белладонны и любви, выходил нашей девочке большой и светлый облом. То есть и тут у нее все было *как у людей*. Пока понятно?

Киваю, не размыкая губ. Что ж тут непонятного?

– Как у всех идеалисток, потрепанных полевой практикой, у меня есть любимая теория, которая объясняет отдельно взятой мне, отчего случились эти самые обломы. Теория моя, по счастью, оригинальнее прочих. Она гласит, что людям не следует сближаться в

мелочах, если они хотят оставаться близкими *по большому счету*. Все еще понятно?

Снова киваю. Как ни странно, мне действительно понятно. Я сам не раз до чего-то в таком роде додумывался. И, ясное дело, никто из окружающих меня не понимал. Поначалу я по этому поводу стенал и жаловался, как это у нас, вступающих в жизнь отроков, принято, а потом благоразумно заключил, что отсутствие взаимопонимания с вышеупомянутыми *окружающими* – это, вероятно, такой специальный сертификат душевного качества: пока вас никто не понимает, можете быть уверены, что вы на более-менее правильном пути.

– И я придумала для себя схему «идеального романа». Вернее, не придумала даже, а слямзила из, прошу прощения, сокровищницы мировой литературы. Все эти истории Пу Сун Лина, в которых лисы-оборотни приходят к одиноким студентам, – ты их читал?

Киваю.

– Правда, прелесть? До тех пор, пока дурак-студент не начинает ныть: «А кто ты такая, откуда взялась да кто твои родители?» Тьфу! Как же я их ненавидела, всех этих алчущих анкетных данных средневековых китайских сюцайчиков… Ясно тебе теперь, с кем ты связался?

– Еще бы, – улыбаюсь. – Именно то, что мне всю жизнь требовалось, средство ты мое гомеопатическое… Но принимать тебя я буду не самыми малыми дозами. Даже не рассчитывай на такую возможность.

– Да я и не… Ну и комплименты у тебя, однако. «Гомеопатическим средством» меня обозвать до сих пор никто не додумывался.

– И не додумается, – говорю. – Никто и никогда. Совершенно исключено. Мои комплименты – эксклюзивный товар… Но ты не отвлекайся. Ты давай, рассказывай дальше. Я, конечно, на лету ловлю, ощипываю, разделываю и поджариваю, но тебе еще рано многозначительно умолкать. Я жду головокружительных историй о похождениях феи-лисы. И имей в виду: я могу быть ревнивым, как рота мавританских душителей, но не к прошлому. Потому что я не очень-то верю в его реальность. Правда, правда: прошлое кажется мне чем-то вроде очень длинного кинофильма – а какое мне дело, что за кино ты смотрела без меня?..

– Да нечего мне рассказывать, – почти сердито говорит она. – Не было никаких «похождений феи-лисы». Ничего в таком роде, одни теоретические мечтания. Мне ведь никогда еще не доводилось влюбляться в человека, который просто подошел ко мне на улице. Возможно, тебе трудно в это поверить, но до сегодняшнего дня я никогда ни с кем не знакомилась на улице. Все мои мужчины с самого начала знали обо мне хоть что-нибудь, потому что мы вместе учились, или работали, или виделись в доме общих друзей… Ну что я тебе рассказываю, сам знаешь: люди знакомятся друг с другом постепенно и берутся за это дело не с того конца. Сначала мы узнаем друг о друге кучу ненужных вещей, а потом почему-то оказывается, что больше и знать-то ничего не нужно, потому что – все. Неинтересно. Да и ни к чему уже… Видишь ли, я всегда чувствовала, что дыхание человека, который удосужился навести обо мне справки и успел познакомиться с моей мамой, подружками по работе и даже соседями по лестничной клетке, отравлено. Пока он рядом, чудеса невозможны, потому что, пока он рядом, я – просто хорошая девочка

Маша, у которой все как у людей, и – никакого неба, никаких алмазов…

– И никакой белладонны?

– Именно. Поэтому ни один мой роман не длился более месяца, да и не так уж много их было, откровенно говоря. Не так много, как могло бы быть, но больше, чем хотелось бы… И вдруг появляешься ты, и не знаешь обо мне абсолютно ничего, и все происходит словно бы само собой и так замечательно, как никогда еще не было, – не потому ли, что ты не отравлен знанием о моих скучных делах? И если так, то какой же я буду дурой, если дам тебе свой адрес и телефон, попрошу встретить меня после работы и предложу познакомиться с родственниками… Нет уж. У меня, можно сказать, мечта в кои-то веки сбылась, не стану я добровольно все портить.

– Ясно, – говорю. – А знаешь что? Ты абсолютно права. Мне нечего возразить. Завтра же попробую сделать для тебя второй ключ, я тут где-то рядом в подворотне видел мастерскую… Только нам все же нужно изобрести способ быстрой связи. У меня ведь даже телефона тут нет. Вдруг ты простудишься и исчезнешь из моей жизни на неделю, а я с ума сходить буду? Или, того хуже, меня хозяин квартиры попросит срочно освободить помещение – что я тогда буду делать? Да мало ли… Придумай какой-нибудь хитрый ход, который не позволит мне ничего о тебе узнать.

– Я подумаю, – сонно обещает Маша. – Думаю, подумаю, что-нибудь придумаю… Но завтра. Ага?

Уладив эту, почти метафизическую, проблему, она расслабилась и тут же стала клевать носом. А через минуту сладко заснула в моем «гнезде» из одеял. У меня

же, ясное дело, сна ни в одном глазу. Облик человеческий теряю от восторга. Даже подумать страшно, как это выглядит со стороны.

До сегодняшнего дня я, откровенно говоря, полагал, что гендерное разнообразие привносит в человеческую жизнь больше проблем, чем радостей. «Радости» – они понятно какие, тут у меня не было никаких существеных возражений. Но при этом, – думал я, – одна вторая часть половозрелого человечества мечется в поисках возможностей приспособить к делу свои первичные признаки, а другая вторая часть тем временем расхлебывает бытовые проблемы, возникшие после того, как оные признаки были благополучно использованы по назначению. Что-то тут не так, – думал я, – какая-то погрешность сокрыта в формуле «М + Ж», некая зловещая собака Баскервилей зарыта на пути носителей хромосом, устремившихся к исполнению приятного биологического долга. Рассуждения мои вполне годились для того, чтобы время от времени шокировать приятелей и (в особенности) подружек, что я и проделывал с неописуемым удовольствием. И вот…

Попал, что называется, под раздачу. Оценил наконец красоту замысла Создателя, разделившего двуногое и бескрылое население земли на два разных человечества. Сижу, обхватив колени руками, гляжу на спящую незнакомку и считаю удары сердца, разгоняющего по жилам кровь, химический состав которой этой ночью претерпел необратимые изменения. А за окном уже светает – ну и пусть. Ничего я сейчас не боюсь и, возможно, никогда уже не буду бояться, потому что терять мне больше нечего: я больше не принадлежу

себе, а другого ценного имущества у меня отродясь не было.

80. Езус

Гневный <…> он требовал жертв…

Когда Маша открывает глаза, я все еще бодрствую. Успел уже углядеть в окне спешащую на работу Раису (в книжном бизнесе суббота – не выходной день, а очередной шанс еще немножко заработать) и сообщить ей, что начну приносить пользу только начиная с понедельника. Она удивилась, но, к счастью, не возмутилась, лишь потребовала, чтобы я придумал какое-нибудь увлекательное оправдание. Дескать, правду ей знать ни к чему, а удовольствие от выступления моего адвоката получить хочется. Я побещал, что не подведу, ибо правда окажется занимательней всех мыслимых фантазий.

И вот теперь главная героиня моей будущей увлекательной истории открывает глаза. Прекрасные, разумеется. Но пока еще очень сонные.

– Оказывается, ты мне не приснился, – радуется. – Это хорошо… А ты всю ночь не спал?

– Сколько там той ночи… Не забывай: я же маньяк. Особо опасный.

– Маньяк – это и вовсе прекрасно. И не пристаешь ко мне с утра пораньше, не дав глаза продрать, – цены тебе нет! Знала бы раньше, бродила бы ночами по Москве в поисках симпатичных маньяков. Хороший вы народ. Душевный.

– Будешь издеваться, начну приставать с утра пораньше, – честно пригрозил я. – Страшно?

– Честно? Не очень… Слушай, а мне такая странная фигня снилась… Про тебя. И про меня. Получается, что про нас.

– Порнография? – спрашиваю заинтересованно, поскольку твердо вознамерился привести в исполнение свою «не очень страшную» угрозу: в таком деле похвала за бездействие – сомнительный комплимент.

– Нет… учти, мне сейчас только щекотно, а вовсе не… И еще учти: я очень хочу рассказать тебе свой сон, но не могу найти нужные слова. И, что еще хуже, стесняюсь.

– Ну, это уже точно перебор, – вздыхаю. – Не нужно меня стесняться. Я – «свой». Хороший, пушистый и совершенно безопасный. Честно.

– Пушистый и безопасный? Это уже какой-то хомяк в презервативе получается, – вдруг начинает ржать она.

Знакомая реакция: я и сам начинаю шутить ниже пояса и гоготать не к месту, когда смущен. Словно бы в расчете, что выпущенный на свободу толстокожий балагур займется всеми текущими делами. Поэтому я понимающе улыбаюсь:

– Ну да. А кому придет в голову стесняться хомяка в презервативе?

– Ну, если так… Сам виноват. Слушай же. Снился мне сон, в котором почти ничего не происходило, зато я каким-то образом узнавала там всякие странные вещи. Там, во сне, это казалось мне совершенно естественным:

ну, открылись мне некие тайны, и что с того? Но теперь вспоминаю – мороз по коже! Знаешь, как это бывает?

Киваю. Все-то я знаю. И про странные сны, и про «мороз по коже». Что касается последнего, о нем я, пожалуй, знаю даже слишком много. Экзамен могу сдавать на звание магистра этого клятого мороза. Эх!

– Я сейчас уже мало что помню из тех сонных знаний. Но про нас с тобой почти ничего не забыла. Такое забудешь, пожалуй… В том сне – только не смейся, если ты засмеешься, я сгорю со стыда, и тебе придется сметать с одеяла пепел – я знала, что мы с тобой уже много раз были знакомы и еще будем… Нет, не в каких-нибудь «прошлых жизнях». Вообще, ни прошедшая, ни будущая формы глаголов тут не подходят. Все гораздо сложнее. Эти жизни происходят не последовательно, а одновременно. И именно с нами, а не с какими-нибудь нашими двойниками. Ой, Макс, я совсем запуталась. Не могу объяснить. Помоги мне!

– Die Schicksalkreuzung, – медленно, как во сне, говорю я, изумляясь тому, что вот ведь сумел вспомнить мудреное иноземное словечко.

– Что?!

Так, одна анкетная подробность у нас уже имеется. Немецкого она не знает. Как, впрочем, и я. Полтора слова – невелик лексический запас.

– Schicksalkreuzung, шик-зал-крой-цунг, – повторяю старательно. – Это можно перевести как «перекресток судеб». Или «судьбокресток». Таинственная область бытия, где жизнь может пересечься не с чужими судьбами, а с собственными, но несбывшимися или недосбывшимися – не знаю, как сказать. Этот термин

изобрел некий немецкий писатель по фамилии Штраух. Я его не читал, его и на русский-то не перевели пока, но мне рассказывали… И еще. Та самая Ада, за которую я тебя поначалу принял, говорила, что у всякого человека несколько жизней. Одна сбывшаяся, остальные – несбывшиеся, про запас. Чтобы было, дескать, о чем выть зимними ночами… Но тут она как раз маху дала: насколько я заметил, зимними ночами никто особо не воет, все больше пищу переваривают у телека. Молча.

– Заметил он, видите ли! – внезапно возмущается Маша. – Пищу переваривают, нехорошие люди, выть не желают, понимаешь… Не перегибай палку.

– Ладно, – соглашаюсь. – Был дурак, исправлюсь. Перегнул – значит, в следующий раз недогну, не сердись. Ты мне лучше про сон расскажи еще. Как там все было?

– Там все было очень странно, – вздыхает. Трет ладошкой лоб, словно бы надеясь, что массаж оживит умственную деятельность. – Я словно бы присутствовала во всех этих своих жизнях, но лишь отчасти, как наблюдатель. Это были странные жизни: в нескольких я была убийцей – это я-то, для которой комара прихлопнуть – подвиг! – и еще кем-то я была… да, и почему-то я умела превращаться в птицу. Правда, не всегда. В некоторых случаях я только помнила, что когда-то раньше могла стать птицей, а теперь – нет, не получается… Бред, да? И самое главное. Везде рано или поздно объявлялся ты, и это было очень здорово, но почему-то быстро заканчивалось. А мне казалось, что все правильно, так и надо, иначе быть не может, потому что человек по природе своей – одинокое существо, а мы с тобой вроде как нарушаем это общее правило… Но и тоскливо мне становилось, это правда. А с другой

стороны, я знала, что мы еще не раз встретимся, потому что, кроме этой судьбы, есть еще и другие, и можно менять их, как платья. Вернее, как белье: слишком уж плотно прилегают они к телу, принимают его очертания и впитывают запахи… Я чушь мету, да? Но другими словами не получается. Вот что значит – заснуть в постели маньяка! Я должна была предвидеть, чем это закончится.

– Это закончится тем, что я поведу тебя завтракать, – решительно заключил я. – И знаешь что? Все, что ты рассказала, меня и радует, и пугает безмерно. Сон твоего разума породил теплую компанию чудовищ, которые вполне могут меня сожрать. Они пришли издалека, они давно охотятся за мной, они разгневаны и требуют жертв. Они здорово проголодались, эти чудовища. Мы с тобой, впрочем, тоже. Поэтому я просто поведу тебя завтракать. И мы пока не будем больше говорить о твоих снах, ладно? А то я свихнусь.

81. Ел-Да

От удара его посоха дрожит весь мир.

– Верю, – соглашается Маша. – У тебя совершенно сумасшедшие глаза. Слушай, неужели ты считаешь, будто все, что мне приснилось, это… больше чем просто сон?

– Боюсь, что так.

«Боюсь» – еще слабо сказано. Я пока держу себя в руках, но, честно говоря, мне совсем хреново. Этот странный дядька в поезде грозился, что чудеса, дескать,

могут внезапно закончиться, и тогда мне придется за ними побегать. Ага! Какое там «побегать»… И ведь, казалось бы, отыскал человек наилучшее лекарство от метафизической неразберихи: влюбился по уши, с первого взгляда, как герой бесхитростной молодежной мелодрамы, в тот же миг заполучил вожделенную персону в постель, мне бы сейчас вообще ни о чем, кроме собственных гениталий, вспоминать не положено – теоретически. У нормальных людей, насколько мне известно, именно так и происходит. Но у меня все через задницу. Теперь вот и Машенька, зайчик мой солнечный, едва глаза продрав, вываливает на меня пугающую мутную тину своих сновидений – и ведь ни отмахнуться, ни пропустить мимо ушей, ни успокоить ее ласково-равнодушной банальностью: «Чего только не снится людям» – не могу. Куда там! Врать я, конечно же, умею, но не здесь и не сейчас.

– Но это же… Если бы… О, было бы прекрасно! – восклицает Маша. – И не смотри на меня так, я не привидение. Ладно, ладно, я больше не буду говорить на эту тему. Правда не буду! Только задам тебе еще один вопрос. Всего один, хорошо? У меня есть возможность определить, чушь мне снилась или не чушь, и я должна это сделать немедленно, чтобы знать, как теперь быть: махнуть на все рукой или призадуматься. Но без твоей помощи ничего не получится. Ты мне поможешь?

Кажется, я уже знаю, что сейчас будет, и от этого знания дрожит и пузырится воздух, но я стискиваю волю в кулак, так что из нее брызжет сок, застегиваю душу на все пуговицы и молча киваю.

– Эта женщина, с которой ты меня перепутал, Ада… Ты вчера рассказал мне не всю правду, да?

– А что, – спрашиваю, едва разомкнув одеревеневшие губы, – она тебе тоже снилась?

– Сначала скажи: вы действительно познакомились на улице или дело было иначе? Ты помешал ей совершить убийство? Но она почему-то не рассердилась, да?

– Она слишком удивилась, чтобы сердиться, – отвечаю. – Тебя это шокирует, да? Что я перепутал тебя с убийцей? Я так и думал. Поэтому, собственно, и…

– Меня, – очень тихо и твердо говорит Маша, – шокирует совсем другое: эту подробность я тоже узнала во сне. В том эпизоде, где эта твоя загадочная Ада была просто одной из моих жизней. И я до сих пор помню, почему и зачем она убивала людей, хотя смириться с тем, что это теперь мои воспоминания, мне пока непросто. Вот так-то… Это кто из нас еще маньяк?

– Оба хороши, – резюмирую. Вернее, резюмирует мой автопилот, сам я уже давно тих и нем, ибо оглушен и зачарован грохотом мира, в очередной раз обрушивающегося мне на голову.

– Все, Макс, больше ни слова не скажу, на тебя смотреть страшно, – виновато шепчет она. – Не нужно умирать, ладно? Я только-только в тебя зачем-то влюбилась – и что, прикажешь сразу в Аид за тобой топать? Как верная индийская жена? Не-е-етушки, обойдешься. Ничего не выйдет: я не жена, не верная и даже не индийская. Лучше и правда веди меня завтракать. Полчаса уже грозишься.

– Что-что? – переспрашиваю изумленно.

В ее монологе прозвучало одно очень интересное сообщение. Настолько интересное, что я предпочел не

выпендриваться, быстренько прийти в себя и укорениться разумом в текущей реальности, раз уж она столь прекрасна и удивительна.

Вот. Наконец-то. Молодец. Всегда бы так.

– Повтори, что ты сказала, – прошу. – Только не про индийскую жену и не про Аид, а вот как раз перед Аидом…

– Не выдрючивайся, – сурово говорит Маша. – Все ты прекрасно слышал. Да, я, наверное, немножечко в тебя влюбилась. Самую капельку. Ну и что теперь?

– А теперь, – отвечаю, – мы будем жить долго и счастливо. И умрем в один день, лет через пятьсот, и попадем в двуспальную нирвану, но я так никогда и не узнаю, как твоя фамилия. И с мамой твоей не познакомлюсь, даже если предположить, что у волшебных видений бывают мамы… Как тебе такая перспектива?

– Интересное предложение. Я подумаю. И лет через двести дам окончательный ответ. Судя по твоим прогнозам, спешить нам особо некуда.

82. Еминеж

…обладает необыкновенной <…> силой, но глуп.

И мы живем долго и счастливо все лето и еще кусочек осени. И случается множество событий, хороших и разных, а я их почти не замечаю; они проходят сквозь меня, но не задевают. Так течет в сумерки заоконный пейзаж сквозь отражение приникшего к стеклу пассажира освещенного купе или автобусного салона:

картинки словно бы совмещаются, но находятся в разных измерениях, и консервная банка, на миг утонувшая в глазном яблоке, не причиняет ему вреда, и древесная листва скользит по лицу, не оставляя аромата на коже…

Я, наверное, изрядно поглупел от счастья, и это пошло мне на пользу, ибо скверные мысли покинули мой корабль первыми, а прочих, оказывается, и не было почти. Дуракам везет: дела теперь улаживаются сами собой, работа горит в руках, да и предсказания мои продолжают сбываться с пугающей точностью (но себе я больше не гадаю, благо вопросов больше не имеется, а перемена участи мне явно ни к чему). Любой пустяк получается с первой попытки, бутерброды не только падают маслом вверх, но даже зависают в двух сантиметрах над полом, а мое обаяние действует на все, что шевелится, включая стражей порядка и работниц торговли, на коих допреж не распространялось. Карьера и та зачем-то пошла в гору, хотя, бог свидетель, я его об этом не просил. Я сам не заметил, как из рядового коробейника превратился – страшно сказать – в некоего таинственного «менеджера», ибо боссы, легкомысленно уверовав в какое-то мое пророчество, погрязли в спекуляциях компьютерами и решили, что я вполне могу пока приглядывать за их макулатурным бизнесом.

Кажется, я могу абсолютно все, даже перевернуть мир, пожалуй, хватило бы сил, но я ничего не предпринимаю, потому как ничего мне не нужно. Самая потрясающая женщина в мире (единственная женщина в мире, прочие – призраки) почти каждый вечер открывает своим ключом мою дверь – чего ж мне еще?

83. Ендон

Прячется за самой большой балкой в доме в течение 2-й луны, строго следя за чистотой и всячески препятствуя любому проявлению нечистоплотности, угрожая в противном случае пожаром.

И только одно беспокойство нарушает блаженное мое существование. Некий невидимый умник нашептывает порой, что сей кайф дарован мне в безвозмездное пользование, но словно бы с условием: вести себя *правильно*. Единственная ошибка, и лучший из карточных домиков во вселенной не просто рухнет, а вспыхнет (уж не синим ли пламенем?) и сгорит в считанные мгновения.

Ужас в том, что я не знаю, как «правильно». Остается лишь уповать на удачливость моего внутреннего дурака да трепетать ежевечерне от радости, что вот, оказывается, еще один день был прожит в полном соответствии с *правилами*, которых я не знаю, но, по счастью, угадываю, и сладостный звяк ключа в моем замке – наилучшее тому подтверждение.

84. Ёрд

В одном из преданий Ёрд имеет облик мужчины, живет в скалистых горах, в пещере, из которой исходит сияние.

В середине сентября, когда ветер холоден и влажен, как русалочье дыхание, а всякий солнечный день кажется веской причиной отложить текущие дела на

пасмурное «потом», я бросил полупустой старый рюкзак, две сумки с вещами, тугой узел одеял и коробку с книгами – весь свой нынешний скарб – на заднее сиденье специально вызванного такси. Осень – время покидать насиженные места.

Я переезжал на новую квартиру не без некоторых опасений: когда жизнь столь прекрасна и удивительна, страшно что-либо менять. Спрятать бы себя под колпак, дабы ни единая пылинка не нарушила нежное равновесие, запечатать сургучом, законсервировать и не подходить, не трогать, даже не дышать – эх, да кто ж мне даст!..

Я бы, пожалуй, и не оторвал задницу от теплого насеста в Гнездниковском переулке, но Маше надоело сообщаться со мною при помощи записок, каковые мы поначалу, в лучших традициях отечественной литературы, прятали в некое заветное древесное дупло, а позже стали передавать друг другу через Сашу и Лешу, прирученных барменов из нашего любимого кафе. Эпистолярный жанр моей даме быстро наскучил, и она весьма настойчиво требовала, чтобы я нашел себе новое пристанище, хоть в птичьем гнезде, но непременно с телефоном. Даже подарила мне импортный аппарат с автоответчиком, коему предстояло записывать наши голоса; оставалось лишь обрести соответствующую розетку и подключить полезную машинку.

А тут еще и хозяин жилплощади повадился ежеутренне мяукать под окнами в надежде получить от меня очередной аванс и немедленно совершить священный обряд опохмелки. Поскольку я непрестанно пребывал в добродушном расположении, сесть мне на голову и свесить ножки оказалось проще простого, так

что я уж и не знал, как теперь избавляться от общительного лэнд-лорда.

Квартиру на сей раз я нашел сам, как водится, почти случайно. Гуляя по Старомонетному переулку, залюбовался светло-бирюзовым домом с мансардами под крышей; влекомый не столько любопытством, сколько своего рода магнитным притяжением, забрел во двор, где разговорился с пожилым аборигеном. Тот оказался моим коллегой-фотографом; то ли внутрицеховая симпатия, то ли общительный нрав побудили его сообщить мне, что одна из мансард сдается в аренду сроком не менее чем на три года. Поскольку в те дни мне удавалось абсолютно все, познакомиться с владельцем пустующего помещения, осведомиться о наличии телефона и горячей воды, договориться о размере месячной платы, объеме аванса и дате переезда оказалось делом одного часа. В результате переговоров я обрел огромную, как мне тогда казалось, пустую комнату площадью около сорока квадратных метров, с довольно низким (всего два пятьдесят) потолком, тремя роскошными окнами, крошечной душевой кабинкой и вожделенной телефонной розеткой. Лифт останавливался в метре от входной двери, лестницы же поблизости не было: чтобы подняться в мансарду пешком, требовалось черным ходом проникнуть в длинный темный коридор соседней квартиры, сделать сорок осторожных шагов, пройти мимо доброй дюжины тонких фанерных дверей, ведущих в мастерские художников, которые, подобно моему хозяину, по большей части работали (или бездельничали) дома, а полезные помещения выгодно сдали жильцам. Потом следовало пересечь огромное помещение, бывшее когда-то коммунальной кухней, но давно уже варварски

опустошенное предприимчивыми временными обитателями. Доблестный скаут, сумевший обнаружить в одной из закопченных стен маленькую металлическую дверь и способный справиться с ветхим замком капризного нрава, обретал наконец счастливую возможность отсчитать девяносто шесть ступенек и вырваться на волю, в неухоженные каменные пампасы Замоскворечья. Сей сложный ритуал требовалось исполнять всякий раз, когда лифт отказывался отправлять свои служебные обязанности, – то есть почти ежедневно. Но меня это не остановило, ибо Маша, выслушав мой подробный отчет, жилье одобрила, после чего перспектива провести здесь не менее трех лет стала выглядеть чертовски соблазнительно.

В первый же вечер я встречал Машу у подъезда, благоразумно решив, что начинать новую жизнь следует с изучения «темного пути» в мое заоблачное жилище. А то ведь знаю я эти лифты: завтра же и сломается негодное сооружение, и будет моя чудесная гостья растерянно нарезать круги по двору да безуспешно метать камешки в окна моего приватного Поднебесья. Нет уж, и экскурсию проведу, и схему маршрута нарисую, если понадобится. Не нужны мне всяческие досадные недоразумения!

– Где твои окна? – спросила она, не успев еще приблизиться ко мне на расстояние протянутых рук.

– На самом верху, под крышей, должны светиться три окна, – говорю. – Они – мои. Я специально свет не гасил, чтобы тебе их показать.

– Значит, у тебя перегорела лампочка. Там все окна темные.

Гляжу – действительно темные. Ну и ладно, переживу. Лампочка – не самая важная вещь в хозяйстве человека, успевшего запастись коробкой свечей. Но через пять минут, когда мы, изрядно запыхавшись, преодолели черную лестницу, пустые коридоры, дверные замки и вошли наконец в мою пещеру, яркий прожектор под потолком сиял, как Вифлеемская звезда. В противоположном углу истекала медово-желтым сиропом настольная лампа, установленная в изголовье моего спартанского ложа. С меня бы сталось не обратить на эту несуразность никакого внимания, но Маша не на шутку заинтересовалась происходящим.

– Смотри-ка, – говорит, – ничего у тебя не перегорело. А с улицы света в окне не было видно… Ты не перепутал? Может, у тебя просто окна на другую сторону дома выходят?

– Да нет, тут сложно перепутать. Я же полдня из этих окон пейзажем любовался. Пустырь с живописными кирпичными руинами здесь всего один.

– Этот? – выглядывает.

– Ага.

– Действительно сладостные руины… Слушай, а давай теперь быстренько на лифте спустимся, проверим еще раз: светятся окна или нет. Ага?

Ну, дурное дело нехитрое. Спускаемся на лифте, смотрим на окна. Темные. Переглянувшись, возвращаемся. Свет горит.

– Ничего не понимаю, – признается Маша. – Ну-ка, давай теперь я спущусь вниз одна. А ты сиди тут и смотри за лампами. Может, они у тебя моргают.

Через две минуты возвращается, глаза круглые, как у совы.

– Свет горит, Макс. Но это какой-то странный свет. У тебя лампы желтоватые. А снизу окна кажутся бледно-зелеными, как грибы-поганки… Ну-ка давай еще раз спустимся, вместе. Чтобы убедиться…

– В чем убедиться?

– Не знаю. Хоть в чем-нибудь.

Выходим на улицу, задираем головы. Окна снова темные. Маша нервно смеется, я криво улыбаюсь. Тоже мне светомузыка!

– Так, – решает она. – Сейчас я поднимусь, а ты стой здесь, смотри. Проверю, что там с лампами, помашу тебе из окна. Ага?

Покорно киваю, хотя, дай мне волю, я бы исследованиями не занимался. Ну их. Пусть все идет как идет, нечего лезть грязными руками в тонкий механизм бытовых чудес и прочих вселенских несообразностей. Но Маша жаждет знаний, полученных опытным путем, и я остаюсь на улице. Смотрю на свои темные окна. Вижу, как пространство за стеклами вдруг набухает теплым абрикосовым светом. Это что же творится, леди и джентльмены, граждане дорогие? Таких оранжевых ламп не только у меня в заводе, их, возможно, и в природе-то нет… В окне тем временем появляется растрепанная головка храброй исследовательницы аномальных явлений. Белые рукава ее свитера исполняют призывные жесты, и я иду к лифту. Поднимаюсь. Комната, ясное дело, освещена самым обыденным образом.

– Ну что, был в окнах свет, когда я выглянула? – нетерпеливо спрашивает Маша.

Киваю.

– И когда он появился? В тот момент или чуть раньше? Или когда я в подъезд зашла?

– Свет появился за несколько секунд до того, как ты открыла окно. Как будто ты зашла и щелкнула выключателем… Я и сам знаю, что ты не щелкала. Потому что это был какой-то не такой свет. Не тот, что сейчас, а оранжевый. Клевое, кстати, освещение. Я таких ламп даже в барах не видел.

– Ну дела, – восхищенно вздыхает Маша. – Получается, ты увидел свет в окне, когда я вошла в комнату. И получается, я видела светящиеся окна именно потому, что ты остался дома. Макс, твои лампы ни при чем, их с улицы почему-то совсем не видно. Эти окна светятся, только если в доме кто-то есть! Поэтому и оттенки света разные. У каждого – свой.

– У каждого – свой? – переспрашиваю растерянно. – Как это?

– Думаешь, я знаю? Это же просто гипотеза. С другой стороны, а как еще все объяснить? У тебя есть идеи?

– Какие уж тут идеи…

Потом мы долго сидим на полу, обнявшись, и молчим от полноты чувств. Маленькое чудо, явленное нам, меня почти не тревожит. Жаль только, что я никогда не смогу увидеть оттенки оконного света, когда в помещении находимся мы оба, Маша и я. Уверен, что это изумительное зрелище.

85. Есь

У Еся семь мыслей, соответствующих семи кругам верхнего мира и семи мыслям и душам каждого человека.

Порой мне кажется, что у нас мало, очень мало времени. В этом ощущении нет апокалиптического привкуса, оно порождено скорее повседневной спешкой и суетой, чем мрачными предчувствиями.

Мы слишком поздно засыпаем, а потому чуть ли не всякое утро начинается с панического взгляда на плоский циферблат часов, смятенной беготни по периметру комнаты, шаманских завываний над электроплиткой, где томится наша порция утреннего кофе, и хаотических поисков предметов гардероба.

Мы любим встречаться в самом начале вечера, и рабочий день (мой, по крайней мере) протекает в лучших традициях «Формулы-1»: развиваю максимальную скорость, не торможу на виражах, ем на бегу и даже в уборной просматриваю счета, дабы не транжирить попусту драгоценное время. И все это ради того, чтобы прийти к финишу на семнадцать минут сорок восемь секунд раньше, чем было запланировано. Впрочем, оно того стоит.

На закате же нас бьет озноб: мы понимаем, что до утра осталось совсем немного, и стараемся втиснуть в этот единственный (всегда – единственный) вечер как можно больше улиц, интерьеров, слов, жестов, поцелуев, прикосновений и прочих прекрасных подробностей.

Поэтому я и не могу избавиться от ощущения, что у нас очень мало времени. Все – на бегу, на лету,

вприпрыжку. Пульс мой даже во сне бьется со скоростью сто сорок ударов в минуту, а температура тела поднялась на полтора градуса, теперь моя норма – тридцать восемь и один; ноздри вечно раздуты, как у пошедшего на третий круг иноходца, а полы плаща разлетаются, даже когда я стою на месте. Я физически ощущаю течение времени, кажется, я и сам теку вместе с ним, и когда время *закончится* (ведь то, чего *осталось мало*, не может не закончиться), вместе с ним закончусь и я.

У нас почти не осталось времени, но мы тратим немалую его часть на разговоры. И, вероятно, правильно делаем.

Есть всего три подобающие темы для собеседников, у которых очень мало времени: смерть, сон и текст.

Смерть – наше общее будущее, от которого, пожалуй, никому не отвертеться.

Сон – самый общедоступный опыт небытия, но мало кому достает мужества признать эти путешествия на изнанку мира не менее важной частью жизни, чем бодрствование. (В самом деле, не странно ли, что всем без исключения необходимо ежедневно отлучаться из обитаемой реальности в какое-то иное пространство, но при этом каждый спешит пренебрежительно заверить остальных, что отлучки эти не имеют никакого значения, а сновидения бессмысленны и брать их в расчет – глупость, если не безумие?)

Текст – наша общая плоть; порой мне кажется, что ткань человечьего бытия соткана из той же материи, что и книги: из слов. (В начале было Слово, не так ли? – и еще вопрос, воспоследовало ли за ним Дело, или было решено, что сойдет и так…)

И есть три вещи, о которых не следует говорить ни при каких обстоятельствах, даже тем, кто уверен, будто времени впереди хоть отбавляй: любовь, свобода и чужая глупость.

О любви следует молчать, поскольку скудный набор слов, предназначенных для ее описания, изношен до дыр задолго до гибели динозавров, и теперь эти вербальные лохмотья способны лишь испортить впечатление, если не вовсе его загубить.

О свободе говорить и вовсе бессмысленно: никто толком не знает, что это такое, но всякий рад представиться крупным специалистом по данному вопросу. Среди любителей порассуждать на эту тему я не встречал ни единой души, имеющей хотя бы смутное представление о предмете разговора. Кто знает – молчит, пряча жуткое свое сокровище на самом дне глазных колодцев.

Что же до чужой глупости – предмет сей изучен нами даже слишком хорошо. Толковать о нем чрезвычайно приятно, но опасно, ибо слишком велик соблазн поверить, что сам ты и впрямь не таков, как прочие; нашептать себе, будто благополучно удаляешься на индивидуальной спасательной шлюпке от давшего течь «корабля дураков», на борту которого помещаемся мы все без исключения.

И есть еще одна тема, касаться которой то строго запрещено, то совершенно необходимо. Мы почти не смеем говорить о чудесном. Но иногда… о, иногда оно само заявляет о себе, не брезгуя никакими средствами оповещения. В том числе и нашими устами.

86. Ёукахайнен

Ёукахайнен выдает себя за мудреца времен творения мира…

Но это лишь в теории у меня так складно получается, а на практике я болтаю безостановочно. Обо всем понемножку.

Дареный телефонный аппарат оказался славным сожителем: щедрым лишь на добрые вести, тихим и безотказным. Он почти не звонит, а каждый звонок – радость, поскольку номер его известен только Маше (ну и, конечно, хозяину квартиры, но тот вряд ли побеспокоит меня в ближайшее время, поскольку я заплатил за три месяца вперед). Даже Раиса и Веня не знают, что у меня теперь есть телефон. Не потому, что их общества мне вполне хватает на работе; не потому даже, что дома я слышать ничего не желаю о служебных проблемах. Просто это нехитрое средство связи кажется мне сейчас чем-то вроде особого приспособления для любви, вот и не хочется использовать его по иному назначению.

Маша звонит мне ежедневно, иногда несколько раз в день, и каждый вечер я могу слушать ее голос, даже если неотложные дела, усталость или каприз помешают ей переступить мой порог; по утрам же я всякий раз наговариваю на автоответчик новое приветствие для нее, нередко чересчур многословное, благо эта машинка способна сделать запись почти любой продолжительности. Есть вещи, которые почему-то не выговариваются на публике, даже наедине с единственным человеком – не выговариваются, и все тут!

Только оставшись наедине с собой, в комнате без зеркал, можно понемножку избавляться от слов, облепивших сердце, подобно колонии мидий. Крошечный микрофон дает шанс собрать урожай этих расплодившихся моллюсков, обзавестись желанным свидетелем моей болтовни, который, впрочем, услышит меня лишь после того, как я умолкну. И это славно.

Вчера, – рассказывал я 24 сентября 1992 года, – *какая-то старушка в булочной обозвала меня пижоном, вдохновившись не то брусничным оттенком моего плаща, не то формой твоих любимых солнцезащитных очков (кстати, и не надейся, что я верну их тебе в ближайшее время: во-первых, они дают мне возможность смотреть на мир как бы твоими глазами, а во-вторых, я в них неотразим). И стало мне хорошо, и ушел я вприпрыжку, прижимая к груди увядающий батон. А потом я спросил себя, почему так обрадовался этому упреку, и, кажется, нашел ответ. Я и правда хочу быть (или хотя бы слыть) пижоном, поскольку в глубине души уверен, что отчаянное, упрямое сопротивление миру – это и есть пижонство, самая редкая и благородная его разновидность. Возможно, самая опасная, но единственная сулящая надежду. Можно перевернуть мир, не имея даже пресловутой «точки опоры», – из чистого пижонства. Ага?*

Когда я был настолько мал, что еще не научился прогуливать уроки, я ненавидел воскресные утра, – диктовал я воскресным (а как же!) утром 27 сентября. – *Понедельники, вторники и прочие будние дни я принимал со смирением стоика; субботние вечера*

обожал, а вот воскресные утра ненавидел, не умея объяснить почему. Теперь могу, пожалуй. Воскресное утро, солнышко, сулит свободу, которой невозможно воспользоваться… Нет, даже не так. Оно обещает свободу, которой вовсе нет. Свободу, которая на самом деле является всего лишь короткой передышкой. Воскресное утро куда более лживо, чем утро любого другого дня недели. Планам, рожденным при свете воскресного утра, не суждено осуществиться. Скажу больше: в детстве я обнаружил, что воскресенье гораздо короче любого буднего дня. Это противоречит законам природы, однако это так. В воскресенье бег времени ощутим почти физически. Оно уходит, удержать его невозможно, как невозможно удержать в руках ветер…

Сегодня я вернусь домой очень поздно, – меланхолично сообщал я на следующий день, 28 сентября. – *Это скверно, но ничего не попишешь: Раисе под хвост попала изрядных размеров вожжа, и она твердо намерена созвать совещание, то бишь тихую высококалорийную пьянку в какой-нибудь новорусской забегаловке. Я же у нас – не только самый красивый мужчина в мире (ведь правда?), но и скромный заместитель нашей макулатурной царицы, а посему не имею никакого морального права уклониться от участия в оргии. К слову сказать, мне всегда казалось, что заместитель – очень правильная должность, именно то, что требуется джентльмену вроде меня. Прекрасная возможность быть не «кем-то» и не «собой», а просто функцией. Возможность играть в чужую игру вместо того, чтобы хмурить лоб над собственной партией. Может статься, дни, прожитые не в качестве «кого-то», а в должности заместителя, не вычитаются из жизни.*

Следовательно, они ее продлевают. Вот такая хитроумная теория, из которой должно сделать вывод, что я умею неплохо устраиваться.

Солнышко, сегодня первый день октября, а я, вероятно, встал не с той ноги, ибо в голове моей снуют сердитые мысли. Например, о мифах, что впаривают нам с раннего детства в качестве основополагающих аксиом геометрии бытия. Один из самых нелепых – миф о вреде эгоизма. Считается, что жить ради собственного удовольствия – «плохо». Родители, словно бы задавшись целью воспитать для себя более-менее сносный обслуживающий персонал, внушают маленьким человечкам, что следует посвятить свое существование другим высокоразвитым белковым организмам, каковые не способны порадовать себя самостоятельно (поскольку, ясное дело, тоже поглощены чужими заботами). Общеизвестно ведь, что заниматься чужими делами много проще, чем собственными, поэтому все, включенные в порочный круг неустанной озабоченности друг другом, вполне довольны и менять тут ничего не собираются. Ну и ладно.

И все же, и все же… Есть дни, приближающие нас к смерти, и есть просто дни жизни – те, что были прожиты исключительно ради собственного удовольствия, а значит – вне времени. Первых, как водится, много (почти все); вторые… ну, случаются порой. Дурацкая и нелепая пропорция. Да?

Ты только что убежала, – говорю ей утром 4 октября, – а я так и не успел рассказать тебе, что мне сегодня приснился Карлсон, который живет на крыше, и

я вспомнил, что в детстве очень хотел быть Карлсоном (именно быть, а не дружить с ним, это важно). «Вот, – думал, – вырасту большой, стану Карлсоном, буду жить на крыше, и никто никогда до меня не доберется». Одинокая жизнь на крыше (а ведь смотри-ка, сейчас я почти так и живу!) казалась мне блаженством, поскольку докучливое повседневное насилие взрослых раздражало меня чрезвычайно. Например, необходимость жрать что дают, а не то, что хочется. Или идти спать, когда велят, а не когда устанешь. Или почему-то сегодня гулять нельзя, а завтра, когда мне хочется сидеть дома и читать книжку, говорят, что гулять НАДО, и бесцеремонно выгоняют во двор. Почему – мне никогда не объясняли. Еще хуже получалось, когда меня звали домой в разгар какой-нибудь интересной игры. Это первая в моей жизни аллегория смерти: «Умереть – это значит уйти не по своей воле В САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ МОМЕНТ» – так я тогда думал. С тех пор (только никому не говори!) я твердо решил стать бессмертным. С какого конца следует приниматься за это дело – не знаю. Но… Разберемся как-нибудь.

Сегодня 5 октября, здравствуй. Среди множества вещей, которых я не знаю о тебе, есть одна, особенно будоражащая мое любопытство: скажи, ты любила играть в прятки, когда была маленькая? И что тебе больше нравилось: скрываться или искать? Я, например, поначалу больше любил искать других, чем прятаться самому: поиск – занятие деятельное и азартное; сидеть же в укрытии – времяпрепровождение, требующее душевного покоя, внимания и терпения, которых мне никогда недоставало. Но однажды, уж не помню почему, я решил схитрить: заранее соорудить укрытие и

спрятаться так, чтобы никому не удалось меня разыскать. Выбрав пасмурный вечер, когда мои друзья сидели дома, я углубился в кусты сирени и принялся рыть яму. Мне понадобилось еще несколько таких вечеров: задача оказалась сложнее, чем я рассчитывал. Место было выбрано удачно: никто не заметил, что в сыром сумраке сиреневых зарослей ведутся какие-то земляные работы. В один прекрасный день яма достигла нужного размера; для пущей маскировки из дома было похищено старое мамино пальто: рябая зеленовато-черная ткань как нельзя лучше сливалась с землей. Я заранее предвкушал грядущий триумф. «Триумф», однако, вышел странный: меня не просто не нашли, а довольно быстро перестали искать, решив, очевидно, что я просто ушел домой. Я же, в полной уверенности, что поиски продолжаются, терпеливо лежал в своем укрытии, злорадно думая, что так долго еще никого никогда не искали. Время, однако, шло, постепенно я заподозрил неладное, но упрямство не позволило мне выбраться наружу. Какое-то время спустя я понял, что не хочу покидать яму совсем по другой причине: я неожиданно открыл для себя странную разновидность свободы, которая приходит лишь тогда, когда ни один человек в мире не знает, где ты находишься… Понимаешь? Уверен, что понимаешь. Слушай же дальше.

Наступил вечер, и мои друзья разошлись по домам, а я лежал в земляной яме, укрывшись старым пальто. Вылезать оттуда и идти домой мне по-прежнему не хотелось: к этому моменту я уже начал забывать о том, что у меня есть какой-то «дом», куда непременно нужно возвращаться не позже девяти часов вечера, да и словосочетание «девять часов вечера» к тому моменту начало казаться мне бессмысленной абстракцией… Но из

темноты донесся голос, который звал меня по имени: у всех обитателей нашего двора, в том числе и у моих родителей, была скверная привычка зазывать детей домой громкими визгливыми голосами. Крик разрушил магическое очарование моего одиночества, я вылез из ямы и отправился домой. Или же не вылез и никуда не отправился, а остался в возлюбленной своей яме и сижу там до сих пор? Выбирай версию, которая тебе по душе. И если ты знаешь, зачем я тебе все это рассказываю, объясни мне как-нибудь, ладно? Потому что по утрам я не ведаю, что мету.

Запись от 7 октября. *Я спал без тебя, и должен бы загрустить, но почему-то проснулся с веселой уверенностью, будто мир, в котором мы живем, – удивительное место; всякий человек – не просто прямоходящий примат, а усталое и разочарованное, но все еще могущественное божество; каждый город – священный лабиринт; докучливые условности в любое мгновение могут стать всего лишь правилами игры, трудной и опасной, но чертовски увлекательной, да?*

«Конечно», – согласился автоответчик семь часов спустя. Машин голос, записанный на пленку, всегда со мной соглашается. Да и кому придет в голову всерьез спорить с отсутствующим?

Ж

87. Жар-птица

Она уносит <…> за тридевять земель.

Этот октябрьский день оказался настоящим метеорологическим шедевром: солнце разогнало низкие облака, южный ветер принес почти апрельское тепло, а дворники, очевидно, забастовали, так что щербатый асфальт тротуаров был погребен под несколькими слоями (пламя, гниль и снова пламя) палой листвы. В такую погоду грех запираться в офисе: к вечеру все может перемениться, и многострадальные локти мои заалеют следами свежих укусов.

Поэтому с утра строго говорю себе, что должен сегодня провести плановую операцию «Вы под колпаком у Мюллера»: сменить брусничный плащ на неприметную синюю ветровку, прикрыть рыжую голову капюшоном, а приметную морду – новыми солнечными очками, в коих наемные наши работники меня еще не видели, слегка ссутулиться, замаскировать обычную подпрыгивающую походку ленивым приволакиванием ног и в таком неприглядном виде посетить все наши лотки. Меня, конечно, опознают, но не сразу – именно то, что требуется.

Составление списка прегрешений продавцов, увы, одна из моих обязанностей. Я не слишком суров: если вижу на лотке «левый» товар, делаю вид, будто ничего не заметил. Ну, мутит человек помаленьку какой-то свой личный мелкий бизнес, добывает на досуге книжки,

которых нет у нас на складе, перепродает не без выгоды для себя – вот и молодец. Репутации нашей это только на пользу: пусть покупатели знают, что наш ассортимент – самый широкий в мире, косая сажень в плечах, ни в одну дверь не пролезет… И на початый шкалик, припрятанный на рабочем месте, я, в отличие от грозной Раисы, готов закрыть глаза при условии, что продавец твердо стоит на ногах и способен производить осмысленные действия. Безжалостному искоренению подлежат лишь хамы да накрутчики цен. Первые вылетают сразу, вторым я даю шанс исправиться. Летом состав работников у нас сменялся чуть ли не еженедельно, но сейчас кадровая ситуация выглядит вполне благополучно. Поэтому следовало честно признаться себе: особой надобности в инспекции нет, просто мне понадобился предлог для прогулки. Святое, к слову сказать, дело, ничем не хуже других святых дел.

Итак, гуляю, заполняя попутно рабочий дневник наблюдений юного натуралиста.

Саня Комаров посасывает пиво, и бес с ним, невелик грех, хотя до полудня еще полчаса, а из ближайшей урны предательски торчат мутно-зеленые трупики трех опустошенных бутылок. Зато Комарыч в хорошей форме, лучезарен и обаятелен, а у лотка толкутся прогуливающие школу мальчишки, шарят по карманам, скидываются на «Конана-варвара», краткое содержание коего пересказывает им наш опохмеленный герой.

Маус, лопоухий студент-вечерник, гений втюхивания лежалого товара всему, что шевелится и имеет при себе деньги, как всегда, неподражаем. Даже мне попытался навязать несколько книг издательства «Северо-Запад», в

отличном состоянии, но без суперобложек, якобы «за полцены», а на самом деле (кому и знать, как не мне) даже без положенной в таких случаях десятипроцентной скидки. Узнав меня, нахальный вундеркинд заржал и потребовал сигарету «за моральный ущерб». Дескать, ему теперь, после такого «перепуга», полдня потребуется, чтобы в себя прийти. Врет он все про «перепуг», но вместо одной сигареты я оставляю ему едва початую пачку: как-никак любимчик, в высшей степени забавный и полезный персонаж; уверен, что Торнтон Уайлдер с удовольствием вывел бы его в своем романе в качестве очередного воплощения Меркурия.[13]

Иду дальше. Катечка Кузнецова вовсю торгует «Анжеликами», нахально прибавив к установленной цене еще пятерку; сурово грожу ей пальцем и собственноручно переписываю ценник, но для себя помечаю, что товарная стоимость бумажного женского счастья вполне может быть повышена не далее как завтра утром: все равно ведь расхватывают, безумицы, только на моих глазах два тома купили.

Ираида Яковлевна то и дело прикладывается к фляжке, где, по моим сведениям, плещется не кофе с коньяком, как она уверяет, а дешевый кофейный ликер. Потому взор ее томен, а на вопросы покупателей старушка отвечает как прекрасная принцесса на предложения докучливых женихов. Ираида славная тетка, но время от времени ударяется в тихий дамский запой, и только мое ангельское долготерпение позволило ей так долго продержаться у нас на службе. Она это

---

[13] С подробным изложением соответствующей теории американского романиста Торнтона Уайлдера можно ознакомиться в его романах «Каббала» и «День восьмой».

знает и потому безропотно позволяет мне конфисковать заветную флягу. Иду в ближайшее кафе, требую положить в чашку четыре ложки растворимого кофе, столько же сахару и залить этот кошмар кипятком. Наверное, это очень вредно для здоровья, но нашатырного спирта у меня при себе нет. Ираида безропотно выпивает адскую смесь, робко хвалит вкус и крепость (господи, кажется, ей действительно понравилось!) – и понемногу приходит в себя. Теперь ее можно оставить наедине с книгами и покупателями до самого вечера и не беспокоиться о дурных последствиях, ибо их, скорее всего, не будет.

Потом я навещаю еще пять торговых точек, где все в полном порядке. Настолько в порядке, что это выглядит весьма подозрительно. Уж не обладают ли мои продавцы телепатическими способностями, возможностью отправлять друг другу сигнал тревоги: «Мэд Макс вышел на тропу войны, будьте осторожны» – кто знает, мой дорогой Ватсон, кто знает…

Но я иду дальше. И, приближаясь к Белорусскому вокзалу, вдруг замечаю в толпе знакомые лица. Мои книготорговцы могут расслабиться, зловредный их начальник сковырнулся с маршрута, похерил свой рабочий график, забыл не только о существовании разбросанных по Москве книжных лотков, но и о важных встречах, назначенных на четыре и пять пополудни. Только два образа сейчас населяют мое опустошенное сознание: бледный мужчина средних лет, с лошадиным лицом и коротко подстриженной бородкой, а рядом с ним миниатюрная блондинка. Таинственные незнакомцы из «Венского кафе», из несбывшейся вероятности, куда я случайно забрел в мае, в тот день, когда «лишился судьбы». Точно они. Марк и… как зовут женщину, я,

кажется, так и не узнал: спутник не обращался к ней по имени, а я не решился спросить. Эти люди научили меня, как добыть новую судьбу взамен износившейся старой; рядом с ними я впервые в жизни понял, что нахожусь среди своих, ощутил «голос крови» – так, наверное, чувствует себя воспитанный людьми волчонок, когда впервые оказывается в лесу, меж своих собратьев.

И еще я откуда-то знал, что должен непременно быть рядом или просто *заодно* с ними.

«Если нам следует быть „заодно", ты встретишь нас в другое время и в другом месте» – вот что они мне сказали. Ну вот, встретил. Значит?.. Ага, еще как *значит*! Только это и важно сейчас. Только это.

Я почему-то никак не мог их догнать. Хожу я быстро, да и лавировать в плотной московской толпе давно уже научился, но таинственная парочка владела искусством стремительного перемещения в пространстве не менее виртуозно. Между нами все время сохранялась дистанция, метров пять-шесть всего, но преодолеть их я не мог, как ни старался. Вполне достаточно, чтобы не терять их из виду, но слишком много для человека, который внезапно потерял голос и способен лишь сипло шептать, изумляя ближайших попутчиков: «Да оглянитесь же, посмотрите же на меня, черт бы вас побрал!»

На бородатого мужчину и белокурую женщину заклинание сие не действовало. Они шли не оглядываясь, и я мог лишь зачарованно следовать за ними, почти не замечая несообразностей, постепенно проявляющихся в окружающем пейзаже. Откуда бы взяться двухэтажным особнякам с остроконечными крышами и застекленными верандами на Большой

Грузинской? Как могла зацвести белая акация в октябрьской Москве? С каких это пор Тишинская площадь вымощена мелким булыжником? Что за странной моде следуют прохожие, закутавшиеся в просторные цветные плащи с монашескими капюшонами? Эти вопросы шипели на поверхности моего разума, как пивная пена над кружкой. И, подобно пене, они стремительно таяли, оседали на дно, исчезали почти бесследно, оставляя после себя лишь блеклые воспоминания, что вот ведь были у меня какие-то дурацкие вопросы, да все вышли, не дождавшись даже смутного намека на ответ.

И когда моя «сладкая парочка», так и не почуяв слежки, ни разу не обернувшись, скрывается за зеленой деревянной калиткой, ведущей в дремучий сад, а я обессилено опускаюсь на тротуар, прижимаюсь лопатками к теплым шершавым доскам невысокого забора, в живых остается лишь один вопрос: «Господи, где же это я?»

Отвечать мне – нема дурных. Считается, что не мое это собачье дело – с глупыми вопросами к занятым дядям лезть. Сам должен разобраться.

88. Жер-Баба

Вещая старуха <…> она добра, помогает герою (указывает путь к достижению цели…).

Сам так сам.

Закрываю глаза. Массирую лоб и виски ледяными пальцами. Открываю глаза. Пейзаж не переменился, зеленая садовая калитка манит меня, как сладчайшее из обещаний. Толкаю ее. Ничего не выходит, неужели

заперта?! Тяну на себя. Ага, вот как все просто оказалось. Никто от меня не запирался. Можно войти.

Захожу на цыпочках, затаив дыхание, как строго воспитанный, но одуревший от одиночества ребенок в родительскую спальню: и боязно побеспокоить тутошних обитателей, и в то же время есть слабая надежда, что они мне обрадуются. А вдруг?..

Радоваться мне никто не спешит; зато и беспокоиться по поводу моего вторжения некому. В саду пусто и пронзительно тихо. Можно услышать даже, как ползет капля воды по листу плюща, как с тихим щелчком падает она на соседнюю глянцево-зеленую растопыренную ладошку растения. Поэтому собственные осторожные шаги по тропинке, усыпанной мелким розовым гравием, кажутся мне грохотом сапог спешившегося всадника Апокалипсиса, а когда сухая ветка хрустнула под моей стопой, я даже зажмурился в уверенности, что сейчас стеклянный небесный купол обрушится на мое темя.

Однако обошлось.

Сделав еще пару дюжин шагов, попадаю на маленькую круглую лужайку, на краю которой врыта в землю зеленая садовая скамейка. Там удобно расположилась симпатичная седая старушка в белой вязаной кофте и алой юбке до пят; острые носки старомодных лакированных туфель выглядывают из-под ярких оборок. На носу очки без оправы, пальцы унизаны мелкими цветными колечками, извлеченными скорее из тайника двенадцатилетней девчонки, чем из шкатулки респектабельной пожилой дамы. Да и лицо у нее больше детское, чем старушечье: гладкое, румяное, с ямочками на щеках. Если бы не мелкие седые букли, мне бы в

голову не пришло называть ее «старушкой». Улыбается мне, прижимая палец к губам. Дескать, помалкивай. Киваю, адресуя ей вопрошающий взор: «Где я, что со мной, зачем все это и как жить дальше?» – примерно такой набор невысказанных вопросов. Она протягивает мне запечатанный конверт и говорит так тихо, как, наверное, тих шорох, порожденный соприкосновением облаков:

– Не нужно тебе пока тут гулять. Успеешь еще. Но не огорчайся, ты все сделал правильно. Хулы не будет, – она неожиданно подмигивает мне, чтобы я не сомневался: цитата из «Книги Перемен» намеренная, не случайный набор слов. Неясно только, насмешить она меня собиралась или окончательно озадачить.

– Вот тут, – маленький пальчик постукивает по конверту, – настоящий адрес. Там тебя всегда ждут, там тебе будут рады. Но не здесь и не сейчас.

– Потому что этого места на самом деле нет? – спрашиваю обреченно, почти не размыкая губ.

– Почему же нет? Есть. Есть, но не здесь. Есть, но где-то и потом. Есть когда-то, не сейчас, есть тогда, когда нас нет, есть зачем-то, просто так… – Теперь она говорит нараспев, словно поет колыбельную совсем маленькому карапузу, который и без того устал, набегавшись, а потому заснет, не дослушав песенку, прежде чем голова его коснется подушки…

Какой такой «подушки»?! Открываю глаза, подскакиваю, меня трясет, как от неосторожного прикосновения к оголенному проводу. Оглядываюсь по сторонам. Никакой подушки поблизости и правда не обнаруживается, поскольку я сижу на скамейке в позолоченном осеннем сквере, среди юных мамаш с

детьми и бодрых старичков с шахматными досками. На часах всего половина четвертого, а это значит, что я вполне могу успеть на свою дурацкую «важную встречу» – если, конечно, буду проворен и быстро отыщу такси. Что ж, сей подвиг мне по плечу, лишь бы не выяснилось, что никакая это не Москва, а так, морок очередной урбанистический.

Не выяснилось. По крайней мере, Гнездниковский переулок в этом измерении существует – и то хлеб. Плюхнувшись на сиденье рядом с водителем, я решил проверить, взял ли с собой деньги. В бумажнике обнаруживаю не только несколько купюр разного достоинства, но и запечатанный белый конверт. Непослушными пальцами надрываю его и обнаруживаю, что порвал не только конверт, но и его содержимое, крошечный линованный листок с адресом: Остаповский проезд, дом 3. Чуть ниже уведомление: «Съезд гостей в 21.00»; еще ниже, в правом углу примечание: «На две персоны». Вот «соны»-то я и оторвал, балбес неуклюжий. Впрочем, огорчение быстро рассеивается: не может быть, чтобы меня не пустили в это таинственное место по столь пустяковой причине. Зато искалеченная мною фраза «на две персоны» означает, что я могу…

Ну да. Могу позвать с собой Машу.

Я был уверен, что она согласится составить мне компанию в столь сомнительном деле. Мог об заклад биться, пари заключать, голову на отсечение давать, ничем не рискуя.

Когда она говорила «да», глаза ее сияли в темноте, как жерла пробуждающегося вулкана.

89. Жива

Она воплощает жизненную силу и противостоит мифологическим воплощениям смерти.

Маша не любила свое имя.

То есть имя она еще согласилась бы терпеть, но только не в сочетании с отчеством. «Мария Ивановна», «Марья Иванна», «Мариванна» – анекдотический персонаж, общее место, архетип среднестатистической дурищи. «Что может быть хуже?!» – думала она порой.

За такое имя-отчество следовало бы осерчать на родителей, но Маша знала, что они не виноваты. Так уж получилось: ее назвали в честь маминой бабки, погибшей почти за месяц до рождения правнучки.

Семейная легенда, бабушка Марья, была личностью неординарной, и смерть ее не слишком походила на обычную кончину пожилой женщины. Она не умерла на больничной койке от какой-нибудь неизлечимой старушечьей хвори, не осела под тяжестью собственной массы, помноженной на время, на лестничной площадке между четвертым и пятым этажами, не отравилась несвежими консервами из продуктового набора, не превратилась в груду мятых тряпок и дробленых костей под грязными колесами маршрутного троллейбуса. Спелеолог Мария Львовна Стоцкая выглядела ровесницей собственной дочери, весила шестьдесят килограммов при росте сто семьдесят восемь сантиметров и никогда не закрашивала седину по причине отсутствия таковой. Она имела все шансы побить ветхозаветные рекорды долголетия, но накануне

своего пятьдесят седьмого дня рождения была погребена под рухнувшим сводом пещеры, куда спустилась в одиночку и, по единодушному свидетельству коллег, без особой надобности, просто из любопытства. Научные исследования всегда были для нее лишь благовидным предлогом все глубже проникать под кожу планеты, скитаться по подземным лабиринтам, где тело переполнялось блаженным покоем, а разум верещал, опьяненный невыразимым, сладостным ужасом. Мария Львовна тайно ревновала Аида к законной супруге его Прозерпине и, пожалуй, осталась бы довольна, узнав, что останки ее упокоились на месте катастрофы, на глубине двухсот сорока метров под землей: все лучше, чем кое-как вырытая яма да мраморная «дура» (столь неуважительно она при жизни величала надгробные памятники) на подмосковном кладбище.

Если бы бабушка Марья не стала спускаться в опасную пещеру, Машу наверняка назвали бы Ириной, Светланой или Натальей: эти женские имена были в ту пору настоящим хитом сезона и занимали первые позиции в роддомовских чартах. А так – у родителей и выбора-то не было. Многочисленная родня в ультимативной форме потребовала окрестить малышку Марией, словно бы возможность и впредь регулярно употреблять имя покойницы в семейных беседах отчасти возмещала им недавнюю утрату. И только одна дальняя родственница, то ли крестная бабки теткиной невестки, то ли, напротив, свекровь кумы прадедушкиного пасынка, богомольная, суеверная сельская старушка, раз в несколько лет наезжающая к столичной родне с единственной целью навестить многочисленные фамильные надгробья, укоризненно поджимала бледно-голубые, словно бы инеем обметанные губы.

Дескать, не дело это – живому дитю давать имя покойницы, которой еще сорок дней справить не успели. Ой не дело! Слишком рано о смерти начнет девчонка задумываться, и если в младенчестве сама не помрет, то потом других со свету сживать станет, – предупреждала молодых родителей раскрасневшаяся от переживаний старушка. Да кто ж ее, полоумную, слушал…

Мама, правда, потом не раз с содроганием вспоминала чудаковатую пророчицу, но стеснялась признаться близким, что почти уверовала в справедливость суеверного ее бормотания. В течение первых пяти лет своей жизни Маша умудрилась не только переболеть всеми обычными ребячьими хворями и в придачу подцепить несколько редких эксклюзивных болячек, но и пережить немало других потрясений. В годовалом возрасте она вывалилась из окна третьего этажа (обошлось без трагических последствий, поскольку маленькая летунья угодила в сугроб). Тремя годами позже, во время летнего отдыха на море, она поскользнулась на мокрых камнях и, на глазах у потрясенных родителей, шлепнулась в воду с пирса. По счастью, рядом было немало хороших пловцов, способных быстро выудить из пучины захлебывающегося детеныша.

А за неделю до своего пятого дня рождения Маша, можно сказать, пошла ва-банк. Ей удалось удрать от заболтавшейся с соседками бабушки, осуществить всеобщую детскую мечту о самостоятельном визите в соседний двор и, почти сразу же, провалиться в отверстие канализационного люка, крышка которого не то чтобы вовсе отсутствовала, но была сдвинута в сторону неизвестным доброжелателем. В некотором смысле Маше повезло: колодец, в который она угодила,

оказался бездействующим. Там было темно, страшно и скверно пахло, но этим его недостатки практически исчерпывались. Падая, она разбила локти, коленки и подбородок, вывихнула плечо и преждевременно рассталась с половиной молочных зубов, но зато не захлебнулась в фекальном болоте, не ударилась нежным черепом о железную трубу, не угодила в крысиное гнездо. Даже сознание не потеряла, а сразу же принялась звать на помощь. Она орала так громко, что у самой уши заложило, а голос был безнадежно сорван (школьная учительница пения потом надивиться не могла на малышку с абсолютным слухом и хриплым, как у спивающегося шансонье, голоском). Маша не зря старалась: помощь пришла не сразу, но довольно быстро. Она смутно помнила, что была абсолютно спокойна, когда мужчина в военной форме взял ее на руки и поднял наверх, высоко-высоко, туда, откуда навстречу ей тянулись другие сильные руки и струились солнечные лучи, столь яркие, что теплые ладони спасателя казались полупрозрачными и словно бы сияли изнутри нежным персиково-розовым светом.

С тех пор все переменилось, будто краткосрочный визит под землю снял проклятие, обещанное суеверной старушкой. Маша больше не влипала в опасные для жизни истории. Даже хворать перестала, раз и навсегда, о чем горько сожалела в те пасмурные ноябрьские дни, когда чуть ли не все ее друзья лежали под теплыми одеялами с безобидным диагнозом «ОРЗ», а она шлепала по лужам в направлении школы, где свирепствовал толстый крикучий завуч, самолично досматривающий учениц на предмет наличия сережек в ушах и колечек на пальцах; первым уроком значилось черчение, вторым – математика, а третьим – химия, и все это вместе

совершенно не подходило для достойного начала хорошего дня…

Впрочем, Машиной жизнерадостности хватило бы на дюжину толстых завучей и несколько сот уроков черчения кряду. Ничто не могло испортить ей настроение дольше чем на восемь секунд – ровно столько времени требовалось опустившимся вниз уголкам ее губ, чтобы снова сложиться в улыбку. Она легко мирилась с несовершенством мира, да и собственные несовершенства ее не печалили. Даже в подростковом возрасте, когда всякий прыщик на подбородке причиняет немыслимые душевные страдания, Маша с хладнокровным любопытством заглядывала в зеркало и уже через несколько секунд забывала открывшееся ее взору зрелище: к внешности своей она была доброжелательно равнодушна, хоть и росла гадким утенком. В мире, как ей казалось, было множество куда более интересных вещей, чем разрез собственных глаз, форма носа, очертания губ и прическа. В пятнадцать лет она была дурнушкой, в восемнадцать вдруг стала изумительной красавицей; к двадцати двум годам почему-то снова потускнела, а после двадцати пяти сделалась, по единодушному мнению окружающих, «женщиной с необычным лицом». «С необычным» – что ж, этот статус устраивал ее более прочих. Если уж тебя зовут «Мариванна» (к этому моменту тайная война с именем была в самом разгаре), следует опасаться заурядной внешности, заурядной судьбы, заурядных суждений и прочих заурядностей.

Надо отдать Маше должное: она неплохо поработала в этом направлении. Сразу после школы уехала из Москвы и, к изумлению родителей, заранее подготовивших для нее не один, а несколько тайных

входов в столичные вузы, на выбор, поступила в Львовский университет, где на протяжении трех лет изучала польский, украинский и сербский языки, а потом вдруг вернулась в Москву, на сей раз изумив уже преподавателей, возлагавших на нее большие надежды. Пробездельничав дома почти целый год, она снова сбежала, на сей раз в Таллин, оттуда переехала в маленький закарпатский городок Ужгород; почти год прожила в Ялте; в начале перестройки училась на кооперативных курсах дизайна в Риге; наконец снова вернулась в Москву и стала работать в туристическом бюро, возила группы в Польшу и Югославию, благо бесценные гуманитарные знания, полученные в Львовском университете, все еще оставались при ней. Потом путешествия ей наскучили, и Маша стала зарабатывать книжными переводами. Она была проворна и не тщеславна, поэтому денег хватало не только на жизнь, но и на аренду малогабаритной квартиры неподалеку от ВДНХ, с видом на раскорячившихся пролетарских монстров, порожденных пылким воображением скульптора Мухиной.

Помещение обладало лишь одним несомненным достоинством: у него были все признаки временного жилья, начиная с пожухлых обоев, текущих кранов да чудовищных люстр и заканчивая тараканьими бегами на кухне. Вполне пригодная для жилья, но напрочь лишенная уюта холостяцкая берлога, откуда можно съехать в любой момент: два часа на сборы – и вперед. Очередная «стартовая площадка», именно то, что ей требовалось.

Случайные свидетели Машиных метаний были уверены, что причиной всему дела сердечные: в самом

деле, куда может мчаться сломя голову женщина, если не за мужчиной своей мечты?

Они ошибались. Мужчины и правда нередко появлялись в Машиной жизни, но она не придавала особого значения случайным своим романам и не позволяла им затягиваться. Она вообще полагала, что любовь не может длиться во времени: есть лишь одно краткое мгновение настоящей страсти, нежности и молчания, а все остальное – либо мечты о том, как оно когда-нибудь наступит, либо воспоминания о былом. Было бы из-за чего на край света бежать!

«Край света» занимал ее сам по себе. Перемена мест казалась обязательным и необходимым условием полноты бытия. Машу ужасала мысль о том, что некоторые люди рождаются, живут, ходят в школу, а потом на работу, женятся, рожают детей, выгуливают внуков и наконец умирают – не то что в одном городе, а даже в одном и том же микрорайоне. Когда она пробовала примерить на себя такую судьбу, у нее в глазах темнело от ужаса.

Именно поэтому Маша уехала из Москвы сразу после школы, жмурясь от страха и дыма в вонючем тамбуре плацкартного вагона, который казался ей уродливым плодом любовного союза пепельницы и газовой камеры. Этот поступок потребовал всего ее мужества: родительский дом не был местом, откуда хочется удрать во что бы то ни стало. Скорее уж наоборот. Большая, светлая квартира на Плющихе казалась Маше бархатным лоскутком пространства, волшебной кроличьей норкой, где всегда хорошо, уютно и безопасно. Мама и папа были славными людьми; за всю свою жизнь Маша поссорилась с ними всего раз пять, да и то в детстве, когда она

постоянно маялась ангинами и родители отказывались покупать ей мороженое, а их друзья активно одобряли сие вопиющее зверство. Иных поводов для конфликтов в семье не находилось. Когда Маша подросла, родители стали для нее если не близкими друзьями, то добрыми приятелями: они не докучали дочке чрезмерной опекой, не мучили дрессировкой, не изводили упреками, зато охотно приобщали ее к своим развлечениям (бридж, преферанс, книги, англоязычный рок; зимой – лыжи, летом – месяц в Крыму, все как у людей, только по высшему разряду). Казалось бы, уж кому, как не ей, следует оставаться в отчем доме как можно дольше: от добра добра, как говорится, не ищут…

Именно это ее и не устраивало. Маша нутром чуяла подвох. Думала: это ловушка. Способ заставить ее всегда оставаться на месте, в родительском доме. Учиться где-нибудь поблизости, потом найти по знакомству необременительную работу на соседней улице. Привести домой мужа, благо жилплощадь позволяла развернуться. Родить детей, раздобреть, охотно отзываться на оклик соседки: «Марья Иванна, у вас лишнего яичка не найдется?» – состариться и умереть в этих стенах. «Умереть в этих стенах» – о нет! Все что угодно, только не это.

В возрасте шестнадцати лет Маша размышляла о смерти несколько чаще, чем это принято среди юных барышень из хороших семей, и поняла, что перспектива мирно скончаться когда-нибудь, шестьдесят или даже сто лет спустя, в родительском доме пугает ее куда больше, чем сцены колесования, сожжения на костре, удушения в газовой камере и поджаривания на электрическом стуле, которые то и дело рисовало ей бойкое воображение.

Разве что возможность быть съеденной заживо казалась ей немного более ужасающей – совсем чуть-чуть.

Потому она и сбежала. Никакого красавца мужчины во Львове не было (вернее, были, и не один, а четверо, но они появились несколько позже и могли считаться скорее следствием, чем причиной ее переезда). И из Львова она уехала вовсе не потому, что ее четвертый роман приблизился к драматической развязке (это случилось несколькими месяцами ранее и к моменту отъезда было погребено под грудой более свежих впечатлений). Просто сон приснился. Золотистая лисичка ласково терлась о Машины ноги и просила: уезжай отсюда, солнышко, подобру-поздорову, не твое это место, а моя территория – что ж нам, драться с тобой теперь? Медовые глаза зверька были печальны, словно бы ей и самой не слишком хотелось прогонять Машу из Львова, но иначе не получалось. Дымчатый шакал из таллинских снов был галантен, но неумолим; красивая пестрая сова называла ее «сестренкой», но все же выжила из Ужгорода. У всякого полюбившегося Маше города рано или поздно находился свой ревнивый «хозяин»; нигде ей не позволяли задерживаться подолгу, отовсюду гнали домой, в Москву. Льстили, уговаривали, сулили головокружительную удачу и необычайные приключения – но не здесь и сейчас, а потом, где-нибудь еще. «Ты сама поймешь, но позже. Позже».

Немудрено, что об истинной причине своих внезапных возвращений домой Маша не могла поведать никому. Она заранее предвидела возможную реакцию: «Это же какой надо быть сумасшедшей дурой, чтобы жизнь всякий раз наизнанку выворачивать из-за какого-то сна!» Может, и так. Но Маша с детства привыкла доверять своим сновидениям. Населяющие их

твари не раз давали ей полезные советы, предостерегали от неосторожных поступков, помогали исправить ошибки, совершенные наяву, и учили чудесным вещам, которые казались бесполезными в мире бодрствующих людей, но были совершенно незаменимы по ночам, когда Машины глаза закрывались, чтобы открыться снова, по ту сторону слов и вещей, где зрачки становились большими и блестящими, а радужная оболочка – золотисто-оранжевой, как у птицы. Так было всегда, и, едва начав лепетать первые свои слова, Маша уже знала, что рассказывать о своих ночных приключениях нельзя никому. Даже маме.

С возрастом, впрочем, удивительные сны стали посещать ее все реже. Уже не каждое утро начиналось с воспоминаний о ночных прогулках: порой она не могла восстановить ни единого эпизода, лишь смутное чувство: ведь было же что-то, было, да ускользнуло – тревожило ее весь день; а случалось, и оно не приходило. И это было хуже всего.

Когда сновидения возвращались, она теребила своих таинственных приятелей, приставала с вопросами: «Что же, что со мной творится? Почему вы навещаете меня не так часто, как прежде?» «Потому что скоро самые интересные вещи будут происходить с тобой наяву, вот увидишь», – уклончиво отвечали ей. Маша верила, надеялась и ждала, терзаясь догадками: что бы это могло быть? Не августовский же панбархатный путч да денежные реформы – что за дело обитателям сновидений до крушения скучной неустроенной империи; эти проблемы занимали их куда меньше, чем саму Машу, которой, откровенно говоря, было почти все равно…

Ей и в голову не приходило, что под «самыми интересными вещами» может подразумеваться знакомство с мужчиной. Мужчина – это, конечно, более приятное и занимательное событие, чем все политэкономические потрясения, вместе взятые, но ни один мужчина, сколь бы распрекрасен он ни был, не может считаться «интересной вещью», – полагала Маша. С какой стати случайный уличный знакомец, рыжий «маньяк», с печальным ртом и веселыми глазами, забавный болтун, невесть откуда свалившийся ей на голову, должен был становиться исключением из общего правила? Правильно, ни с какой.

Однако же на сей раз события с самого начала развивались по какому-то диковинному трагикомическому сценарию. Весь вечер он смотрел на нее как наркоман на аптечный киоск, однако же не слишком спешил добраться до постели, таскал ее зачем-то по всему городу, нарезал чудовищные параболы, все более отдаляющие их от конечной цели: то ли робел, как подросток, то ли, наоборот, принимал ее за школьницу, которую можно напугать чрезмерной поспешностью. Он слишком легко согласился с ее желанием ничего о себе не рассказывать – так легко, словно и сам не раз мечтал о чем-то подобном. Он каким-то образом угадывал, что ей нравится, а что – нет (или же их предпочтения совпадали даже в мелочах). Маша надивиться не могла: и что за чудо природы такое? Покидая его утром, ловила себя на том, что уже начинает планировать вечернее свидание. И не надоедает почему-то ни капельки. «Чур меня! – смеялась она наедине с собой. – Приворожил ведь, черт рыжий. Зелья приворотного в пломбир подсыпал в первый же вечер. А что? Запросто! Не зря мне в первую же ночь кошмарный

сон про роковую связь наших судеб привиделся. Ох не зря!»

То-то и оно, что сон. Из всех достоинств ее нового любовника, действительных и мнимых, первостепенное значение имело лишь одно, о котором сам он вряд ли догадывался: на его подушке Маше всякий раз снились сны куда более диковинные, чем ее прежние видения. И Макс (его имя нравилось привередливой Марии Ивановне не намного больше, чем собственное, поэтому, размышляя о нем, она старалась обходиться местоимениями) то и дело появлялся среди причудливых образов, населяющих ее ночи. Всегда ненадолго, всегда немного в стороне, словно бы просто шел мимо и решил посмотреть, как у нее дела, а под ногами путаться, конечно же, не станет, и без того есть чем заняться… Очень мило с его стороны проявлять такую тактичность, но прежде мужчинам вообще не находилось места в Машиных сновидениях. Поэтому Маша оставалась настороже, как хороший игрок, только что открывший лучшую сдачу в своей жизни, но еще не видевший прикупа.

Стоит ли добавлять, что она была абсолютно счастлива?

90. Жошуй

Можно предположить, что Жошуй рассматривалась как особая река, разделявшая царство живых и мертвых.

– Остаповский проезд. Ты знаешь, где это?

– Как ни странно, знаю, – Маша улыбается и хмурится одновременно. – У черта на куличках, в районе

Волгоградки. Однажды ехала на такси к подружке, которая живет в тех краях, шофер решил срезать путь, заблудился, а потом машина и вовсе заглохла в этом самом Остаповском проезде. Мне пришлось выбираться пешком обратно на Волгоградский проспект и ловить другую машину. Уже темно было, страшно, только один фонарь болтается, и под ним как раз табличка с названием улицы, я потому и запомнила. Настоящее приключение, такое не забывается. Потом я еще через железнодорожную насыпь лезла, с холма спускалась, а он мокрый, скользкий, дело тоже осенью было, только более мерзопакостной, чем сейчас… Кстати, очень странное место для «съезда гостей»: там, насколько я помню, и жилых домов-то нет. Сплошь заводы да бараки какие-то кошмарные.

Я молча пожимаю плечами. Дескать, чем богаты. Вполне возможно, я вообще стал жертвой розыгрыша, хотя в таком случае я совершенно не понимаю технологии его осуществления: уж больно мудреный способ морочить голову жертве. Ну, положим, если все мосфильмовские декорации свезти в одно место да массовку согнать соответствующую… Но кто же такой сложносочиненной ерундой заниматься стал бы ради сомнительного счастья обвести вокруг пальца отдельно взятого меня?

Мы долго едем куда-то, в ту часть Москвы, где я никогда не бывал прежде, на потрепанном белом «москвичонке». Частный извозчик хмур и необщителен. Маша сидит рядом с ним, высматривает знакомые приметы, я же, как существо топографически бесполезное, изгнан на заднее сиденье, где колени мои упираются в подбородок, а правое ухо трепещет от ветра из оконной щели. Панорама обескураживает: редкие огни

в сизой акварельной темноте, бесконечные потоки самосвалов и автобусов в обе стороны, к небу тянутся заводские трубы всех мыслимых форм и размеров. Несколько особо толстых труб извергают клубы густого бледно-пепельного дыма, который, поднимаясь ввысь, смешивается с облаками, отчего те становятся гуще, темнее, тяжеловеснее.

– Смотри, вот где делают тучи, – тормошу Машу. – Настоящая фабрика облаков. Наверняка где-то поблизости и звезды штампуют…

Она молча улыбается, а водитель «Москвича» угрюмо качает головой.

– Звезды у нас импортного производства, – говорит. – Потому и не гаснут.

– Так и знала, – внезапно огорчается Маша, – вы меня заболтали, останавливаемся. Нужный поворот к Остаповскому проезду мы уже проскочили, зато я узнаю тропинку, по которой спускалась оттуда на Волгоградку. Вот она, – уверенный взмах руки куда-то влево. – Пешком быстрее дойдем.

Мы расплачиваемся с шофером, долго топчемся на краю тротуара в надежде, что поток автомобилей иссякнет и мы сможем наконец перейти на другую сторону проспекта. Устав ждать, беру Машу на руки и размахиваю ее телом, облаченным в белую куртку, как флагом. Дескать, мы мирные жители и никому не желаем зла, не давите нас, господа «КамАЗы», своими страшными колесами. Как ни странно, это действует, совестливые чудища начинают тормозить перед нами, и мы кое-как переходим дорогу. Едва переводя дух, ставлю

Машу на ноги. Она смеется: что, дескать, тяжек твой крест?

Тяжек, кто же спорит. Но, если понадобится, буду тащить его до последнего вздоха. Такой славный крест грех не потаскать.

Взбираемся по тропинке на холм. Склон не слишком крутой, под ногами похрустывают мелкие камешки, вокруг шелестят нежные стебли сухой травы. Где-то вдалеке клубятся тонкие струйки дыма: то ли мусор там жгут, то ли палую листву, то ли просто детишки пекут утащенную из дома картошку, наслаждаясь запретным общением с самой опасной из стихий.

– Ты видишь? Небо здесь зеленоватое, а не бурое, как в центре Москвы, – говорю шепотом. – Все как-то не так…

– Не обольщайся, – смеется моя спутница. – Цвет ночного неба зависит от огней, которые горят на земле.

– Но здесь вообще нет никаких огней: полтора фонаря там, внизу, – вот и вся иллюминация. А небо выглядит так, словно кто-то растворил луну в нескольких литрах морской воды и вылил полученный состав за линию местного горизонта… Слушай, а это что за грохот?

– Поезд, наверное, приближается. Там, дальше, железная дорога, я ведь говорила…

И правда, поезд. К переезду мы прибыли одновременно, но паровоз был большой и сердитый, а мы с Машей, хоть и «венцы творения», но маленькие, непрочные человечки, хрупкие конструкции, вынужденные заботиться о собственной сохранности. Поэтому поезд продолжил свой путь, а мы остановились, выжидая. Длинный товарный состав неторопливо полз

мимо нас. Зрелище оказалось весьма однообразным: цистерны, заляпанные смолой, вагоны, груженные деревом, – вот, собственно, и все. Кому понадобилось перемещать по земной поверхности сей бесценный груз?

– Этот поезд идет в ад, – смеется Маша. – Смотри, что везут: смолу и дрова. Там небось грешники уже неделю не варены, без дела слоняются, чертей пугают…

– Думаешь, в аду тоже бардак? – оживляюсь.

– Конечно. Порядки там должны быть вполне советские. Иначе какой же это ад? Так, баловство одно… Ой, смотри-ка, а ведь и вправду адский поезд оказался! Я угадала.

Смотрю. Словно бы решив принять участие в нашем нехитром развлечении, судьба посылает знак, скорее издевательский, чем пугающий. На одном из запечатанных вагонов начертан номер: 666 – АД. Я нервно ржу.

– Это уже не смешно, – зябко ежится Маша. – Скорее бы он проехал, что ли, этот товарняк…

91. Жук у Жаманак

Седоволосый старик сидит на вершине высокой горы (на небе). Как распорядитель времени, Жук у Жаманак держит в руках два клубка – белый и черный. Он спускает по одной стороне горы один клубок, при этом его разматывая, второй клубок он сматывает, поднимая его по другой стороне горы.

Наконец путь свободен, и мы перешагиваем через железнодорожные пути, суеверно стараясь не наступать

на рельсы. Подъем закончен, тропинка тоже прервалась, теперь мы наугад пересекаем пустырь, попираем стопами полиэтиленовые пакеты и сплющенные металлические банки. Однако и этому участку пути приходит конец.

Остаповский проезд мы нашли сразу же, а вот с домом изрядно помучились. Номера по четной стороне располагались более-менее правильно, зато на нечетной мы обнаружили лишь два нежилых строения: на одном была коряво начертана единица, а на соседнем – почему-то число семнадцать, что хочешь, то и делай. Так бы и скитались среди заводских проходных да металлических заборов, если бы меня не осенило протиснуться в темную тараканью щель между первым и семнадцатым номерами. Узкий проход постепенно расширялся; пройдя метров сто, мы наконец обнаружили низкий деревянный забор с вожделенной шифровкой «Ост. пр-д 3», а за ним – маленький садовый участок и двухэтажный дом, ветхий, но вполне симпатичный, с сияющими изнутри цветными оконными витражами, ярким фонарем над крыльцом и воздушным змеем, парящим над крышей. Змей был причудливой формы, белый, с разноцветными кисточками на хвосте и выглядел приветливо, как надпись «Добро пожаловать».

Звонка нет, потому стучимся. Из дома никто не вышел, но калитка сама слегка приоткрылась, словно бы подбадривая нас: давайте, заходите, нечего в проулке топтаться.

Мы переглянулись, вздохнули, улыбнулись. Взялись за руки и вошли в сад, пересекли очередную невидимую черту, отделяющую знакомое «здесь» от неведомого «там». Впрочем, ничего экстраординарного с нами не случилось. Осенний садик выглядел приветливо и вполне

обыденно; мы даже обнаружили протянутую между деревьями бельевую веревку, на которой болталось несколько разноцветных полотенец и линялые джинсы, принадлежащие, судя по размеру, обладателю весьма солидной комплекции.

Повинуясь не то любопытству, не то желанию перевести дух, прежде чем стучать в дверь, мы совершили познавательную экскурсию вокруг дома. С противоположной стороны, к нашему удивлению, обнаружился парадный вход. Освещенная фонарями широкая подъездная дорожка вела к воротам; на площадке перед домом припаркованы три автомобиля: старая синяя «копейка», видавший виды военный «газик» и красный «опель» воистину неземной красоты.

– Ну что, – нервно спрашивает Маша, – будем стучаться? Или сбежим, пока не поздно?

– Куда ж теперь бежать, – вздыхаю. – Зря, что ли, ехали в такую даль? Будем стучаться.

Однако нас опередили. Парадная дверь распахивается сама, на пороге стоит симпатичный белобрысый карапуз лет пяти и взирает на нас, деловито мусоля во рту безымянный палец левой руки.

– Покажите приглашение, – наконец говорит ребенок, и в тоне его явственно звучит недетская смесь строгости и иронии.

Я окончательно теряюсь, но заветную бумажку младенцу протягиваю. Кто его знает, этого вундеркинда, может быть, ему родители велели гостей встречать…

– Что же ты такой неаккуратный? – сердится дитя, обнаружив оторванный уголок приглашения. – Ничего тебе в руки дать нельзя, все в них горит. А я-то думаю:

что случилось, что за гости такие пожаловали, что ко мне вдруг детство вернулось? А вы вон какие. Понятно все теперь…

Ему, вундеркинду, может, и понятно. Мне – нет. Маша, кажется, и вовсе в шоке. Изумленно переводит взгляд с меня на мальчишку и обратно; взор ее мечется, как пчела, застрявшая между оконными рамами.

– Ну что же вы ребенка испугались, – смеется карапуз. – Не нужно бояться, меня ни нянчить, ни пеленать, ни на горшок сажать не придется. Проходите лучше в дом. Посидите. Успокойтесь. А я пока пойду другим гостям покажусь, таким они меня еще не видели… Потом вернусь.

Он впускает нас в полутемную прихожую, пухлая ладошка повелительно указывает на одну из дверей.

– Посидите пока там, – говорит. – И ничего не бойтесь. В этом доме не умирают, так-то.

– Какой странный мальчик, – шепчет мне Маша, когда мы послушно заходим в отведенную для нас комнату и усаживаемся рядом на старом, но чертовски уютном диване.

Здесь горит настольная лампа под зеленым абажуром, под ноги стелется смешной тряпичный коврик, окна завешены плотными шторами яркого апельсинового цвета, а обои на стенах явно предназначены для детской: там резвятся какие-то зооморфные мультяшки в коротких шортах и пестрых рубахах, цветут незабудки, растут гигантские мухоморы. Но Маше нет дела до окон и стен, ее здорово взволновал давешний малыш.

– Разговаривает совсем как взрослый. И – ты слышал? – он сказал, что детство, мол, к нему вернулось,

потому что мы в гости пожаловали… То есть нужно сделать вывод, что на самом деле он взрослый? Или как? Думаешь, это розыгрыш? Его родители подучили людей смущать? Ма-а-акс, скажи же хоть что-нибудь!

– Солнышко, – вздыхаю виновато, – да откуда же мне знать? Я – дурак дураком, ничего не понимаю. Мальчишка и правда странный. Он меня даже напугал немного… ну, не он сам, а это нелепое сочетание детской мордашки и старческой строгости.

– Трусишка, – улыбается она. – Трусишка зайка серенький под елочкой скакал… Слушай, а зачем мы вообще сюда приперлись? Пока ехали, мне было более-менее понятно, а теперь – нет. В самом деле, зачем?

– «Зачем» – это неправильная постановка вопроса, – говорит невысокий красивый старик, который, оказывается, уже стоит на пороге и внимательно слушает нашу болтовню. – Самые замечательные поступки всегда совершают не «зачем-то» и не «для чего-то», а просто так… Лучше уж спрашивать: «Почему?» На такой вопрос всегда найдется больше одного ответа, не так ли?.. Например: вы приехали сюда потому, что я давно ждал вас обоих в гости, но не смел торопить события, поскольку попасть в мой дом вы могли только вдвоем, а вам потребовалось немало времени, чтобы найти друг друга… Или же потому, что все предшествующие события ваших жизней незаметно подталкивали вас к этому маленькому безумству. Наконец, просто потому, что пришло время видеть сны наяву, а начинать следует именно с этого сна… Но я забыл представиться. Я – хозяин дома. Чаще всего меня называют именем Франк, впрочем…

– Вы – тот самый Франк, который обожает таскать непосвященных «на ту сторону»?! – вскакиваю и смотрю на него, потрясенный. – Вы – это он?!

– А ты – тот самый Макс, который однажды забрел в несбывшееся «Венское кафе», выпил там несбывшийся джин-тоник и подслушал вполне сбывшуюся болтовню моих старых друзей, – смеется незнакомец. – Не стоит придавать значение сплетням. Не так страшен Франк, как его малюют. И не бывает «непосвященных». Рождение человека – само по себе обряд посвящения. Всякий, кто однажды родился, уже избран и посвящен, а потому способен на все. Иных испытаний не требуется.

– Подождите-ка, вы оба, – незнакомым, чистым, без обычной воркующей хрипотцы, голосом говорит Маша. – Мне нужно собраться с мыслями. Построить карточный домик, хоть хижину дяди Тома. Все пока рассыпается, но… – Она пристально смотрит на Франка и вдруг улыбается удовлетворенно, как сытая кошка. – Вот. Вспомнила. Вы помогали дядечке в военной форме вынимать меня из-под земли, из люка, куда я провалилась, верно? Он поднимал меня вверх, а вы принимали. Я запомнила, как сквозь ваши руки просвечивало солнце, но никогда не могла восстановить в памяти ваше лицо. Это были вы, правда?

Франк смеется. Он тоже доволен. Я не понимаю ничего, но на всякий случай радуюсь за компанию. Моя Маша вдруг узнала странного старика; получается, что он спас ее когда-то. Наверное, это хорошо.

– И еще вы работали в «Кавярне», во Львове, – продолжает она. – Вы всегда давали мне не одну, как всем, а две деревянные палочки. Одну – помешивать кофе, пока он варится, а вторую – *на память*. Вы всегда

так говорили: «на память», но я не понимала, о чем речь, и вечно их теряла, или ломала на кусочки, или выбрасывала… А вы хотели помочь мне вспомнить, что мы уже встречались, да?

– Было дело, – ласково говорит Франк. – Твое поведение в те дни ясно указывало, что время для воспоминаний еще не пришло. Но, каюсь, я тороплив и упрям. Есть такой грех.

– А в Таллине вы продавали горячее вино со специями в таком крошечном подвальчике, в Старом Городе, – Маша тихо смеется от облегчения. – Я туда редко заходила, всего раза три, но однажды вы стряхнули в мой стакан лепестки засохшей розы, и я была тронута: такой галантный жест… Хотя лепестки прилипали к зубам и нёбу, и я чуть не подавилась, когда один из них попал мне в горло… А потом мы встретились в Ужгороде. Вы сидели на набережной, напротив пивной, которую местная молодежь называет «У Гада», и рисовали, а я шла мимо, и мы немного поболтали, но мне в голову не пришло, что мы уже когда-то встречались. Это все были вы, ведь правда? И потом еще не раз вы появлялись на моем пути. Всегда эпизодически, ненадолго, и ваше лицо обращалось ко мне лишь вполоборота, так что я даже узнать вас не могла. Но теперь пасьянс сошелся, мне даже подтверждения не требуется, потому что я *знаю*… Вы – мой ангел-хранитель?

– Ну что ты. Не ангел. Просто хранитель. Должен же был хоть кто-то за тобой приглядывать. Сама не справлялась, а других близко не подпускала, – качает головой Франк.

– Почему «не справлялась»? С чем это я не справлялась?

– Как – «с чем»? С жизнью, с чем же еще. Играла своими днями, как котенок с клубками, только и было мне заботы за тобой следом ходить да перепутанные нити снова в мотки собирать… У девицы своих-то судеб несколько дюжин, а она все норовила чужую прожить, – Франк заговорщически мне подмигивает, словно бы я непременно должен оценить его шутку, гоготнуть понятливо: «Ишь ты какая, своих – дюжины, а она еще и чужие за пазуху тянет, гы-ы, вот потеха!»

Но я, ясен пень, молчу, прячу глаза да скалюсь приветливо, как японский турист. Только фотокамерой не щелкаю, благо отщелкал уже, кажется, свою норму, забыто.

Франк видит, что толку от меня – чуть, и снова обращается к Маше.

– Ты-то хоть понимаешь, о чем я толкую?

– Да… Наверное. Мне не раз казалось, будто я делаю что-то не то. При этом все хорошо, все в порядке, все получается, мною довольны, меня хвалят, я – лучше всех… а все равно – не то! Но бывало и так, что мне грустно, и все валится из рук, и хочется спать по двадцать часов в сутки, потому что бодрствование не сулит особых радостей, но при этом на сердце легко и покойно, в глубине души я знаю: все правильно, все идет по плану, так и надо.

– И сейчас ты испытываешь сходное чувство, – не спрашивает, а утверждает старик.

– Да, – Маша адресует мне восхищенный взгляд. – Как же славно, что ты меня сюда привел!

Я по-прежнему ничего не понимаю, но на всякий случай радуюсь. Выходит, и правда хорошо, что я позвал ее с собой. Значит, все путем. Просто замечательно.

Но мне почему-то не только радостно, но и страшно. Я спокоен и готов ко всему, а ладони холодные, влажные. Пальцы дрожат. У меня храброе сердце и противные трусливые лапки. Так бывает.

– Там, – Франк небрежно указывает ей на дверь, – ты встретишь еще немало старых друзей. Лучшие из твоих воспоминаний бродят по этому дому, прочим же сюда дорога заказана. Ступай к гостям, они тебя ждут.

– А как же?.. – Маша обнимает меня за плечи и выразительно смотрит на старика. Поскольку тот хранит молчание, она торопливо добавляет: – Мы ведь вместе пришли.

– Ну разумеется, вы пришли сюда вместе. Иначе и быть не могло, – ласково подтверждает Франк. – Но нам с Максом предстоит еще один разговор, долгий, смешной и страшный. И не для твоих ушек. До сегодняшнего дня он не знал о тебе ничего, а ты о нем – почти все; теперь же будет наоборот. В этом доме ты – как на ладони, а у него полным-полно тайн. Куда больше, чем он готов хранить.

– Ладно, – легко соглашается Маша. – Секретничайте, святое дело.

Она встает и выходит из комнаты. Я так и не успел ее удержать; впрочем, сейчас я бы и не смог, пожалуй.

Мы с Франком остаемся наедине, и я не знаю, хорошая ли это новость.

3

92. Заратуштра

…в «Гатах», приписываемых Заратуштре, сохранилась молитва-сетование, обращенная к Ахурамазде, – «Куда бежать?».

– С нею все будет в порядке? – строго спрашиваю старика.

Тот хохочет.

– С Машей-то? Ни в коем случае. С нею все будет в хаосе, это я тебе обещаю… Да не корчи ты рожу свирепую! Шучу я, шучу. В этом доме, знаешь ли, слово «порядок» считается непристойным, только и всего.

Тоже мне Принц Хаоса выискался…

– Но ее никто не обидит? – уточняю, не желая ввязываться в амберскую дискуссию о Хаосе и Порядке прежде, чем с моего сердца будет убран сей тяжкий валун.

– Машу непросто обидеть, уж поверь мне на слово, – Франк наконец серьезен. – К тому же она в этом доме, можно сказать, «своя». Ее здесь ждали. Тебя, впрочем, тоже. Но теперь я вижу, что тебя ждали напрасно.

– Почему? – спрашиваю, чувствуя, как поднимается к горлу тошнотворная волна паники. – Я ведь здесь.

– Здесь-то здесь… Здесь, да не весь. Весь где-то есть, да только не здесь, – Франк говорит нараспев, в

точности как старушка из давешнего зачарованного сада. Словно хочет меня убаюкать.

Да только я не готов убаюкиваться. Моя девушка ушла одна, отправилась без меня бродить по этому странному дому, а я зачем-то остался наедине с лукавым оборотнем, меняющим облики проворнее, чем иной человек – выражение лица. Почему остался – непонятно, но уж, по крайней мере, не для того, чтобы спать и видеть сны. Нет уж!

– Не нужно меня гипнотизировать, – говорю сердито. – Давайте как-нибудь без авангардной поэзии обойдемся, ладно? У меня мышление конкретное, как у собаки, меня даже трава не вставляет; со мною следует говорить короткими простыми фразами, как с клиническим идиотом. В противном случае я ничего не пойму. И буду бегать по вашим коридорам, Машу искать. Орать буду: «Поехали домой, мне тут страшно!» И какими глазами станут смотреть на вас ваши гости, после такого-то концерта?

– Ну, положим, гости мои ничего не услышат. И до Маши ты вряд ли докричишься. А побегать – что ж, можешь и побегать, если захочется. Все можно, ничего не возбраняется, но и польза практическая от детских выходок не гарантируется.

Франк смотрит на меня пристально, не мигая. В его глазах я не нахожу ни сочувствия, ни злорадства, ни насмешки; строго говоря, у его глаз вообще нет выражения. Зрачки чернеют, как проруби в светлых ледяных озерцах, – вот и весь пейзаж. Не взгляд, а лишь искусная его имитация. И все же я откуда-то знаю, что Франк на моей стороне. Что нет во всем мире существа, которое могло бы отнестись ко мне с бóльшим интересом

и пониманием, чем этот незнакомец. И не его вина, если мой встревоженный разум спешно возводит меж нами стену отчуждения и недоверия, ледяной фундамент которой, впрочем, тут же тает от дружеской улыбки старого хитреца.

– Идем, – покровительственно говорит Франк. – Для начала я покажу тебе дом; вернее, ту его часть, которая захочет тебе открыться. Видишь ли, дом этот – единственный в своем роде, поскольку построен на заброшенном пустыре между мирами, на перекрестке судеб, на границе сбывшегося и несбывшегося. Осмотреть его за один прием до сих пор никому не удавалось. Добро пожаловать!

Ныряю за ним в длинный полутемный коридор. Потолка здесь то ли вовсе нет, то ли он прозрачен, как в теплице: где-то высоко над нашими головами мигают бледные звезды. Однако стены имеются, и пол деревянный, скрипучий, как и положено в таком старом доме. Нервно оглядываюсь в поисках выхода на улицу. Чтобы знать, куда бежать в случае чего. Но глаза мои еще не привыкли к темноте, и поэтому никаких дверей, кроме той, из которой мы только что вышли, я не вижу. То есть я надеюсь, что именно поэтому.

Мне хочется так думать.

93. Зекуатха

По представлениям причерноморских адыгов, Зекуатха все время куда-нибудь едет.

– А выйти-то отсюда можно? – спрашиваю наконец.

– И выйти можно, отчего же нет? Если уж ты смог войти, значит, и выйдешь благополучно, дурное дело нехитрое… Но на твоем месте я бы задал другой, более актуальный вопрос: можно ли здесь остаться? Ты пока не знаешь, но однажды вспомнишь, что стремился сюда всю жизнь, с того момента, когда издал первый свой вопль в комнате с низким потолком, кафельным полом и серыми стенами. Именно так выглядело родильное отделение в больнице, куда привезли твою маму. И оно тебе, смею заверить, очень не понравилось. Возможно, когда-нибудь тебе удастся восстановить в памяти сей драматический эпизод, и ты со мною согласишься. А возможно, у тебя ничего не выйдет, и тогда ты волен думать, будто я просто морочил тебе голову…

– А разве такое возможно: вспомнить момент собственного рождения? – спрашиваю я, невольно содрогаясь от брезгливого ужаса. Откровенно говоря, мне вовсе не хочется вспоминать, как я родился. Ненавижу больницы, врачей и кровь, а первые мгновения моей жизни наверняка изобиловали этими душедробительными подробностями.

– Теоретически все возможно, но не все и не у всех получается, – туманно отвечает Франк. – Каждый сам формирует для себя папки с грифами «Возможное» и «Невозможное» и сортирует действительность в соответствии с собственными представлениями о естественном ходе вещей… Ты ведь помнишь, как учился ходить, правда?

Киваю. Странно, что он знает об этом, но ведь я действительно помню, как учился ходить. Не все, конечно, но некоторые эпизоды живы в моей памяти. Первый взгляд на ковер в детской с умопомрачительной,

как мне тогда казалось, высоты; сладкая телесная дрожь; ноги (неужели мои?), облаченные в светло-зеленые байковые штанишки, гнутся и выворачиваются под незнакомой доселе тяжестью тела; недружелюбная мощь земного притяжения; панические попытки обрести равновесие и блаженное чувство победы; далекие улыбки и бестолковые действия взрослых, чьи руки больше мешали, чем помогали мне в те дни, поскольку помочь в таком деле, очевидно, невозможно: самым важным и трудным вещам на свете каждый учится *сам*…

– Для большинства твоих знакомых это совершенно немыслимо: помнить вещи, которые происходили с ними в возрасте одиннадцати месяцев. А для тебя – обычное дело. Что же такого удивительного в том, чтобы вспомнить событие, которое, правда, случилось несколько раньше, зато и потрясло тебя до глубины души?..

Мы тем временем идем по коридору. Словно не по жилому дому прогуливаемся, а некий лабиринт исследуем. С той лишь разницей, что не сворачиваем никуда. Прем себе вперед по прямой кишке, и конца ей не видно. Франк, впрочем, тоже удивлен.

– Смотри-ка, – говорит, – ни единой двери, ни одного поворота. Совсем ничего это место тебе открывать не хочет. Я-то думал… А оно вон как.

Адресую ему вопросительный взгляд. Дескать, объяснитесь, сударь, а то собеседник ваш окончательно охренел от прогулки. Того гляди, разумом повредится, вразнос пойдет – оно вам надо?

– Идем обратно, – мрачно констатирует Франк, разворачиваясь на сто восемьдесят градусов. – Что ж, сегодня ты не увидишь, как распахиваются двери между

вселенными, не встретишь тутошних обитателей, меняющих судьбы, как башмаки, и, тем паче, не сможешь присоединиться к их развеселой компании. Я сожалею, Макс. Я действительно очень сожалею. Тебе понравилась бы такая судьба, ибо в твоих жилах течет кровь бродяг.

– Да ну вас, – бурчу недоверчиво. – Какие уж там «бродяги»…

– Ты никогда не интересовался историей своей семьи, поскольку для тебя кровное родство – пустяк, формальность, скучные и не слишком прочные путы. А потому ты не в курсе, что, к примеру, твоя тетка Евгения, единокровная отцова сестра, с сорок шестого года числится пропавшей без вести, и никто до сих пор не знает, что она просто воспользовалась смутным послевоенным временем как рычагом и перевернула собственную жизнь. Живет теперь под чужим именем на дальней восточной окраине земли и до сих пор – а ведь больше сорока лет с тех пор минуло! – не испытывает желания навестить родной город и обнять постаревшего брата. Спроси ее – почему? – ведь не ответит. Дома ее не обижали, преступлений она не совершала, о несчастной любви даже в книжках не зачитывалась. Все у нее было в порядке, и вот, поди ж ты, такой пируэт… А твой пятнадцатилетний прадед пешком отправился с родительского хутора, затерянного в лесах под Тырвой, на юг, к морю, с единственной целью проверить, такое ли оно теплое, как рассказывали заезжие коробейники. Шел четыре месяца; последние сотни километров – босиком, ибо сапоги рассыпались. Ничего, добрался. Он, конечно, собирался вернуться домой. Но, искупавшись в Черном море, которое, по счастью, действительно оказалось теплым, вдруг понял, что не знает, как называется место, где он родился и вырос, а значит, и

обратной дороги для него уже не существует… А его собственная бабка, не то по молодости, не то повредившись рассудком, сбежала из дома с цыганским табором и лишь много лет спустя сподобилась вдруг остепениться и осталась хозяйничать в доме влюбленного деревенского бобыля… Да и прежде, за много сотен лет до ее рождения, ваши общие предки весьма резво носились по свету, хватались за первый попавшийся предлог, чтобы покинуть насиженное место, бились головами о невидимые стены, падали, обессилев, истекали слезами и кровью и умирали под обломками рухнувших воздушных замков. В своем сердце они вынашивали великую тайну, но не умели ее сформулировать, даже для себя. Ты и сам не умеешь, хотя число прочитанных тобою книг уже превысило число картофелин, очищенных всеми твоими прабабками, вместе взятыми. Но тебе повезло, ибо я сделаю это вместо тебя.

Смотрю на него удивленно. Говорит как по писаному, и это настораживает. Пафос никогда не пробуждал у меня доверия; драматическим паузам место на театральной сцене, да и за злоупотребление словечком «ибо» следует приговаривать к годичному безмолвию с конфискацией письменных приборов. Но Франк так увлекся, что ни перебивать его вопросами, ни, тем паче, подвергать критике высокий штиль изложения не представляется возможным. Ладно, помолчу.

– Слушай же, – вещает он торжественно. – Вселенная – живое существо, и, как всякое живое существо, она нуждается в постоянном обмене веществ, то есть – в некоем непрерывном внутреннем движении. Свет – это кровь вселенной, и потому он всегда течет,

движется с огромной, по нашим меркам, скоростью; так что с кровообращением у этой девочки, надо думать, все в порядке… Но есть и другие жизненно важные вещества, не так ли? Планеты, где обитают живые существа, можно сравнить с железами внутренней секреции, а нас – с микрочастицами, из которых составлены сложные формулы гормонов: сам по себе никто не имеет решающего значения, но и обойтись без нас тоже нельзя. Выходит, всякий человек рожден именно для того, чтобы перемещаться с места на место. Мы должны путешествовать, иной миссии у нас попросту нет. Идеальный вариант – сновать между мирами, но на худой конец сойдет и беспорядочная беготня по одной-единственной планете.

– Лихо закручено, – вздыхаю. – Получается, оседлые граждане зря жрут свой хлеб? От них вселенной никакой пользы, сплошные убытки?

– Правильно. Твои предки смутно чувствовали, как обстоят дела, и честно старались исполнить свой долг. Их путешествия были несовершенны: обычные бытовые метания по свету, с горы на гору, с хутора на хутор, от моря к морю, из одной неустроенной страны в другую – только-то! Как и их оседлые соплеменники, они не смогли ускользнуть от смерти. Медленно старели и угасали с тоскливым недоумением в глазах: почему, почему же ничего не получилось? Почему не сбылось некое невнятное, но соблазнительное обещание, не раз звучавшее в младенческих снах? И почему, черт побери, так тоскливо и одиноко, хотя вокруг столпились сытые, добротно одетые дети и румяные внуки, и даже строгие соседи давно уже вынесли вердикт: жизнь твоя удалась на славу, – почему? Никому из них так и не довелось узнать, что, кроме этого, есть еще множество

удивительных миров. Ты, наследник всех этих неудачников, мог бы найти в моем доме все те двери, в поисках которых они сносили не одну пару железных башмаков, и великое множество других дверей, о которых сам мечтать не смел… Я долго готовился к нашей нынешней встрече, хотел раздразнить тебя чудесами, дабы было потом тебе ясно, ради чего из кожи вон лезть приходится, а ничего не выходит. Эх!

– Чудес в моей жизни и без того предостаточно, – ворчу, скорее утомленный избытком невнятной информации, чем потрясенный встречей с «великим откровением». – Кстати о чудесах. Я же обошел ваш дом снаружи, прежде чем постучаться. Маленький совсем домишко. А идем мы по вашему коридору уже минут пять. И что-то противоположной стены все нет и нет… Маша-то где? Тоже по коридору этому безумному скачет?

– Где, где… В доме она, в доме. А вот ты все еще в прихожей топчешься, и исправить это положение мне пока не удается, – скороговоркой объясняет Франк.

94. Зит Зианг

Функция культурного героя <…> оказалась ему не по силам.

Мы возвращаемся в комнату с детскими обоями. Кажется, за время нашего отсутствия здесь переменилось освещение. Теперь лампа изливает на нас густой желтый свет, окрасивший предметы обстановки и наши собственные тела в разные оттенки охры. Словно бы не живая жизнь здесь происходит, а мелькают монохромные кадры из какого-нибудь старого киношедевра.

Завороженный новой окраской мира, усаживаюсь на диван, Франк седлает стул, разворачивает его задом наперед, кладет руки на спинку, а подбородок – на руки и устраивается напротив. Он тих и задумчив. То ли впервые смог оценить по достоинству размеры собственного коридора и ужаснулся, то ли решил, что не все ладно в его хозяйстве, то ли с моей персоной что-то не так, то ли просто устал от прочувствованного своего монолога… В общем, возможны варианты.

– Ладно, – вздыхает. – Экскурсия не удалась; мое выступление, кажется, тоже не очень. Зато ты, вероятно, удивлен длиной коридора, ибо имел счастье предварительно обойти дом снаружи и убедиться, что он невелик… Хотел бы я знать, для тебя это достаточно веское доказательство, что ты попал в необыкновенное место, а не просто в гости к городскому сумасшедшему? Как сам-то думаешь?

Хороший вопрос. Теоретически размеры коридора должны бы с ума меня свести, а я отнесся к приключению почти равнодушно. Только за Машу немного волнуюсь, но даже тревога эта – явление вполне обыденное. Я и без всякого повода то и дело паникую. Задержится она, скажем, минут на десять по причине ненадежности муниципального транспорта, а я уже шастаю по комнате, как таракан по кухонному столу, сигареты одну от другой прикуриваю, пальцами похрустываю, разве что ногтей не грызу. Обычное дело.

– Ну, положим, на городского сумасшедшего вы не слишком похожи, – отвечаю наконец. – Глаза у них совсем другие. Но и прогулка по дому меня не слишком впечатлила. Понимаю, что должен бы в шоке пребывать; отлично помню, как перепугался, когда сидел в гостях у

одной вашей коллеги, в обычной квартире на четвертом этаже панельного дома, а потом посмотрел в окно и увидел, что земля далеко, чуть ли не под крылом самолета… Вот тогда меня проняло. А сейчас почему-то нет. Может быть, я просто привык к чудесам?

– Ну, по моим расчетам, рановато тебе к ним привыкать. Сдается мне, дело не в этом. А в том, что ты присутствуешь здесь лишь отчасти, да и живешь в последнее время – отчасти. Потому и дом тебя не принимает, потому и все двери, кроме одной, оказались для тебя закрыты…

– Как это – «отчасти»? – пугаюсь наконец. – Я – целый. Две руки, две ноги, да и душу бессмертную не выставлял пока на торги, при себе всегда ношу, за пазухой. Как же это – «отчасти»?!

– Вот. Это, собственно, и есть тот самый смешной и страшный разговор, ради которого мы сегодня встретились. Я хотел предварить беседу приятной прогулкой, но не вышло. Забудем. Буду просто говорить слова в надежде, что они способны хоть что-то изменить…

– Надежда – глупое чувство, – вдруг вырвалось у меня.

Франк аж на стуле подпрыгнул. Где-то в темному углу угрожающе вякнул и тут же заткнулся будильник. За окном звонко залаяла собака, громыхнуло железное ведро, где-то совсем далеко отчетливо взвизгнули тормоза автомобиля. В общем, целый концерт.

– Откуда ты взял эту фразу?

– Не знаю, – бурчу равнодушно. – Сама взялась. А что? Фраза как фраза, ничего особенного…

– Ничего особенного, да. Но это *не твои* слова. Не твое личное мнение о надежде. Не твой способ говорить: слишком уж лаконично и бескомпромиссно, даже безапелляционно. Ты больше любишь ходить вокруг да около, так и не коснувшись сути предмета…

– Тоже верно, – улыбаюсь невольно, соглашаясь с ним. – Все-то вы про меня знаете. Откуда?

Вопрос мой он проигнорировал, лишь рукой махнул неопределенно. Дескать, не отвлекайся на ерунду. Знаю себе, и ладно. С кем не бывает…

Некоторое время мы молчим. Франк весьма бесцеремонно меня разглядывает, словно я не живой человек, а восковая статуя в музее мадам Тюссо, которую и за нос при случае потрогать можно, если экскурсовод отвернется.

– Ну и влип же ты! – говорит сочувственно.

– Как – «влип»?

Трясу головой, чтобы хоть немного привести себя в чувство. То ли я изрядно отупел за последние полчаса, то ли Франк за свою долгую жизнь так и не научился внятно изъясняться. По крайней мере, я не понимаю его многозначительных намеков. То я, видите ли, «здесь, да не весь», то «живу отчасти», теперь вот и вовсе «влип». Сейчас чего доброго выяснится, что моего брата, сиамского близнеца, в младенчестве похитили инопланетяне, и пока наше кошмарное семейство не воссоединится, вселенная не сможет вздохнуть с облегчением. Силы зла будут безраздельно править миром, потирая потные лапки, а силы добра –

мужественно играть желваками да точить бластеры. И вот тогда-то из-под платяного шкафа, сияя героическими зубами, вылезет добрый дядя Шварценеггер и скажет: «Добро пожаловать в Голливуд!» И будет мне счастье.

95. Змей

…чтобы разорвать на две части прожорливое земное чудовище…

– Тебя выдумали, – небрежно говорит Франк.

Таким тоном сообщают о незначительных неприятностях: «У тебя крошка в усах застряла» или «На твоем плаще болтается нитка». Ставят в известность о мелком бытовом недоразумении, уладить которое – плевое дело; впрочем, даже улаживать не обязательно, и так сойдет. Я уже поднял было руку, чтобы стряхнуть несуществующую крошку-нитку, забыть о ней и жить дальше, но тут до меня дошел диковинный, ни с чем не сообразующийся смысл его короткой фразы. «Выдумали»?! Что за чушь…

– То есть поначалу-то все шло как надо. Ты просто родился и жил, путал сны и явь, рос дикарем и с младенчества примерял на себя шкуру бродяги, – спокойно продолжает Франк. – Не то чтобы она действительно была тебе впору, но жала в локтях и коленках куда меньше, чем любая другая шкура. Натирала душу, но не до кровавых мозолей. В час рождения тебе посулили девять жизней, а такие обещания обычно сбываются. Первую из них ты должен был потерять в младенчестве, и это действительно произошло прежде, чем ты сказал свое первое слово; со

второй же тебе предстояло распрощаться в возрасте тринадцати лет, на троллейбусной остановке, где слонялся некий пьяный юнец, вооруженный отцовским ножом; однако же эта смерть с тобой разминулась и, раздосадованная, явилась к тебе во сне. Помнишь самый страшный сон твоего отрочества, про Мастерские?

Киваю, как кукла, зачарованный его новым монологом. Кажется, на сей раз меня действительно проняло; даже отсутствие Маши наконец-то больше не имеет значения. Не до нее пока.

– Ну вот, – сочувственно улыбается Франк, – о чем я и толкую. И не делай такое страдальческое лицо. Мастерские из твоих сновидений сами по себе не опасны, просто это место, где, помимо прочего, вносят необходимые исправления в человеческие судьбы, только и всего. Ты сохранил неприятные воспоминания о визитах туда, поскольку два раза увиливал от обязанности умереть наяву, и тогда тебе приходилось переживать свою смерть во сне.

– Второй раз – в мае этого года? – спрашиваю, едва размыкая непослушные губы.

– Ну да, – равнодушно подтверждает Франк. – И не надо так пугаться. Речь в обоих случаях шла лишь о символической смерти; для человека с девятью жизнями все смерти – символические… кроме девятой, разумеется. А нас с тобой сейчас интересует совсем другой эпизод. Событие, имевшее место между двумя страшными снами о Мастерских. Вернее, два события, которые случились с тобой одновременно. Долгая прогулка пешком и короткая поездка в автомобиле… Ладно, ладно, не закатывай глаза, я умолкаю. Вижу, ты и так знаешь, о чем я толкую. В то утро тебя разорвали

надвое: ты умер и остался жив, сохранив при себе оба воспоминания. Это действительно было роковое утро, Макс, потому что именно тогда тебя начали *выдумывать*.

– Как это? – лепечу. – Зачем меня выдумывать, когда я и так есть? Кому такая ерунда в голову могла прийти?

– Бывают такие люди, – сурово говорит Франк, – своего рода полевые генералы армии хаоса, которые достаточно могущественны, чтобы вносить беспорядок в любую череду событий и перекраивать чужие судьбы на собственный лад. Но они, как правило, не ведают, что творят. Они не добры и не злы, у них нет ни желания повелевать прочими, ни готовности подчиниться. У них нет цели, они не способны чувствовать правильное направление; беспокойный разум побуждает их к действию ради забавы, и никакая иная причина не заставит их пошевелить пальцем. Они ведут себя как демиурги, но редко выходят за пределы своей человеческой природы, ибо даже не подозревают о такой возможности…

– Просто монстры какие-то, – бурчу нервно.

– Именно такие «монстры» и обчистили твои карманы, когда ты заснул в чужом дворе, – ухмыляется Франк. – Если бы это были обыкновенные воришки, ты получил бы хороший житейский урок, не более того. Но они не были воришками. Минутой ранее они не подозревали, что способны обшарить карманы пьяного прохожего; минуту спустя удивлялись собственному поступку. С людьми вроде твоих обидчиков то и дело такое приключается: действуя, они не соразмеряют поступки с собственными убеждениями, а потом всякий

раз изобретают причудливые объяснения, дабы оставаться в мире с собой.

– Мило, – фыркаю. – Экие, блин, тонкие артистические натуры!

– Именно. Тонкие и артистические, – без тени сарказма подтверждает Франк. – Поэтому они подошли к делу творчески. Взяли да и выдумали историю о том, как с неизвестным пьяным прохожим случились два события вместо одного. Первая версия соответствовала действительности, а согласно второй, ты остался при деньгах, поймал поутру такси, да и сломал себе шею в дурацкой автомобильной аварии. Мораль выводилась следующая: не бывает ни «хороших», ни «дурных» поступков; обокрав беспомощного человека, можно спасти ему жизнь… ну и так далее. Ничего оригинального, но авторы обрели душевный покой. Историю эту они записали в толстую тетрадь в лиловой обложке и через несколько дней позабыли, заигравшись в какую-то новую игру.

– Так, значит, на самом деле я не ехал в том такси? Хорошая новость!

Я разве только не приплясываю. Радуюсь, что нашлось наконец объяснение одному из самых тягомотных кошмаров моей жизни. Объяснение, конечно, невнятное и вопросов порождает куда больше, чем я готов задать, но самое главное прояснилось: не умирал я в то утро. Просто шел себе домой через весь город, проклиная портвейн, пиво, греческий коньяк «Метаксу» и собственную дурную башку. Прочее – от лукавого.

– Все не так просто, – хмурится Франк. – Как я уже сказал, у твоих случайных знакомцев достаточно могущества, чтобы перекраивать чужие судьбы. Без

всякой выгоды для себя, разумеется. Они-то поиграли и забыли, а вот ты с тех пор живешь двойной жизнью, и нельзя сказать, что это пошло тебе на пользу. Твоя связь с другим, выдуманным Максом – односторонняя. Тебе от его присутствия никакого толка; ты, пожалуй, и не узнал бы о нем никогда, если бы не я. А вот он кормится твоей силой и твоей удачей. И, разумеется, твоими жизнями. Все у вас теперь пополам…

– Как это?

– Неважно как. Важно, что ты вынужден содержать за свой счет призрака, рожденного к тому же чужим воображением. Если не можешь понять это, просто запомни. Пригодится.

– В общем, все плохо, да? – резюмирую растерянно.

– Это как посмотреть. История про пьяницу с выпотрошенными карманами просто записана в тетрадку. Никто из посторонних ее не читал. Поэтому твой двойник до недавних пор был слаб и вполне мог бы со временем тихо угаснуть, просто исчезнуть без следа, освободив тебя от обременительной обязанности делить с ним жизнь и судьбу. Текст, который никто не читает, постепенно теряет силу, кем бы он ни был написан.

– Ну и?.. Получается, проблема сама по себе рассосется?

– Вряд ли. Минувшей весной случай снова свел тебя с этой парочкой. Они тебя, разумеется, не узнали. Но в душу ты им на сей раз запал. Бродил за ними по ночному городу, напугал до полусмерти…

– Так это были они? – перебиваю его. – Те самые люди, которые меня обокрали? Такое совпадение?

– Ну да. Бедняги до сих пор в себя прийти не могут, все гадают: что же тебе от них было нужно? А, кстати, действительно, что?

– Они мне понравились, – говорю смущенно. – Славные ребята. И карточную колоду на скамейке забыли, а я подобрал. Самодельная игрушка, не то для гадания сделана, не то просто опыты авангардного книгоиздательства… Там все вдоль и поперек исписано моими любимыми феньками. Я глазам своим не мог поверить: словно бы сам все это написал. Рука чужая, а приколы – мои, фирменные. Я никак не мог понять, откуда они их взяли, да и сейчас не понимаю… Не надо было мне за ними ходить, да?

96. Золотой телец

…встань и сделай нам бога, который бы шел перед нами.

Франк молчит. То ли устал, то ли не может решить: следует ли открывать все карты или заначить кое-что на черный день. Наконец вздыхает тяжко, решив, очевидно, что «черный день» – вот он, куда уж чернее…

– «Надо», «не надо» – кто же совета задним числом просит? Дело сделано. Эти двое теперь никогда тебя не забудут. И знаешь, что хуже всего? Головы их забиты причудливыми фантазиями на литературные темы. Им сейчас мнится, будто всякий бог обязан существованием лишь священной писанине жрецов, а любой вымышленный персонаж имеет шанс однажды открыть свои прекрасные, тщательно выписанные автором глаза и обнаружить себя в центре обитаемого мира… Ты их

весьма заинтриговал; впрочем, и напугал изрядно. Но теперь, несколько месяцев спустя, паника забылась, а любопытство осталось. А поскольку людям свойственно насильственно втискивать реальные события в рамки собственных представлений о причинах и следствиях, твоим могущественным приятелям очень нравится думать, будто их преследовал человек, которого им только предстоит выдумать. Для того, собственно, и преследовал, чтобы попросить: выдумайте меня, пожалуйста, очень уж пожить хочется. И они уже принялись за дело. Переворошили старые черновики и исписали две толстые тетради. По секрету могу сказать тебе, что нынешним записям уготована мусорная корзина, зато с главным героем все уже решено окончательно. Кстати, по странному совпадению, его тоже зовут Макс, так-то… Рано или поздно работа благополучно завершится. Это будет очень длинная и весьма увлекательная история. И у этого текста наверняка найдутся читатели. Много, много читателей. А вот тогда, друг мой, дело окончательно провоняется керосином.

– А что случится-то? – спрашиваю.

– Двойник твой обретет настоящую силу и отнимет у тебя все. Чудеса, которые были суждены тебе, станут случаться с ним. Способность испытывать беспричинную радость, а порой вдруг звереть от лютой тоски достанется другому. Твое прошлое превратится в его воспоминания. Даже сны, благодаря которым ты больше похож на дом с привидениями, чем на живого человека, постепенно станут его достоянием, а твои тайники опустеют. А потом он заберет у тебя и жизнь: зачем

делить на двоих то, что может присвоить один? Тот, кто сильнее.

– И он, этот выдуманный Макс, сильнее?

– Еще нет. Но, возможно, это всего лишь вопрос времени. Он уже учится смотреть на мир твоими глазами, а порой даже использует твои голосовые связки для собственных нужд. Эта насторожившая меня фраза про надежду, скорее всего, принадлежала ему: слишком уж фальшиво звучала она в твоем исполнении. Ты говорил не как человек, а как капризный божок, созданный по образу и подобию своих недалеких жрецов…

97. Зу-л-Карнаин

Герой, дошедший до пределов земли.

– Слушайте, но так же нельзя! – я почти кричу, а потом уже и не «почти». Ору, потому что чувствую: если не выпущу пар, моя голова взорвется, как старый, ржавый, неухоженный котел, попавший к тому же в руки непутевого раздолбая-механика. – Что ж вы надо мной издеваетесь?! Бред собачий, свинячий, блядский, дебильный бред!

Франк молчит. Смотрит на меня с участием, как добрый доктор Айболит на неизлечимого орангутанга. Дескать, и рад бы я тебя починить, обезьянка глупенькая, да вот не достигло пока ветеринарное искусство потребных для такого нелегкого дела высот. А посему умри, бедное животное.

«Бедное животное» послушно умирает. А я внезапно успокаиваюсь.

– При всем при том я почему-то совершенно уверен, что вы сказали мне чистую правду, – говорю. Тихо так, вежливо. Сам себе удивляюсь.

– Уже хорошо, – ласковым эхом отвечает он.

– И в связи с этим у меня вопрос: это можно как-то исправить?

– Было бы нельзя – стал бы я тебе тут страшные сказки рассказывать…

– И что я должен делать?

– Ну, положим, ты никому ничего не «должен». Старайся употреблять это слово пореже: тягостное оно какое-то… Тебе так не кажется?

– Слово как слово… Ладно, что я *могу* сделать?

– Вот. На хорошо поставленный вопрос и отвечать приятно. Есть несколько вариантов. Первый самый простой, но тебе он вряд ли понравится.

Адресую ему вопросительный взгляд. Дескать, почему же не понравится, если самый простой?

– Ты не понял, – улыбается Франк. – Проще всего было бы убить тех, кто тебя выдумал, прежде чем они завершат работу над созданием твоего двойника. Но ты – не убийца. Положим, с моральными запретами ты легко справишься, тут я за тебя спокоен. Хуже другое: ты не умеешь убивать. Ты и старой курице шею не свернешь, ибо брезглив, неуклюж и великодушен. Скорее уж ляжешь спать голодным. Не твое это призвание – быть убийцей. Даже если возьмешься – непременно все испортишь. Лучше и не пробуй.

– Да я и не собираюсь… Еще чего не хватало!

– Ну вот. Я же говорил: самый простой способ – не для тебя.

– Прочие в таком же духе?

– Ну что ты. Разнообразие путей – одно из несомненных достоинств этого мира.

– Ладно. Тогда рассказывайте дальше.

– Второй способ кажется мне чрезвычайно элегантным, но я не уверен, что тебе удастся им воспользоваться: слишком уж сложно.

– Все равно рассказывайте. Если мне не подошел самый простой способ, может быть, самый сложный – именно то, что надо?

– Что ж, слушай. Теоретически говоря, ты мог бы спешно перезнакомиться с большим количеством плодовитых писателей и убедить каждого сделать тебя прототипом какого-нибудь персонажа. Хорошо бы, конечно, чтобы списанные с тебя герои оказались разительно не похожи друг на друга, поступки каждого противоречили душевному складу всех прочих и судьбы их складывались по-разному. Понимаешь, к чему я веду? Чудо, добросовестно скопированное множеством мелких фокусников, превращается в безобидную пародию. Подражатели и последователи способны любую мистерию превратить в самодеятельный спектакль. Твои призрачные двойники расплодятся как мыши-полевки в урожайный год и станут не могущественней фотографических снимков, которые, конечно, питаются силой оригинала, но довольствуются столь ничтожными порциями, что их можно не брать в расчет… Впрочем, это утопия. Вряд ли мой совет осуществим. Не бери в голову.

– Ну, не знаю… – говорю с сомнением. – Может, и не утопия. «Много» писателей – это сколько? Трое? Пятеро? Я попробую как-нибудь с ними стусоваться…

– Ну что ты, – вздыхает Франк. – Для достижения желаемого результата тебе потребуется несколько десятков исполнителей. Это как минимум. Я бы рекомендовал сотню, для верности.

– Сотню?! Действительно утопия. Где я их возьму в таком-то количестве… А есть еще какие-нибудь способы, не столь экзотические?

– Есть. В частности, ты вполне можешь вернуться в родной город, разыскать эту парочку и попробовать с ними договориться. Дескать, не губите живую душу литературными экспериментами! Они ребята не злые, вполне могут войти в твое положение. Тем более что работа их только-только начата, бросать пока не слишком жалко…

– Вот, – говорю. – Теперь теплее. Вполне осуществимая затея. Не убийство какое-нибудь. Не представляю пока, как их искать, но уж с переговорами-то я справлюсь.

– Да, – без особого энтузиазма соглашается Франк. – Справишься. С переговорами и многими другими пустяковыми делами… Но знаешь, я намерен дать тебе один безумный совет. А тебе придется к нему прислушаться.

– Что за совет-то?

– На твоем месте я бы постарался пройти этот путь до конца и посмотреть, что будет. Откровенно говоря, я тебе даже завидую…

– Ну ни фига себе! – возмущаюсь. – Вы же сами меня битый час запугивали. Объясняли, что я «влип». Дескать, этот страшный выдуманный Макс отнимет у меня жизнь, чудеса, сны и воспоминания. Вы меня почти убедили, я в ужасе, хоть и представляется мне описанная вами опасность, мягко говоря, абстрактной… А теперь вы вдруг делаете финт ушами, и выясняется, что вы рекомендуете мне «пройти путь до конца» да еще и завидуете непонятно чему. На кой тогда вся предыдущая телега? Я бы и так прошел свой путь, поскольку до встречи с вами мне в голову не приходило, что с него непременно следует куда-то сворачивать…

Франк укоризненно качает головой.

– Ты прошел бы его дурак дураком, не понимая, что происходит. А я позволил тебе заглянуть за подкладку твоей судьбы и увидеть там несколько тайных швов. Кто предупрежден – вооружен.

– Ну… да, наверное.

Вздыхаю тяжко. Закрываю лицо руками, тру лоб, массирую виски. Отупел я от краткого курса прикладной мистики. Ничего уже не понимаю. Отпустил бы этот Франк меня с миром, я бы поспал полдня, выкинул бы из головы весь этот бред и жил бы дальше. Так нет, не отпускает, а долдонит что-то несусветное. Пройти. Путь. До. Конца. Убиться веником!

– У тебя очень хорошие шансы уцелеть в этой причудливой схватке. И даже выйти из нее победителем, – старик вдруг превращается в змия-искусителя, говорит льстиво, вкрадчиво; голосом, словно влажной бархоткой, сердце мне утирает. – Шесть жизней из девяти все еще твои, да и некий бессмертный оболтус напоил тебя однажды своей кровью –

какое-никакое, а все же противоядие. Авось прорвешься. Только вообрази: ты можешь сделать то, что до сих пор никому не удавалось, совершить путешествие на потаенную изнанку вещей, постоять на самом краю собственной судьбы и вернуться обратно с удивительными трофеями.

– Но зачем это все? – спрашиваю устало. – В отличие от того, выдуманного, которым вы меня весь вечер стращаете, я не герой романа. У меня нет задачи прожить самую интересную жизнь в истории человечества. У меня совсем другая задача: жить как можно дольше и как можно счастливее. И если со стороны это будет выглядеть чрезвычайно скучно – что ж, я не против. Плевать мне на тех, кто смотрит «со стороны»… Зачем же в таком случае?

– Я уже говорил тебе, что ответа на вопрос «Зачем?» – не существует. Спроси: «Почему?» И я отвечу.

– Почему? – эхом повторяю я.

– Потому что в момент твоего рождения восхитительная шаровая туманность по имени Форамен заняла положенное ей место в третьем доме твоего гороскопа, да еще и в соединении с Прозерпиной, таинственной, малоизученной планетой, которая, согласно смелой гипотезе одного моего коллеги, оказывает влияние лишь на ту часть человеческой жизни, что протекает в иных мирах, – невозмутимо ответствует Франк.

Вот это, я понимаю, аргумент. Приехали!

– Прекращайте издеваться. Что за «Форамен» такой?

– А разве я издеваюсь? – Франк невозмутим, но заметно, что он с удовольствием предвкушает грядущее выступление. – Если ты полагаешь, будто я выдумал эту туманность, могу сообщить тебе ее номер по каталогу Дрейера: NGC 3372. Название «Форамен» означает «отверстие» или «дыра», как тебе будет угодно. Предмет нашей беседы – это, строго говоря, большое облако ионизированного водорода в южной части Млечного Пути. Светлая диффузная эмиссионная галактическая туманность, которая окружает одноименную звезду, Эту Киля. Одна из самых необычных среди всех когда-либо наблюдавшихся звезд и одна из самых ярких по болометрической величине,[14] если этот термин тебе хоть что-то говорит… Но нас интересуют не столько астрономические данные, сколько астрологические выкладки, не так ли? Так вот, оная туманность Форамен – не просто сверкающее скопление новорожденных звездочек, а грозная владычица метаморфоз и перевоплощений, сулящая тебе встречи с существами иной природы, двойственность сознания и чудесные превращения.[15] К слову сказать, именно она – твой

---

[14] Т. е. по полной совокупности энергии, выделяемой звездой на всех длинах волн, поскольку большая часть энергии туманности Форамен излучается в невидимом человеческому глазу инфракрасном диапазоне.

[15] Франк явно использует толкование, относящееся к авестийской астрологической традиции, но цитирует его не полностью. В частности, он забыл (или не захотел) добавить, что туманность Форамен может наделить способностью коммуницировать с другими формами сознания, талантом к трансцендентальному сопереживанию, который чаще всего описывается как умение «побывать в шкуре» другого существа. Впрочем, все это, равно как и метаморфозы с перевоплощениями, о которых говорил Франк, наблюдается лишь в исключительных случаях. Как правило же, присутствие туманности Форамен в гороскопе дает необратимые изменения психики: прыжки сознания, навязчивый бред, страшные делирии (не только алкогольные). С этой туманностью связана патологическая зависимость от других людей, от медикаментов, наркотиков и т. д. Форамен часто встречается в гороскопах алкоголиков, наркоманов, у сексуальных

магический пропуск в этот дом и в мое сердце, единственная причина, по которой я с тобой нянчусь… Далее. По иронии судьбы, волшебная эта туманность находится не где-нибудь, а именно в третьем доме твоего гороскопа, отвечающем за начальное – заметь, не какое-нибудь, а именно *начальное*! – образование. Такое положение туманности Форамен в натальной карте заменяет добрую сотню лет самоотверженных трудов и исканий. Вот почему чудеса, которые никому в руки не даются, сами гоняются за тобой во сне и наяву, вот почему они не оставляют тебя в покое, хоть и воротишь ты от них рожу, как красна девица от незавидных женихов… Но любая палка, как известно, о двух концах. Туманность Форамен чрезвычайно опасна для обычного человека. И с ума может свести, и к героину приохотить, и маниями опасными наделить. Поэтому нормальная жизнь – не для тебя. Сгоришь заживо, завершишь свой путь в смирительной рубашке. И в этом смысле твой выдуманный двойник – спасение. Кнут, который будет гнать тебя в нужном направлении. Пока он есть, твоя жизнь не наладится. Не станет обычной.

– Да уж, пожалуй, – блею растерянно. Не потому, что согласен, а так, из вежливости, дабы беседу поддержать.

Сизифов труд с этим стариком разговаривать. Только-только почудится мне, что начинаю понимать наконец странную его логику, как диалог наш тут же совершает причудливый скачок куда-то в сторону, и я снова раздавлен тяжким информационным грузом.

маньяков и даже скотоложцев.

– Поэтому, – Франк адресует мне многозначительный взгляд, словно и впрямь верит, что я не только слова его, но и намеки способен понимать, – я и советую тебе пройти путь до конца. Жить, бездействовать, копить силу, учиться мужеству, терпеливо дожидаться дня, когда твой вымышленный двойник обретет плоть и намерения. Встать на его след, найти его, заглянуть в глаза, а там – по обстоятельствам… Кто знает, в какие пределы заведет тебя эта охота? По крайней мере, не я. И не ты. Но у нас есть возможность получить ответ на этот вопрос.

98. Зындон

Зындон находится <…> под замком.

– Час от часу не легче, – ворчу. – Как вы себе это представляете? Как я буду его искать, этого двойника? Откуда я вообще узнаю, что он «обрел плоть»? В вечерних газетах вряд ли об этом напишут…

– Странный вопрос. А как ты искал этот дом? Уж не по объявлениям в вечерних газетах, я полагаю.

– Не по, – соглашаюсь угрюмо. – И вообще не искал. Все как-то само случилось.

– Ну вот тебе и ответ на все вопросы сразу. Все само случится, твое дело – плыть по течению, держать нос по ветру и внимательно смотреть по сторонам. Тогда и не прозеваешь самые важные события в своей жизни. Инструкция, надеюсь, не слишком сложна для понимания?

Ну точно издевается, гад лукавый. Зуб даю. Но не драться же с ним…

– Тоже мне инструкция… Вы могли просто взять томик народных сказок и зачитать мне оттуда: «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что» – ровно с тем же эффектом. Без двойников, дырявых туманностей, лекций об устройстве вселенной, повести о настоящих демиургах и прочей метафизики для чайников. Зачем на меня такую богатую фактуру тратить? Я прост и невинен, как дикарь с острова Пасхи. Когда мне говорят: «Тебя могут съесть», я напрягаюсь и принимаю меры. Но когда мне начинают зачитывать кулинарный трактат с описанием тысячи способов приготовить бедро молодого мужчины, я засыпаю примерно на третьей главе, забыв о нависшей угрозе.

– Ты не прост и невинен, а фантастически самодоволен и ленив, – смеется Франк. – Впрочем, и силенок у тебя сейчас маловато. Глаза погасли, слушаешь меня как во сне, себя едва помнишь… Именно это я имел в виду, когда сказал, что ты присутствуешь здесь лишь отчасти. Знаешь что? Ложись-ка ты спать. Все равно и тайны этого места, и даже смысл моих речей спрятаны от тебя за железной дверью, а связку ключей от замков ты с собой не захватил. Вот и топчемся, приникнув к замочной скважине: я с одной стороны, ты – с другой. Не слушаешь – подслушиваешь; не смотришь – подсматриваешь. И доносятся до тебя лишь обрывки фраз да смутные образы перед глазами мелькают: то пуговица, то кольцо на пальце, то фрагмент кирпичной стены…

– Ну вот, полку метафор прибыло. Теперь еще какие-то двери, ключи, замки, скважины замочные

обнаружились, – бормочу, послушно сворачиваясь калачиком на диване. Плащ и ботинки не снимаю: понимаю, что не дело это – в незнакомом месте спать укладываться, но глаза слипаются, сил никаких человеческих нет бодрствовать, вот и оставляю при себе верхнюю одежду, наличие каковой должно символизировать, что сплю я не «на самом деле», а «понарошку». То есть полежу чуть-чуть, две минуточки, а потом придет Маша, разбудит меня, и мы поедем домой, а по дороге она, наверное, объяснит мне, зачем мы сюда приезжали, потому что я уже давно перестал это понимать, а хозяин дома принципиально не отвечает на вопросы, которые начинаются со слова «зачем»…

Франк сидит на стуле и одобрительно взирает на мои попытки устроиться поудобнее и при этом не запачкать диван ботинками. Ловлю себя на том, что его присутствие совершенно меня не стесняет. Напротив, успокаивает. Я сейчас почти не помню, о чем мы весь вечер говорили; не понимаю, откуда он взялся, причудливый этот старик, и откуда, если уж на то пошло, взялся я сам? И мне, в сущности, все равно. Но один, последний вопрос я ему все-таки задаю. Не потому что мне сейчас действительно требуется ответ, а из чувства долга, словно бы подчиняясь некоему невидимому сценаристу, который переминается нетерпеливо с ноги на ногу где-то за кулисами моего сознания, толкает локтем в бок: «Ну же, давай, давай, финальная реплика!»

– А кто вы? – спрашиваю, почти не размыкая губ. – И почему вы так много обо мне знаете?

– Тебе совсем не хочется, чтобы я отвечал, – тихо смеется Франк.

– Не хочется. Но, наверное, так надо…

– Да, всегда лучше знать наверняка, чем путаться в догадках… Я не зря заговорил о дверях и замках. Я – ключник, – шепотом сообщает старик. – Тот, кто открывает двери, всего-то… И еще я – одна из твоих судеб, Макс. Возможно, лучшая из твоих несбывшихся судеб. Мы – отнюдь не одно и то же, совсем разные существа, но, когда я был человеческим детенышем, моим гороскопом тоже управляла туманность Форамен. А это значит, что однажды ты можешь вернуться в этот дом и стать Тем, Кто Открывает Двери. Хорошая, к слову сказать, профессия, верный кусок неба с маслом…

– Я не понимаю, – равнодушно сообщаю ему откуда-то из-под накрывшей меня первой волны неглубокого пока сна. – При чем тут эта хренова туманность?

– А тут и понимать нечего. Просто близ центра чудесного и немилосердного звездного облака под названием Форамен расположена еще одна маленькая темная пылевая туманность, которая именуется Замочной Скважиной, да и выглядит именно как замочная скважина, хоть сейчас ключ вставляй… Ищи ключи, Макс. Это – все, что тебе нужно. Ищи ключи. Ключник без ключей – жалкое зрелище, уж поверь моему горькому опыту.

И

99. И

…его жена тайком выпила снадобье, превратилась в бессмертную и улетела на Луну.

Я просыпаюсь дома. На часах три часа пятнадцать минут, за окном ночь, плащ и ботинки на мне, не говоря уже о прочих предметах гардероба. Состояние – как после грандиозной попойки. Чувствую себя омерзительно, что было – почти не помню и вспоминать пока не хочу. Как я попал домой – неясно; Маши нет рядом, и я понятия не имею, при каких обстоятельствах мы с нею вчера расстались. Ну, небось не поссорились, мы ведь никогда не ссоримся… Закрываю глаза. Надо бы уснуть и через несколько часов снова проснуться, в здоровом теле, твердой памяти и добром расположении духа. Да сон не идет.

Раздеваюсь, путаясь в рукавах и штанинах, отправляюсь в душ, отворачиваю оба крана до предела; несколько минут недвижно стою под ударами тугих горячих струй. Оттаиваю, отмываюсь, оживаю. Тело наконец довольно; мы с ним, можно сказать, помирились после размолвки, причины которой мне до сих пор не ясны.

Пока варится кофе, я топчусь у плиты и бездумно смотрю в одну точку, а потом маленькими неумелыми глотками пью густую темную жидкость, вкус которой кажется мне сейчас незнакомым и не слишком приятным. Питие, оказывается, сложная наука! Можно подумать, я

спал так долго, что гортань отвыкла исполнять свои обязанности и теперь с трудом воспроизводит нужную последовательность сжатия и расслабления соответствующих мускулов.

Вдумчиво разглядываю ворох одежды, силясь сообразить, каково ее назначение. И с чего следует начинать процедуру облачения? Сначала носки, а потом джинсы, или наоборот? Или один хрен? Элементарные повседневные действия кажутся сейчас причудливыми ритуалами, к изучению которых мне, очевидно, придется приступать заново.

Вторая чашка кофе выпивается почти профессионально, да и вкус его мне опять по душе. Никак в себя прихожу? С возвращением, дружище Макс, мне так тебя не хватало! Теперь можно усесться на широкий подоконник, подтянуть колени к подбородку, храбро улыбнуться собственному полупрозрачному отражению, сквозь отчаянные глаза которого просвечивают лимонадно-колючие звезды, прикоснуться лбом и ладонями к холодному стеклу и вспомнить наконец события минувшего дня-вечера-ночи. Рассортировать кашу, до краев заполнившую мою большую, тяжелую, чугунную голову, разобрать ее по зернышку: рис налево, овес направо, просо – в центре, шелуха – в окно. Золушкина работа ничуть не легче сизифова труда, просто драматизма в ней меньше, да и зрелище не слишком эффектное. Кинематографисты за такими кадрами не гоняются.

Сижу, вспоминаю. Восстанавливаю последовательность событий. Хуже всего с возвращением домой: сей трип покоится на дне самого глубокого из многочисленных провалов в моей памяти. А ведь путь

неблизкий! Чувствую себя клиническим идиотом, слабоумным овощем, самым юным маразматиком за всю историю человечества – а что делать?! Значит, так: старые знакомцы привели меня к дому с садом, симпатичная старушка выдала пригласительный билет на две персоны; мы с Машей отправились на вечеринку в некий неблагоустроенный филиал Зазеркалья, где ей прочистили память и предложили присоединиться к гостям, а меня приговорили к обществу хозяина дома, который… Ох! Это же сколько килофонем невнятной, противоречивой информации мне пришлось усвоить? Если хоть на миг предположить, что относиться ко всему, что я услышал от Франка, следует серьезно, то плохи мои дела. Зато если предположить, что Франк говорил ерунду…

А он, собственно, и говорил ерунду.

Ерунду?

Еруновую Ду или Еровую Унду?

Мое отражение укоризненно качает головой. Дескать, не выдавай желаемое за действительное. Все, что с тобой сегодня (а сегодня ли?) случилось, – очень серьезно. Ты это и без меня знаешь, – сердито думает мое отражение. – Поэтому прекрати твердить, что тебя просто *загипнотизировал* (а знаешь ли ты, дружок, что такое гипноз, или просто слово знакомое, книжное успокаивает?) *старый* (не забывай, когда он открыл вам дверь, он выглядел ребенком, да и бабушка в парке, вполне возможно… ага, именно!) *наркоман* (почему именно «наркоман»?! Ты ничего более гениального не способен придумать, горе мое?). Как видишь, твоя гипотеза трещит по швам, и все прочие гипотезы кончат

не лучше, а потому не трать на них свое и мое – наше! – драгоценное время.

Мой полупрозрачный заоконный двойник – умница и идеалист, он верит в чудеса и презирает законы природы, добросовестно описанные в школьных учебниках. Из нас двоих он куда лучше приспособлен для нелепой жизни, прожить которую, тем не менее, предстоит мне. Но его дело маленькое: когда я выключу лампу и оконное стекло временно утратит способность отражать предметы, этот умник исчезнет, и я останусь наедине с воспоминаниями, куда больше похожими на сон впечатлительного отрока, задремавшего среди пачек эзотерической литературы, чем на фрагменты человеческого бытия.

Я останусь один. Буду сидеть и ждать, когда позвонит Маша. Ее голос наполнит жизнь простым и теплым смыслом, с которым мне легко соглашаться. Все уладится само собой, когда она позвонит, а потому – буду ждать… Хотя, собственно, почему именно ждать? Может быть, она звонила, пока я спал, и оставила для меня сообщение? Если предположить, что мы возвращались домой порознь – а именно так, очевидно, и было, в противном случае Машенька спала бы сейчас под моим одеялом, – тогда она обязательно должна была мне позвонить.

Соскальзываю с подоконника, устремляюсь к возлюбленному своему аппарату. И обнаруживаю, что на автоответчике действительно появилась новая запись. Слушаю, уставившись на блестящие кнопки немигающим взором. Щиплю себя немилосердно, раздираю ногтями до крови обветренную кожу запястий, не в силах уверовать

в достоверность происходящего. Перематываю пленку назад и слушаю снова. И еще раз. И еще.

Макс, милый Макс, так странно звонить тебе отсюда. Так странно, что здесь есть телефон. С другой стороны, а почему бы ему и не быть, телефону-то? И уж совсем странно, что я собираюсь тебе сказать: «Не волнуйся, я исчезаю, со мной все будет хорошо»… Нет, не так, я обхожусь с глаголами как иностранка. На самом деле хорошо не «будет», а «есть», и я не «исчезаю», а уже исчезла. Тут требуется прошедшее время, совершенная форма глагола. Самая совершенная из глагольных форм… А если бы мы с тобой были великими британцами, вышло бы еще лучше. Можно было бы использовать Past Perfect, поскольку я исчезла ДО ТОГО, КАК… До того как – что? А просто – до того как.

По большому счету, я исчезла задолго до того вечера, когда ты увидел меня на улице. И все-таки ты меня увидел, вот что славно! Но быть исчезнувшей – мое призвание, мания, мечта и единственное предназначение. Поэтому меня всегда тянуло куда-нибудь уехать: отъезд очень хороший выход для того, кто пока не научился исчезать, но непременно научится. Вот и я наконец научилась. В этом доме, куда ты меня привел, можно очень быстро научиться самым важным на свете вещам. Раз – и все.

Ты, конечно же, будешь в шоке от моей выходки. Не знаю, что бы со мной творилось, если бы ты исчез, а я осталась. Тому, кто остается, всегда трудно, а тому, кто исчезает, – легко. Мне повезло, я исчезла первой. А ты остался. И я не знаю, как это можно исправить. Как сделать, чтобы тебе не было грустно без меня. Потому

что ты все еще есть, и окно твое светится сейчас прекрасной бледно-изумрудной поганкой, как блуждающий огонек в московском болоте. Не грусти, не грусти, не грусти. В отличие от тебя, я сейчас знаю, что расстаемся мы ненадолго. Вернее, мы вовсе не расстаемся. Потому что, кроме этой судьбы, есть еще и другие, предназначенные для таких встреч, что по сравнению с ними наш московский роман – скучная, сентиментальная пьеска. Когда ты сам исчезнешь, ты поймешь, что я имела в виду. А ты непременно исчезнешь, иначе быть не может. Для того мы с тобой и родились, чтобы однажды исчезнуть.

Поэтому – ты уже понял, да? – я не приеду к тебе ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Никогда. Зачем приезжать, если мы и так вместе? Всегда, везде вместе, только ты этого пока не знаешь, а я уже знаю.

И поэтому я не прощаюсь.

Я ложусь навзничь и смотрю в потолок. Возможно, если лежать долго, очень долго, не шевелиться, ни о чем не думать, ничего не чувствовать, а просто смотреть в потолок, я тоже смогу исчезнуть. А больше ничего и не требуется. Нет у меня теперь иного занятия на этой прекрасной земле.

Но вместо того, чтобы исчезнуть, я наконец засыпаю.

Женщина, которая больше не желает откликаться на имя Маша, но охотно сообщает мне чертову дюжину своих прежних и новых имен, поджидает меня на пороге сна, протягивает руки, смеется: «Вот видишь, я ведь говорила, что не прощаюсь!» Подробностей я не помню;

мне и впоследствии не часто удавалось восстановить в памяти все мизансцены этих фантастических свиданий, только ворох сладких, тягучих, и словно бы никак не связанных между собой фрагментов.

Но я не ропщу, я учусь довольствоваться малым. Царапиной от ее ногтя, которую, проснувшись, обнаруживаю на шее. Знакомым белокурым волоском на рукаве свитера, заменяющего мне пижаму в этом холодном октябре-ноябре-декабре. Неглубокой, почти незаметной вмятиной на подушке по соседству с моей головой. Одержимый, я коллекционирую доказательства реальности сновидений, и мелочи, которые прежде могли бы свести меня с ума, теперь помогают сохранить рассудок…

Стоп.

Что касается рассудка, у меня, конечно же, есть выбор.

Я все еще могу убедить себя, будто ничего особенного не случилось. Всему найдется объяснение. Скажем, в чай, который мы с Машей пили перед поездкой, зачем-то добавили ЛСД. Кто-то недавно говорил мне, что достать кислоту в Москве несложно, было бы желание и (небольшие, в сущности) деньги. Возможно, сама Маша и добавила, почему бы и нет? Что я о ней знаю, если задуматься? То-то же, почти ничего. Может быть, именно так она всегда расстается со своими мужчинами, дабы остаться в их памяти загадочной «феей-лисой», сгинувшей безвозвратно во время совместной экскурсии по Зазеркалью – а что, причудливо и романтично; теоретически говоря, я даже одобряю такой подход к делу…

Соответственно, дом в Остаповском проезде – галлюцинация; Франк – либо наваждение, либо заскучавший на пенсии цирковой гипнотизер (в любом случае его теория о месте человека во вселенной – не ахти что, познания в астрологии, скорее всего, поверхностны, а попытка запугать меня неким вымышленным двойником – и вовсе чушь собачья); сны же мои ничего не значат… По крайней мере, не больше, чем значили прежде.

Но если так, если все ерунда, подлежащая немедленному забвению, значит, я остался один. Без Маши.

А если в чае не было ничего, кроме микроскопической дозы кофеина и лошадиной порции сахара?

А если дом в Остаповском проезде – не галлюцинация, а некая, пусть искаженная, вымороченная, но реальность, не менее достоверная, чем черная лестница, по которой я взбираюсь домой, когда ломается лифт?

И если Франк – не шарлатан?

И если, наконец, сны мои – наиважнейшая часть бытия, а не бестолковая рекламная пауза, то и дело прерывающая не слишком насыщенный событиями и интригами сериал под названием «Юность Максима»?

Что ж, в таком случае все путем. Любовь всей моей жизни по-прежнему рядом со мной, почти каждую ночь, совсем как прежде. И связка ключей от зачарованного дома уже позвякивает в кармане – пусть пока не в моем, но того Макса, которым я когда-нибудь непременно стану. И лучшая из выдуманных судеб не отправлена в

архив с пометкой «несбывшаяся», а все еще стережет меня, то ли притаившись под окнами, то ли вальяжно прогуливаясь по базарной площади в Исфагане, где, как известно, принято назначать самые важные свидания.

Такой вариант, ясное дело, представляется мне более привлекательным.

Это похоже на шантаж.

Это и есть шантаж. Но я с радостью принимаю новые условия игры.

100. Иаков

...представления об Иакове как человеке, постоянно поддерживающем связь с Богом посредством видений и снов.

Осень заканчивается, проливные дожди сменяются скудными снежными подачками небес. Жизнь продолжается, и я продолжаюсь вместе с нею.

Так уж по-дурацки устроены человеки, что нам непременно требуется делить явления и события на «значительные» и «незначительные», иначе почему-то не получается – по крайней мере, у меня. С тех пор, как моя личная папка под грифом «важное» стала наполняться всяческим необъяснимым мороком, я понемногу начал складывать в мусорную корзину все остальное. Научившись придавать значение снам, тут же утратил интерес к так называемой «реальной жизни». Живу как во сне; вернее, *живу во сне*. И такое положение вещей совершенно меня устраивает.

Я вовсе не чувствую себя несчастным. Сердце мое не разбито. У меня нет желания снова закрыть глаза и побежать навстречу какой-то иной судьбе: нынешняя меня совершенно устраивает. Одиночество не кажется мне непереносимым; впрочем, и общество других людей по-прежнему доставляет мне удовольствие. Я приветлив с окружающими и внимателен к ним, поскольку знаю теперь, что любой незнакомец может оказаться чудесным посланцем с изнанки вещей. Не потому, что всерьез полагаю, будто обитатели благословенной этой изнанки жаждут наладить связь с моей персоной; просто всякий обитаемый мир нежен и проницаем, а потому случиться может все что угодно и с кем угодно. В том числе и со мной. Почему бы нет? Случалось ведь до сих пор, то и дело…

Раз и навсегда утратив почву под ногами, я почему-то не пошел вразнос, а, напротив, успокоился, обрел недоступную мне прежде ясность и даже трезвость рассудка. Человек, раз и навсегда уверовавший, что единственный смысл его существования – надежда вернуться когда-нибудь в дом, построенный на границе сбывшегося и несбывшегося, переступить невидимый порог, по-хозяйски размахивая своей собственной связкой ключей от всех входов и выходов, просто обязан оставаться в здравом уме и твердой памяти. Мании, галлюцинации и прочий сложносочиненный бред – роскошь, которую я не могу себе позволить. Слишком уж велика ставка.

Житейская удача не оставляет меня, но теперь я взираю на собственные микроуспехи и микродостижения с некоторого расстояния, улыбаюсь ласково и снисходительно, как взрослый, наблюдающий за копошащимся в песочнице малышом. Дескать, чем бы

дитя ни тешилось, лишь бы не забывало: это всего лишь игра, способ увлекательно провести день и дождаться прихода ночи, когда начнется *настоящая* жизнь.

Именно так.

Моя система ценностей претерпела необратимые изменения. Былые приоритеты получили команду «вольно» и разбрелись кто куда; возможно, побираются по вагонам метро, бормоча нараспев, как мантру: «Сами мы не местные…»

Жизнь наяву теперь имеет значение лишь потому, что всякий день завершается сном. Мой распорядок дня – это просто перечень технических заданий.

Мне нужно работать, чтобы иметь возможность оплачивать свое пребывание в доме, по коридорам которого слоняются в ожидании ночи сладчайшие из моих видений.

Я должен правильно питаться, потому что больной желудок может превратить в кошмар долгую зимнюю ночь, предназначенную совсем для иных развлечений.

Я вынужден отказаться от алкоголя, поскольку опытным путем выяснил, что одна безобидная пьянка способна на неделю оставить меня без сновидений (в лучшем случае они будут сумбурными и бессмысленными, как прежде). Из тех же соображений пришлось отвыкать от кофе и учиться щедро разбавлять водой чайную заварку – кто бы мог подумать, что я способен даже на это?!

Я много хожу пешком, в любую погоду, ибо обнаружил, что прогулки способствуют хорошему сну; ежевечерне дрессирую тело при помощи диковинных упражнений, беспорядочно понадерганных из брошюрок,

посвященных восточным единоборствам и даосским врачебным практикам; дышу диафрагмой и сверяю свою жизнь лишь с лунным календарем: если уж считается, что именно это светило отвечает за сновидения, пусть руководит и моим житием-бытием.

К слову сказать, оно неплохо справляется.

101. Иблис

Я – лучше его: ты создал меня из огня, а его создал из глины.

Франк удобно устроился на диване. Налил в тонкий высокий стакан воды пополам с птичьей кровью (иных напитков он не признавал), не спеша отпил глоток. Потянулся за пультом, включил телевизор, настроил его на первый канал. Замелькали косые полосы, лицо диктора вдруг вытянулось, сплющилось и взорвалось, изображение распалось на цветные точки. Эта кутерьма продолжалась несколько секунд, потом на экране появилась новая картинка. Макс собственной персоной, на трудовом посту, среди грубо сколоченных полок и тюков с книгами. Франк одобрительно хмыкнул. Жив курилка! И ведь без визитов к врачам обошлось, и без судорожных попыток найти утешение и защиту от «бесовских наваждений» в какой-нибудь традиционной религии. Даже не напился ни разу до вожделенного умопомрачения, хотя это уж, как говорится, сам бог велел – кремень-человек!

В последнее время фокус с телевизором стал любимым развлечением Франка. На его экране телевизионные передачи то и дело перемежались

«репортажами» о жизни и деяниях Макса. Порой получалось настолько забавно, что Франк всерьез подумывал о пиратском вторжении в телевизионный эфир. Ему это ничего не стоит, а любопытно ведь, как поведут себя жители крупнейших государств мира, обнаружив на телеэкранах вместо вечернего выпуска новостей изображение печального молодого человека, топчущегося под душем. Но Франк пока держал себя в руках. Не до жиру. «Нам бы день простоять да ночь продержаться, – весело думал он, – не спугнуть бы удачу, слишком уж славно все складывается!»

Разумеется, наблюдать за своим подопечным Франк мог и без помощи громоздкого бытового прибора. А мог и вовсе не наблюдать: зачем? Вмешиваться в жизнь Макса он пока не собирался. Пусть сам выкручивается как может: мягкая, нежная глина, из которой сотворен всякий человек, нуждается в длительном обжиге. И если хрупкая фигурка сразу взорвется в печи – что ж, все лучше, чем обнаружить тайный изъян, испытывая ее в деле.

Милосердный и внимательный (даже сверх меры) ко всем новичкам, Франк понимал, что к преемнику своему должен быть безжалостен. Ключник – это знание в свое время испугало Франка до судорог – обречен на одиночество, дружеское плечо ему не светит ни при каких обстоятельствах. Его дело – предлагать помощь всем нуждающимся, а не ждать ее от другого могущественного существа. Тем более что ни одно могущественное существо из числа тех, чья помощь действительно пригодилась бы Ключникам, не обременено гуманитарными инстинктами. И вообще ничем не обременено.

Тем временем на выпуклом экране цветного телевизора Макс завершал свои ежевечерние дела. Прятал бумаги в один сейф, деньги – в другой. Переобувался, надевал пальто. Словом, ничего интересного. И вдруг он приветливо улыбнулся Франку и спросил: «Ну что, назначишь мне свидание?»

Такого нахальства Франк не ожидал. «Да как же этот парень меня учуял? Быть того не может!» – скороговоркой твердил он себе.

«После Нового года, не раньше, – теперь с телеэкрана звучал озабоченный женский голос. – Я четвертого января приезжаю, и тогда, возможно…»

Только тут Франк понял, в чем дело. Макс обращался не к нему, просто изображение его собеседницы оставалось за пределами видимости. Вероятно, она просто находилась в другом конце помещения.

Происшествие показалось Франку добрым знаком. Он любил чувствовать себя сбитым с толку – редкий, изощренный, изысканный кайф! Может, и правда пора назначить мальчику новое свидание? – размышлял Франк. Рановато, конечно: в свое время я ждал куда дольше, а ведь в моем роду были лисы и саламандры, тогда как Макс, при всех своих достоинствах, – всего лишь человеческий детеныш, жидкая кровь. Вот и двери мои не захотели для него открываться и вряд ли станут покладистее прежде, чем он сумеет изменить свою природу… Но, с другой стороны, не оставлять же вовсе без внимания такое совпадение!

– Ну и что мне с тобой делать? – насмешливо спросил Франк у телеэкрана.

«Мне-то все равно, – в тон ему ответило изображение. – Мне спешить некуда. Это ты у нас все время спешишь».

– Ничего себе! – окончательно изумился Франк.

«Ничего себе!» – поддержала его невидимая собеседница Макса.

Франк махнул рукой и засмеялся. «Ладно, – подумал он, – назначу я тебе свидание. Убедил. Но смотри, не проворонь свою удачу. Следующего случая долго ждать придется».

102. Иггдрасиль

Иггдрасиль <…> соединяет различные миры.

Иногда я беру такси и еду на Волгоградский проспект. Миновав толстые трубы «фабрики облаков», расплачиваюсь с водителем и по обледеневшей тропинке взбираюсь на пологий холм. Бывает, мне приходится ждать, пока проедет длинный товарный состав, а порой путь свободен. Переступаю через рельсы, пересекаю пустырь, а потом часами брожу среди металлических заборов и обшарпанных стен заводских корпусов.

У моих прогулок нет прагматической цели. Я не живу несбыточными надеждами. Знаю, что узкого неприметного лаза между первым и семнадцатым номерами больше нет и, скорее всего, никогда не было: нумерация домов на нечетной стороне Остаповского проезда обрела внутреннюю логику; пятерка, семерка и прочие цифры в должной последовательности красуются

на своих местах. Только тройка по-прежнему отсутствует, и это кажется мне добрым знаком.

Я ни на что не рассчитываю. Я не настолько наивен, чтобы полагать, будто дом Франка действительно привязан к определенному географическому адресу. Езжу в Остаповский проезд лишь потому, что меня тянет сюда как магнитом. Но однажды, накануне Нового года, обнаруживаю на своем пути кассету в пластмассовой коробочке, любовно заклеенной картинками, вырезанными, очевидно, из какого-нибудь музыкального журнала. «Led Zeppelin» в полном составе, на сцене и на лоне природы, а также гривастые головы Планта и Пейджа соло, без коллег по рок-труду.

Кассета, к слову сказать, лежит не в сугробе и не в мусорной куче, а на рельсах, словно Анна Каренина какая. Вернее, на одном рельсе, с которого предварительно смахнули снег. Зачем? Чтобы пленка не намокла? Или чтобы в глаза бросалось? Оглядываюсь по сторонам в поисках гипотетического хозяина моей находки – никого. Ничего удивительного, сколько раз здесь гулял, а людей всего два раза видел, да и те где-то далеко бродили, на расстоянии истошного вопля.

Сую добычу в карман, разворачиваюсь и иду обратно, на Волгоградку, ловить такси: потребность гулять по Остаповскому проезду вдруг меня покинула. Почему – пока не понимаю, но чую, что какая-то связь с кассетой тут должна быть. Словно бы нашел наконец то, что давно искал, хотя, разумеется, не искал я эту кассету, на кой она мне сдалась? У меня и магнитофона-то нет…

Зато он есть на работе. Славный, старенький Sharp, инвалид, но трудяга. На книжном складе в

Гнездниковском переулке сейчас, скорее всего, пусто. С Раисой я распрощался как раз перед самым уходом, аж до четвертого января, прочие сотрудники ушли еще раньше. Вот и славно. Посижу там, чаю попью, в новых книжках покопаюсь… Ну и кассету заодно послушаю.

Стараюсь держать себя в руках, сурово напоминаю разгулявшемуся воображению, что никто не обещал снабжать меня чудесными откровениями и волшебными талисманами. Но, чего греха таить, подпрыгиваю от нетерпения на переднем сиденье автомобиля. На заднем же путешествует елка, час назад купленная в Люберцах подобравшим меня румяным здоровяком. Тот доволен, хвалится житейской своей сметкой: дескать, в Москве елки стоят – о-го-го! – а в области мужики за бутылку питьевого спирта «Роял» деревце отдают и счастливы… Хвойный аромат щекочет ноздри и пробуждает надежду. Простой ассоциативный ряд: елка, Новый год, подарки… Кассета с портретами Планта и Пейджа – это, разумеется, новогодний подарок, чудесный привет из немыслимых потусторонних краев. Иначе быть не может. И поскольку я – не самый оголтелый фан «Led Zeppelin», дело, должно быть, не в самой кассете, а… В чем? Не знаю, но душа моя (или даже все три души, Ка, Ах и Ба, обнаруженные в утробе человеческой дотошными древними египтянами) приподнимается на цыпочки, трепещет благоговейно. Поэтому двор пересекаю бегом.

В офисе, к моему удивлению, горит свет, в углу, отведенном для кухонных нужд, сидит Веня. Редкий гость, которого и в разгар рабочего дня сюда калачом не заманишь. Радуется мне безмерно, включает электрический чайник, ставит на стол доску для игры в нарды, извлекает из-под коробок с книгами иноземный коньяк. Что ж, сегодня, пожалуй, я рюмку-другую выпью,

и не из вежливости, как обычно, а с величайшим удовольствием. И в шиш-беш сыграю, чего ж с хорошим человеком кубиками не пошвыряться? Но сначала включу магнитофон, ибо я не железный, а от любопытства иногда умирают. По крайней мере, отдельные легковозбудимые экземпляры вроде меня. А свидетель в таком деле не помеха, все равно ничего не поймет. Я и сам-то, скорее всего, ничего не пойму. Нихерушеньки.

– «Лестница в небо», – с удовольствием констатирует Веня, когда раздаются первые аккорды.

Ну да, такую мелодию грех не узнать, даже если все половозрелые медведи мира почтили ваши уши церемониальной прогулкой.

– Откуда она у тебя? – Веня разглядывает коробочку. – У сироты небось отнял? Вместе с конфетой?

– Что-то в таком роде, – соглашаюсь рассеянно.

Мне не до разговоров, у меня все мыслительные процессы проистекают сейчас в одном направлении: силюсь понять, есть ли некий тайный смысл в моей находке, и если есть, то какой? «Лестница в небо» – ничего себе метафора, конечно, кто же спорит? Но метафор мне и без того хватает. Могу пожертвовать пару сотен на благотворительные нужды, от меня не убудет…

– Нет, правда, где ты это взял?

– Нашел, – говорю. – Шел, шел и нашел. А что?

– Да так… Просто, если бы кассета была из твоей коллекции, я бы удивился. Не могу себе представить, как ты вырезаешь эти картинки. И клеишь их аккуратно, одну за другой. Да еще и стихи на обороте пишешь…

– А там еще и стихи есть? – удивляюсь. – Ну, это точно не я их писал.

– Конечно, не ты. И даже не Роберт Плант, а простой русский мужик, Борис Леонидович Пастернак, если я ничего не путаю. Вот, слушай:

Рассказали страшное,

Дали точный адрес.

Отпирают, спрашивают,

Движутся, как в театре.[16]

Веня умолкает, довольный произведенным эффектом: я пялюсь на него во все глаза, даже рот приоткрыл, кажется. «Дали точный адрес» – надо же! Это не может быть простым совпадением. Дали. Точный. Адрес. О господи.

– Это все? – спрашиваю наконец.

– Все. Только одно четверостишие. Но если ты внезапно понял, что любишь поэзию превыше всех прочих мирских утех, имей в виду, у меня одна из лучших библиотек в Москве. И самиздат, и тамиздат, и тутиздат, не говоря уже о давным-давноиздате…

Песня тем временем умолкает и тут же начинается снова. Прослушиваем ее в молчании. Короткая пауза, щелчок – и опять «Лестница в небо», никакого разнообразия.

– Пленку, наверное, обрезали и склеили, – смеется Веня. – Я и сам так когда-то делал. Чтобы слушать очередную Самую Главную и Любимую Песню без

---

[16] Борис Пастернак. «Звезды летом».

перемотки. Ну и понты, конечно: кассеты – дефицит, а мне, дескать, не жалко… Опа! А здесь твой сирота лажанулся. «Лестница в небо» – из концерта 71 года, а тут почему-то написано 1965… или даже нет, еще хуже. Шестерка переправлена на девятку. 1995. Странно. До девяносто пятого года еще дожить надо – и сироте, и нам с тобой, и Планту с Пейджем.

– Тысяча девятьсот шестьдесят пятый переправлен на девяносто пятый? – переспрашиваю, зябко ежась: все же шестьдесят пятый – год моего рождения. Поди теперь разбери, что сулит мне такое совпадение: то ли соответствующую надпись на надгробной плите, то ли новое рождение, и не проще ли сделать вывод, что одно другому не мешает?

Я нервничаю, а потому болтаю без умолку: обычно это помогает успокоиться.

– Как интересно. Действительно, *рассказали страшное* и *дали точный адрес*: Лестница в Небо. И со временем даже более-менее определились: тысяча девятьсот девяносто пятый год. Через три года. Вернее, почти через два.

Ох, надо мне было прикусить язык! После слова «интересно» следовало остановиться. Но поздно, теперь Вениамин смотрит на меня в упор, внимательно и лукаво.

– Это тебе, что ли, свидание на Лестнице в Небо назначили?

– Ну что ты. Сироте. А он, дурачок, потерял приглашение. Может, и правда я вместо него схожу на халяву… Поживем – увидим. Давай-ка чай пить да в нарды играть.

– Давай, – говорит. – Если уж у тебя два с лишним года в запасе…

103. Идам

В качестве Идама может выступать, в принципе, любой персонаж буддийского пантеона, которого верующий выбирает своим покровителем.

– А как у тебя вообще дела? – вдруг спрашивает Веня в конце первой партии, пока мы наперегонки выводим шашки «на двор».

– Да так…

Я, признаться, обескуражен. Не столько вопросом, сколько заговорщическим тоном: так говорят люди, которых связывает некая тайна, а у нас до сих пор и секретов-то общих, кажется, не было.

– Какие дела ты имеешь в виду? Если тутошние, – вычерчиваю рукой выразительную дугу, – то сам знаешь. Жиреем понемногу. Малиновые пиджаки закупать пока рано, но прогнозы вполне оптимистические, к лету, возможно, дозреем…

– Да ну тебя! – ржет. – Пиджаки ему малиновые… А вот хрен тебе, ты сначала колбасень свою семичленную с единицы убери!

– Сейчас уберу, – соглашаюсь. И тут же выбрасываю бесценный в такой ситуации дубль: один-один.

Знай наших. Четыре шашки из семи отправляются в виртуальное небытие, Веня хмурится: теперь я вполне могу его обогнать. Он, в отличие от меня, чрезвычайно азартен. Поэтому минуты полторы молчит, сопит и мечет

кубики. Наконец завершает партию, опередив меня всего на одну шашку, заливисто хохочет, сверкая очами.

– Ага, я тебя все-таки сделал! Отыгрываться будешь?

– А как же.

– Вот и славно… Вообще-то, я имел в виду не работу, – говорит он, торопливо расставляя шашки для следующей партии. Как тут дела идут, я знаю. Нехило, честно говоря, идут… Ты бросать-то нас пока не надумал?

Флегматично пожимаю плечами:

– Да нет вроде. Прижился я у вас, как уличный кот в крестьянском хозяйстве. Мышей вот ловлю, а мне за это еще и молока наливают. Красотища…

– Мышей – етта правильна! – кривляется Веня. – Нас с Райкой нельзя бросать, мы нежные и привязчивые, мы верим, что ты принес нам удачу, и к тому же очень любим, когда кто-то за нас пашет; следовательно, вряд ли переживем разлуку со своим волшебным талисманом…

– Это я, что ли, «талисман»? – смеюсь. – Наговариваешь ты на меня, Вениамин Борисыч. Грех это.

Веня, однако, не спешит присоединиться к моему веселью. Состроил серьезную мину, прищурился, разглядывает меня внимательно, хотя, казалось бы, уже не раз имел счастье налюбоваться пейзажем рожи лица моего.

104. Израил

Согласно преданию, Израил был первоначально обычным ангелом, но проявил твердость, сумев вырвать из сопротивляющейся земли глину для создания Адама.

– А у меня сюрприз для тебя имеется, – сообщает наконец Вениамин. – Странный такой сюрприз.

И умолкает. Дескать, десять секунд ты у меня помучаешься неизвестностью, а там – как бог даст.

– Интриги интригуете? – ворчу добродушно. – Ну-ну, интригуйте, чего ж не поинтриговать, ежели интригуется. А мы пока вот так, вот так и… Ага!

Выбрасываю дубль. Четыре четверки, именно то, что требовалось для заточения шашек противника в их собственном доме, «в туалете», как говаривал в таких случаях мой батюшка. Стратегия злодейская. Победы она не гарантирует, но внутреннему садисту, что греха таить, приятно.

Веня, по идее, должен бы сейчас злиться и вынашивать планы страшной мести в следующей партии. Но он, кажется, и не глядит на доску. Роется в сумке, достает оттуда фотокамеру в самодельном кофре из серого нубука. Я зачарованно слежу за его действиями; музыкальное сопровождение для немой сцены обеспечило мое собственное сердце: ухает, сволочь ритмичная, как африканский барабан, и сладко ведь ухает, хоть Лори Андерсон зови колокольчиками звенеть да голос накладывать. Предмет-то знакомый. Ох знакомый…

– Тебе, – говорит, – подарок. Причем не от меня.

Открываю футляр, извлекаю оттуда тормановский «Nikon». «Nikon F2 Photomic AS», если быть точным. Лучшая камера семидесятых и вообще лучшая камера всех времен, чтобы там ни говорили сторонники технических новшеств. Сокровище старого пирата, вещь, с которой Сашка не соглашался расставаться даже на пике запоя, когда на торги выставлялось все его имущество, да и скелет свой он, помнится, настойчиво, но безуспешно впаривал представителям медицинской науки. И вот теперь «Nikon» здесь, а Торман, судя по результатам моих последних телефонных переговоров с «малой родиной», все еще на рыбалке… Или нет? Неужели Сашка приехал в Москву, разыскал меня с помощью частного детективного агентства и теперь под пустыми коробками лежит, прячется, сюрприз готовит? А что, с него бы сталось… Не в силах справиться с потрясением, душа моя покидает тело, но тут же возвращается обратно: ей, непоседе, любопытно, что будет дальше.

– Откуда у тебя это?

– А что, знакомая вещь?.. Твой приятель поймал меня здесь, под дверью. Сказал, что в Москве проездом, через три часа у него самолет в Мельбурн, тебя дожидаться не может, искать – тем более. Попросил передать. Сказал, это прощальный подарок.

– Именно «прощальный»? Ну ни фига себе… Как он выглядел, приятель-то?

Звучит полный перечень тормановских примет: копна кудрявых волос, сросшиеся на переносице брови, желтые кошачьи глаза, атлетический торс и прочие душераздирающие подробности… Вернулся, значит, с

рыбалки. И тут же решил радикально сменить место жительства. Ну-ну… Интересно, почему именно Мельбурн? Тайная страсть к сумчатым? Надежда обрести братьев по крови среди потомков британских каторжан? Или просто слово красивое понравилось? Поди разберись в порывах загадочной его души…

– Ясно, – вздыхаю. – Спасибо, Вень. Хорошо, что ты оказался в нужном месте в нужное время. Хотел бы я сам тут оказаться, но тут уж ничего не попишешь.

– Старый друг?

– Ага. А заодно приемный папа-мама, профсоюзный босс и Пигмалион на полставки. Когда мы познакомились, я был не только вылеплен, но и, можно сказать, обожжен, но он проявил твердость и подверг меня повторной обработке. На мой вкус, вполне приличная керамика получилась…

– Да, ничего себе пельмень… И теперь этот твой Пигмалион хочет, чтобы ты стал фотографом?

– Да нет, – улыбаюсь. – Ты еще не понял? Я и так фотограф. Десять лет им был.

– Вот это да! – изумляется Веня. – Что же ты молчал-то?

– Да так, – пожимаю плечами. – Повода не было рассказывать. Теперь есть повод. Знаешь, почему я в Москву приехал?

Вкратце пересказываю ему загадочную историю про иностранцев, исчезнувших, можно сказать, на самом пике моей внезапно наметившейся карьеры. Понимаю, что история вполне нелепая, но я не создан для хранения секретов, а Вене к моим странностям, пожалуй, уже не

привыкать. Зато какое облегчение! В католики, что ли, податься? У них там чуть не каждый день исповедоваться принято.

– А посмотреть этих твоих «Едоков» можно? – спрашивает Веня после того, как я завершаю свою сагу кратким описанием знакомства с Раисой. – У тебя сохранилось хоть что-то?

Это же надо! Мистический детектив про иностранцев, чей визит стерся из всех человеческих памятей, кроме моей, его, кажется, не слишком заинтересовал. А фотографии посмотреть хочет, аж на месте от нетерпения подпрыгивает. Во мне неожиданно проснулся художник, коего я уже давно полагал покойником. Оживший труп возбужденно потирал хладные ладошки и с наслаждением предвкушал внимание публики. Ладно. Была не была. Придется, пожалуй, впустить Веню на заповедную свою территорию. Человек, передавший мне привет от Тормана и священный Сашкин «Nikon», вряд ли может считаться «посторонним».

– Закрывай контору, – говорю, – бери свой коньяк. Поехали. Покажу тебе пробники. Если уж так все сложилось…

105. Иисус Навин

«…и обрушилась вся стена до своего основания…»

Моя студия произвела на Веню неизгладимое впечатление. Минут десять скитался по периметру комнаты, как большая неповоротливая мышь.

– Келья ссыльного ангела, – ржет. – Типичная! Теперь я знаю, как это выглядит.

– Скажешь тоже…

– А чем ты не ссыльный ангел? По-моему, вполне похож.

– Фильмов ты голливудских насмотрелся, – возражаю растерянно. – Вот там ангелы действительно человекообразные придурки, вроде меня.

– Оно, конечно, насмотрелся, есть такое дело… С другой стороны, я не уверен, что на моем жизненном пути непременно должен был встретиться настоящий ангел, сотканный из небесного пламени да звездной пыли, – парирует Веня. – А вот голливудская пародия, вроде тебя, вполне вписывается в мои представления о собственной карме. Так что не отвертишься.

Варю кофе, смятенно обыскиваю щели, в которых иногда можно обнаружить не только тараканов, но и съестные припасы. Внезапно обретаю мандарины и шоколад, коих, кажется, не покупал. Впрочем, кто меня знает? Живу-то как во сне…

Вываливаю угощение на свою единственную тарелку. Стараюсь разместить гостя поудобнее. По счастью, необходимость сидеть по-турецки на тонком одеяле тоже вполне вписывается в его «представления о собственной карме». Веня доволен текущим эпизодом своей жизни. Разливает коньяк по рюмкам, нетерпеливо бьет копытом: дескать, где же обещанные «Едоки»? Выдаю ему первую порцию пробных отпечатков. Мелкие, конечно, но все лучше, чем негативы. Хоть что-то там можно разобрать.

– Это надо увеличить и напечатать, – твердо говорит он минуту спустя. – Негативы-то сохранились? Если добиться пристойного качества, будет почти гениально. Когда соберешься, могу помочь с лабораторией, у меня, будешь смеяться, половина друзей – твои коллеги… Еще давай.

Даю еще. Гляжу на Венину рожу, млею. Словно бы со стороны наблюдаю, как рушится стена, которую я так долго и старательно возводил между собой и реальностью. В приятных эпизодах хочется быть участником, а не рассеянным созерцателем. Как же мало, оказывается, мне нужно!

106. Иктоми

…все они являются жертвами его бесконечных розыгрышей…

– Ну точно, ангел, – резюмирует наконец мой единственный, но благодарный зритель. – Только ангел может так бурно возмущаться человеческой телесностью. На худой конец, идеалист, каких свет не видывал. Фотографии улетные. Но не любишь ты людей, товарищ Максим. Ох не любишь!

– Ну почему же не люблю? Фотограф смотрит на мир через объектив – чувствуешь, какой корень у этого слова? То-то же, эту штуку придумали специально для того, чтобы научиться видеть вещи такими, каковы они на самом деле. Все, что я могу, – это констатировать факты, без комментариев. Ничего личного.

Веня доволен.

– Ага, не хочешь признаваться, что человечество своим неопрятным видом разбивает тебе сердце? Мне, впрочем, тоже разбивает, но не до такой же степени… Бедный, бедный Макс!

– Не забывай, это довольно старые снимки. Последний сделан больше года назад.

– Это имеет значение?

– Огромное.

– То есть сейчас ты бы не стал делать такие работы?

– Сейчас я вообще не снимаю. Мой фотоаппарат разбился в ту ночь, когда я приехал в Москву. И я подумал, что это правильно, так и надо. Началась какая-то иная жизнь, отличная от прежней.

– Но теперь у тебя есть этот «Nikon».

– Ага, есть.

– И если ты снова начнешь фотографировать…

– Кстати, наверное, действительно начну. У меня обычно хватает мужества плыть по течению и не делать вид, будто это я сам здесь все решаю.

– Ишь ты какой… Но ты больше не будешь снимать «Едоков»?

– Не знаю. Может, и буду. Но подозреваю, что с иным каким-нибудь результатом. Я очень изменился. Настолько, что автора «Едоков» можно считать покойным…

– Гениально! – орет Веня. – Можно считать покойным? Так и поступим. Макс, мы сделаем ему имя, этому твоему покойнику! Мы его так раскрутим, что

живые позавидуют мертвым! Это будет самый модный русский фотограф следующего сезона, я тебе обещаю!

– Кто – я? – переспрашиваю ошеломленно. Что-то он намутил с местоимениями…

– Ну да, ты. Но только не ты сам, а этот твой условный покойник.

– Объясни по порядку. Я – тупой, как все гении и ангелы.

– Макс, – проникновенно говорит мой персональный Мефистофель. – Вот послушай, что я придумал. Мы с тобой создадим легенду. Дескать, жил в твоем городе старичок-фотограф… ну, или не старичок, а вьюнош печальный, этакий молодой Вертер, детали потом домыслим. Жил, жил, да и помер, не то от цирроза печени, не то от наркотиков, не то от несчастной любви. И оставил тебя своим душеприказчиком, поскольку ты был его единственным другом в последние горькие дни…

– Сейчас заплачу, – ухмыляюсь.

– Давай. Так и нужно, чтобы на слезу прошибало… Сечешь, к чему я веду? Твои «Едоки» и есть его наследство. Мы устроим нашему покойничку посмертную выставку и обеспечим ему вечную славу. Снимки шикарные, осталось к ним биографию достойную придумать. Чтобы и жертва тоталитарной системы, и философ-самоучка, и непризнанный гений, и одинокий волк, и просто красавец-мужчина. Развлечемся, заодно и заработаем. На этих твоих призраках русизма, что бродят по Европе, свет клином не сошелся. Не перевелись еще богатые коллекционеры на земле нашей…

– Погоди. Я пока не очень понимаю, зачем придумывать этого покойника? Просто для смеху? Или для дела нужно?

– Для дела, конечно. Ты вообразить не можешь, насколько удобно представлять интересы покойника. Во-первых, о нем слова худого ни одна сволочь не напишет. Тебя бы распяли за человеконенавистничество, а трупу все позволено, мертвых у нас любят, того гляди, сразу в классики запишут, даже на некоторые несовершенства техники и, ты уж не серчай, явные пробелы в образовании глаза закроют охотно… Во-вторых, живым коллегам не так обидно. Вместо того чтобы интриги плести, еще и помогут от чистого сердца. Ну и продавать снимки вместе с рождественской сказкой о трагической судьбе отвергнутого обществом художника, сам понимаешь, проще.

– Наверное. Тебе виднее. Я ничего не понимаю ни в продажах, ни в выставках, ни в рождественских сказках. В сущности, я обычный провинциальный халтурщик, на досуге кропавший что-то, как говорится, «для души»…

– Вот! – орет Веня. – И он такой же, покойничек наш! Большой талант, истлевший в безвестности, в повседневной погоне за куском хлеба, высокий класс!

– Ужас какой. Дамы будут сморкаться от умиления.

– Ага, в норковые носовые платки… Ты скажи лучше, как тебе мое предложение? Может быть, ты все-таки предпочитаешь пожинать лавры под собственным именем? Если так, скажи сейчас, тут нечего стесняться. Я, как ты уже, наверное, понял, могу помочь тебе красиво стартовать. А дальше – по обстоятельствам.

– Погоди, – говорю, – не тараторь. Лавров я точно не хочу, я все же не суп какой-нибудь. И идея твоя мне нравится. Но и пугает немного, честно говоря. Мне надо подумать.

– Думай, – легко соглашается Веня. – Мысли, следовательно, существуй. А пока думаешь, можешь снимки печатать: в любом случае пригодятся. Негативы-то при тебе?

Киваю.

– Ну и слава богу. Я тебя сведу с одним пряником, который уже давно ни хера не делает, а сдает в аренду свою лабораторию всем нуждающимся – на день, на два, на неделю, как договоритесь. По крайней мере, новогодние каникулы с пользой проведешь… Или у тебя другие планы?

107. Ильмаринен

…кузнец выковывает себе золотую деву, но не может с ней спать.

– Да нет, – вздыхаю, невольно прикидывая, сколь грандиозными могли бы стать мои новогодние планы, если бы Машенька, прекрасная беглянка, сладкий мой сон, добровольная пленница волшебного дома, вдруг решила бы навестить меня наяву, как в старые добрые времена.

Впервые я вынужден признать, что ее присутствия в моих снах все же недостаточно для полного счастья. Мне бы наяву ее обнять, запах вдохнуть, пальчики тонкие, один за другим, губами согреть, хоть на полчаса остаться с нею вдвоем в этой комнате, потому что я уже начал

забывать значение этого дивного слова: «вдвоем». Вот и вспомнил бы заодно… Сердце твердеет от внезапной боли: маленький, тяжкий камешек, того гляди, проломит хрупкие ребра, изорвет в клочья кожу и упадет на пол – что тогда будет со мной?

Это бунт на корабле, это восстание, почти ересь; в наказание я, сам себе инквизитор, обречен на долгую вечернюю прогулку в испанских сапогах. И поделом.

Но вслух я говорю совсем иное.

– Нет у меня никаких планов. Я вообще как-то не сообразил, что скоро каникулы наступают. Не привык жить по такому графику: у нас с Сашкой все календарные праздники были самые что ни на есть рабочие дни.

– Вот и славно, – кивает Веня. – Завтра обо всем договоримся, да? Утро вечера, и все в таком духе…

Вскоре он уходит, я остаюсь один, и сон бежит от меня, а когда наконец сменяет гнев на милость, я просто проваливаюсь в небытие – не черное, как принято полагать, а огненное отсутствие пространства и времени, в котором ничего не *происходит*.

Принято считать, что это и есть отдых.

108. Имир

Антропоморфное существо, из тела которого создан мир.

Мое утро, вопреки фольклорной аксиоме, оказалось отнюдь не «мудренее», а, напротив, много глупее предыдущего вечера. Я неприкаянно слонялся по складу, прижимая к животу сумку с тормановским наследством,

пугал сотрудников потерянной улыбкой и алеющим от бессонницы взором, на все вопросы отвечал невпопад и выкурил полпачки сигарет еще до полудня, хотя, казалось бы, почти бросил уже это занятие – и вдруг на тебе!

«Nikon» просится в руки, требует внимания, не позволяет мне заниматься другими делами, даже погрустить толком не дает. Рвется из сумки на волю, жаждет порезвиться. К полудню я сдался, извлек этого буяна из сумки, расчехлил, зарядил черно-белой пленкой.

– Ну и что мне с тобой делать? – спрашиваю.

Молчит, сверкает синеватым оком объектива. Дескать, не царское это дело – на вопросы отвечать. Сам гадай, какова моя священная воля.

– Кого снимать желаете, Ваше Величество? Натурщиков у меня – завались, только позы у них однообразные: или сутулятся над прилавками, или раком над коробками стоят. Сам недавно таким же экспонатом был, знаю… Впрочем, почему бы и нет?

Решение напрашивалось само собой. Сидеть на складе бессмысленно: будучи в помрачении ума, делами заниматься все равно не стану, следовательно, пользы не принесу, а только изведусь. Можно бы вообще все бросить и свалить до вечера, благо некому за мной приглядывать, но от безделья опять же изведусь. Значит, можно совершить традиционный обход торговых точек, поднять боевой дух наших околевающих на морозе кормильцев, заодно и «Nikon» обновить. Люди обычно любят, когда их фотографируют. Если вечером отпечатать снимки (а чем бы дитя ни тешилось, лишь бы по Машеньке снова волком не взвыло), завтра раздам им

портреты. Вполне себе новогодний сюрприз, все танцуют.

Начать я решил с Ираиды Яковлевны. Откровенно говоря, я вообще ругал себя, что позволил ей выходить на работу в такой мороз: старушке-то, понятное дело, перед праздником деньги нужны, вот и плюет на интересы собственного чахлого тела, но я-то хорош! Мог бы сообразить вовремя, тихонько выплатить ей какую-нибудь мелкую новогоднюю премию и отправить отдыхать до ближайшей оттепели. «Скажу сейчас, пусть собирает манатки и немедленно едет на склад. Да и остальных надо бы отпустить пораньше. Холодрыга-то какая», – виновато думаю по дороге, зябко кутаясь в старую дубленку с плеча Раисиного мужа (боже, благослови дающего).

Ираида, вопреки моим опасениям, выглядит весьма бодро. Голова укутана цыганской шалью, в руках – неизменная фляжка с кофейным ликером, в зубах папироска, на воротнике овчинного тулупчика алеют трогательные пластмассовые вишенки – колоритнейший персонаж! Не то добрая Баба-яга, не то загулявшая комиссарша, чудо, а не женщина, цветок душистых прерий, душа моя поет, а «Nikon» мурлычет в своем футляре, предвкушая грядущий кадр.

Подхожу с фотоаппаратом наперевес, остаюсь неузнанным, хоть и не устраивал никакого маскарада: Ираида близорука, да и фляжка-то уже небось наполовину пуста. Навожу объектив. Вероятно, надо сказать ей, что сейчас вылетит птичка или даже вывалится упитанный пингвин в самом расцвете сил, но я не отвлекаюсь на ерунду, я поймал роскошную картинку, и сейчас…

О господи.

В тот миг я узнал, что это такое: оказаться в чужой шкуре, с головой окунуться в плоть и сознание постороннего человека.

Нет, никаких эффектных фокусов, которыми можно было бы развлечь любопытствующих зевак. Всего лишь субъективное переживание. Впрочем, достаточно интенсивное, чтобы сбить с ног Критского быка. Но я не упал. Я выстоял в нескольких метрах от книжного лотка, чуть не по колено в бурой снежно-песочно-соляной жиже: отступать-то некуда, позади, впереди, по бокам и снизу – Москва, а сверху, ясен пень, ничего, кроме белобрысого зимнего неба.

Я не превратился в Ираиду Яковлевну, не потерял себя, ни на секунду не расстался со старым добрым Максом, двадцатисемилетним мужчиной в дубленке с чужого плеча и теплых импортных ботинках, с собственным набором воспоминаний, мнений, настроений, пристрастий, рефлексов и физиологических реакций. Но, не утратив ни единого баула из своего бесценного багажа, я на краткое мгновение оказался полноправным владельцем чужого имущества. Я узнал, что значит *быть Ираидой*.

Быть Ираидой – это значило испытывать тупую ноющую боль в пояснице и переминаться на онемевших от холода ногах, тщетно стараясь вернуть им чувствительность. Раздраженно подсчитывать в уме скудную утреннюю выручку, но с хмельным оптимизмом сулить себе скорую перемену товарно-денежной участи. Постоянно помнить о своем возрасте (пятьдесят лет и три с половиной месяца) и гнать мысли о смерти (не хочу, не хочу, не хочу!). Размышлять о последней ссоре

героев мексиканского телесериала, к началу которого надо бы непременно вернуться домой; иных осуждать, прочих одобрять, и отчаянно им завидовать, и мечтать сделать прическу как у матери Луиса Альберто, потому что такая прическа может не только украсить всякую привлекательную женщину средних лет, но даже переменить судьбу к лучшему. С привычной горечью перебирать в памяти лица, слова и поступки бывшего мужа и трех любовников (других связей с мужчинами не было) и робко ненавидеть их за то, что ни один не сумел доставить даже того скудного, стыдного удовольствия, которое можно получить, поглаживая свою «пиньку» (так называла это место мама, когда учила подмываться в тазике перед сном, а потом Ираида старалась вовсе никак не называть это чувствительное место и была готова заплакать от бешенства, если какой-нибудь подонок смел в ее присутствии… нет, лучше даже не думать об этом!). То и дело насильственно оживлять в памяти студенческие годы, тайно гордиться званием самой красивой студентки в группе и не вспоминать, не надо вспоминать, что в группе было всего три девочки. Все равно, все равно, все равно студенчество – самое счастливое время в жизни, и, может быть, тот факт, что она считалась первой красавицей группы, каким-то образом поможет отсрочить или даже вовсе отменить смерть, потому что умирают обыкновенные люди, а самая красивая студентка, пусть даже и бывшая, не может считаться обыкновенной. Думать: «У меня *особая судьба*», – и не подвергать сей тезис ни сомнениям, ни толкованиям.

Быть Ираидой – это значило с сочувственной симпатией относиться к женщинам (все мы несчастные) и к мужчинам (кто знает, может быть, с этим я была бы

счастливее, чем с другими, да вот, не свела судьба). Обожать кошек, с умилением любоваться ленивой грацией этих уютных пушистых зверьков и страдать от аллергии на кошачью шерсть. Покупать цветы в горшках, но не уметь за ними ухаживать, а посему коротать вечера среди сухих стеблей и гниющих листьев. Ценить кофейный ликер за благородный вкус (лучшее из того, что можно себе позволить) и горячий туман, в который погружается голова после пятой порции – ах, почему, почему злые, бесчувственные люди осуждают тех, кто нашел простой и доступный способ любить жизнь, в которой так много трудностей и мучений? После нескольких рюмок ликера можно от души поплакать, слушая песню о любви, можно мечтать о драгоценностях, штопая прохудившийся чулок, и можно, можно, можно наконец разрешить себе удовольствие перед сном, совсем немножко, чуть-чуть, пять минут стыдного, сладкого удовольствия – ведь это никому, никому не мешает, никого не делает несчастным, ведь правда?

Быть Ираидой – это значило любить макароны с сыром, но вечно лениться потереть его на терке; заваривать чай «по-офицерски», прямо в кружке, и втайне стыдиться столь пренебрежительного обращения с благородным напитком; каждый год варить варенье из айвы, солить капусту, закручивать огурцы, а потом вздрагивать по ночам, слушая, как взрываются неумело запечатанные банки. Украшать себя яркими пластмассовыми брошками и раз в год, к Восьмому марта, покупать флакончик духов «Красная Москва», свято веруя, будто уважающая себя женщина должна всю жизнь употреблять один и тот же сорт духов, расходовать же их следует экономно: по капельке за каждое ушко и еще чуть-чуть на «театральный»

батистовый носовой платочек с монограммой. Опасливо недолюбливать детей (никогда не знаешь, чего от них ожидать) и жалеть стариков (они-то уж точно умрут раньше, чем я). Иметь нескольких телефонных приятельниц, семейного младшего брата, племянников-двойняшек, троюродную сестру в Воронеже и искренне радоваться, что не обречена на одиночество. Видеть во сне одни и те же, из года в год повторяющиеся кошмары: один – про выпускной экзамен по физике, к которому уже невозможно подготовиться; второй – про то, как ломается телевизор, а в доме нет денег на его ремонт. Приютить из жалости бездомную собачку, а месяц спустя выставить ее обратно на улицу, поскольку нет ни времени, ни сил выгуливать, вычесывать и убирать грязь. Иногда перечитывать «Трех товарищей» Ремарка и сладко рыдать над финальными страницами, а потом чувствовать себя очистившейся и даже помолодевшей.

Быть Ираидой – это значило бояться увольнения. Бояться воров. Бояться иностранцев, цыган, проституток и молодых мужчин в кожаных куртках. Бояться гражданской войны, радиации и инопланетян. Бояться, что за неуплату отключат телефон, свет, газ, воду, а потом и вовсе объявят квартиру *приватизированной* (это невнятное слово, по мнению Ираиды, таило в себе особую опасность) и выгонят хозяйку на улицу. Бояться, что соседи напишут на нее жалобу (не важно куда и не важно, по какому поводу). Бояться заболеть раком. Бояться экстрасенсов, мышей, маньяков, наркоманов и сердечного приступа. Бояться, бояться, бояться…

И еще *быть Ираидой* означало встречать благодарной улыбкой всякое утро, не приносящее физических страданий (таких, по счастью, пока было

немало). Радоваться первому снегу, набухающим почкам, солнечным дням, праздникам и любым подаркам. Кормить голубей крошками со своего стола, развешивать на балконе сало для синиц, а в теплую погоду хотя бы раз в неделю выбираться на прогулку в Серебряный Бор. Приходить в восторг от любого знака внимания и от всякого ласкового слова. Самозабвенно петь «Кукарачу» за мытьем посуды и собирать в особую папку все астрологические прогнозы, сулящие ей счастливое будущее. Любить жизнь – уж какая есть, такая есть; радостей и удовольствий, конечно, не слишком много, *но чуть-чуть – это лучше, чем ничего*, как говаривала мама, проверяя запасы крупы за неделю до получки.

Это сейчас я вынужден излагать информацию хоть в какой-то последовательности, тогда же я просто *был Ираидой Яковлевной* и знал – не о ней, о себе! – множество разных вещей. Знание это не искажалось высокомерными комментариями постороннего: собственная глупость кажется здравомыслием, трусость – оправданной осторожностью, лень – следствием усталости, подлость – житейской сметкой, никчемность – суммой зарытых в землю талантов и неоправдавшихся (по чужой, разумеется, вине) надежд. Собственная личность – венец творения, а жизнь – единственное сокровище. Себя трудно любить, но легко оправдывать. Став Ираидой, я оправдал ее целиком, принял как данность, со всеми потрохами, скучными грешками и нелепыми идеалами – без осуждения, без сомнений и вопросов.

Мгновение спустя рыхлый, нечистый снежок, запущенный кем-то из хохочущей компании школьников, рассыпался, мягко стукнувшись о мое плечо. Наваждение рассеялось. Несколько минут я молча топтался на месте,

прикидывая, что надо бы то ли убежать отсюда куда глаза глядят, оглашая окрестности жизнерадостными воплями сумасшедшего, то ли просветлеть и вознестись огненно, то ли, на худой конец, просто испугаться. Но вместо этого я аккуратно спрятал фотоаппарат в кофр, на негнущихся ногах подошел к Ираиде, положил руки на ее плечи, заглянул в глаза и понял, что она ничего не заметила. Смотрит на меня удивленно и немного испуганно, моргает виновато: чего, дескать, обниматься полез? Думает небось, что я сейчас фляжку отберу. Бедная славная дурочка, заброшенный, одинокий пятидесятилетний ребенок. А у меня ни единой конфеты в кармане, как назло…

– Что ж вы мерзнете, – говорю. – В такую погоду надо складывать все это барахло и идти греться. Давайте я вам помогу.

– Ой, спасибо вам! Но я пока всего пять книжек продала, – скорбной скороговоркой сообщает она, – с утра всегда плохо покупают, вот я и стою, после обеда-то дело получше пойдет, праздники все-таки скоро, все подарки покупают, так я постою еще, а? Мне бы заработать еще капельку к Новому-то году… Холодно сегодня, это да. А что делать? Работа такая.

Действительно, – думаю. – Она права. Нечего человека с толку сбивать. У тебя переживания мистические и тяжкий приступ любви к человечеству в лице Ираиды Яковлевны, отягощенный к тому же острым синдромом христианского милосердия. А ей плевать на твои приступы, ей денег заработать надо. Ты бы на ее месте стоял тут до вечера? Ясен пень, стоял бы как миленький. А чем она хуже тебя, эта тетка? Все из одного теста, все одним миром мазаны, все скорби человеческие

честно поделены поровну, просто, кажется, теперь ты наделен даром на халяву откусывать от чужих порций. Пусть остается, пусть мерзнет, и, когда она будет дрожать от холода, ты будешь дрожать вместе с нею, а глоток ликера согреет нас обоих, и теперь так будет всегда… ну, или еще как-нибудь будет. Но не так, как прежде, это точно. Ты побывал в ее шкуре, ты не хочешь туда возвращаться и чувствуешь себя виноватым, потому что твоя шкура, при всех ее недостатках, куда более уютное место. Но это твои проблемы, дражайший мой amigo. Не пытайся решить их за счет Ираидиного бюджета. Лучше просто сделай ее счастливой. Сними камень с ее души, ну же!

– Ладно, – объявляю. – Раз так, работайте. Может, вам коньячку купить? Для профилактики?

– Так нельзя же на рабочем-то месте… – лопочет Ираида, не веруя собственным органам слуха.

– Правильно, нельзя. Летом нельзя, осенью тоже нежелательно. А в такой мороз просто необходимо, по крайней мере вам. Что я буду делать, если вы сляжете с простудой? На вашем обаянии, можно сказать, весь наш бизнес держится.

Бедняжка только что в обморок не валится от изумления. Бегу к ближайшему киоску, обшаривая карманы неловкими окоченевшими от холода пальцами. Хвала Аллаху, нахожу наконец деньги. Покупаю ей крохотный шкалик «Белого аиста». Возвращаюсь. Сую «мерзавчика» совершенно обалдевшей от происходящего Ираиде.

– Удачи, – говорю торопливо. – Я побежал. У меня еще дел куча. Но если замерзнете, добро пожаловать на

склад в любое время. Знаете, где Раиса прячет растворимый кофе?

– В сейфе?

– Не угадали. На полке, за пачками с бракованными «Анжеликами», которые я уже три месяца предлагаю продать, а ей совесть не велит… Берите, не стесняйтесь. Она его не от вас, а от меня прячет: я борюсь с растворимым кофе, как с мировым злом. Сказал ей как-то, что увижу – выкину, вот она и сныкала, от греха.

– А почему вы боретесь с растворимым кофе, Максим? – взор Ираидин наконец становится вполне осмысленным.

– Потому что я Бэтмэн, – смеюсь. – Надо же мне хоть с чем-то бороться…

Ухожу от нее довольный, аки пресловутое крупное млекопитающее после промывания желудка – что за нелепый символ умиротворенности! Знаю, что все сделал правильно: Ираида довольна, и какая-то частичка меня ликует вместе с нею. Странное происшествие уже не пугает меня, теперь я погибаю от любопытства. *Это* случилось, когда я ее сфотографировал. Первый раз воспользовался Сашкиным подарком – и вот… Совпадение? Не думаю, но надо проверить. Да хоть бы прямо сейчас, чего тянуть?

Достаю свое сокровище. Некоторое время приглядываюсь к прохожим. Выбираю кого-нибудь посимпатичнее. Все люди, разумеется, братья, одним миром мазаны и, строго говоря, сотворены по единому образцу… Так-то оно так, но чертовски хочется позитивных переживаний. Тварь я дрожащая, или право имею? То-то же.

Наконец останавливаюсь на симпатичном дядьке лет сорока. Облик его дышит благополучием, одежда свидетельствует не только о достатке, но и о прекрасном вкусе, что, к слову сказать, редкость. Да и глаза умные, живые, что тоже… Ладно, проехали.

Внимание, снимаю. Погружение проходит нормально, как слышите меня, прием? Мне жутко и весело. Кажется, я схожу с ума, зато в очень интересном направлении. Все любопытственней и любо…

Щелчок.

Физиономист из меня, оказывается, никудышный. Влип покруче, чем с Ираидой. Попробуйте оказаться в шкуре мазохиста, который недавно расстался со своей любимой и теперь вынужден обходиться услугами платных «хозяек», как правило не слишком умелых и, что еще хуже, не всегда чувствующих тонкую грань между любовной игрой и настоящей жестокостью. Удовольствие, мягко говоря, ниже среднего. Ох, ниже!

Мой невольный «духовный брат», кажется, принял меня за уличного фотографа и сердито бросил на бегу, что платить не станет, не на того, дескать, я нарвался. Фыркнул, побежал дальше – и слава богу.

Я же зашел в первое попавшееся кафе, уселся за столик возле батареи центрального отопления, втиснул озябшие ладони в горячие межреберные щели радиатора. Наплевав на собственные спартанские принципы, заказал крепкий кофе и сто граммов импортного виски, дорогого, как свежевыжатый бриллиантовый сок. Закурил. Положил перед собой фотоаппарат. Вздохнул тяжко, поминая злодея Тормана. Нехилое наследство он мне оставил, нечего сказать… Интересно, а сам Сашка тоже всякий раз – вот так?.. И,

получается, он знал о людях больше, чем кто бы то ни было? Потому что только на моей памяти он сделал многие тысячи снимков. Ничего удивительного, что Торман так люто пил: было с чего. Ой было… я зябко поежился, вспоминая свои давешние эксперименты.

Тем не менее через пятнадцать минут я покинул кафе с твердым намерением продолжать опыты. Инстинкт любопытства оказался сильнее инстинкта самосохранения. Я знал, что, остановившись сейчас, вряд ли найду в себе мужество когда-нибудь расчехлить волшебный «Nikon»; я также знал, что не прощу себе подобного малодушия. А с собой, любимым, лучше жить в мире.

Снимать я решил собственных сотрудников: за ними можно наблюдать не только в ходе эксперимента, но и после его завершения. Вдруг и с моими натурщиками начнут твориться какие-то нелепости? За два часа отщелкал шесть кадров, шесть ледяных гадюк проползли по моей спине, шесть раз вздыбились волосы на загривке.

Когда я вернулся на пустой склад и обессиленно рухнул рядом с уютно похрюкивающим электрическим чайником, мне казалось, что моя опустошенная оболочка способна теперь вместить весь мир. Лиха беда начало.

109. Инициация

Видимо, инициация действительно содержит модель всякого повествовательного текста (например, выделение индивида из коллектива может лежать в основе самого понятия героя, уход и возвращение – через волшебную сказку – стали рамкой для большинства

сюжетов, характерный ритм потерь и приобретений также обнаруживается во многих жанрах).

– Я от бабушки ушел, – говорю тихонько. – И от дедушки ушел. Я от зайца ушел и от волка ушел… От кого там еще положено уходить? Ушел! И куда пришел? А вот непонятно. И, в общем, не важно, потому что и отсюда скоро придется уходить. Да?

110. Иосиф

Он скоро оказывается любимцем своего господина…

– Не знаю, о чем ты спрашиваешь, но как скажешь, так и будет, – отвечает небо вполне человеческим голосом. И добавляет добродушно: – Со мною очень легко договориться.

Поначалу я не удивляюсь даже. Чему удивляться-то? Самое время голоса слышать, ангелам небесным свидания назначать в городском парке да чужие фамильные привидения по лестницам старинных замков гонять. Наше дело солдатское: надо – значит надо, и точка. Лишь бы только летающие тарелки встречать не заставили: уж больно глухие места выбирает для парковки оная неопознанная летающая посуда, если верить соответствующим брошюрам. А я горожанин, мне по тайге с рюкзаком не с руки блуждать…

И лишь несколько секунд спустя до меня доходит, что глас неба подозрительно похож на голос Вени.

Одним разумным млекопитающим стало больше в этом помещении – всего-то делов, никакой мистики!

– Ты обдумал мое предложение? – бодро спрашивает Вениамин. – Или не до того было?

– Не до того, – соглашаюсь виновато. – По объектам мотался, мерз, виски жрал, аки ковбой какой… Сейчас начну думать.

И тут меня осенило. Почему бы не воспользоваться свежеприобретенным чудесным даром в личных целях? Один щелчок – и Веня будет для меня как на ладони. Во-первых, действительно любопытно, что он за тип. Во-вторых, смогу понять, стоит ли ввязываться в его авантюры. А в-третьих… Ну, скажем так: жизнь богата сюрпризами.

Завариваю чай, гостеприимно отодвигаю для него колченогий стул. Как бы между делом извлекаю фотоаппарат.

– Восстанавливаю утраченные навыки, – говорю. – Заодно развлекаю наших работничков. Они почему-то цепенеют, увидев меня с камерой в руках. Думают, что это какая-то новая непостижимая форма репрессивного контроля.

– Паранойя называется, – одобрительно кивает Вениамин. – Насколько я понимаю, сейчас ты и меня подвергнешь этому самому репрессивному контролю. Страшно даже.

– Подвергну, если не возражаешь. Я когда-то славился умением снимать без вспышки в полутемных помещениях вроде этого. Хочу проверить, что можно сделать с жалкими остатками былого мастерства в

условиях нашей конторы. А ты – такой хороший крупный предмет…

– Ну, ежели крупный предмет, тогда давай, – соглашается Веня. – Мы, крупные предметы, ценим внимание профессионалов и всегда готовы пойти навстречу. И берем недорого: всего-то сто баксов за час…

Он продолжает в том же духе, пока я демонстративно долго вожусь с настольной лампой, открываю и закрываю окно, кручусь так и сяк, выбирая удачный ракурс, словно бы действительно заинтересован в получении качественного портрета и более ни в чем. Наконец решаю, что окно нужно открыть нараспашку, а лампу выключить вовсе. Слабый, мягкий, рассеянный свет, работать с ним очень трудно, зато и результат может превзойти ожидания. В довершение укладываюсь на пол: и ракурс интересный, и легче скрыть потрясение, ежели таковое окажется слишком велико.

111. Ипполит

Ипполит презирал любовь и славился как охотник.

Оказалось, что я уже вполне привык к новому способу общения с ближними. И даже научился получать от него удовольствие. Да и Вениамин был на редкость удачным объектом изучения. То самое позитивное переживание, которого мне так не хватало. Козырный туз в моей новой колоде.

Он, разумеется, не был ни ангелом, ни святым, ни праведником, ни аватарой Кришны, ни младшим сержантом незримой армии физкультурников духа, ни

даже наследником розенкрейцеров. И все же в его шкуре мне чертовски понравилось. Если бы мой странный дар становиться кем-то другим стал массовым явлением, Веня мог бы сколотить состояние, позволяя чужакам за умеренную плату вторгаться в свое внутреннее пространство. Думаю, нашлось бы немало желающих приобрести постоянный абонемент, и я сам возглавил бы список очередников. Очень уж комфортно.

Среди почти десятка беспомощных, растерянных, заброшенных детей, чьи судьбы сегодня навсегда перемешались с моей, Вениамин оказался единственным взрослым человеком, прекрасно приспособленным к жизни и даже, кажется, к смерти. У него хватало мужества жить с открытыми глазами, видеть вещи такими, каковы они есть, и называть их собственными именами – по крайней мере, наедине с собой. Он не озирался по сторонам в поисках участия и поддержки; даже слов таких старался не употреблять.

Он был абсолютно самодостаточен – в том смысле, что его душевное благополучие не зависело от других людей. Любят его окружающие или нет – это, как полагал Веня, их проблемы. Да и не слишком высоко ценил пылкость чувств. Влюбляясь (что случалось с ним довольно часто), снисходительно посмеивался над собой. И не уставал напоминать себе, что влюбленность – пустяшная душевная хворь, что-то вроде острого респираторного заболевания, а потому пройдет сама собой, в точности как простуда: если лечить – через неделю, а если не лечить – через целых семь дней, как говорят участковые терапевты. Встретив женщину, которая с первого взгляда показалась ему единственным существом, поблизости от которого следовало бы оставаться всю жизнь, он благоразумно сделал ее своим

лучшим другом, справедливо полагая, что его любовь недорого стоит, зато дружба – сокровище, достойное упасть к ногам царицы. Она удивилась, но дар приняла, и Вениамин нашел в себе мужество смириться с этой удачей, хоть и был в ту пору слишком молод для столь мудрого решения.

На протяжении последних пятнадцати лет он начинал всякий день с чтения Екклесиаста. Выбирал несколько строк наугад и твердил их, стоя под холодным душем: суета сует, все суета! Действовало, по его мнению, весьма отрезвляюще.

При всем при том Веня не был ни скептиком, ни циником, ни мизантропом. Дожив до сорока лет, он все еще взирал на мир с откровенным любопытством, ожидая от него феерических сюрпризов или, на худой конец, забавных недоразумений. Мир, впрочем, его не обманывал. Вениамину всегда находилось чем занять свой беспокойный ум. Он, можно сказать, был избалован судьбой – в этом, и никаком ином отношении.

Ключом к его сердцу было слово «интересно» – потому-то и мне нашлось местечко в этой, не слишком вместительной, сокровищнице. Веня, оказывается, давно уже искал повод сойтись со мною поближе на предмет детального изучения моей загадочной, по его мнению, персоны. Совместная трудовая деятельность в макулатурном бизнесе давала ему не слишком много возможностей для наведения мостов: Веня чувствовал себя в своей тарелке, только общаясь на равных, статус начальника (как, впрочем, и статус подчиненного) доставлял ему вполне ощутимое неудобство, сковывал движения души. Авантюра с вымышленным мертвым фотографом была придумана экспромтом, и теперь он

собирался использовать ее на полную катушку. Впрочем, возможность разыграть художественную тусовку, а заодно – чем черт не шутит! – заработать твердую валюту и некую новую, отличную от прежней, репутацию тоже казалась ему весьма соблазнительной. Он был азартен и любил срывать банк по полной программе.

И вот еще что. В последнее время Вениамин все чаще чувствовал, что ему пора «встряхнуться». Настойчиво напоминал себе, что жизнь любого сытого, довольного собой сорокалетнего мужика похожа на старую шубу: на первый взгляд вполне еще хороша, но присмотришься повнимательнее и увидишь, что она трачена молью, нитки подгнили, подкладка начала расползаться, да и пуговицы пришиты кое-как, тонкими разноцветными нитками. И если не заняться безотлагательно починкой, расползется по швам, рассыплется, разлезется на неопрятные комки свалявшегося меха.

Веня втайне надеялся, что я могу оказаться крупным специалистом в скорняжном деле. Впечатлившись моими способностями к гаданию и дав волю собственной фантазии, он решил, будто я способен на многое – возможно, даже обладаю достаточными полномочиями, чтобы вносить некоторые исправления в книгу судеб. Не привыкший рассчитывать ни на кого, кроме себя, Веня, пожалуй, и под пыткой не сознался бы, что ожидал от меня куда больше, чем один человек может дать другому. Поэтому себе он сказал, что просто должен бежать за мной, как Алиса за Белым Кроликом: авось попадется на нашем общем пути некая диковинная бездонная нора, а там уж, как водится, по обстоятельствам.

112. Ирвольсонсин

Тогда они призвали на помощь небесного владыку, и тот спустил с неба железную веревку…

Разумеется, я узнал о Вениамине много больше – ровно столько, сколько знал о себе он сам, и еще немного сладкого на закуску. Но вышеизложенного вполне достаточно, чтобы объяснить, почему я принял его нелепое, в сущности, предложение. Не следует отталкивать дружескую руку, сколь бы причудливым ни казался способ ее протянуть. И уж тем более нельзя игнорировать просьбу о помощи, даже высказанную обиняками, на тарабарском наречии.

Какой из меня помощник? Правильно, никакой. Оба мы блуждаем впотьмах, каждый заблудился в своих персональных трех соснах, и чужая карта местности кажется заманчивой лишь на расстоянии.

Все это так. Но если очередной Джек желает попасть в Страну Чудес, мой долг – вытряхнуть из карманов все волшебные бобы, а уж что вырастет, то вырастет – так я тогда решил.

113. Исаак

«Бог да воссмеется».

Поднимаюсь с пола как ни в чем не бывало. Завариваю чай. Веня поглядывает на меня с нетерпением, как на телефонную трубку, издающую долгие гудки: «Ждите ответа». Я держу паузу – не

потому, что она так уж необходима, а лишь внутреннего драматизма ради. Цену себе набиваю, очком виляю, как сказал бы Торман, новоиспеченный святой покровитель австралийских сумчатых.

– Совершенно идиотская авантюра с этим вымышленным покойником, – говорю наконец. – Зато смешная. Вполне в моем вкусе. Я же, в сущности, комический персонаж: если добровольно не влипну в какую-нибудь дурацкую историю, всегда найдется добрый человек, готовый тортом в рожу запустить… Что ж, я не против, давай развлечемся, пока этот злыдень с тортом не вышел на тропу войны.

– Вот и правильно, – спокойно кивает Веня. – Биографию сам ему придумаешь, покойничку-то?

– Нет уж. Это удовольствие должно быть разделено поровну.

– Отлично. Тогда есть деловое предложение. У тебя никаких планов на Новый год нет, так?

– Так точно.

– Ну вот. И мои планы обломались в связи с Райкиным отъездом в отчий дом. А светская жизнь заманала. Предлагаю отправиться ко мне на дачу, одичать до наступления полуночи, забить на телевизор и шампанское, пить водку, орать песни, а в перерывах сочинять биографию нашему гению и обдумывать этапы его светлого пути.

– Принимается с одной поправкой: я буду пить ром.

– Пиратом небось был в прошлой жизни? – с неподдельным сочувствием спрашивает Веня. – Пиастры

по необитаемым островам ныкал, а? Пятнадцать человек на сундук мертвеца?

– Йо-хо-хо! – отвечаю с достоинством.

А что тут еще скажешь?

114. Ит Матроми

Верховное божество у летийцев и барбарцев. Ит Матроми не вмешивается в дела людей и не служит объектом почитания.

Проявляю пленку. Пока она сохнет, потерянно брожу по просторной, неуютной, но прекрасно оборудованной студии на улице Красикова, право на недельную аренду которой даровал мне щедрый Санта-Клаус Веня. То и дело хватаюсь за несвежий «Огонек», до моего вторжения прозябавший на местном подоконнике, и всякий раз откладываю его в сторону, поскольку буквы двоятся, прыгают перед глазами и даже, кажется, фосфоресцируют слегка по краям. Не до чтения мне сейчас.

Нервничаю, понятное дело. Что я увижу на пленке – это еще вопрос. Рентгеновские снимки своих натурщиков? Двухмерные изображения их бессмертных душ? Групповые композиции в древнеегипетском духе, Ка, Ах и Ба в обнимку?

Ничего в таком роде, разумеется, не произошло. Негативы как негативы. Вполне качественные. Если учесть, в сколь прискорбном состоянии пребывал фотограф, так и вовсе прекрасные. Можно печатать. Но сначала надо выпить кофе. Пятую чашку за день, между прочим… А, пустое, все равно я в себя сегодня столько

всякой дряни влил, что на сновидения можно не слишком рассчитывать. Да и завтра придется хлестать новогодний ром в обществе Вениамина, ничего не попишешь. Значит, все очистительные процедуры назначим на послезавтра, правильно? Правильно. Здоров же ты, мужик, компромиссы находить. Что бы я без тебя делал?

Печатаю снимки. Действительно, ничего особенного. Все очень неплохо получились, просто красавчики, в том числе и неизвестный элегантный мазохист. То ли народ фотогеничный подобрался, то ли свет здесь, в Москве, какой-то особенный, то ли у меня теперь рука такая легкая, сразу не разберешь. Но даже привлекательность моих моделей в пределах нормы. Веня не стал похож на Клинта Иствуда, а изображение Ираиды Яковлевны вряд ли украсит обложку журнала «Playboy». Когда завтра я раздам им портреты, все будут весьма довольны собой. Просто довольны, не более того.

Интуиция подсказывает мне, что и в жизни этих людей вряд ли что-то переменится после нынешнего сеанса прикладной фотомагии. Я не «украл» их «души», что бы ни думали по этому поводу суеверные обитатели Полинезии, но и от себя ничего не прибавил. Все, что случилось, случилось только со мной; окружающим от моих экзотических переживаний ни вреда, ни пользы. Да, я побывал в десятке чужих шкур, прожил за этот день несколько долгих чужих жизней и даже, кажется, возлюбил несовершенные потроха ближних, как собственные, – а что мне оставалось после нескольких бурных инцидентов на границе между «я» и «не-я»?.. Но это чудо было на одну персону. Как почти все, что со мною происходит.

Вот и славно.

Можно ложиться спать. Прямо здесь. Зачем куда-то ехать? Мой дом там, где я сам, иного мне не дано; возможно, иного не дано никому. Я хоть, по крайней мере, это понимаю.

115. Иуда Искариот

…впервые проявляя свое злонравие, чинит непрерывные обиды мнимому брату.

Просыпаюсь на рассвете, как ударом тока, сокрушенный запоздалой идеей, посетившей меня, разнообразия ради, ни наяву, ни во сне, а где-то на полпути между тем и другим.

Что будет, если я сделаю автопортрет? Возьму в руки чудесный Сашкин «Nikon», подойду к зеркалу и – щелк! Что, хотел бы я знать, откроется мне в этот миг? И не окажется ли, что я нашел самый простой способ раз и навсегда поменяться местами с собственным двойником, которым, помнится, с энтузиазмом стращал меня старый оборотень Франк, суровый предводитель моих кошмаров, похититель красавиц, астролог-любитель из дома, построенного на перекрестке миров?

О господи.

Нет.

Ни за что!

Лишь бы не сделать это нечаянно, по рассеянности или по пьяному делу… впрочем, я ведь не пью совсем… А если мне приснится, что я стою у зеркала с фотоаппаратом? И если во сне я окажусь безрассуднее, чем наяву? Что тогда?

А вот не знаю.

Мужество покидает меня, оно пулей вылетает из помещения, вульгарно хлопает дверью, даже прощальной записки не оставляет, сволочь. И как я теперь без него буду обходиться?

Да никак не буду. Просто попробую еще немного поспать. Хотя бы часок, а лучше – два. Утро – вообще не мое время. По утрам я нервен, уязвим, тревожен и недоволен судьбой. Звонок в дверь кажется мне вестником микрокатастрофы, вроде визита участкового, а шорох в ванной – свидетельством присутствия в доме как минимум маньяка-убийцы. Отлично понимаю, что все это глупость, бред и любительская паранойя, но ничего не могу поделать. Будь моя воля, общался бы с собой только после полудня, не раньше.

«Дрыхни, сука!» – приказываю себе таким страшным голосом, что сердце уходит в пятки.

Как ни странно, это действует, и я сплю до одиннадцати утра. Когда я у нас в последний раз просыпал работу? Нынешнюю, кажется, и вовсе никогда. Ну вот, наконец-то свершилось.

«Все к лучшему», – удовлетворенно заключаю, стоя под душем. У Ираиды есть ключ от склада и соответствующие полномочия, так что, будем надеяться, торговцы мои недолго страдали в разлуке с товаром. Зато я выспался. Сегодня мне предстоит долгая бессонная ночь, полная к тому же тяжких умственных усилий. Не просто ведь водку пьянствовать собрались, а сочинять трогательную биографию нашему покойничку, еще одному моему двойнику.

Стоп. *Еще одному*?

Ну да.

Смеситель работает скверно, вода то слишком горячая, то слишком холодная, надо бы ее отрегулировать, но я временно утратил счастливую способность обращать внимание на такие мелочи. Стою, голый, мокрый дурак, с просветленным лицом, по лбу себя стучу демонстративно, словно для скрытой камеры стараюсь. Впору в подъезд с криком «эврика» выскочить.

Потому что меня и правда осенила одна идея. Куда более дикая, чем заключение древнего грека Пифагора о теле, помещенном в жидкость, но и куда более актуальная – не для бурно прогрессирующего человечества, конечно, а лишь для меня, любимого. Возможно, она сулит избавление от некоей гипотетической напасти, суть которой до сих пор представляется мне темной и невнятной и от этого еще более пугающей.

Франк говорил, что меня, дескать, *выдумали*. Вернее, все еще *выдумывают*. Процесс сей, если я правильно понял путаные объяснения Франка, пока не завершен.

Вот и отлично.

У меня есть шанс опередить этих «выдумщиков», кем бы они ни были. Я выдумаю себя первым. Выдумаю – и тут же торжественно похороню, сообщив об этом прискорбном событии нескольким сотням случайных свидетелей – для начала. Мои «злые гении» могут съесть свои шляпы, ежели, конечно, у них таковые имеются, что, откровенно говоря, сомнительно… Пусть себе стараются, сочиняют похождения несвежего покойника. Все это будут лишь дополнительные детали биографии, в финале которой я собственными руками водружу

надгробную плиту – сегодня же! С бредовой опасностью следует бороться только бредовыми методами, не так ли?

Разум мой в смятении, он робко сообщает мне, своему господину и повелителю, что никогда прежде я не был столь прекрасно подготовлен к примерке смирительной рубашки. Но мне плевать, пусть себе хипешит. Нутром я чую, что нащупал правильное решение. Остается воплотить его в жизнь, не совершив ни единой ошибки. Это, конечно, почти невозможно: я не знаю правил этой игры, следовательно, не могу определить, что является верным решением, а что – ошибкой. Значит, придется угадывать. Была такая телепередача в годы моего детства: «Угадай и нарисуй», а я так и не собрался принять в ней участие. Ну вот, заодно и…

«Клинический придурок, – говорит мое отражение, опасливо взирая на меня из глубины запотевшего зеркала. – Психопат несчастный». Я тоненько, по-детски, хихикаю: вероятно, это и есть внутренний конфликт. Настоящий, как в кино-не-для-всех. Ах!

Чувствую себя слепым канатоходцем, который только-только приготовился сделать первый шаг по проволоке, натянутой не то над бездной, не то над разноцветным батутом – я ведь не знаю даже, приведет ли возможное падение к моей гибели или дело ограничится взрывом хохота в зрительном зале. Впрочем, я вообще ничего не знаю.

Но, по крайней мере, я, кажется, нащупал эту чертову проволоку, по которой мне предстоит пройти.

И это лучше, чем ничего.

116. Ифа

В мифологии йоруба божество гадания, мудрости, судьбы. <…> Жрецы Ифа считались главнейшими среди других.

Перед тем, кто оказался в зимнем лесу, мир предстает облаченным в парадный фрак. Элегантный и высокомерный, как истинный денди, он черен и бел, прекрасен и равнодушен, ироничен, но вовсе не снисходителен. Скорее откровенно безжалостен.

Да, и еще он холоден.

Даже слишком холоден, на мой вкус.

После того, как мы свернули с плохо освещенного заснеженного шоссе на проселочную дорогу, я окончательно ошалел. Вот уж не подозревал, что цивилизация заканчивается в полутора десятках километров от Москвы. Но Венина горчично-желтая «Нива»-мутант, пережившая на своем веку немало личных технических микрореволюций, вопреки моим смутным опасениям, не застряла в сугробе, не забуксовала, не заглохла и вообще вела себя молодцом. Да и водитель, судя по всему, имел изрядный опыт ночных марш-бросков по зимнему лесу. И все же я не слишком верил в благополучный исход нашей экспедиции до тех пор, пока мы наконец не въехали в дачный поселок и почти сразу же остановились у высокого деревянного забора.

– Моя хата – с краю, – гордо сообщил Веня, по-хозяйски гремя ключами. – И сейчас будет нам счастье.

Я, честно говоря, сомневался, что оное счастье наступит раньше чем через час-полтора. Наверняка нам придется топить печку, и хорошо еще, если дрова лежат в сенях, а не погребены под одним из сугробов.

Однако действительность оказалась добрее. Ворота – нараспашку. Окна двухэтажного бревенчатого дома мерцали тусклым светом, дверь была заперта изнутри на щеколду, а открыл ее нам приземистый буйнобородый дедок, морщинистый, как печеное яблочко, источающий сивушные ароматы, но весьма бодрый, даже жизнерадостный – ходячая реклама деревенского самогона, да и только.

– Печку растопил, лампочку вкрутил, – деловито доложил он. – Там еще окно было битое, так я его фанерой заколотил, чтобы вам не надуло.

– Месяц назад все окна вроде были целы, – меланхолично заметил Вениамин. – Ну да ладно, хорошо хоть дом не спалили… С наступающим, Ван Саныч, спасибо, что не похерили мою просьбу. И я вашу не похерил, все по справедливости.

Он вручил старику туго набитый пакет; характерное позвякивание позволяло надеяться, что диапазон телесных ароматов Ван Саныча этой ночью будет существенно расширен и обогащен новыми нюансами.

– Ну ты крутой, Борисыч! – восхитился дедок, разглядывая содержимое пакета. – Ну, уважил!.. Так я пойду?

– Ага, – с энтузиазмом подтвердил Веня. И обернулся ко мне: – А ты чего на пороге стоишь? Иди, грейся. Ты мне нужен живым.

– Неправда твоя, – смеюсь. – Мертвым я тебе нужен, мертвым. Сам же говорил…

– А, ну да. Ладно, будем считать, что ты мне нужен и живым и мертвым одновременно. Заходи в дом. Я сейчас машину загоню в сарай и тоже приду.

В доме было не так уж и тепло: то ли совсем недавно затопили, то ли просто щелей много, то ли окно, кое-как заколоченное фанерой, давало о себе знать. На подоконнике горела керосиновая лампа, над столом – бледная сороковаттка без абажура. В сумме получалось неяркое и не слишком уютное освещение. Зато печь настоящая, русская, прежде я такую только в кино видел. Возле нее я и устроился. Конечности так окоченели, что впору было возомнить себя саламандрой и в пламя сунуться.

Веня появился минут через пять. Огляделся по сторонам, нахмурился, пошарил по полкам, достал пачку толстых стеариновых свечей, вручил их мне.

– Давай, устанавливай освещение. Вон в том ящике лежит пустая тара, можешь использовать ее в качестве канделябров… А то интерьер какой-то депрессивный. В такой обстановке вполне можно к утру повеситься, ага?

– Есть такое дело, – говорю, извлекая из кармана зажигалку. – А этот дед кто? Домовой?

Ловлю себя на том, что положительный ответ показался бы мне не шуткой, а констатацией вполне заурядного факта: ну да, пожилой, пьющий домовой присматривает за домом в отсутствие хозяина – а как иначе-то?.. Следует признать, что мои представления о мироустройстве за последние полгода претерпели кардинальные изменения. Вероятно, необратимые. Но

реальность пока не спешит под меня подстраиваться. Ставит меня на место, с Вениной помощью.

– Сторож он местный. Живет всю зиму по соседству, иногда обходит наши участки. Владелец единственного телефонного аппарата в поселке. Ну, чтобы ментам звонить или пожарным, если что. И нам, домовладельцам, спокойнее: какая-никакая, а все-таки связь. Я вот сегодня с утра Ван Санычу позвонил, попросил печку растопить. Растопил, молодец… А было бы еще чего надо, он бы запросто организовал. Например, соседской банькой попользоваться. У меня-то своей нет, но Ван Саныч, старый партизан, может провести на чужую территорию… Кстати, он таки да партизан, натуральный, полвойны в лесу просидел и даже однажды геройски взорвал какую-то вражескую тарантайку, чем, несомненно, предрешил исход Второй мировой. Ушлый дед, он даже блядей вполне способен найти в ближайшей деревне. Правда, *каких* – это отдельная тема. Не буду тебя на ночь глядя пугать, скажу только, что есть женщины в русских селеньях…

– Не сомневаюсь. Я по этим самым селеньям свадьбы снимал, представляю, о чем речь.

– Не представляешь. Местные ночные бабочки – это нечто из ряда вон выходящее… А вот свечи по подоконникам расставлять – это ты хорошо придумал, окружим себя огнем со всех сторон. Продолжай в том же духе. Только половину про запас оставь, ночь – дело долгое.

Пока я возился с иллюминацией, Веня накрывал на стол. Через десять минут обстановка вполне тянула на праздничную, а я сам не заметил, как согрелся. Жизнь моя временно стала простой и прекрасной штукой:

Новый год, загородный дом, теплая печка, пляшущие тени на стенах, деликатесы на столе, первый глоток рома и мягкое, веселое пламя в желудке.

– Хорошо, черт побери, – говорю удивленно. – Как же мало мне надо для счастья!

– Всем для счастья надо мало, – меланхолично ответствует Веня. – При этом у каждого имеется в наличии очень много всякого, разного. Но всегда чего-то не того.

Поначалу мы просто жуем, болтаем о ерунде. О том, например, как здорово оказаться на краю света без радио и телевизора, этой информационной пуповины, связывающей нас с хворой утробой суррогатной мамаши-цивилизации. Пусть привыкает к мысли, что мы не станем утешением ее старости. Во всяком случае, не раньше, чем вернемся обратно, на «большую землю», к своим информационным кормушкам.

Это по большей части Венин страстный монолог, я лишь одобрительно похрюкиваю. Чувак, возможно, впервые в жизни Новый год без боя курантов встречает. В диковинку ему. Мне-то не привыкать, я у нас практически монах-пустынник, принявший информационную аскезу. Дикарь невинный.

– А ты ведь всегда так живешь, да?

Ну вот наконец-то дошло до него.

– Я у тебя дома ящика не заметил, хотя, извини уж за откровенность, ты сейчас вполне можешь позволить себе такие покупки.

– Могу, да. А почему именно сейчас? Всегда мог… Просто у меня, наверное, нет привычки покупать

телевизоры. И привычки обладать телевизорами. Слишком тяжелый предмет. Мне как-то спокойнее живется, если я знаю, что могу унести свое имущество без посторонней помощи, за один прием…

– Ну, с другой стороны, не проще ли приучить себя к мысли, что имущество можно использовать в свое удовольствие и бросить, когда придет охота сняться с места.

– Да, действительно. Мне как-то в голову не приходило, что можно и так… Значит, куплю магнитофон. Надо же на чем-то «Лестницу в небо» слушать, если уж я ее нашел… А телевизор мне все равно не нужен. Я его и в гостях-то смотреть никогда не мог. Впрочем, меня и радио раздражает. Вон, все говорят: «Эхо Москвы», «Эхо Москвы», дескать, такая крутая новая прогрессивная радиостанция, а я на складе его пару дней послушал – все равно скучно. Обычный человеческий треп, как в метро или в кафе. Ну, так я могу пойти в кафе или спуститься в метро и получить оригинал вместо копии, так?

– А как же свежие новости?

– Свежая новость – это то, что случилось со мной. И уж об этом я, пожалуй, узнаю первым, без посредничества информационных служб.

– Ну да, – смеется Веня. – Какое тебе дело до общественных копошений, ты у нас *оверсайдер*.

– Чего-чего-сайдер? – переспрашиваю растерянно.

– Оверсайдер. Oversider. Английский знаешь ведь?

– Немножко.

– Ну вот, смотри: людей, по крайней мере всех, с кем я знаком, можно разделить на инсайдеров и аутсайдеров; тех, кто находится в самой гуще событий, и тех, кто пялится на оную гущу, соблюдая известную дистанцию, и интерпретирует происходящее на основе неполной, часто недостоверной информации. Это просто?

– Даже слишком.

– Ничего, так и надо, чтобы «слишком». Теория, которую нельзя доступно изложить за полторы минуты, на мой вкус, ничего не стоит.

– Твой вкус, – говорю, – надо бы насильственно прививать всему мыслящему населению планеты. А то наплодили, понимаешь, кошмары многотомные…

– Ага. Но не сбивай меня с толку… В общем, называя тебя «оверсайдером», я имел в виду, что дистанция между тобой и всем остальным настолько велика, словно ты из иллюминатора космического корабля за нами подглядываешь. Без особого, впрочем, интереса…

– Ну уж – без интереса!

– Скажешь, нет?

– Нет, – для пущей убедительности мотаю головой.

– Ну, как же? Сам только что сказал: новость – это то, что произошло с тобой. Телевизор не смотришь, радио тебе скучно слушать, готов спорить на пол-лимона, что ты и газет не читаешь.

– И что с того? Кому интересны газеты?

– Вообще-то, практически всем… Господи, да ты хоть знаешь, что живешь в стране с самым политизированным населением?

– Да? – удивляюсь вежливо. – С каких же это пор?

– Ты меня в могилу загонишь. Слышал такое слово: «perestroika»? Фамилия «Горбачев» тебе говорит хоть что-то? Кто такой Ельцин, знаешь?

– Да знаю я, знаю твоего Ельцина, – зеваю. – Президента называецца, чукча умный, чукча не дурак… Он еще на танке тусовался во время путча, Ельцин твой; правда, я так и не понял зачем. А кстати, зачем?

– О! А вот что ты, к примеру, в августе девяносто первого делал? – вдруг оживляется Веня. – Проспал ведь все небось, а?

– Я бы и рад был проспать, да не дали. У меня дома все городские Нострадамусы трое суток бухали. Сначала пророчили, будто ждет нас всех дорога на Колыму и прочий тридцать седьмой год; потом, когда стало ясно, что путчу полный но пасаран пришел, приободрились и посулили друг другу немедленное наступление развитого капитализма не позже чем к началу сентября… Пророков из них не вышло, а вот здоровье мне подорвали. Я-то понимал, что бояться, теоретически говоря, нечего: ясно ведь, что существует почти бесконечное количество способов отнять у человека жизнь, имущество и свободу передвижения, а государственные репрессии – всего лишь несколько дополнительных пунктов в длинном списке теоретически возможных несчастий… Но как представил себе, что сейчас опять весь этот тоскливый совок начнется, стало мне тошно – это не метафора, к сожалению. Каждые полчаса в уборную бегал наизнанку выворачиваться, жрать ничего не мог, да и напиться не

получалось. Что, к слову сказать, в сложившейся ситуации было особенно обидно.

– Ну, хоть ГКЧП тебя проняло, – с облегчением констатирует Веня.

– Да нет, не то чтобы проняло. Просто все вокруг с ума сходили, а сходить с ума было принято у меня дома. Такая городская традиция, что-то вроде выставки цветов в первое воскресенье сентября… Но путч, хвала Аллаху, быстро закончился. С тех пор ничего такого, ради чего стоит включить телевизор, кажется, не случалось… Или я что-то пропустил?

– Ох! Боюсь, ты пропустил целую жизнь.

– Жизнь? Не думаю. Разве что чужие комментарии к ней. Ну так комментарии у меня никогда особого интереса не вызывали… Знаешь, когда я по-настоящему понял, что началась какая-то «перестройка»? Когда в городе, где я жил, стали открываться кооперативные кафе. Сколько я денег просадил на кофе по-турецки и венгерский апельсиновый ликер «Вебер», сулящий, согласно надписи на этикетке, «истинное наслаждение»… И не только это. Из моей жизни вдруг раз и навсегда исчез участковый: никого больше не интересовало, тунеядец я или честный труженик. С топором под мост не хожу – вот и ладно, вот и молодец… Еще, помню, из магазинов исчез сахар, зато появилась пепси-кола. Хорошей музыки стало – завались, потом вдруг книжки появились в изобилии, да еще и видео. Вот это казалось настоящим чудом: посмотреть в гостях «Стенку», или «Ночного портье», или порнуху немецкую. Поначалу ведь по барабану было, что смотреть, лишь бы каждый день что-то новенькое… Вдруг выяснилось, что достать джинсы – больше не проблема, комиссионных магазинов

стало больше, чем покупателей, и продавались там только новые фирменные шмотки. В одном из городских кинотеатров ввели ночные сеансы, так зал поначалу был переполнен, словно никому с утра на работу не нужно идти. Родители моего приятеля, старые «отказники», наконец уехали в Штаты, а бывшая одноклассница Люська стала ездить в Польшу, торговать какой-то бытовой техникой – это за границу-то, куда прежде раз в жизни можно было попасть, да и то если очень повезет. Зашла однажды ко мне, дома не застала и оставила записку на долларовой купюре, представляешь? У меня был настоящий культурный шок… Все это, конечно, мелочи, пустяки, частности, но они и есть реальность, данная нам в ощущениях, разве нет?

– Так и есть. Но странно слышать это именно от тебя, – недоверчиво щурится Веня. – Ты – и вдруг участковый, ликер «Вебер», немецкая порнуха, даже некая бывшая одноклассница нарисовалась… Хочешь убедить меня, будто жил прежде нормальной человеческой жизнью?

– Почему – «прежде»? Я и сейчас…

– Извини, Макс, но ты не похож на человека, которого интересуют все эти милые пустяки, коим был посвящен твой прочувствованный монолог.

– Да? А на кого же я похож?

– Понятия не имею. Ты ставишь меня в тупик. Все эти гадания, переодевания, прозрачный взор, таинственные намеки, ни слова о прошлом и никаких планов на будущее… Тебе шутя удается все, за что ни возьмешься: книжками торговать – пожалуйста, вот вам тройная норма выручки за полдня, а я пойду погуляю; лоточников строить – запросто, не проходит и месяца, и

вместо прежних вороватых алкашей в нашем распоряжении вымуштрованная бригада практически непьющих скаутов; отправляю тебя на переговоры к лютым мудакам, а назавтра выясняю, что мудаки очарованы до полной утери лютости и готовы сплясать под твою дудку хоть фокстрот, хоть тарантеллу, чего изволите…

– Какой я, оказывается, классный, – говорю мечтательно. – Цены мне нет. Продолжай в том же духе, Вениамин Борисыч, мне приятно. Давненько меня так не хвалили.

– Да погоди ты! Не хвалили его, видите ли, – досадливо морщится он. – Я тебя не хвалю, я факты констатирую. И еще не закончил эту процедуру.

– Давай, – ухмыляюсь. – Процедура-то сладостная.

– Рад, что тебе нравится. Потому что я как раз собирался добавить, что на этом идиллическом фоне твое искреннее равнодушие к происходящему выглядит довольно дико. Телевизор, газеты – это ладно. Возможно, тут ты как раз прав, а мы все – жертвы информационного голода, готовые теперь исступленно пожирать новости до полной утери разума… Но все остальное, Макс!

– Что – остальное?

– Ну, например, ты ни разу не попросил меня показать тебе компьютер, – Веня похож на обиженного ребенка. – Неужели тебе совсем не интересно? Ладно, предположим. Всему человечеству интересно, а тебе – нет, бывает… Но тебе, кажется, вообще ничего не интересно. Ни новое кино, ни музыка, ни клубы ночные – ты же не ходишь никуда, правда? И люди тебе совсем не

интересны. Ты ведь не только о себе ничего не рассказываешь, ты и других не спрашиваешь ни о чем. А тех, кто и без расспросов готов все выболтать, не слушаешь. Даже просто в гости тебя зазвать невозможно, это не я один проверял: всегда наготове какая-нибудь отмазка. Зато и дома тебя застать непросто. Пока ты жил рядом со складом, у тебя вечно окна темные были, и оттуда ни звука не доносилось. Раиса все удивлялась, она у нас любопытная, а посему наблюдательная… В итоге мы решили, что после работы ты просто растворяешься в сумерках. А какие еще могут быть версии?

– Да уж, – вздыхаю. – Представляю, как все это выглядит со стороны. Я бы и сам на вашем месте от любопытства погибал. Но тут нет никакой тайны, надеюсь, даже медицинской. Просто переезд в Москву меня слегка контузил. Новая работа, новые люди, новый образ жизни. Слишком много впечатлений, вот и стараюсь временно ограничить их количество. Надеюсь, это скоро пройдет…

– И я тоже надеюсь, – ехидно говорит Веня.

Ехидно-то ехидно, но взор его полон печального сочувствия. Ни дать ни взять исповедник, готовый выслушать любую ахинею и отпустить все грехи, даже грех безумия, ежели таковой существует. Но я преодолеваю искушение.

– Давай-ка лучше заниматься нашим покойничком, а?

– Ага, – ухмыляется лукаво, – переводим стрелки? Фильтруем базар? Отмазываемся от явки с повинной? Ладно, хрен с тобой, вернемся к покойничку. А то действительно, собрались на креативное совещание, а

сами жрать да трепаться? Не-е-ет, жрать и трепаться будем позже, когда напьемся до положения риз.

– Никогда, кстати, не понимал этого выражения. «До положения риз» – это как? В каком положении обычно пребывают ризы? В горизонтальном?

– А фиг их знает… Ну что, давай для начала решать, был наш гений старичком-боровичком или юношей бледным? Как думаешь?

– Я думаю, что нам нужно поменьше думать.

– Пропаганду остановки внутреннего диалога разводишь? Хорошее дело, но несколько несвоевременное.

– Да нет, какая тут, к черту, пропаганда… Давай попробую объяснить. Мне кажется, что будет интереснее не придумать ему биографию, а составить ее при помощи множества мелких гаданий. Пусть судьба, или как там эта могущественная субстанция называется по-научному, тоже примет участие в создании нашего героя. Мне кажется, так он получится более… живым и достоверным, что ли.

– А что, – раздумчиво тянет Веня. – Предложение забавное, вполне в твоем духе. Но так ты себе все это представляешь технически? Книжки будешь открывать? На втором этаже есть небольшая библиотека, вернее, склад утиля, но что мы станем делать, если в ответ на вопрос о возрасте получим фразу: «Графиня изменившимся лицом бежит пруду»? Например. Или у тебя таких проколов не бывает?

– Не знаю, может, и бывает. Тут пока не попробуешь, не узнаешь… Но я немножко иначе себе все представляю. Сначала пишем список: что нужно

человеку для полноценной биографии? Где родился, в каком возрасте и от чего умер. Профессию его мы и так знаем: фотограф он у нас. Жил, по крайней мере, в последние годы, в том же городе, что и я, в противном случае как бы мы познакомились? Сестер, братьев, жен и детей у него стопудово не было, потому что мы не сможем их предъявить. Все, да? Ну, можно еще выяснить, из какой он семьи, какое образование получил, бедный был или богатый, счастливый или не очень… Но это уже частности. На самом деле для биографии требуется не так уж много фактов. По крайней мере, в нашем случае, когда налицо результаты его жизнедеятельности.

– Согласен. Составляем список. Считай, составили уже. Что дальше?

– А дальше берем бумажки – скажем, по пять штук на рыло. Пишем каждый по пять разных вариантов даты его появления на свет. Смешиваем все в кучу. Вытягиваем наугад. Фиксируем результат. То же самое с местом рождения, папой-мамой, образованием, причиной смерти. Ез?

– Почему бы и не ез, – легко соглашается Веня. – Осталось только найти в этом доме бумагу. Думаешь, просто?

– Думаю, практически невозможно. Но ты справишься.

Я был прав: он нарыл в каких-то своих закромах огромный рулон оберточной бумаги, и мы с энтузиазмом принялись драть его на клочки.

– Писать только год рождения или дату полностью, с месяцем и числом? – деловито осведомился Веня.

– Давай полностью. В наше время редко случается, что точная дата рождения неизвестна. Понастроили, понимаешь, ЗАГСов на наши головы, никакой тебе таинственности…

– А тянуть кто будет, ты, или я?

– Давай по очереди.

– Давай!

Через полчаса мы установили, что покойный автор «Едоков» родился 22 февраля 1962 года (мой вариант) в городе Ужгороде (опять мой), в семье военнослужащего (Венина версия), закончил только среднюю школу (опять Веня) и умер от сердечного приступа (я принимал судьбу вымышленного фотографа близко к сердцу, почти как собственную, а потому приложил колоссальные усилия, вспоминая самые безболезненные и опрятные способы умереть).

– Дело за малым, – оптимистически заявляет Вениамин. – Осталось дать ему имя. Будем гадать?

– А может быть, он – мой тезка? – предлагаю осторожно. – Все же я его прототип…

В глубине души я уверен, что это очень важно: дать вымышленному мертвецу мое имя. Того, ужасного и могущественного, которым стращал меня Франк, по странному совпадению тоже назвали Максом. Если нашего гениального трупака будут звать как-то иначе, ничего не получится – так мне почему-то кажется. Общее имя, – полагаю я, – станет своего рода мостом над пропастью, что пролегает пока между двумя призраками. И, может быть, однажды они встретятся на этом шатком мосту, лоб в лоб, как два барана из детского стишка, и разберутся между собой самостоятельно, без моего

участия. О том, что эти двое могут столковаться и выступить против меня единым фронтом, я предпочитаю не думать.

– Ну, как скажешь, – соглашается Веня. – Твой крестник, имеешь право. Но фамилию-то твою мы ему давать не будем? А то фарс получится… Учти: вариант «Максим Максимович Исаев» к рассмотрению не принимается из тех же соображений.

– Фамилию? – переспрашиваю удивленно. – Тьфу ты, господи, а ведь действительно, должна же быть и фамилия…

– Обычно у людей бывают фамилии, – вежливо сообщает мой компаньон. – Так, знаешь ли, принято. Конечно, если бы он у нас был исландцем, можно было бы обойтись отчеством. Но поскольку он вряд ли исландец…

– Хорош издеваться, – ворчу. – Сейчас будет ему фамилия… Вот же черт! Может быть, действительно за книжкой сходишь наверх? Возьми любую, наугад, хоть справочник по холодильным установкам.

– Будешь смеяться, но такая литература в доме действительно есть, – Веня выглядит озадаченным. – Мой отец был инженером холодильных установок, можешь себе представить.

Он отправляется наверх, а я кружу по комнате, дабы размяться. Разглядываю банки из-под импортного пива, не то низведенные в ранг подсвечников, не то возвышенные до этого статуса. Разглядывание, собственно, сводится к простой констатации мелких биографических фактов: это я покупал, таким меня

поили в гостях, этого не пробовал никогда, а вот эдакого, кажется, даже и не видел до сих пор. Ну-ка, ну-ка…

Беру банку в руки. Зеленая с белым, дизайн не ах… «Beck's» называется. И надпись какая-то странная: «Alcohol frei». Ну, «alcohol» – это понятно. А вот «frei»… Что бы это значило? Одна минута на размышление, гонг. Нет ответа.

Сверху спускается Веня. Ржет.

– Нет там книжек, – говорит. – Ни единой. Как корова языком слизала. Воры, что ли, побывали? Странные какие-то воры… Или просто Ван Саныч на растопку уволок? А ведь мог, гад. Решил небось, что это мусор…

– Ну, нечего делать, сейчас придумаем что-нибудь… Ты мне вот лучше скажи, что такое «фрей», а?

– Фрейр – это скандинавский бог. Ван среди асов, можно сказать, маргинал. Продовольствием у них заведовал, тьфу ты, плодородием… Кажется.

– Кто такой Фрейр, я и сам знаю. Я имею в виду надпись на банке: «Alcohol frei», – показываю.

– А, так это не «фрей», а «фрай». У немцев свои правила писания-читания, и никто им не указ… «Frei» – «свободный», причем не только в значении «независимый», но и «освобожденный от…». В данном случае надпись означает, что пиво безалкогольное. Освобождено от алкоголя то бишь… Я, кстати, очень обижался на злых германцев, когда выпил содержимое этой банки утром трудного дня и только потом заметил надпись…

– Погоди, – говорю нетерпеливо. – Так «Alcohol frei» – значит «без алкоголя»?

– Ну да.

– А «Максим Фрай» можно перевести как «без Максима»?

– Можно… Хочешь сказать, что именно так его и зовут, нашего покойничка?

– Ага, – я смеюсь, пораженный тем, как легко и изящно, сама собой, разрешилась самая сложная из текущих проблем. – Хороший каламбур, да?

– Ничего, сойдет. Странная, правда, фамилия для сына военнослужащего, такая бы скорее докторскому отпрыску подошла, ну да ладно. Существует гипотеза, что жизнь всегда оказывается более причудливой, чем любой вымысел. Будем считать, что нашего мальчика это тоже касается. А теперь можем с чистой совестью расслабиться и выпить за упокой его души, мы это заслужили.

– Ага, – киваю, – все трое…

Кажется, мы все сделали правильно. Вернее, все сделалось правильно само собой, при нашем не слишком активном участии.

И все же меня грызут сомнения. Маленькие, но бойкие прожорливые зубастики, чтобы им пусто было! Очень хочется свериться с ответом в конце задачника, но открыть этот самый «задачник» на нужной странице мне пока не по силам.

А потому, перед тем как уснуть, успеваю загадать: пусть завтрашняя погода станет своего рода «небесной

рецензией» результата наших сегодняшних посиделок. Если, скажем, будет пасмурно и уныло, значит, мы, бездарные дураки, все испортили. Если к тому же еще ветер будет выть сердито или другая какая природная напасть произойдет, лучше не гневить судьбу и похоронить новорожденный проект под ближайшим кустом. Впрочем, если ни бури, ни метели не будет, а просто пойдет снег, тогда, памятуя финал кинофильма «Легенда о Нараяме», следует считать, что мы молодцы. А если выглянет солнышко… Но это вряд ли. Небо вон как тучами обложено.

А если все-таки выглянет?

С легкомысленным великодушием сладко засыпающего человека решаю, что солнечный день равносилен телеграмме: «Всем сердцем с вами тчк бог».

Вот и договорились.

117. Ихет

…небесная корова, родившая солнце.

Просыпаюсь от того, что на моих веках играют в чехарду солнечные зайчики. Вопреки моим вчерашним прогнозам, первый день нового года оказался удивительно ясным: мороз и солнце, на радость школьным учительницам литературы.

На часах – половина десятого. В сущности, очень рано, если учесть, что позади – новогодняя ночь, со всеми вытекающими токсическими последствиями. Хозяин дома тихонько похрапывает в своем гнезде из тулупов. В печи еще тлеет огонь: вероятно, Веня вставал, чтобы подбросить туда дров. Поскольку мне

никогда в жизни не доводилось топить печь, я минут пять размышляю, следует ли добавить пару поленьев или оставить все как есть. Наконец решаю, что за час небось не погаснет. А там, глядишь, и специалист проснется.

Включаю электрический чайник, усаживаюсь за стол, меланхолично удивляясь его благопристойному виду: никакого разгрома мы не учинили, ничего не перевернули, не разбили, даже не накрошили особо. И бумажка с нашими записями в полном порядке. Ни тебе томатных клякс, ни масляных отпечатков пальцев. В самом низу исписанной страницы – солнечный блик, яркое пятнышко света. Этакая «круглая печать» Гелиоса – дескать, утверждаю, исправленному верить…

И тут я вспомнил свои вчерашние фантазии о погоде. Дескать, «небесная рецензия», «телеграмма от бога», все дела… И вот. Мало того что день, вопреки прогнозам и даже здравому смыслу, солнечный, так еще и «круглая печать». Чтобы не сомневался – так, что ли?

Что же за чудесная судьба мне выпала: получать время от времени такие вот послания! Преисполненный восторга и благодарности, выхожу на крыльцо. Щурюсь, моргаю, не в силах смотреть в лицо великодушной желтой звезде. Глубоко вдыхаю морозный воздух, перемешанный с солнечным светом, и ощущаю сладкий жар в груди, потом в желудке. Тепло стремительно разливается по телу, и даже кончики моих пальцев излучают тусклое, но вполне достоверное красноватое сияние.

Кажется, я и правда проглотил кусочек солнца. Каждый день бы так завтракал!

118. Ицпапотль

«Обсидиановая бабочка», в мифологии ацтеков богиня судьбы. <…> Изображалась в виде бабочки с крыльями, утыканными по краям обсидиановыми лезвиями…

Вечером того же дня мы вернулись в Москву, и я окопался в студии на улице Красикова, дабы с пользой израсходовать каждую арендованную минуту. Даже на работе несколько дней не появлялся – не просто с Вениного согласия, а, можно сказать, по его настоятельному требованию. Мы оба спешим, сгораем от нетерпения, и наши следы присыпаны пеплом, вопрос о происхождении которого мог бы поставить в тупик университетскую кафедру органической химии в полном составе.

Я ночую там же, в студии, питаюсь бубликами с молоком, взбадриваю себя кофе с остатками новогоднего рома и развлекаюсь, фальшиво напевая шлягеры десятилетней давности, благо стены тут звуконепроницаемые. Я занят по горло, я завален работой, на которую мне, по-хорошему, надо бы отвести месяц, а осталось всего-то три с половиной дня, я ухайдакиваюсь, как черный раб на плантации, и это – разновидность счастья.

Толстомясые лики «Едоков» не покидают меня даже во сне, иных видений мне пока, вероятно, не светит. Я понимаю, что это закономерно и даже справедливо: все самое чудесное и значительное теперь снова происходит со мной наяву. Я не просто печатаю фотографии, которые собираюсь продать почтеннейшей публике

вместе с трупом моего двойника, а собственными руками вращаю тяжкое, скрипучее колесо судьбы. Занятие-то привычное, но прежде я всегда пребывал внутри колеса, резво перебирал лапками, как одомашненная белка: вперед, только вперед, и не нужно отчаиваться, обнаружив, что твое «вперед» – самое что ни на есть мерзейшее «на месте». Пустяки, как говаривал мой любимец Карлсон, дело житейское… Но теперь я, кажется, впервые оказался снаружи.

По счастью, у меня есть помощник. Веня взял на себя самую нелегкую часть проекта. Он будет показывать мои (*мои*?) работы специалистам, договариваться о выставках, интриговать коллекционеров; он будет говорить с нужными людьми и с любовницами нужных людей, и с мужьями любовниц нужных людей, он будет говорить, говорить, говорить, он потрудится на славу, дабы я мог стоять в сторонке и самодовольно помалкивать, как и положено скромному наследнику мертвого непризнанного гения. Веня все устроит, и это прекрасно, поскольку я никогда в жизни не умел ничего устраивать и устраиваться я никогда не умел.

Впрочем, этот полезный талант мне, вероятно, без надобности. Мое дело маленькое: вращать колесо судьбы и следить, чтобы его острые края не отсекли мне руки по локоть.

119. Ича

Ича, благодаря своей хитрости, в конце концов побеждает и сжигает великана.

Вечером пятого января на пороге студии появляется Вениамин. Разглядывает снимки, одобрительно прищелкивает языком, комментирует. К комплиментам его я уже привык, да и устал изрядно, поэтому реагирую вяло. Вообще, можно сказать, не реагирую. Сижу в углу, симулирую улыбку Джоконды.

– Ну ты как, заканчиваешь уже? – интересуется он наконец. – Или еще на недельку продлим аренду?

– Ни в коем случае. Завтра буду отсюда выметаться. У нас уже есть полсотни хороших снимков, даже немного больше чем полсотни… ага, в частности, эта стопка. И еще пару десятков совершенного позорища. Весь брак – сегодняшний. Я устал, одичал и смотреть не могу на бублики. Увижу на улице – буду швырять на землю и топтать сапожищами… Как, кстати, там, на улице? Хорошо, наверное?

– Неплохо. Но холодно… Намек понял, одевайся, покормлю тебя чем-то не хлебобулочным. А почему, собственно, ты жрал одни бублики?

– Чтобы не тратить время на добычу пропитания. Булочная находится в соседнем подъезде, а других торговых точек поблизости нет.

– Маньяк!

– Есть немного.

Позже, уже в кафе, где среди искусственного плюща и розовых стен я обрел свое счастье в виде распятого обугленного цыпленка, Веня осторожно спросил:

– А написать его биографию ты мог бы?

– Чью? – я так страстно жевал, что не сразу даже понял, о чем он говорит.

– Нашего покойничка, твоего тезки. Чью же еще?

– Не знаю даже, – я растерялся. – Никогда не писал ничьих биографий. И вообще никогда ничего не писал, кроме школьных сочинений. Те, правда, неплохо получались, по крайней мере, учителя всегда пытались вырвать у меня признание, откуда я это передрал… В общем, можно попробовать. Но ничего выдающегося не обещаю.

– Ничего выдающегося и не требуется. Просто оформи письменно все, что мы с тобой у меня на даче наговорили, только и всего. Шпаргалка у меня, вот, держи, – он поспешно протягивает мне лист оберточной бумаги с нашими общими каракулями. – Я сам собирался все написать, благо опыт какой-никакой имеется, пять лет в газете пахал… Но какая-то херня со мной творится с тех пор, как мы с тобой в город вернулись. Свет то и дело вырубается, и компьютер, ясное дело, вместе с ним; телефон звонит беспрестанно, бабы полузнакомые в гости ломятся, теперь вот соседи сверху на меня протекли, причем не куда-нибудь, а прямехонько на письменный стол. Мистика какая-то дурацкая. Все в точности как у Стругацких, помнишь эту повесть?

– Ага. «За миллион лет до конца света». На мой вкус, не лучшее из того, что они написали. Мягко говоря.

– Ну, может быть… А ты, я смотрю, не очень-то удивлен.

– Да нет, просто «когда я ем борщ, для меня все умерли». Знаешь этот анекдот?

Я, честно говоря, и рад бы удивиться, да не выходит. Напротив, чувствую, что все идет как надо. Конечно же, письменное жизнеописание своего

вымышленного двойника нужно составлять собственноручно. Это, как говорится, священный долг каждого гражданина. Не отвертишься.

Вернувшись на улицу Красикова, достаю из кухонного шкафа пишущую машинку. Я ее еще в первый день приметил, как чувствовал, что пригодится. Ну вот, пригодилась… Почерк-то у меня докторский, да и ленив я руками писать. А печатаю я хоть и пятью пальцами, зато быстро. Еще с тех пор, когда Торману в его конторе помогал.

И бумага тоже в доме нашлась, целая стопка тонких серовато-желтых листочков странного формата: чуть больше тетрадной страницы. Вставляю в машинку чистый лист, бодро говорю себе: «Поехали», – и цепенею. Становлюсь тварью бессловесной и остаюсь таковой до третьей рюмки рома – хвала Вениамину, предусмотрительно пополнившему мои запасы! Никогда не подозревал, что напечатать первое слово на чистом листе почти так же трудно, как начать новую жизнь. Каторжная работа, оказывается.

Но под воздействием пиратского эликсира выдавливаю из себя первую фразу: «Максим Фрай родился в 1962 году в городе Ужгороде, в семье военнослужащего». И тут же гадливо вычеркиваю написанное звездной чередой колючих буковок «ж»: что за канцелярщина тупая! Пять минут спустя решаю, что надо же с чего-то начинать, и старательно воспроизвожу убиенную «канцелярщину». Выпиваю еще глоток рома и снова все зачеркиваю. Невозможно!

Хожу по комнате, курю, злюсь. Если бы я еще знал, как пишутся эти сраные биографии! Но ведь, наверное, именно так и пишутся: родился, учился, женился, умер.

Типовой набор. Считается, что именно из этого и состоит человеческая жизнь. Какая гадость!

И тут я наконец понимаю, что отсутствие опыта развязывает мне руки. Я не знаю, как «надо», а потому могу писать все, что взбредет в голову. Даже если Веня будет очень недоволен, вряд ли он поставит мне двойку. И уж, при всем желании, не сможет вызвать на собеседование моих родителей, которые, по правде говоря, и без него в курсе, что с сыном им не слишком повезло…

На радостях я уничтожил еще одну рюмку рома, взялся за работу и останавливался лишь дважды: для того чтобы вставить в машинку чистый лист бумаги.

Максим Фрай родился в самом начале весны в маленьком закарпатском городке Ужгороде, но провел там лишь первые полтора года жизни и больше ни разу туда не возвращался. С тех пор рай в его воображении неизменно принимал облик пряничного города в горах, по крайней мере, любой иной рай был ему без надобности.

Он молчал до трех лет, поскольку не знал, о чем говорить с людьми, которые его окружают, потом все же заговорил, но в три с половиной года научился читать и снова умолк: четкие изображения слов на бумаге нравились ему больше, чем несовершенная живая человеческая речь.

Первой наукой, за изучение которой он принялся, была тактика партизанской войны с реальностью. Ее он освоил в совершенстве, но азов стратегии так и не постиг, поскольку не мог внятно объяснить себе, зачем ему нужна эта война. Ответ: «Так почему-то надо» – выдавал полное отсутствие стратегических талантов. Не

имея ни малейшего представления о своей конечной цели, он, разумеется, не мог разработать план ее поэтапного достижения, а потому удовлетворялся собственной способностью пускать пыль в глаза взрослым и (эту науку он освоил чуть позже, уже в первых классах школы) своим ровесникам.

Когда ему было пять лет, умерла его бабушка. Так он узнал о существовании смерти, но потрясен не был, поскольку с самого начала подозревал, что в механизме мироустройства заложена некая роковая неправильность. Теперь стало ясно, какая именно. Он испугался, но и почувствовал себя удовлетворенным, как всякий человек, разгадавший наконец непростую загадку.

Он рос мизантропом и мечтателем, но производил впечатление абсолютно благополучного ребенка. И школьная учеба, и дворовые премудрости, вроде лазания через заборы, метания ножиков, бега наперегонки и сочинения обидных дразнилок, давались ему легко. Но жизнь казалась скучной и бессмысленной до тех пор, пока отец не подарил ему к десятилетию фотоаппарат «Виллия», достаточно дешевый, чтобы его можно было доверить ребенку, и достаточно скверный, чтобы даже эта скромная цена казалась завышенной. Заглянув в окошечко видоискателя, он обнаружил самый простой способ приблизиться к недостижимому идеалу: оказывается, можно выбрать самую красивую картинку, а все прочее оставить за кадром. Он был зачарован внезапно открывшимися возможностями. Чуть позже, впрочем, он понял, что можно поступать и наоборот: превратить объектив фотоаппарата в прокурора на обвинительном процессе: «Максим против человечества». Наглядность доказательств, полагал он, избавит его от необходимости сформулировать наконец

обвинение, что, как уже неоднократно выяснялось, было ему не по силам. Он и сам не знал, что именно его не устраивает. Просто чувствовал себя марсианином, без вины сосланным в чужое, враждебное пространство, о котором можно сказать наверняка лишь одно: здесь все умирают.

Восемь лет спустя, на следующий день после своего совершеннолетия, он ушел из родительского дома, не взяв с собой ничего, кроме рюкзака с одеждой, на дне которого, бережно завернутая в свитер, лежала его первая любовь по имени «Виллия». «Редкостная дрянь, но я ее люблю», – говорил он приятелям, ласково поглаживая черный пластмассовый бок фотоаппарата. Нечего и говорить, что женщинам, которых он, по собственному признанию, не стоил, не доставалось и сотой доли этой нежности.

Он зарабатывал на жизнь фотографируя сельские свадьбы, выпускные вечера и малолетних узников пионерских лагерей; к занятию этому относился с брезгливостью, но прочие способы товарно-денежных отношений с миром были ему вовсе недоступны.

Друзья и любовницы часто называли его бессердечным, но сердце у него все-таки имелось. Более того, оно оказалось самым нежным и уязвимым его органом, калиткой, которая всегда была приоткрыта на тот случай, если смерть, проходя мимо, решит завернуть на огонек. В двадцать восемь лет он перенес первый инфаркт, несколько месяцев спустя – второй. Оказавшись без работы и без средств, он наотрез отказался обратиться за помощью к близким, но легко согласился принять ее от постороннего, одного из множества коллег, с которым его связывало лишь шапочное знакомство.

За неделю до смерти он сказал автору этих строк, что любую биографию следовало бы писать от противного: важно не то, где человек родился, чему научился и как жил; значение имеет лишь то, что так и не сбылось. «Вот, например, я никогда не был за границей, никогда не пил баккарди с колой, никогда не водил автомобиль, не летал на самолете, не спал с мулаткой, не жил в небоскребе, не выступал на сцене, не ел устриц, не нюхал кокаин и вряд ли смогу отпраздновать свой трехсотлетний юбилей, – с грустью заключил он. – Поскольку мне искренне хотелось пережить все эти события, их перечень описывает, насколько ограничены были мои возможности. А биография всякого человека – не более чем попытка очертить границы его возможностей. Злодейский жанр».

Серия «Едоки» создавалась на протяжении девяти лет, но при жизни автора этих работ никто не видел. Умирая, он признался, что всегда мечтал именно о посмертной выставке. «Если от человека после смерти остается хоть что-то, – сказал он, – мое „что-то" непременно прорвется на вернисаж. Ужасно хочется посмотреть на лица зрителей. Поэтому попробуй это устроить».

И мы это устроили.

120. Ишум

Охраняет людей, особенно больных, в ночи.

Я вынул из пишущей машинки последнюю страничку, собрался было перечитать текст, но вдруг с ужасом понял, что мое собственное сердце бьется

кое-как, да и прочие ощущения не свидетельствовали о физическом благополучии: в груди словно бы ворочался осиновый кол, глаза слепли, мозг пылал и пульсировал, как огромное испуганное одноклеточное. Дела мои обстояли более чем скверно. Кажется, тело всерьез вознамерилось немедленно инсценировать вышеописанный трагический сценарий. И я понятия не имел, что следует делать в таких случаях. «Скорую помощь» вызывать? Но я почему-то совершенно не верил, что медицинское вмешательство поможет делу.

И тут раздался звонок в дверь. Не просто звонок, а словно бы условный сигнал: два коротких звяка, пауза, снова два коротких, один длинный. Странно, если учесть, что я ни с кем ни о чем не уславливался. Но в тот момент мне было абсолютно все равно, кто стоит за дверью. Хоть участковый, хоть соседка с нижнего этажа, хоть перепутавший дверь пьянчужка. Достаточно того, что по ту сторону находится живой человек, и, наверное, он сможет мне помочь; хотя что это я мету: ни один человек не способен помочь другому, и все же…

Это «и все же» стало костылем, опираясь на который я смог доковылять до прихожей и непослушными, онемевшими пальцами отомкнуть замок.

На пороге стояла юная женщина в пестрой шубе до пят, сшитой из кусочков меха разного цвета и фактуры. Маленькая смуглая брюнетка, миловидная, улыбчивая, с ямочками на щеках.

– Ой, – восклицает растерянно, – а разве здесь не Миша живет?

– Не знаю.

Мотаю головой, улыбаюсь глупо – просто потому, что улыбаться легче, чем говорить. Впрочем, говорить все-таки придется. Надо же объяснить этому славному существу, как обстоят дела с квартирой и ее ненаглядным Мишей, которого я в глаза не видел.

– Вообще хозяина дома зовут Гена. Я у него арендовал помещение, всего на неделю. Даже не я сам, а мой друг… А я тут фотографии печатаю. Завтра уже выметаюсь. Может быть, ваш Миша тоже временно здесь обитал?

– Ой, все может быть, – теперь она, кажется, готова заплакать. – Я у него тут всего два раза была, а потом он куда-то пропал, но это как раз в порядке вещей… А я с мамой поругалась и ушла, хлопнув дверью. Следовательно, возвращаться до утра – моветон. Думала у него переночевать. Подружек уже будить не хочется, а Миша всегда поздно ложится… Ладно, что-нибудь придумаю. Вы извините…

– Если хотите, можете зайти, – говорю нерешительно. – Я не насильник и не убийца… впрочем, даже если бы я был убийцей и насильником, боюсь, сейчас у меня ничего бы не получилось. Вот разве чаем вас напоить, на иное насилие я не способен. Что-то я не в форме.

Вижу, что она колеблется, и решаю, что в кои-то веки имею право воспользоваться хваленой женской жалостливостью. Никогда прежде ею не злоупотреблял, но сегодня – сам бог велел. Нельзя мне, чтобы она сейчас уходила. Никак нельзя.

– У меня как раз перед тем, как вы пришли, сердце прихватило. Первый раз в жизни такое со мной случилось. Я, честно говоря, испугался. А вот как открыл

вам дверь, все начало возвращаться в норму. Может быть, вы действительно выпьете со мной чаю? А потом, если не захотите оставаться, я вас на такси посажу. А можете и переночевать, здесь два дивана, в комнате и на кухне. Ладно?

Она внимательно меня разглядывает. Решает: можно ли иметь со мной дело. Что ж, могу ее понять. В этом смысле женщинам действительно труднее живется: всегда нужно быть начеку, настороже, слишком уж много желающих прибрать к рукам то, что плохо лежит, не осведомившись, желает ли это самое «плохолежащее» человеческое существо быть прибранным или же у него какие-то иные планы на ближайшее будущее. Я бы с ума сошел от такой жизни, честное слово!

– Ладно, – говорит она наконец. – Вид у вас действительно неважный. Да и мне не помешает согреться, я с Зубовской сюда пешком шла. Давайте будем пить ваш чай.

Понятия не имею, на каком расстоянии отсюда находится оная Зубовская (моя Москва – все еще драное лоскутное одеяло), но, на всякий случай, изображаю уважительное сочувствие: дескать, надо же, с Зубовской, пешком – вы себя не бережете!

Таня – так ее звали – сняла шубу и оказалась совсем хрупким созданием: птичьи ребрышки просвечивают из-под тонкой водолазки, худые коленки, детские запястья. Но жизненных сил, доставшихся этому крошечному существу, кажется, хватило бы на дюжину грузчиков: шаровая молния, а не человечек. Даже жарко на кухне стало от ее присутствия. Она одобрительно отнеслась к моей манере заваривать чай, съела целых два бублика из моих запасов, потом полезла на

антресоли и достала оттуда коробку шоколадных конфет. «Птичье молоко», не хрен собачий, я такие только однажды ел, да и то в детстве, в гостях у зажиточных родственников.

– Это я Мишке приносила, – смеется, – а он, оказывается, шоколад не жрет. Спрятал якобы для гостей. Так и знала, что он их тут оставил, съезжая!.. И не смотрите на меня сочувственно, Мишка – не сбежавший любовник-подлец, а просто забавный мальчик. Друг-приятель, из тех, к кому можно вламываться без предварительного звонка. Только и всего.

– Это хорошо, – киваю. – Хорошо, что для вас его отсутствие – досадная неприятность, а не трагедия.

– Ну уж – трагедия. Скажете тоже… Какая может быть трагедия, если все живы?

– Ваша правда. Но человеческое сознание способно оформить как трагедию любое пустяковое происшествие.

– Ну да, в частности, человеческое сознание моей мамы. Но это какое-то неправильное сознание, вам так не кажется?

Разумеется, мне так кажется. Никаких возражений. Весь вечер мы только тем и занимались, что соглашались друг с другом. Это было и странно, и славно: будто бы вдруг нашлась моя сестренка-близнец, с которой нас разлучили в младенчестве злые сценаристы, работавшие над созданием сериала о нашей непростой, но поучительной жизни. Редкостный кайф.

Мы болтали часа два, выдули неимоверное количество чаю, уничтожили мои запасы сахара и коробку конфет. Даже крошки от бубликов подмели в

экстазе. Я и думать забыл о своей внезапной хвори, не вспоминал даже, что заманил эту милую женщину на свою кухню с корыстными целями: чтобы она не дала мне умереть.

Она, собственно, и не дала.

Кончилось тем, что я заснул прямо там, где сидел, сам не заметил, как свернулся калачиком на кухонном диване, успел лишь пробормотать, что комната в ее распоряжении, а если все-таки нужно посадить ее на такси, я готов подняться, одеться, и все такое… Наглая ложь: в тот момент я вряд ли смог бы даже добрести до уборной. Был слаб, как новорожденный.

Сквозь сон я почувствовал, как невесомая ладошка гладит меня по щеке – всего одно прикосновение, наполнившее меня теплом и покоем. А потом маленькие ножки зашлепали по коридору, заскрипели половицы, запели диванные пружины. Таня устраивалась на ночлег, и теперь я мог не сомневаться, что доживу до утра.

А больше ничего и не требовалось.

121. Иэйиэхсит

В якутской мифологии богиня-посредница между божествами и людьми.

Когда я проснулся, в доме уже никого не было. Вот и гадай теперь: приходила ко мне маленькая женщина в пестрой шубке или просто привиделась? Дверь заперта, но это ничего не значит: захлопнуть ее с равным успехом можно было и изнутри, и снаружи. На кухне чисто: то ли Таня перед уходом вымыла чашки, то ли не было никакой Тани, а значит, и посуду никто не пачкал.

Заглядываю в мусорное ведро. Коробка из-под конфет «Птичье молоко» – там. Ну, слава богу, хоть какая-то вещественная улика! Была Таня, была. Просто решила не ограничиваться спасением моей жизни, а еще и порядок навела. Очень мило с ее стороны.

Так мило, что даже обескураживает.

Впрочем, с загадками можно повременить. Мне нужно одеваться, идти в булочную за сахаром и хлебом, завтракать, собирать манатки и освобождать чужую территорию от своего деятельного присутствия. Чем быстрее, тем лучше. Пока светит солнце, во дворе орет и хохочет малышня, а на моем подоконнике щебечут прикормленные воробьи, я – кум королю, но еще один вечер в этом доме – явный перебор.

Я принялся осуществлять свой нехитрый, но многоступенчатый план действий, поэтому Танину записку обнаружил лишь часа через два. Я был уже сыт, мыт, брит и даже немного утомлен сборами. Но решил, что хозяйскую пишущую машинку следует поставить на место. А заодно и мое бессмертное творение, лирическую биографию убиенного двойника, присовокупить к упакованному имуществу. Не бросать же этакий кошмар чужим людям на поругание!

Записку она оставила прямо на страничке с текстом. Не записка даже, а что-то вроде короткой рецензии.

«Остроумное решение. Но опасное. Впрочем, у тебя неплохие шансы» – вот, собственно, и все, что там было написано.

– Господи, – тихо сказал я вслух. Вздрогнул от звука собственного голоса, заткнулся.

Подошел к зеркалу, испытующе заглянул в глаза своему отражению.

– Кто написал эту записку? – спрашиваю.

Глупо, конечно. Но я очень нуждался в собеседнике, а иных антропоморфных существ в комнате не было.

Мое зеркальное отражение зашлось беззвучным хохотом. Смеялось оно, надо сказать, от души. Я же стоял как громом пораженный и пялился на этого самодовольного болвана.

А потом плюнул на все и пошел одеваться. Гори он огнем, этот мой хохочущий зазеркальный двойник. Пусть себе в одиночку досмеивается, если уж ему так приспичило.

Й

122. Йахья

…мы не делали ему раньше одноименного.

– Ага, писать, оказывается, тоже умеешь. Тоже мне человек Ренессанса, на все руки мастер, блин… Это не автобиография, надеюсь?

Веня улыбается и хмурится одновременно. Про себя отмечаю, что неплохо бы и мне научиться такую морду лица изображать. Пригодится.

– Какая же автобиография? – удивляюсь, надо сказать, вполне искренне. – Это биография моего покойного тезки. Я что, похож на мизантропа?

– Не похож ты ни на мизантропа, ни на синантропа, ни даже на питекантропа. Вообще на «антропа» не похож… Так что, хочешь сказать, все выдумка?

– Конечно. Основанная, между прочим, на результатах нашего совместного, не сказал бы, что тяжкого, труда.

– Труд трудом, а список несбывшихся желаний чей? Не твой, часом?

– Ну уж нет. Баккарди с колой я пил, и не раз. Ничего особенного, просто название красивое… За границей так и вовсе вырос. В военном городке, правда, в польском захолустье, но это уже частности. Заграница – она и есть заграница, галочку в анкете можно ставить. Самолетами Аэрофлота пару раз летал в детстве, с родителями. Даже на сцене выступал: мне в девятом

классе одна девочка нравилась, она в театральную студию ходила. Пришлось и мне записаться. Меня с руками оторвали, даже без прослушивания: у них мальчиков не хватало. В таких местах мальчиков всегда почему-то не хватает…

– Ага. Небоскреб, кокаин, устрицы, мулатка?

– Чего не было, того не было, – смеюсь. – Но трехсотлетний юбилей я твердо намерен отпраздновать.

– С тебя станется…

Позже, когда приходит время прощаться, ибо бар закрывается, а нам обоим завтра предстоит пробудиться к активной жизни задолго до рассвета, Веня задумчиво говорит:

– В принципе, если у тебя появится желание еще больше отличаться от своего тезки, с вождением автомобиля я могу помочь. С мулаткой, пожалуй, тоже. Насчет кокаина не обещаю, но постараюсь разузнать.

– Спасибо, – отвечаю растерянно. – Дело хорошее.

А по дороге домой гадаю – это у него оборот речи такой «еще больше отличаться от своего тезки», или этот хитрец о чем-то догадывается? Впрочем, пусть себе. А я посмотрю, какая идиотская будет рожа у моего персонального исследователя, когда он попытается высказать свои догадки вслух. Тайны, вроде моих, – они ведь только потому и тайны, что формулировке не поддаются. Так что никаких проблем.

123. Йель

Йель попал на крючок к рыболову и лишился кончика клюва, но с помощью хитрой уловки вернул его себе.

Время идет, наступает март, снег превращается в серую ноздреватую грязь, ледяная твердь истончается, обнажая нежную земную, и птичий щебет разрывает мне сердце, суля какую-то смутную надежду – не знаю уж на что.

Я-то ничего не жду. Ничего и не происходит. То есть все время что-то происходит и вокруг полно сорок-добровольцев, всегда готовых принести мне новости на хвосте. В том числе и свежайшие новости обо мне, любимом. Я их внимательно выслушиваю, но понимаю, что меня это как бы не очень касается. Я умудрился стать эпизодическим персонажем собственной жизни. «Оверсайдер» – этот Венин термин нравится мне все больше. Не то чтобы он мне льстит, просто чертовски точен, меткое попадание, в яблочко. Ай да Веня, ай да Вильгельм Телль!

«Вильгельм Телль» между тем развил бурную деятельность. Готовит триумф моего мертвого двойника. Выставка запланирована на сентябрь, поскольку весной, дескать, уже не успеть, а лето, по его утверждению, – «мертвый сезон». Про себя я думаю, что «мертвый сезон» – очень неплохое время для выставки мертвого фотографа, но с советами не лезу. Нам, потомкам Чингисхана, все едино: что нуждающихся в оплодотворении подтаскивать, что оплодотворенных оттаскивать. К тому же Вене виднее, ибо он стоит на

вершине информационного холма, а я – не в долине даже обретаюсь, а на дне глубокой ямы.

Я доволен таким положением вещей: в моей яме тепло и уютно. На свете счастья нет, но есть покой и воля, горячий душ и конфеты «Птичье молоко», черный кофе и темный ром, уроки вождения и песенки «Queen», хорошая обувь и английские сигареты. И еще много всякого разного. Мулаток и кокаина, правда, как не было, так и нет, но – дело наживное. Какие наши годы!

В поте лица постигаю науку получать удовольствие от мелких радостей бытия, поскольку крупных радостей мне пока не светит. Очевидно, я превысил свой лимит еще в прошлом году. Сначала наяву, потом – во сне. Так что теперь придется немного потерпеть. Ничего, потерпим, тут важно найти побольше приятных мелочей, зарыться в них с головой и почаще ворочаться с боку на бок, чтобы вокруг все шумело, гремело и перекатывалось, чтобы не было ни малейшего шанса сосредоточиться на размышлениях о собственной участи. В этой дурацкой мишуре можно, пожалуй, спрятаться от тоскливых прошлогодних страхов, снующих по щелям вместо милых моему сердцу рыжих тараканов. Травлю их, травлю, а толку…

– У меня все хорошо, – говорю я по утрам своему зеркальному отражению. – Все очень, очень здорово. Никогда не думал, что моя жизнь сложится так замечательно. Даже надеяться не смел.

– Ты уверен? – саркастически ухмыляется оно. – За последний год ты потерял любимую женщину, лучшего друга, профессиональную квалификацию, родной город, интерес к жизни, остатки разума и даже уверенность в том, что поутру в твоей постели проснется тот же самый

парень, который забрался туда накануне. Продолжить список или достаточно?

Список, что и говорить, внушительный. Но на сей случай у меня есть хороший ответ.

– Представь, – говорю я угрюмому обитателю Зазеркалья, – что тебе вдруг предложат совершить путешествие во времени, в том направлении, куда никого не пускают. Открываешь глаза – за окном проспект Мира, на календаре, скажем, начало мая девяносто второго. Последнее воспоминание – «путешествие на Запад» по коммунальному коридору, до уборной и обратно. Ничего не было: никаких гадалок, никаких наваждений, никаких демонов, двойников, несбывшихся реальностей и роковых любовей. Впереди – халтура на свадьбе в Беляевке, легкое отравление местным самогоном, покупка новых джинсов и знакомство с умопомрачительной блондинкой, которая через неделю радостно сообщит тебе, что морально готова к замужеству. Правда, здорово? То-то же, сиди и не выпендривайся, горе мое.

Зазеркальный хмырь, как и я сам, вынужден признать, что единственным привлекательным пунктом программы может считаться разве что погода. Май в прошлом году и правда был изумительный. Мартовская Москва по сравнению с тем дивным, душистым маем – лимб строгого режима для некрещеных трудных подростков, в лучшем случае.

Эта нехитрая уловка, как ни странно, помогает мне всякий раз, когда слабохарактерная сволочь, имеющая, к сожалению, немалую власть над моим организмом, начинает истерически вопить, что жизнь ужасна, сердце

разбито, впереди – лишь мрак безумия, «лестница в небо» да зловещая дата: «1965–1995».

Ну, почти всякий раз…

124. Йима

Место его действия всегда на земле, в мире людей.

Стараниями новых друзей я как-то ухитрился выправить паспорт для заграничных путешествий и в августе уехал в Прагу, лучший из городов, куда можно было попасть без въездной визы, и вообще лучший из городов – это я понял примерно через полчаса после прибытия.

Добрался пешком до центральной части города, распахнул рот и соляным столбом застыл на углу Железной и Камзиковой улиц. Так и стоял, пока не вспомнил, что где-то тут, на Железной, расположена гостиница, в которой я собирался остановиться по настоятельной рекомендации опытной путешественницы Раисы. Хорош он был или плох, я так и не понял, поскольку появлялся там лишь за полночь, чтобы проспать несколько часов и убежать, не дожидаясь обильного континентального завтрака, достоинства которого мне еженощно расписывал старенький ночной портье, потрясенный моей демонстративной аскезой.

Целыми днями я, как одержимый, кружил по старой Праге, вечера проводил на летних верандах кафе, а по ночам прятался от добродушных сувенирных Големов в ветвях ивы, растущей на берегу Влтавы. Сидел там с блаженной улыбкой, кидал в воду мелкие камешки, молчал и не желал для себя иной участи.

Я не столько гулял, сколько *блуждал*. Многочисленные карты Праги (я с маниакальной одержимостью неофита покупал их примерно по две-три штуки в день) служили скорее первобытными талисманами, придававшими мне некоторую уверенность в себе, чем путеводителями. Я то и дело забредал в переулки, которые, по моему разумению, должны бы находиться на другом берегу. Проскакивал повороты, ведущие к центральной площади, не найти которую, теоретически говоря, невозможно, а вот я обнаружил ее лишь за день до отъезда. Именно в этом, – казалось мне в те дни, – и заключается таинственное предназначение всякого настоящего волшебства: сбивать нас с пути, кружить голову, превращать надежные путеводители в бессмысленные сувениры.

Потому что нет зрелища печальнее, чем уверенный в себе пешеход, из года в год снующий по хорошо изученному маршруту: туда-сюда, туда-сюда… Не «венец природы», а маршрутный троллейбус какой-то, прости господи! Именно тогда я начал понимать, как мне повезло: по крайней мере, я бреду наугад, «туда, не знаю куда», и ждет меня там «неведомо что» – все как в сказке, читайте Проппа, граждане масоны-розенкрейцеры, и будет вам счастье.

Или его пластиковая имитация.

Прага стала для меня именно пространством волшебной сказки, колдовским городом, важной, хоть и случайной остановкой в моей экспедиции «не знаю куда». Здесь я учился не бояться смерти. Здесь я вдруг ощутил себя развеянным ветрами, а потому начал бормотать наизусть разрозненные обрывки из Гарсия Лорки:

Когда умру,

стану флюгером я на крыше,

на ветру.

В Праге перспектива стать флюгером совершенно не пугала, скорее уж наоборот – обнадеживала. Призраки, которые бродят по ночным улицам Праги, – думал я, – счастливчики, какими бы драматическими подробностями ни изобиловало их посмертное бытие. Если (вполне в духе каббалистической традиции) считать мир, в котором мы живем, беспорядочными черновиками бога, то Прага – удачный абзац, который будет без изменений переписан в окончательный вариант Книги.

Этот город, – говорил я себе, – больше чем реальность, но меньше чем сон, потому что это – чужой сон, улыбка Альмутасима, свет в середине тоннеля, до конца которого еще никто не добирался живым.

Нечего и говорить, что я был счастлив, нелеп и – в кои-то веки – абсолютно спокоен.

В последний свой пражский вечер я отправился на берег Влтавы и, укрывшись от сторонних глаз в светлом сумраке ивовых ветвей, подписал мирный договор с судьбой. Она взяла на себя обязательство ни при каких условиях не возвращать меня в тесную тюремную камеру повседневного существования. Я же, в свою очередь, пообещал не ныть, не жаловаться, не сожалеть о безмятежном и относительно безопасном, но скучном прошлом. И вообще начать новую жизнь. Чем скорее, тем лучше. Хорошо бы прямо сейчас.

А почему бы и нет?

Часом позже, устроившись за столиком итальянского ресторана, я составил краткий список своих метафизических приобретений, воспользовавшись плотной розовой салфеткой с резными краями. Пронумеровал, наглядности ради. Получилось весьма внушительно:

1. Я совершенно точно знаю, что, кроме этого мира, есть еще и другие, сбывшиеся и несбывшиеся, в общем, всякие.

2. Я знаю как минимум одну дорогу в Нижний Город (улица Маяковского).

3. Я знаю как минимум одно волшебное место в Москве (Остаповский проезд).

4. Я собственными глазами видел город в горах из окна поезда, который ехал там, где ни гор, ни городов быть не может.

5. Я общался с демонами, домовыми и прочей мистической хренью, и все они вели себя вменяемо и вполне дружелюбно.

6. Я могу гадать на книжках (возможно, не только) и всегда получать *правильный* (?) результат.

7. Я умею быстро и эффективно *менять судьбу*.

8. Иногда мне *снятся* (?) *сны* (?), и я точно знаю, что они не менее реальны и значительны, чем все остальное.

9. Я могу узнать все про человека, которого сфотографирую, а он ничего не заметит.

10. Мне сообщили, что я родился под покровительством звездной туманности Форамен, которая сулит чудесные превращения и прочий кайф.

11. Там же, тогда же мне сказали, что некий бессмертный (?) напоил меня своей кровью и якобы это «противоядие». От чего? От смерти? Непонятно, но звучит заманчиво.

12. Скорее всего, я нашел хитрый способ обезвредить своего выдуманного двойника, объявив его покойником (???).

13. Кажется, мне назначили свидание на Лестнице в Небо в 1995 году. Осталось выяснить: есть ли где-нибудь место с таким названием (клуб, ресторан, магазин) или это метафора?

14. Если мне будет очень страшно соваться в какую-нибудь мистическую жопу, я могу вспомнить, что там меня (наверное?) ждет Маша.

15. Когда мне совсем хреново, обязательно случается что-нибудь хорошее, как в американском фильме с хэппи-эндом.

(И еще всякое-разное, по мелочам.)

– Так какого черта?! – возмущенно спрашиваю себя, просматривая список. – Почему ты почти не пользуешься этими невероятными возможностями: здесь, сейчас, среди людей, которых так легко и приятно ставить на уши при помощи доступных тебе фокусов? Вместо того чтобы развлекаться, сидишь и скулишь: то тебе не так, это тебе стремно, тут тебе непонятно, там тебе в коленках жмет, и вообще страшно…

125. Йорт Иясе

Он не делает людям зла, но любит пугать человека, кидает в него с печки камешки.

То-то и оно, что страшно.

Мои глаза близоруки, а у страха они, как известно, велики. Вот и получается, что он, лупоглазый, вечно навязывается в поводыри, волочит меня за руку вперед, по дорожке, утоптанной миллиардами моих предшественников. Бормочет предупредительно: туда не смотри, сюда не сворачивай, здесь опасно, и там опасно, везде опасно, безопасный путь знаю только я, а потому поспешай за мною, не рыпаясь, ежели желаешь мирно умереть в своей постельке от старческой немощи, в возрасте восьмидесяти пяти – оцени мою щедрость! – лет.

Чертовски соблазнительно звучит, конечно…

Я знал, что не родился героем и вряд ли в ближайшее время перестану испытывать страх перед неизвестностью. А потому дал себе слово хотя бы научиться притворяться, будто мне сам черт не брат и Мировой океан по колено. Жить так, словно бы у меня и правда девять жизней – да не коротких кошачьих, а долгих, мафусаиловых веков. Будто густая, горячая кровь бессмертного, единожды проникнув в желудок, навсегда изменила устройство моего организма. Если очень долго делать вид, что ничего не боишься, храбрость может стать полезной привычкой, чем-то вроде манеры спать с открытым окном или принимать контрастный душ.

Во всяком случае, я решил попробовать.

126. Йунус

Выброшенный в пустыне, он был исцелен от болезни и с успехом проповедовал.

Москва после пражских впечатлений больше не кажется мне прекрасной незнакомкой. Скорее добродушной квартирной хозяйкой, расплывшейся распустехой в вечном халате и бигуди, немного жадной, весьма недалекой, совершенно равнодушной к чужим проблемам, но, в общем, вполне милой теткой. Домашней, понятной, уютной даже. Своей в доску.

Вот-вот. «Своей», «домашней» – ключевые слова.

Вероятно, для того, чтобы почувствовать чужой город родным домом, нужно оттуда уехать, а потом – вернуться. Эффект этого простенького маневра я в полной мере оценил еще в такси, когда поймал себя на мысли: «Я дома». До сих пор мне в голову не приходило называть Москву своим «домом».

На следующий день после моего возвращения открылась наконец организованная Веней выставка нашего великолепного покойничка. Мое присутствие, строго говоря, не было обязательным, но я принял приглашение и отправился в маленькую галерею, затерянную среди бараков Якиманки. (Веня утверждал, что этот закуток – *знаковое место*, я же собрал волю в кулак и заставил себя поверить ему на слово.)

Жующие рожи моих земляков, развешанные на беленых стенах, не вызывали у меня ни узнавания, ни яростного отторжения. Ощущения, что это моя выставка, не возникало. И только надпись «Макс Фрай» на обложке элегантного черно-белого каталога выглядела заманчиво и тревожно. Что ж, мы сообщили миру имя моего убиенного двойника. Вполне громогласно сообщили: в письменной форме, в нескольких сотнях экземпляров, неплохо для начала. Назад дороги нет: что сделано, то

сделано, слово не воробей, не вырубишь топором и так далее, со всеми вытекающими метафизическими последствиями.

Вот и славно: по крайней мере, у меня больше нет повода дергаться. Можно заняться чем-то другим. Например, жизнью, прекрасной и удивительной.

Я не выпил ни единого глотка кислого сухого вина, которым щедро угощали присутствующих, но опьянел от атмосферы чуда, свершающегося у меня на глазах. Стоял, прислонившись к стене, с блаженной улыбкой созерцал, как публика разбирает дармовые каталоги. Грыз соленые фисташки и угощал всех желающих пронзительными историями из жизни своего «покойного друга». Очевидно, был в ударе, поскольку в конце вечера меня обступили десятка два любопытных слушателей. Тоже мне проповедник выискался…

– Макс – то есть автор «Едоков», – рассказываю, – не был таким уж человеконенавистником, просто чувствовал себя чужим всюду, куда ни попадал. Существом иного биологического вида, марсианином, выродком. Прятался от нас, как от монстров, в своем «внутреннем Мухосранске» – это его собственное выражение… Только перед смертью, когда уже сам понимал, что вряд ли выкарабкается, дал слабину, пустился откровенничать. Я в то время случайно оказался рядом: снимал соседнюю мастерскую и, когда увидел, что человек не может работать и сидит без копейки, начал его понемногу подкармливать, а у него уже не было сил возражать… Думаю, со временем он ко мне просто привык, как к собаке или к домовому… Так вот, однажды Макс сказал мне, что с детства мечтал куда-нибудь отсюда слинять. Что самой главной книгой в

его жизни была «Дверь в стене» Уэллса: он прочитал ее в том возрасте, когда любая книжная история принимается на веру, и решил, будто этот сюжет сулит ему надежду…

– «Дверь в стене» – это о чем? – удивленно спрашивает Веня, весьма довольный моей светской активностью, но и озадаченный изрядно. Прежде на его памяти я был скорее тихоней, чем выскочкой.

– Это история человека по имени Лайонел Уоллес, которому однажды, в раннем детстве, удалось открыть волшебную зеленую дверь в белой стене, ведущую в прекрасное неведомое. Впрочем, он почти сразу же нарушил некий ритуальный запрет и утратил обретенный рай. Но история на этом не заканчивается. Счастливчик Уоллес еще несколько раз натыкался на свою чудесную зеленую дверь, в самых неожиданных местах, и всякий раз проходил мимо. Один раз потому, что опаздывал в школу, потом у него был экзамен в университете, потом беседа с начальником или еще что-то… Всех подробностей я не помню: это же *не мой* любимый рассказ. А вот Макс смертельно завидовал Лайонелу Уоллесу. Говорил, что надо быть сволочью и кретином, чтобы раз за разом упускать такой шанс. Очень переживал… Подозреваю, он, даже став взрослым, не перестал верить в подлинность этой истории. Мне кажется, он действительно искал зеленую дверь в белой стене во время своих одиноких прогулок по городу. И – если это так – увы, безрезультатно…

– Рассказ Уэллса заканчивается сообщением, что Лайонел Уоллес был найден мертвым в глубокой яме, близ Восточно-Кенсингтонского вокзала? – уточняет

высокая женщина в пестром индейском пончо. – Я ничего не перепутала?

– А, вы тоже читали «Дверь в стене»? Да, именно так она и заканчивается.

– В таком случае не спешите с выводами, – улыбается она. – Уэллс, насколько я помню, пишет в финале: «Кто знает, что ему открылось?» – или что-то в таком роде. Подталкивает читателя к выводу, что мертвое тело в яме – лишь видимость, маскировка, чтобы родственники и друзья не трудились разыскивать того, кто открыл дверь в неизвестность. Может быть, и ваш друг тоже открыл какую-то свою дверь?

– Не знаю. Дверь, говорите?.. Хорошо, если так. Он был славным человеком, хотя эта выставка, – посылаю приветственный жест черно-белым жующим на стенах, – скорее свидетельствует об обратном, да?

– Эта выставка свидетельствует лишь о том, что он был большим мастером, – строго говорит женщина в пончо. – И более ни о чем.

«Отлично, парень, – ухмыляюсь про себя, посылая привет своему мертвому двойнику. – Ты уже становишься любимцем публики. Так держать».

К

127. Калачакра

Согласно Калачакре, все внешние явления и процессы взаимосвязаны с телом и психикой человека, поэтому, изменяя себя, человек изменяет и мир.

Жизнь моя словно бы с цепи сорвалась: завертелась, закружилась, переполнилась событиями. Я более не наблюдаю ее со стороны, а принимаю весьма активное, порой причудливое участие. Текущие дела то и дело соприкасаются с моим мельтешащим в пространстве телом и лопаются, как мыльные пузыри. Одни – потому, что я с ними справляюсь, другие – потому, что я их похериваю. Но мне сейчас все сходит с рук: я забавляюсь. Развлекаю себя и заодно окружающих, всех, кто под руку подвернется. Выполняю условия Пражского договора с судьбой и собой, любимым, несусь вперед очертя голову, не вспоминая о том, что с детства обучен бояться и грустить.

Кажется, у меня неплохо получается.

Покойник наш тоже делает некоторые успехи, о нем периодически пишут какие-то мелкие заметки в вечерних газетах; правда, пока Венины мечты о богатых коллекционерах остаются мечтами: за год ему удалось продать десяток работ маленькому вежливому голландцу, да и то по дешевке. Говорит, мы опоздали, мода на русских художников уже сошла на нет – ну и черт с ней. В мире и без того достаточно способов

заработать. В частности, протирая штаны на книжном складе в ожидании выручки.

Впрочем, теперь на моем месте все чаще дежурит специально выдрессированная пожилая девушка Лена, старательная и ответственная. Я наведываюсь лишь в критических ситуациях или когда меня посещает желание прогуляться по Тверской. А в промежутках между редкими визитами на службу обретаюсь во вновь арендованной студии на улице Красикова. Круг моих деловых знакомств существенно расширился благодаря суете вокруг моего покойного тезки (я, кажется, уже сам начинаю забывать о том, что талантливый мертвый мизантроп Макс Фрай – вымышленный персонаж; его угрюмая физиономия стоит у меня перед глазами как живая, и, между прочим, почти никакого сходства с моим нынешним зеркальным отражением!).

У него своя карьера, а у меня – своя, и еще неизвестно, кто из нас лучше устроился. Довольно быстро выяснилось, что мне теперь весьма удаются портреты. Вероятно, мистическое слияние фотографа с моделью все же как-то влияет на конечный результат; по крайней мере, мои клиенты получались красавчиками, все до единого. О клиентках, каковых подавляющее большинство, и говорить нечего: когда они взирают на собственные двухмерные копии моего производства, у них за спиной вырастают прозрачные, но вполне осязаемые стрекозьи крылышки.

К лету девяносто четвертого года я снимал уже почти исключительно начинающих моделей – тех, кому не по карману золотые объективы моих звездных коллег. Мои услуги относительно дешевы, и это справедливо: я все же силен не мастерством (его как раз не хватает) и

не новейшими спецэффектами (они мне не по зубам), а исключительно легкостью рук, за которую грешно требовать надбавку. Заодно удовлетворяю любопытство, постигая загадочные женские души изнутри, во всем их (много-? едино-?) – образии.

Я на собственном опыте убедился, что большинство женщин действительно *созданы для любви* (поклон гадалке Олле), только теперь я воспринимаю эту формулу не как сентиментальную банальность, а как печальный, в сущности, приговор. «Быть созданной для любви» – для женщины это означает всего лишь постоянную готовность обречь себя на тягостную, болезненную зависимость от другого человека – чуть ли не первого, кто под руку подвернется. Именно поэтому их и превращают в прислугу: в любом обществе, в любой культуре, – думал я. – Возможности шантажа практически безграничны, а значит, велик соблазн обернуть дело себе на пользу…

Зато женщин, созданных не *для любви*, а с какой-то иной, непостижимой целью, я научился распознавать сразу, не прибегая к помощи всемогущего Сашкиного «Nikon»'а. Достаточно взгляда, жеста, улыбки, невзначай брошенного замечания. Их присутствие оказывает на меня гипнотическое воздействие. Они кажутся мне загадочными, почти священными существами; понимаю, что именно среди них следует вербовать друзей, союзников и даже поводырей. Маша, прекрасная обитательница моих сновидений, несомненно, принадлежала к этой породе. Впрочем, не только она. И ее грозная копия по имени Ада, и моя старинная подружка Ташка, и гадалка Олла, и таинственным образом исчезнувшая немка Клара, и хрупкая блондинка, научившая меня носиться с закрытыми глазами от одной

судьбы к другой, и «Белая Колдунья» Раиса, и Таня в пестрой шубке, чье присутствие помогло мне пережить худшую из ночей, и даже строгая незнакомка в пончо, с которой мы обсуждали рассказ Уэллса – все женщины, приложившие руку к моей судьбе. Прочие не в счет. Возможно, их просто не было…

Подбиваем бабки.

Тысячи лиц, несколько сотен телефонных номеров в записной книжке, множество мелких (и не очень) заработков, пара дюжин восхитительных сновидений, полмиллиона вполне искренних улыбок, несколько коротких путешествий и еще более коротких романов (к счастью, теперь я мог безошибочно выбирать тех женщин, которые находили меня забавным, но не принимали всерьез) – примерно такой багаж обретался в моем заплечном мешке вечером тридцать первого декабря девяносто четвертого года. Был он вполне невесом и умеренно ценен – именно то, что требуется человеку, чья жизнь, возможно, выходит на финишную прямую. А возможно, и нет – это уж как повезет.

128. Квасир

…Квасир <…> помог богам сделать сеть, в которую затем они поймали Локи.

– Макс, с тобой желает познакомиться одна милая немецкая фрау, – теребит меня Раиса.

К этому моменту я уже изрядно устал принимать деятельное участие в новогодней вечеринке и четырежды отругал себя за глупость: знаешь ведь, что

устаешь от людных мест и больших компаний, так какого черта, спрашивается… Спрятался в глубоком кресле, в самом дальнем углу большой чужой (я так и не уразумел, чьей именно) гостиной, прикрылся стаканом, как щитом, и практически задремал. И тут на тебе, разыскивают, тормошат, милыми немецкими фрау стращают.

– Ее, часом, не Клара зовут? – ухмыляюсь, припоминая свою давнюю благодетельницу, виновницу моего переезда в Москву, белобрысую валькирию, сгинувшую где-то в месте пересечения телефонных проводов. Было бы забавно предположить, что всех немок зовут Кларами – по крайней мере, всех немок, которые попадаются на моем пути.

– Да, Клара-Мария… Когда это вы успели познакомиться? Она всего пять минут назад…

Сонливость мою как рукой сняло. Клара-Мария, подумать только! Знаковое имечко, ничего не скажешь.

– Мы не успели познакомиться, – торопливо объясняю Раисе. – Я случайно угадал, ты же знаешь, со мной бывает… Ежели она действительно Клара-Мария, тащи ее сюда. На кой я ей, кстати, сдался?

– Не знаю. Может, хочет, чтобы ты ее сфотографировал. Обнаженной, с балалайкой, на шкуре бурого медведя… А может, что-то из «Едоков» купить решила. Она из Вени полчаса кровь пила ведрами… А еще говорят, что Клара-Мария в Москву за женихами ездит. Каждый год увозит с собой нового русского мужа. Может быть, ты в ее вкусе?

– Конечно, – ржу. – Всем известно, что я самый недорогой и покладистый мальчик по вызову в столице. Веди ее сюда немедленно!

Ржать-то я ржу, а сам настороже. Не может быть, чтобы женщина по имени Клара-Мария появилась в моей жизни просто так, в качестве скверной шутки. Ежели Клара-Мария – значит, посланница небес, не иначе.

Трепещу, словом.

Однако судьба моя не только щедра на сюрпризы, но и не лишена своеобразного чувства юмора. Стоило связывать воедино два столь важных для меня женских имени, чтобы присвоить их сумму здоровенной морковно-рыжей тетке с грушевидным туловищем, деревенским румянцем во всю щеку, трогательным носом-кнопкой и громоподобным, как у фрекен Бок, голосом… Она еще и в белое платье нарядилась – ни дать ни взять Дед Мороз и Снегурочка в одном флаконе. И смех и грех, право!

Впрочем, замуж за меня она явно не собиралась – и на том спасибо. Просто хотела расспросить об авторе «Едоков». Вениамин, рекомендовавший меня вниманию варяжской гостьи, корчил злорадные рожи, то и дело выпрыгивая из-за ее массивной спины, как чертик из табакерки. Тоже мне трикстер-любитель…

Впрочем, минуту спустя я уже не обращал на него внимания. Комичная толстуха оказалась гениальной собеседницей. По-русски она говорила блестяще, с едва заметным акцентом, который даже добавлял ей обаяния. Я начал думать, что русские мужья Клары-Марии (если они не были местной легендой), вполне возможно, прельщались не только ее буржуинским гражданством. С этой женщиной хотелось встречаться по утрам за завтраком: неторопливая плавная речь, низкий бархатный голос без нервирующих взвизгов, разумные

суждения и парадоксальные замечания – лучшее лекарство от утренней меланхолии.

Клара-Мария сообщила, что собирается приобрести несколько работ моего покойного друга; я одобрил ее намерение и рассказал несколько дежурных легенд про мертвого гения. Она заметила, что еще не встречала живого человека, чья жизнь была бы столь похожа на литературное произведение; я обалдел от такой проницательности, но выкрутился, заявив, что мой друг, к сожалению, уже несколько лет не является живым человеком. Она оценила мою смекалку и сочувственно покивала; я расслабился и предложил даме выпить.

Ей-богу, через полчаса мне казалось, что мы с Кларой-Марией – старинные друзья, чуть ли не бывшие одноклассники, воссоединившиеся после долгой разлуки. Она умела и внимательно слушать, и занимательно рассказывать, и лукаво соглашаться, и остроумно возражать. Дело кончилось тем, что я посоветовал ей немедленно открыть собственное ток-шоу на радио, а она, громогласно расхохотавшись, сообщила, что именно так и зарабатывала на жизнь в течение пятнадцати лет, пока не получила наследство, а вместе с ним – возможность бросить службу.

– Теперь я могу позволить себе роскошь разговаривать бесплатно, – похвасталась она. – Прежде, когда я работала на радио, болтовня казалась мне бессмысленным расточительством. Мой первый муж подал на развод, когда я отказалась вести с ним нелимитированные бесплатные разговоры: десять минут в сутки, Томас, – сказала я, – десять минут, а потом я включаю счетчик, как таксист!.. А нынче я почти каждое утро отправляюсь в кондитерскую пить кофе с

соседками. Пить кофе – это, конечно, только предлог. На самом деле нам требуется не кофе, а «почесать языки» – так это будет по-русски? Меткое выражение! От долгого молчания язык действительно начинает чесаться, это проверено… Впрочем, мы любим ходить в кондитерскую еще и потому, что для этого следует подняться по «Небесной лестнице». И романтично, и полезно для здоровья: по дороге тратишь столько же калорий, сколько содержится в куске яблочного штруделя…

Я ушам своим не верил. Они поднимаются по «Небесной лестнице»?! Причем только для того, чтобы попасть в свою сраную кондитерскую и сожрать там яблочный штрудель?! «Романтично и полезно для здоровья?!» Уму непостижимо!

– Погодите, Клара-Мария, – прошу. – Погодите. Я вас, наверное, как-то неверно понял. Вы поднимаетесь по «Небесной лестнице»? Как такое может быть?

– Очень просто, – смеется. – Наши дома стоят внизу, у озера, а кондитерская – на вершине холма. Удобнее всего добираться туда по улице-лестнице. Она называется die Himmelich Leiter, «Небесная лестница»… я бы даже сказала – «Небесная стремянка», если вам требуется более точный перевод. Стационарная лестница – это все же «die Treppe»…

– А, «Leiter», значит, переносная, – киваю понимающе. – Лестница, которую можно принести в нужное время в нужное место, установить, забраться – ну, скажем, в небеса, – а потом аккуратно убрать, словно и не было никакой лестницы. Ясно. Спасибо, Клара-Мария, вы мне очень, очень помогли…

Она разглядывает меня с неподдельным интересом.

– Помогла? Чем же я вам помогла? Вы изучаете немецкий язык?

– Можно сказать и так, – улыбаюсь устало. – Только я не слишком усердный ученик. Три года назад выучил слово «die Schicksalkreuzung». Теперь вот «die Himmelich Leiter». Моя эрудиция не слишком впечатляет, правда?..

Клара-Мария укоризненно качает головой.

Я больше не могу оставаться в этом гостеприимном доме, на пепелище угасающей новогодней вечеринки. Мне нужно проветриться. Подумать. Составить план действий. Потому что…

Ну да, конечно.

Несколько часов назад наступил тысяча девятьсот девяносто пятый год, и посланница судьбы по имени Клара-Мария явилась ко мне, чтобы сообщить точный адрес паучьих сетей, в которые я твердо намерен угодить, ибо крылья мои давно уже увязли в восхитительных этих тенетах, и причудливые переплетения липких волокон услаждают мой взор и туманят разум…

Ага, именно что туманят!

Хорошо хоть в последний момент я сообразил вернуться, найти Клару-Марию и спросить у нее, как называется город, улицы которого носят столь причудливые названия?

Город, оказывается, носит ласковое имя Шёнефинг; впрочем, это даже не город, а маленький курортный городок, как сказали бы в России, «дачный поселок», расположенный в получасе езды от Мюнхена.

Клара-Мария кокетливо улыбается; вероятно, она полагает, что сейчас я попытаюсь тактично вызнать ее адрес и, возможно, напрошусь на чашку чая – когда-нибудь, будущим летом. Но я лишь восхищенно сверкаю очами, бормочу благодарности вперемешку с извинениями и пулей вылетаю на улицу.

Теперь я точно знаю, что мне следует делать. Для начала – звонить симпатяге Михелю из германского консульства. Скажу ему, что мне срочно требуется въездная виза, придумаю какую-нибудь убедительную причину. Например, скажу ему, что моя любимая девушка уехала в Германию, а я только теперь понял, что не могу без нее жить. Михель любит сентиментальные истории, он мне поможет.

129. Кецалькоатль

По одному из мифов ацтеков, Кецалькоатль <…> удалился на плоте из змей в восточную заморскую страну Тлилан-Тлапаллан, обещав через некоторое время вернуться…

– Алло, – ору, прижимая к губам телефонную трубку, – алло, Веня, не слышно ни хера, ты хоть музыку прикрути.

Щелчок, тишина. И наконец спокойный голос, почти не искаженный несколькими километрами перепутанных проводов.

– Теперь слышно? Ты чего вопишь-то? Надеюсь, тебя не похитили и не держат в заложниках? А то вон шумы какие-то подозрительные…

– Меня не… считай, я сам себя похитил. Звоню с вокзала.

– С какого вокзала?

– С Белорусского, если это действительно важно… Уже полчаса твой номер набираю, а у тебя все занято да занято. Мой поезд через пятнадцать минут отходит… тьфу, черт, уже через двенадцать.

– Куда едешь-то? – невозмутимо интересуется он.

– В Мюнхен.

– Все-таки она тебя соблазнила! – удивленно ржет Веня. – Вот уж не думал, не гадал…

Я даже не сразу понимаю, о ком речь. Меня соблазнили? А я и не заметил, как пикантно… Потом до меня доходит, что подразумевается наша общая знакомая, новогодняя «снегурочка» Клара-Мария. Вспоминаю ее морковно-рыжие букли, грушевидное тело, густой бас. Да уж, славная бы из нас вышла парочка, сам бы билет в первый ряд купил, если бы нашелся кинотеатр, где крутят столь жесткое порно… Впрочем, в каком-то смысле Веня прав. Не вспомни она тогда про улицу-лестницу с диковинным названием «ди химмелихь ляйтер», не шлялся бы я сейчас по вокзалам, не запирался бы в телефонной будке вдвоем с сырым мартовским ветром. Сидел бы дома, кофий жрал в свое удовольствие или даме какой прекрасной полусухим трупиком мимозы в харю тыкал бы – лепота!.. Ладно, пусть думает что хочет, не переубеждать же его. Мне на поезд уже бежать надо.

– Я там немного погуляю и вернусь, – отвечаю уклончиво. – Ты извини, что все так внезапно случилось, мне только сегодня днем паспорт с визой отдали, а в

кассе билет нашелся… Покручусь там недельку, насосусь баварского пива до полного изнеможения, наделаю пару-тройку глупостей, как положено одинокому русскому туристу, и вернусь. Ага?

– Макс, – тихо спрашивает он. – Ты уверен, что вернешься? Я только что вспомнил. Кассета твоя дурацкая, которую ты, согласно легенде, у сироты отобрал. Девяносто пятый год, и все такое… А когда Клара-Мария про местную «Лестницу в Небо» рассказывала, ты же ее глазами пожирал, испепелял просто… Ты действительно вернешься?

– Ну, – говорю растерянно, – если так… Хочешь, правду скажу? Не знаю. И все же… скорее да, чем нет. С чего бы это мне исчезать навсегда? Не мой стиль.

– Боюсь, именно твой, – вздыхает он. – Ладно, поступай как поступается. Звони, если что. Если ничего, тоже звони. Или хоть завещание по почте пришли, прежде чем на лестницу эту карабкаться.

– Обойдемся без завещаний, – говорю твердо. – Лучше уж сам вернусь. Рано или поздно, так или иначе, но вернусь непременно.

130. Кибела

Богиня требует от своих служителей полного подчинения ей, забвения себя в безумном восторге и экстазе, когда жрецы Кибелы наносят друг другу кровавые раны или когда неофиты оскопляют себя во имя Кибелы, уходя из мира обыденной жизни и предавая себя в руки мрачной и страшной богини.

После того, как поезд, согласно расписанию, прибыл к платформе номер пять берлинского вокзала Schqnefeld, я действовал как совершенный автомат. Одуревший от полутора суток тряски в душном купе, неопытный и почти безъязыкий турист, каковым я, в сущности, и являлся, должен бы был растеряться, провести полчаса у табло с расписанием поездов и, окончательно расставшись с надеждой хоть что-нибудь понять, посвятить остаток сил поискам ближайшего киоска с Настоящим Немецким Пивом. Я легко мог представить себя, любимого, на месте этого гипотетического олуха. Мое амплуа.

Тем не менее я почему-то сразу же направился к справочному бюро. Неизвестно, откуда я вообще узнал о его существовании: прежде я никогда не пользовался услугами подобных контор. Однако сейчас как-то сразу решил, что зеленый значок с крупным изображением буквы «i» означает «информация», и брел по указующим стрелкам, пока не достиг искомого кладезя железнодорожной мудрости.

Сотрудники «кладезя» были вполне способны объясняться по-английски; еще более удивительно, что я сам умудрился вспомнить ровно столько полезных иностранных слов, сколько требовалось, чтобы выяснить, когда и откуда отправляется поезд, следующий в Мюнхен, да еще и попросить записать эти бесценные сведения на бумажке.

Ближайший поезд отходил через семь минут. За это время я успел найти нужную платформу и даже расположить свое усталое тело там, где, согласно специальной схеме, должен был остановиться вагон второго класса для курящих. Устроился в пустом купе,

рассчитанном на шесть сидячих мест, предусмотрительно прикрыл дверь и задвинул занавески, в надежде, что это отобьет у других пассажиров охоту составить мне компанию. Дождался отправления поезда и лишь тогда позволил себе расслабиться. Снял осточертевшие ботинки, достал сигарету, внимательно прислушался к стуку своего сердца и – в который уже раз – удивился собственному спокойствию.

Через пять минут после того, как вежливый вислоусый контролер обнюхал мой билет и церемонно откланялся, я спал как младенец, свернувшись калачиком на коротком, неудобном диванчике, подложив под голову сумку с вещами и укутав ноги своим элегантным демисезонным пальто. Оно рисковало утратить последние остатки былой красоты, но меня это не слишком смущало. До Лестницы в Небо, по моим расчетам, оставалось несколько часов пути, а там хоть трава не… впрочем, трава пусть себе растет – что ж я, зверь какой?

Поезд прибыл в Мюнхен в половине шестого утра. Вопреки собственным прогнозам, я проснулся за четверть часа до этого знаменательного события, а потому успел умыться, побриться и даже завязать шнурки на ботинках. Заказал чашку кофе с круассанами в привокзальном ресторане. Старательно мазал хлеб толстым слоем масла – не потому, что это вкусно, а из предусмотрительности: кто знает, удастся ли мне сегодня еще раз поесть, так что лишняя сотня калорий не помешает. Потом отправился в местное справочное бюро, педантично выяснил расписание всех поездов, следующих в Шёнефинг. Без особого труда купил билет в хитроумном автомате, отыскал нужную платформу, занял место у окна, тут же задремал и проснулся за несколько

минут до прибытия к месту назначения – столь совершенным существом я не был еще никогда в жизни. Я вел себя как перелетная птица, впервые в жизни отправившаяся к африканским берегам: вроде и не был тут никогда, вроде бы правил здешних не знаю, но это не имеет значения, поскольку внутренний компас, несомненно, покажет мне кратчайший путь к цели.

Поезд останавливается.

Выхожу.

Запах влажной земли и свежей хвои, сладкий вкус холодного горного воздуха, первое прикосновение подошв к мелким круглым камешкам мостовой. Про себя думаю, что надо бы отловить представителя местного населения и спросить у него, как пройти к озеру, но ноги сами несут меня куда-то, то вверх, то вниз по узким кривым улочкам. Городок Шёнефинг построен на нескольких маленьких, но весьма крутых холмах, у подножия которых серебрится озеро. Несколько роскошных домов почти на самом берегу – ага, возможно, в одном из них живет Клара-Мария, благословенная посетительница небесной кондитерской. А теперь, дружок, смотри внимательно, – говорю я себе. И если увидишь хоть какое-то подобие лестницы…

И тут я ее увидел. Это была не просто лестница, а некое подобие деревенской улицы: широкие ступеньки вымощены булыжниками, по обеим сторонам – не перила, а заборы, за которыми топорщатся остроконечные капюшоны крыш. Всюду жизнь, в палисадниках лают собаки, полощутся на ветру детские ползунки, из земли пробиваются маленькие отважные стебельки растений, а среди талого снега уже разбрызганы разноцветные капли крокусов. В иное время

я бы непременно задержался у каждой калитки, сунул бы любопытный нос в чужую приватную жизнь, но сейчас меня интересует лишь одна подробность, да и та топонимического свойства: к каждому забору аккуратно привинчена табличка с надписью: «Himmelich Leiter». Кто-то мне говорил, что именно так, без артикля, и пишутся названия улиц.

Что ж, значит, я на месте.

Медленно поднимаюсь по лестнице. Не тороплюсь, поскольку внимательно гляжу по сторонам. Жду знака, или указания, или хоть малейшего намека, что мне следует остановиться. Но не обнаруживаю ничего из ряда вон выходящего. Впрочем, если уж мне назначили свидание на *лестнице*, было бы логично предположить, что следует подняться на самый верх. Лестницы, собственно, именно для того и существуют, чтобы *подниматься наверх*, разве нет?

А если так – вперед!

И, поднявшись на верхнюю ступеньку, я обнаруживаю лазейку – не в каком-нибудь дощатом заборе, а в старинной кованой ограде, увитой какой-то вечнозеленой растительной роскошью. Один толстый прут отогнут, другой отсутствует вовсе, так что даже взрослый человек вроде меня может без особого труда проникнуть на заповедную территорию.

Мне – туда?

Каким-то образом ответ совершенно очевиден.

В сладостном полузабытьи протискиваюсь в щель и бреду вперед, погружаюсь в ароматную утробу запущенного сада; по старой, полуразрушенной лестнице, заросшей бледной прошлогодней травой,

поднимаюсь по склону крутого холма туда, где стоит трехэтажный дом с башенкой и блестят мокрые от ночного дождя каменные перила летней террасы.

Мое путешествие «туда-не-знаю-куда» подошло к концу. Мне бы, пожалуй, следовало испугаться, хотя бы из уважения к законам жанра, но страха нет – вероятно, он первым покинул корабль, причаливающий к волшебному острову: этакая жирная, вислозадая, но резвая крыса, до последней минуты скрывавшаяся в моих трюмах в надежде на перемену курса. Тело становится легким, как воздушный змей, сорвавшийся с привязи. Воздушный змей, змей небесный – что за славный пример для «рожденных ползать», какой обнадеживающий символ!

Открываю тяжелую парадную дверь, навалившись на нее всем телом. Мраморный пол вестибюля, корзинка для зонтиков справа от лестницы и два ее обитателя: белый и серый, под стать веселым гусям из детской песенки. Захожу в холл. Слева – стеклянная дверь, ведущая на террасу; в центре – черный кожаный диван и журнальный столик, а справа – антикварное кресло, обитое красным плюшем. В кресле сидит Франк собственной персоной. Довольный, как дворовый кот, только что побывавший в курятнике.

– Смотри-ка, – ухмыляется, – явился-таки! Кто бы мог подумать…

– Только один вопрос, – говорю торопливо. – Теоретический, прикладного значения он уже не имеет. Я только что умер? Или, наоборот, родился?

– Еще чего не хватало! Зачем так драматизировать? – искренне изумляется Франк. – Не

умер, не родился, просто… ну скажем так: сменил место жительства. Со всяким случается.

Моргаю удивленно. Ну, ему, вероятно, виднее…

131. Клио

Муза истории <…> изображалась со свитком и грифельной палочкой в руках.

– История твоя, – говорит Франк несколько погодя, – отнюдь не закончилась. Она, можно сказать, только начинается. И ангел, записывающий каждый твой шаг в Книгу Судеб, натрет еще не одну мозоль на огненных своих перстах и, возможно, восстанет против Творца за то, что тот не обучил своих верных слуг искусству стенографии…

– А он не обучил? – переспрашиваю машинально. – Тьфу, глупость какая… Я хотел спросить: неужели они действительно где-то есть, ангелы, записывающие наши деяния?

– Понятия не имею… С другой стороны, почему бы им не быть? Многим нравится думать, что где-нибудь там, наверху, обитают ангелы, этакие крупные, отборные человекоптицы. Людей это, знаешь ли, успокаивает…

– Кстати об ангелах, – смущенно говорю я. – Вы знаете, как я поступил со своим двойником? Я придумал его первым. И тут же похоронил. Как вы думаете, это сработало?

– Конечно, сработало. В смысле пошло ему на пользу, – равнодушно ответствует Франк. – Благодаря твоим стараниям, он теперь всегда будет чувствовать

себя и живым и мертвым одновременно. Очень продуктивное состояние… Ты, впрочем, еще не раз убедишься в этом на собственной шкуре, поскольку никто не знает, где заканчивается один из вас и где начинается другой…

– Ка… как это? – переспрашиваю, в полной уверенности, что ослышался.

– Да так. Когда жизнь человека столь плотно переплетается с вымыслом, да еще и записанным на бумаге, сам черт свихнется, пытаясь отделить одно от другого. Лучше уж и не браться… Но поскольку вы оба друг друга стоите, ваше сосуществование будет скорее похоже на захватывающее приключение, чем на битву Ромула и Рема. Возможно, ты проживешь его жизнь, а он – твою; возможно, вы просто по-дружески обменяетесь наиболее забавными фрагментами своих биографий, как два коллекционера, знающих цену своему имуществу, но способных по достоинству оценить чужие приобретения. Я однажды признался, что чертовски тебе завидую, помнишь?

132. Кон

В теле у него не было костей, и он шел легко и свободно, по своему желанию опуская горы, чтобы сократить дорогу.

– Помню. Но ничего не понимаю!

– Правильно, потому что болтовня, даже с таким занимательным собеседником, как твой покорный слуга, – не лучший способ добиться понимания. Ты еще два года назад изобрел отличный способ получить

ответы на все свои вопросы. Но тогда ты испугался. А теперь? Неужели все еще боишься? У тебя есть все, что требуется: зеркало на стене, фотоаппарат в сумке. Чего ты ждешь?

– Да, действительно, – улыбаюсь ему, словно бы сквозь сон. – Запамятовал… Сейчас.

Достаю из кофра чудесный тормановский «Nikon». Подхожу к большому, в человеческий рост, зеркалу в массивной бронзовой раме. Страха действительно нет. Даже не понимаю сейчас, почему так испугался, когда меня осенила эта простенькая, но вполне изящная идея. Как можно бояться узнать все о самом себе? Ерунда какая…

– Сейчас, – говорю не то себе, не то Франку, – вылетит птичка… или даже человекоптичка, именуемая в народе ангелом. Она вылетит, а мы ее не поймаем. И это пра…

Щелк!

Примечания

1

Нарды – игра для двоих игроков на специальной доске с использованием шашек и игральных костей.

Правила игры в Backgammon («Короткие нарды») гласят, что у каждого игрока имеется по 15 шашек.

Задача белых – провести свои шашки в дом белых.

Задача черных – провести свои шашки в дом черных.

Начинают белые, бросая две кости. Количество выпавших очков показывает, на сколько вперед надо продвинуть шашки. Например, на кубиках 3, 4 – можно продвинуть две шашки (одну на 3, другую на 4) или одну (на 7).

Если на обоих кубиках выпадет одинаковое число очков, то показания удваиваются (например, выпало 4, 4 – игрок может распоряжаться любым сочетанием 4, 4, 4, 4).

В процессе игры на одном поле можно держать сколько угодно своих шашек. Поле, где содержится две и более шашек противника – заперто, на такие поля вход чужим шашкам запрещен.

На поле, занятое одной шашкой противника, входить можно, причем шашка противника считается битой и убирается с доски за борт.

Битая шашка должна начать путь сначала. Игрок, имеющий за бортом шашки, не может сделать никакого другого хода, пока не выставит их на доску.

Шашки с борта ставятся согласно показанию костей. Бить при этом шашку противника можно, но не обязательно. На поле, занятое двумя и более шашками противника, битые шашки не ставятся, а ход пропускается – цугцванг.

Как только игроку удается привести шашки в свой дом, он начинает ставить их за борт («на двор») – снимать с доски, кидая кости. В процессе выставления шашек «на двор» игрок может использовать показания кубиков – одну шашку выставить за борт, а другой просто ходить. Каждый бросок выполняется полностью (например, если выпало 5, нельзя ходить на 4). Если игрок не может выполнить ход, то он либо пропускает ход, либо выполняет ход по одному кубику.

Игрок, первым выставивший шашки за борт, получает одно очко. Если к этому времени соперник не выставил «на двор» ни одной шашки, победитель получает 2 очка; если в доме победителя остались шашки противника – 3 очка; если же у соперника все еще есть шашки за бортом – 4 очка.

А игроки в длинные нарды в начале игры выстраивают свои шашки на одном поле; бить шашки противника в этой игре нельзя, на поле, занятое одной чужой шашкой, попросту не вступают. В остальном все так же: цель – вернуться домой раньше, чем это сделает ваш оппонент.

2

Фронсы – так в некоторых городах бывшего СССР называли иностранцев.

3

Речь идет о рассказе Борхеса «Бессмертный».

4

Die Ruhrzeitung – «Рурская газета», или «Газета Рура» – как вам будет угодно.

5

Тут важно не забыть спросить дату и время рождения у всякого, кто приснится; еще сложнее бывает не утратить эту информацию в момент пробуждения. Все остальное просто, следует лишь иметь в виду, что в гороскопе обитателя сновидения наиболее важными будут минорные аспекты, а доказательством, что гороскоп составлен правильно, является отсутствие каких-либо планет и звезд в Первом доме.

6

Речь идет о языке, строго говоря не совсем «человеческом»: термин «бекенхама», насколько известно автору, взят из Кунхё – сакрального языка обитателей мира Хомана, упоминания о котором можно встретить в романе М. Фрая «Гнезда химер».

7

При руническом гадании появление руны Хагалац как в прямом, так и в перевернутом положении означает хаос и катастрофу, свидетельствует, что впереди вас

ожидает нечто, находящееся вне вашего контроля. Последствия могут быть благоприятными или трагическими, но в любом случае они непредсказуемы.

При изготовлении талисманов руну Хагалац используют в тех случаях, когда хотят разорвать замкнутый круг; выйти из исчерпавшей себя, но затянувшейся ситуации. Ее призывают на помощь тогда, когда можно уверенно сказать себе: «Что бы ни получилось в результате, это будет лучше чем то, что есть сейчас».

8

Очевидно, под руку подвернулась книга Сидни Шелдона «Гнев ангелов». Цитата – оттуда.

9

Цитата взята из романа Р. Э. Хайнлайна «Астронавт Джонс».

10

Цитата из рассказа Чехова «За яблочки».

11

Цитата из повести Куприна «Олеся».

12

Цитата из «Хроник Нарнии» Клайва Льюиса. Пожалуй, следует напомнить читателю, что фразу эту произносит фавн Тамнус, в чьи служебные обязанности входило похищать детей, заманивая их в свою пещеру и усыпляя звуками флейты.

13

С подробным изложением соответствующей теории американского романиста Торнтона Уайлдера можно ознакомиться в его романах «Каббала» и «День восьмой».

14

Т. е. по полной совокупности энергии, выделяемой звездой на всех длинах волн, поскольку большая часть энергии туманности Форамен излучается в невидимом человеческому глазу инфракрасном диапазоне.

15

Франк явно использует толкование, относящееся к авестийской астрологической традиции, но цитирует его не полностью. В частности, он забыл (или не захотел) добавить, что туманность Форамен может наделить способностью коммуницировать с другими формами сознания, талантом к трансцендентальному сопереживанию, который чаще всего описывается как умение «побывать в шкуре» другого существа. Впрочем, все это, равно как и метаморфозы с перевоплощениями, о которых говорил Франк, наблюдается лишь в исключительных случаях. Как правило же, присутствие туманности Форамен в гороскопе дает необратимые изменения психики: прыжки сознания, навязчивый бред, страшные делирии (не только алкогольные). С этой туманностью связана патологическая зависимость от других людей, от медикаментов, наркотиков и т. д. Форамен часто встречается в гороскопах алкоголиков, наркоманов, у сексуальных маньяков и даже скотоложцев.

16

Борис Пастернак. «Звезды летом».